НИКОЛАЙ НЕКРАСОВ

Михаил Макеев

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Николай Некрасов — одна из самых сложных фигур в истории русской литературы. Одни ставили его стихи выше пушкинских, другие считали их «непоэтическими». Автор «народных поэм» и стихотворных фельетонов, «Поэта и гражданина» и оды в честь генерала Муравьева-«вешателя» был кумиром нескольких поколений читателей и объектом постоянных подозрений в лицемерии. «Певец народного горя», писавший о мужиках, солдатской матери, крестьянских детях, славивший подвижников, жертвовавших всем ради счастья ближнего, никогда не презирал «минутные блага»: по-крупному играл в карты, любил охоту, содержал французскую актрису, общался с министрами и придворными, знал толк в гастрономии. Редактор и издатель самых популярных литературных журналов XIX столетия первым разглядел огромные дарования Льва Толстого и Достоевского.

Доктор филологических наук Михаил Макеев, не боясь обсуждать «компрометирующие» обстоятельства, открывает неизвестные эпизоды из жизни поэта, название произведения которого «Кому на Руси жить хорошо» стало сакраментальным вопросом.

[Адаптировано для AlReader]

- Михаил Макеев
  -
  - ПРЕДКИ И РОДИТЕЛИ
  - ДЕТСТВО: ДЕРЕВНЯ И УСАДЬБА
  - ГИМНАЗИЯ. МЕЧТЫ И ЗВУКИ
  - ПРОВИНЦИАЛЬНОЕ ДАРОВАНИЕ
  - «ЛИТЕРАТУРНАЯ ТЛЯ»
  - ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ
  - БЛЕСТЯЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
  - НЕВЕРНЫЙ ШАГ
  - «ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ»

- ВОЙНА
- ИСКУССТВО И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
- ПЕРВЫЙ И ЕДИНСТВЕННЫЙ
- ТРУДНЫЙ ВЫБОР
- СВОБОДА
- СРЕДИ «НОВЫХ ЛЮДЕЙ
- КАПИТАЛИСТ
- РЕНЕГАТ
- ШТОРМЫ В ТИХОЙ ГАВАНИ
- В ПЛЕНУ У ПРОШЛОГО
- ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ
- БОЛЕЗНЬ И СМЕРТЬ
- ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА
- ИЛЛЮСТРАЦИИ

- БИБЛИОГРАФИЯ
-

- notes

  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22

- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37

Жизнь замечательных людей ®

Серия биографий

Основана в 1890 году
Ф. Павленковым
и продолжена в 1933 году
М. Горьким

ВЫПУСК

1849

(1649)

Михаил Макеев

НИКОЛАЙ НЕКРАСОВ

МОСКВА
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

*

Автор благодарит дирекцию Государственного литературно-мемориального музея-заповедника Н, А. Некрасова «Карабиха» и лично А. Е. Оторочкину за предоставленные фотоматериалы.

© Макеев М. С., 2017
© Издательство АО «Молодая гвардия»,
художественное оформление, 2017

ПРЕДКИ И РОДИТЕЛИ

Некрасов совсем не интересовался своими корнями, не придавал значения степени древности и знатности дворянского рода, к которому принадлежал. «Я никогда не имел времени, да и терпенья перечитать кипу родословных бумаг, которые хранились в старом доме»[1] — говорится в продиктованных им незадолго до смерти автобиографических фрагментах. Некрасов не имел такого интереса в детстве, он не срисовывал и не изучал свое родовое древо, в отличие от его отца, весьма озабоченного своим происхождением. Усвоенные в юности разночинские взгляды также не способствовали пробуждению такого интереса. В результате представления Некрасова о его предках остались на уровне слышанных от отца и матери рассказов, превратившихся в его сознании в своего рода исторические анекдоты, которые он пересказывал как не столько свою личную «предысторию», сколько «истории из прошлого» России. Некрасов не чувствовал себя духовным наследником предков, не видел в своей семье символа кровной связи между собственной жизнью и жизнью государства. Он смотрел на свой род как на что-то внешнее и скорее чуждое. Его «родовое наследство» — это в большей степени то, с чем он порвал, чем то, что сохранил и продолжил.

Впрочем, нельзя не признать, что известные сведения о роде Некрасовых и не дают больших оснований для гордости: история этой семьи предстает не чередой героических свершений, но как вереница обогащений и разорений, приобретений и утрат имений, имущественных споров и судов.

Больше всего мы знаем о предках Некрасова по отцовской линии. Прапрадед поэта Яков Матвеевич Некрасов занимал достаточно важные должности: служил воеводой в Томске, Оренбурге и Тамбове. Он был женат на Настасье Ивановне, урожденной Архаровой, тетке известного московского обер-полицеймейстера Николая Петровича Архарова, и имел от нее единственного сына Алексея. Скончался он в начале 1740-х годов. После его смерти вдова и сын получили в наследство девять душ[2] крестьян и 33 рубля 67 копеек. Однако незадолго до этого, в 1740 году, Настасья Ивановна приобрела за 500 рублей (видимо, на деньги, доставшиеся ей в качестве приданого) имение в Данковском уезде Рязанской губернии — сельцо Березово Болото.

Скромное состояние отца не позволяло сыну почивать на лаврах. Алексей Яковлевич Некрасов поступил на службу в Конную гвардию. В 1736 году он женился на дочери стольника

Бориса Ивановича Неронова Прасковье, получив в приданое сельцо Васильково в Ярославской провинции Московской губернии. Алексей Яковлевич, судя по всему, был человек хозяйственный и предприимчивый; в ярославском имении он организовал винокурение и смог умножить полученные средства. В 1748 году он даже купил в Москве на Петровской улице дом с участком земли. После смерти Алексея Яковлевича (не позднее 1760 года) и его супруги (после 1780 года) их единственный сын Сергей получил в наследство 171 крепостную душу в рязанском поместье и 117 душ в ярославском — в деревнях Васильково, Кощевка, Гогулино, а также 44 души в Грешнево (часть дворов принадлежала здесь помещикам Гурьевым).

Сергей Алексеевич Некрасов, дед поэта, в отличие от своего отца был неспособен не только приумножить, но и сохранить родительские имения. Женитьба на собственной крепостной девушке Марии Степановне, урожденной Грановской, не принесла никакого вклада в семейный капитал. К его непрактичности прибавилась разорительная страсть: отслужив в армии и выйдя в 1780 году в отставку в младшем офицерском чине штык-юнкера артиллерии, Сергей Алексеевич проиграл полученное наследство в карты. В 1793 году он занял у генерал-майора артиллерии Сергея Ивановича Баброва три тысячи рублей под залог рязанского имения и деревни Гогулино из ярославского. Долг этот оказался непосильным для азартного игрока, и в 1805 году после долгих судебных тяжб рязанское имение перешло к наследнику к тому времени уже умершего кредитора.

Огромный проигрыш не заставил деда Некрасова отказаться от своей страсти. В 1795 году Сергей Алексеевич и его супруга были вынуждены занять у Екатерины Михайловны Салтыковой еще более крупную сумму — 22 тысячи рублей ассигнациями под залог остальных ярославских имений; видимо, столь значительные для помещика средней руки деньги были проиграны ее брату Борису Михайловичу Салтыкову (как судьба свела заурядного ярославского помещика с беспутными потомками знатного древнего рода, неизвестно). Эти деньги Сергей Алексеевич также не смог возвратить в срок и в результате едва не потерял и остатки состояния: благодаря энергичным действиям Б. М. Салтыкова суд в этот раз не затянулся, и его сестра уже в ноябре 1796 года была введена во владение всеми имениями, принадлежавшими семье Некрасовых. Однако в этом случае произошло чудо: Мария Степановна подала прошение недавно взошедшему на престол императору Павлу I, который отнесся к ней сочувственно, и дело разрешилось в пользу Некрасовых: по высочайшему указу от 25 февраля 1798 года

Е. М. Салтыкова и ее брат были признаны виновными в «лихоимственных и лживых поступках и умыслах», лишены права управлять своими имениями (отданными под опеку) и сосланы в Тобольск. Грозившего им еще более сурового наказания они избежали только благодаря знатности.

Эту историю, очевидно, часто вспоминали в семье Некрасовых, поэтому она хорошо запомнилась будущему поэту как семейное предание, которое он изложил в автобиографии:

«Перебирая их («родословные бумаги». — *М. М.),* я прочел только несколько строк. На большом синеватом листе было написано: «Имение у Салтыковых отнять и Некрасовым отдать, Салтыкова в Сибирь сослать. Павел. Год 179…» Я пошел к отцу с вопросом: «Что это за документ?» Отец сказал: «Это подлинное, благодаря котор[ому] мы не умерли с голоду и нам что-нибудь осталось. <…> Перед смертию ваш дед, а мой отец, живший последнее время в Москве (штык-юнкер в отставке), проиграл последнее свое имение в Рязанской и Ярославской] губ[ерниях] и умер, должно быть, не успев совершить законных бумаг. <…> В один прекрасный день имение перешло к Салтыкову. Бабка ваша, урожденная Неронова (Костылева), забрав нас всех (стар[шему] 9 л[ет]), поскакала в Петербург]. В Петербурге мать часто уезжала из дому, возвращалась с заплаканными глазами; однажды она сказала нам: «Дети, завтра я повезу вас в один дом; когда мы приедем, стойте смирно и ждите, и лишь только выйдет дама, упадите на колени и плачьте». На другой день нас привезли в большой дом. Мать оставила нас одних в огромной комнате и сама куда-то ушла. Через несколько времени в дверях показалась красивая женщина; помня приказание матери, мы упали на колени и стали громко плакать. Красивая женщина подошла к нам и, лаская нас, сказала матери, что просьба ее будет исполнена. Вот ей-то мы и обязаны возвращением нам имения от Салтыкова».

Эта история изобилует неточностями, возникшими скорее всего уже в пересказе; так, Неронова приходилась поэту прабабкой, а не бабкой; конечно, его отец в таких деталях ошибаться не мог.

Возвращение имений не спасло семью от разорения. У Сергея Алексеевича накопились и другие долги, по векселям он был должен не менее чем восьми кредиторам. Эти бумаги постоянно опротестовывались, то есть после просрочки возврата долга подавались к принудительному взысканию. В результате в 1799 году Некрасов был вынужден снова заложить ярославские имения. Вырученных денег не хватало на уплату долгов, и имение было взято под дворянскую опеку[3]. В 1803 году умерла Мария

Степановна. Судя по всему, она была более благоразумной и больше думала о будущем детей, чем ее беспутный муж. На собственные средства она еще в 1794 году приобрела на свое имя у секунд-майора Смагина имение в Ярославской губернии: сельцо Белавино, деревни Щетино и Сидоровская. В дальнейшем это имение оказалось последней опорой семьи в самые трудные годы. Вскоре после смерти супруги Сергей Алексеевич женился на «мещанке» Надежде Михайловне Приваловой, с которой прожил недолго — в 1807 году он скончался, оставив вдове и детям огромные долги и заложенные, сильно уменьшившиеся в размерах имения, на которые постоянно претендовали кредиторы.

У С. А. Некрасова от первого брака было две дочери и шестеро сыновей. Самым младшим был отец поэта Алексей Сергеевич. Относительно даты его рождения источники сильно расходятся, называя 1788 или 1794 год. О детстве и ранней юности Алексея мы не имеем никаких сведений и можем только предполагать, что они были омрачены тяжелым материальным положением семьи. После смерти С. А. Некрасова назначенный опекуном решением Ярославской дворянской опеки Яков Николаевич Андреянов (судя по всему, человек добрый и честный, принимавший сердечное участие в судьбе детей Некрасовых) определил его сыновей на военную службу. Алексей Сергеевич был зачислен унтер-офицером в Тамбовский мушкетерский полк, расквартированный неподалеку, в Костроме. В 1810 году уже в первом офицерском чине прапорщика отец поэта перевелся в 28-й егерский полк, в котором служил до 1819-го, после чего был переведен в 32-й егерский полк, где и числился до выхода в отставку (1823).

Военная служба Алексея Сергеевича пришлась на крайне неспокойное время, и ему, по-видимому, пришлось принимать участие во многих сражениях.

Сохранившийся указ о его отставке, подписанный командующим 3-й Западной армией генералом от кавалерии Петром Христиановичем Витгенштейном, содержит краткое и, видимо, очень неполное и неточное описание военной карьеры отца поэта. В бумаге неверно указан год рождения, практически не говорится о тех «делах», в которых Алексей Сергеевич принимал участие. Видимо, это связано с функциональностью этого документа: целью его составления было не полное перечисление всех военных заслуг Некрасова, а определение его права на отставку «с мундиром»[4]. Поэтому туда попало только начало военной карьеры Некрасова: поход вместе с Тамбовским мушкетерским полком в составе 18-й дивизии из Калуги к

Белостоку 14 июня 1807 года, совершённый уже после того, как было заключено перемирие в кампании 1806–1807 годов. Таким образом, в этой кампании Алексей Сергеевич участия практически не принимал. Однако в 1810 году, после двух лет передышки, Тамбовский мушкетерский полк в составе отдельного корпуса графа Каменского 1-го отправился на очередную Русско-турецкую войну (1806–1812), в ходе которой 22 мая участвовал в штурме крепости Базарджик (вопреки традициям произведенном не ночью, а днем, при ярком солнце). За эту операцию Тамбовскому мушкетерскому полку были пожалованы серебряные трубы — высокая награда воинской части за храбрость и героизм.

Уже в составе 28-го егерского полка в чине подпоручика Алексей Сергеевич участвовал в Отечественной войне 1812 года. Правда, в Бородинском сражении отцу поэта принять участие не довелось: 18-я пехотная дивизия, в состав которой входил полк, была включена в 3-ю Резервную обсервационную армию под командованием генерала от кавалерии графа Александра Петровича Тормасова, действовавшую на южном направлении, далеко от основного театра военных действий. Однако военных схваток нельзя было избежать и здесь: 31 июля полк принял участие в сражении при Городечно, после которого русские войска с достоинством отступили. Полк находился в первой линии русских войск, в самом пекле. После того как 3-я Резервная обсервационная армия была слита с Дунайской армией и переименована в 3-ю Западную армию, полк, в котором служил отец Некрасова, в составе авангардного корпуса генерал-лейтенанта Ефима Игнатьевича Чаплица принял участие в знаменитом сражении при Березине, атаковав 14 ноября французов в лесу возле деревни Стахово. Полк первым вошел в Вильну, а затем преследовал французов до Немана. В Заграничном походе полк, в котором служил Некрасов, сражался при Кёнигсварте 7 (19) мая 1813 года, Бауцене 8–9 (20–21) мая, Кацбахе 14 (26) августа. Во Франции 28-й егерский участвовал в битве при Бриенн-ле-Шато 17 (29) января, победоносном и кровопролитном сражении при Ла-Ротьере 20 января (1 февраля) и в проигранном «деле» при Монмирале 30 января (11 февраля), при котором корпус генерала Фабиана Вильгельмовича Остен-Сакена, куда он входил, потерял до двух тысяч человек убитыми.

О том, каково было личное участие Алексея Сергеевича Некрасова во всех этих сражениях, судить невозможно — ни в документах, ни в семейных преданиях упоминаний о его подвигах не сохранилось. Зато в автобиографии поэта есть заведомо неверные сведения, несомненно, полученные им от отца, который якобы был «старым адъютантом князя Витгенштейна»: «Большую

часть своей службы отец состоял в адъютантских должностях при каком-нибудь генерале. Во время службы находился в разъездах. При рассказах, бывало, то и дело слышишь: «Я был тогда в Киеве на контрактах, в Одессе, в Варшаве»; «Товарищи его, между прочим, были Киселев и Лидере, о чем он не без гордости часто упоминал… Однажды перед нашей усадьбой остановился великолепный дормез. Прочитав на столбе фамилию Некрасов, Киселев забежал к нам на минутку, уже будучи министром, а с Лидерсом в поручичьем чине отец мой жил на одной квартире; он крестил одного из нас (б[рата] Константина). Это были любимые воспоминания нашего отца до последних его дней». Все эти не выдерживающие сопоставления с фактами враки Некрасов, конечно, не придумал сам, но заимствовал из рассказов отца, которому прозаическая правда о военной службе и кровавых сражениях, видимо, не казалась ценной, придающей значительность его службе.

Дальнейшая служба Алексея Сергеевича проходила уже в мирных условиях. По возвращении из Заграничного похода 28-й егерский полк был расквартирован в Подольской губернии, где отец поэта и служил до завершения своей скромной карьеры: в 1816 году он получил чин поручика, в 1817-м исполнял обязанности бригадного адъютанта, в 1818-м произведен в штабс-капитаны, а в 1822 году — в капитаны.

Десятого ноября 1817 года Алексей Сергеевич обвенчался с Еленой Андреевной Закревской. Венчание произошло в Успенской церкви местечка Юзвин Винницкого повета Подольской губернии. Невеста была бесприданницей: согласно сохранившейся ревизской сказке, за ней числилась одна крепостная душа. О ее роде и предках практически ничего не известно. Вопреки уверениям самого поэта, Елена Андреевна не была полячкой, хотя очень сомнительно, что он не знал о национальности своей матери. Она была старшей из пяти дочерей бедного титулярного советника Андрея Семеновича Закревского, служившего по полицейскому ведомству. Точная дата рождения Елены Андреевны также неизвестна, но к моменту заключения брака ей было не более пятнадцати лет. Мать невесты скончалась не позднее 1815 года. Никаких сведений о воспитании, данном ей, не имеется. Утверждения, что она воспитывалась в пансионе в Виннице, являются недостоверными.

Женитьба на бесприданнице человека, живущего на скромное жалованье поручика и получившего в наследство долги и заложенные имения, выглядит поступком безрассудным, но одновременно типичным для этой семьи. Только Алексей Яковлевич с помощью выгодной женитьбы существенно увеличил

семейное состояние; все остальные Некрасовы женились на бесприданницах или собственных крепостных девушках (так поступил не только дед, но и дядья поэта). Не было и похищения невесты, о котором также говорил Некрасов в автобиографиях, — брак совершился вполне буднично с согласия отца, скорее всего, радовавшегося возможности сбыть с рук хотя бы одну из дочерей (о дальнейшей судьбе других и самого отца сведений практически не имеется).

Молодожены поселились в селе Синьки (или Сеньки) Балтского повета Подольской губернии, где проживал А. С. Закревский и квартировал полк, в котором служил А. С. Некрасов. По некоторым данным, часть имения в этом селе находилась в аренде Некрасова. Во всяком случае, что-то, несомненно, привязывало Алексея Сергеевича к Подольской губернии: в декабре 1819 года он перешел на службу в 36-й егерский полк, видимо, для того, чтобы не переезжать в Москву, куда был переведен его прежний полк. О семейной жизни Некрасовых этого времени известно только то, что у них родились дети: в январе 1820 года — Андрей, в начале следующего — Елизавета, 28 ноября — Николай. Последний по непонятной причине был крещен существенно позже — 7 октября 1824 года, вместе с младшим братом Константином в церкви Сеньков. Необъяснимо долгий временной промежуток между рождением и крещением обусловил неопределенность в самой дате рождения (сам Некрасов впоследствии указывал в качестве года своего рождения как правильный 1821-й, так и ошибочный 1822-й). Николай появился на свет в отсутствие отца, который в это время находился в Ярославской губернии, в селе Грешневе. Надолго отлучиться его заставили неотложные семейно-имущественные дела.

Ко времени рождения будущего великого поэта семья Некрасовых сильно поредела. Все шестеро сыновей Сергея Алексеевича служили в армии. Если Алексею Сергеевичу удалось благополучно и, судя по всему, даже без ранений (они не упомянуты в его служебном формуляре) пройти через три кампании, то трем его братьям не повезло. Павел и Василий погибли в кампанию 1806–1807 годов, Александр, поручик Белостокского полка, был убит 17 (29) августа 1813 года при Бунцлау. Сергей и Дмитрий продолжали служить до марта 1818 года, когда оба вышли в отставку. Ярославские имения, сохраненные за семьей благодаря смерти С. А. Некрасова, но обремененные долгами, до 1814 года управлялись разнообразными опекунами, среди которых были добросовестные, вроде упоминавшегося Я. Н. Андреянова, и корыстные, как

ярославский помещик Петр Иванович Самарин, едва не разоривший сирот Некрасовых. С 1814 года имение (точнее, та его часть, которую унаследовали дети С. А. Некрасова; поскольку часть дворов в деревне Васильково досталась по наследству его вдове), по-прежнему остававшееся в совместном владении троих братьев и двух сестер, перешло под управление старшей из них, Елены, проживавшей в Грешневе. Именно эта женщина стала причиной дальнейших семейных раздоров и долго тянувшихся судебных процессов. Уже до этого опекуны имения и Е. С. Некрасова вели небольшой процесс с мачехой, предъявившей требование увеличения земельного надела, связанное с нехваткой земли для выделенных ей крестьян. Это дело Некрасовы проиграли к концу 1817 года. Основные тяжбы были, однако, впереди.

Как утверждали братья Некрасовы и сестра Татьяна, Елена Сергеевна управляла имениями плохо, пренебрегала выплатами кредиторам, пользовалась единолично всеми доходами, продавала части еще не разделенного имения и присваивала полученные деньги. В результате Сергей и Дмитрий, приехав в январе 1816 года, стали распоряжаться имуществом и, применив крутые меры, в частности заставив сестру взять в долг 1500 рублей, смогли расплатиться с кредиторами и добиться снятия ареста с ярославских имений. После того как в феврале они вернулись к своим частям, Елена Сергеевна продолжила транжирить совместные средства на свои удовольствия (скучая в деревне, она сняла квартиру в Ярославле, в которой прожила зиму 1816/17 года, имея при себе не менее пяти человек прислуги, держала экипаж). Эти траты станут основой претензий, которые братья позднее, когда отношения с сестрой станут враждебными, потребуют удовлетворить в судебном порядке. Причиной ухудшения отношений станет поступок Елены Сергеевны, навсегда вошедший в семейные предания.

В автобиографии Некрасова 1877 года содержится эпизод, годящийся в какой-нибудь физиологический очерк. Литературность здесь отчасти даже обнажена вводными словами:

«Мне *живо представляется* эпизод, *характеризующий* (курсив мой. — *М. М.)* наши помещичьи нравы. В летний праздничный день проезжал через деревню запыленный тарантас.

Разодетые бабы и девки плясали в хороводе. Тарантас остановился, и в нем зашевелилась меж перин и подушек заспанная, необыкновенно толстая фигура.

Впоследствии оказалось, что это был помещик Владимирской губернии Чирков. Пока переменяли лошадей, он засмотрелся на хоровод и особенно на отличавшуюся в нем румяную здоровую

девку Федору.

«А недурно было бы купить и увезти ее», — мелькнуло в голове Чиркова. «Кто же здесь помещик и где он?» Оказалось, что помещик и все его братья на войне, — это происходило в 1812 году, а в деревне остались только их сестры. Чирков — к ним, но старые девы несговорчивы, да и не смеют распоряжаться в отсутствие брата. Но любезность, ухаживание и, наконец, просто деньги располагают девические сердца. Чирков покупает Федору, увозит ее и немедленно женится на ней. Спустя короткое время Чирков умирает, и Федора по смерти его получает в наследство тысячу душ крестьян. Вслед за ним умирает Федора и оставляет их в наследство своим родственникам в дер[евне] Грешнево. Крестьяне, превратившиеся было в помещиков, не имея права владеть населенными землями, должны были продать своих собратий в 6-месячный срок. В это время, еще в отсутствие отца, появился в деревне какой-то покупщик из «благородных» и, воспользовавшись неопытностью крестьян и краткостью обязательного для них срока, купил у них за бесценок эту тысячу душ с землею. Отец мой узнал об этой проделке лишь за несколько дней до истечения 10-летней давности. Разумеется, началась тяжба, заботам о которой были посвящены несколько лет, и хотя процесс был выигран, но отец разорился и бедствовал всю остальную жизнь».

Несмотря на заметную литературность рассказа, за ним стоит абсолютно реальная история. В тех же автобиографических набросках Некрасов привел менее «живую», но более согласующуюся с фактами версию события:

«Наследство моего [отца] не ограничилось сорока душами; по жребию на часть его досталось крестьянское семейство, которое владело временно само тысячью душ, наследованными от сестры, бывшей за дворянином Чирковым; разумеется, они должны были продать его в шестимесячный срок.

Эта история очень интересна, но я не имею времени ее рассказать, упоминаю о ней потому, что она имела большое влияние на судьбу нашего семейства, а может быть, и на мою. Крестьяне продали свое наследство незаконным образом еще до раздела имения, и отец мой решился дело поднять; вся жизнь его посвящена была этому процессу».

Само двукратное появление этого эпизода в одной и той же (пусть и отрывочной) автобиографии свидетельствует, что историю часто вспоминали в семье как одну из самых тяжелых драм, пережитых ею. Об этом же говорит и высокая степень точности, в данном случае присущая изложению поэта. Тем не менее рассказ требует дополнения и уточнения.

Принадлежавшая Сергею Алексеевичу Некрасову крепостная женщина Дарья Федорова (то есть Федоровна) (даже имя «Федора», употребленное Некрасовым, доказывает, что ошибался он незначительно, только спутал имя и отчество) действительно была выкуплена у него помещиком Иваном Васильевичем Чирковым, отставным гвардейским прапорщиком. Тот увез ее во Владимирскую губернию и женился на ней. Вскоре последовала смерть Чиркова, и вдова унаследовала его имения в Владимирской, Саратовской и Симбирской губерниях. Через несколько лет Чиркова вышла замуж за коллежского регистратора Ивана Ивановича Певницкого, которому предстояло сыграть роковую роль в истории семьи Некрасовых. Он был весьма колоритной фигурой, вполне годящейся в персонажи Гоголя или Салтыкова-Щедрина. Происходил он из духовного сословия, но поступил на статскую службу, где дослужился до губернского секретаря, был землемером в городе Шуе Владимирской губернии. Певницкий не раз демонстрировал необузданный нрав и в августе 1826 года был даже судим Саратовской палатой уголовного суда за избиение церковнослужителя. Он представлял собой яркий образец «приказного» — крючкотвора, сутяги, злого и опасного. За доносы самому министру юстиции на владимирских вице-губернатора и прокурора Певницкий был «удален» из местной палаты уголовного суда. Судя по всему, женился он на вдове Чиркова в расчете на то, что сможет воспользоваться ее состоянием. Жизнь, однако, готовила ему препятствия.

Д. Ф. Певницкая скончалась 21 декабря 1817 года, оставив наследство (конечно, не тысячу, как сказано у Некрасова, а 91 крестьянскую душу в трех губерниях), оцененное в 100 тысяч рублей. Овдовевший Певницкий мог законно претендовать только на шестую его часть, а остальное должно было отойти родному брату, двум племянникам и двум сестрам Дарьи Федоровны, крепостным Некрасовых. При этом ни они, ни Певницкий (поскольку был разночинцем) по законам Российской империи не имели права владеть крепостными душами и могли использовать наследство только путем продажи. Такое положение дел не устраивало стремившегося к обогащению Певницкого, и он, вступив в сговор с Еленой Сергеевной Некрасовой, которую сумел обольстить за три дня (этот срок указал в своей судебной жалобе С. С. Некрасов), путем махинаций в феврале 1818 года вынудил наследников оформить продажу ей имения за 50 тысяч рублей ассигнациями (половину реальной стоимости). Но, судя по всему, указанную сумму крепостные родственники его покойной жены, обманутые обещаниями (впоследствии невыполненными) и

запуганные, не получили. Елена Сергеевна, утверждая, что это именно ее крепостные, не имела на это права, поскольку раздел имения в это время не был произведен и крестьяне находились в совместном владении братьев и сестер Некрасовых. При заключении сделки Певницкий использовал подкупленных им подставных лиц, расписавшихся за неграмотных наследников. Провернув эту махинацию, Елена Сергеевна и Певницкий тогда же, в феврале, обвенчались. В июне того же года купчая была утверждена Владимирской палатой гражданского суда. Супруги Певницкие стали владельцами имения, обведя вокруг пальца и крестьян, и остальных наследников.

Скорость, с которой была утверждена купчая, говорит и о необходимости оформить ее до вмешательства других заинтересованных сторон, и о большой энергии и предприимчивости главного героя — Ивана Ивановича Певницкого. Вышедшие в отставку и приехавшие в конце марта в Грешнево Сергей и Дмитрий Некрасовы были поставлены перед свершившимися фактами: ярославское имение запущено и почти разорено, наследство Чиркова захвачено сестрой и ее новоявленным мужем. Братья (на этом этапе главную роль взял на себя Сергей Сергеевич) уничтожили доверенность, выданную Елене Сергеевне, и взяли управление имением на себя. Благодаря их хорошему и, видимо, жесткому хозяйствованию (крестьяне были обложены дополнительным оброком) дела удалось поправить достаточно быстро. Выдав младшую сестру Татьяну замуж за помещика Алтуфьева (сами братья позднее женились на своих вольноотпущенных крестьянках), они уже в июле 1818 года начали судебную войну с сестрой, длившуюся очень долго в значительной степени благодаря неисчерпаемой энергии и крючкотворскому искусству Певницкого. До 1820 года стороны предпринимали попытки полюбовно разрешить конфликт. В феврале 1819-го Елена Сергеевна пригласила братьев и пострадавших крестьян в новоприобретенное имение Алешунино на переговоры о возможной компенсации за понесенные ими потери (для участия в этих переговорах специально приехал в отпуск Алексей Сергеевич), однако предложенные условия братьев не удовлетворили. После того как в августе 1820 года первый раунд тяжбы был проигран братьями во Владимирской палате гражданского суда, было решено произвести раздел имущества. Алексей был извещен об этом в ноябре 1820 года, однако попросил подождать до его увольнения со службы. Очевидно, таковое было получено только в октябре 1821 года, когда он и прибыл в Грешнево, оставив в Подольской губернии жену с двумя детьми, находившуюся на седьмом месяце

беременности.

Пребывание Алексея Сергеевича в Грешневе затянулось — до середины декабря братья ожидали Е. С. Певницкую, которая так и не явилась, хотя выступала истицей по делу о разделе имущества. Было решено делить имение без нее и без отсутствовавшей по болезни Т. С. Алтуфьевой. По разделу А. С. Некрасов получил 63 души в сельце Грешнево, деревнях Гогулино, Кощевке, Васильково Ярославского уезда и деревне Щетино Романов-Борисоглебского уезда. Деление было чересполосным: в тех же деревнях часть дворов теперь принадлежала его братьям и сестрам. Среди крестьян, доставшихся Алексею Сергеевичу, были и неудачливые наследники помещика Чиркова, которых братья отдали ему (возможно, в обмен он уступил им крепостных родственников их молодых жен), с одной стороны, давая шанс в перспективе получить солидное дополнение к имуществу, с другой — перекладывая на его плечи возобновленную в октябре тяжбу с неутомимыми и не собиравшимися уступать Певницкими. Устроив дела и продав за 100 рублей участок земли в Кощевке тамошнему вольноотпущенному крестьянину Ивану Михайловичу Соколову для компенсации потраченных на поездку денег, Алексей Сергеевич отбыл в Подольскую губернию. Уже после его отъезда, 7 января 1822 года, его братья и сестра от собственного и его имени подали еще один иск на Е. С. Певницкую о возмещении убытков, нанесенных ею во время управления совместным имением, оцененных ими в 17 625 рублей.

Вернувшись в Подольскую губернию, А. С. Некрасов еще некоторое время продолжал служить, хотя его карьера быстро шла к вполне заурядному завершению. 29 июня 1822 года из бригадных адъютантов он становится строевым офицером, а 11 января 1823 года выходит в отставку в чине майора с правом ношения мундира. Однако вернуться в свое наследственное имение Алексей Сергеевич не спешил — оставался в Подольской губернии до лета или осени 1826-го. Таким образом, больше трех лет после отставки он безвыездно проживал в Сеньках. Здесь в январе 1823 года у супругов Некрасовых родилась дочь Анна, а 21 мая 1824-го сын Константин. О том, что так долго удерживало Алексея Сергеевича в Подольской губернии, сведений не имеется. Видимо, он жил в семье жены, однако какие интересы связывали его с тестем, также неизвестно.

Упорное нежелание вернуться в Грешнево выглядит тем более странно, что практически сразу по возвращении в полк Алексей Сергеевич активно включился в судебный процесс с Певницкими. Правда, заочно судиться было весьма затруднительно, и в его отсутствие тяжбу вынужден был вести

брат Сергей. Возможность повлиять на ход дела непосредственно из Подольской губернии представилась Алексею Сергеевичу только один раз: 3 октября 1823 года, уже выйдя в отставку, он сумел подать прошение лично императору Александру I, находившемуся в это время в Тульчине, в окрестностях которого осенью состоялся высочайший смотр войск. Прошение было принято к рассмотрению, однако начавшееся дело (в декабре подольский губернский прокурор затребовал у Алексея Сергеевича разъяснения) не было завершено — возможно, из-за смерти императора Александра.

Отсутствие каких-либо сведений об этом периоде жизни отца Некрасова заставляло биографов обращать внимание, например, на то, что 2-я армия, в состав которой входили полки, где он служил, была базой для знаменитого декабристского Южного общества, возглавлявшегося Павлом Пестелем, адъютантом командующего армией генерала Витгенштейна. Однако никаких следов связи между отцом Некрасова и декабристами (кроме разве что пушкинской оды «Вольность», проникнутой декабристскими настроениями, список которой Некрасов, по собственному свидетельству, нашел в отцовском шкафу) обнаружить не удалось, и она представляется маловероятной. Алексей Сергеевич слишком сильно отличался от молодых аристократов-бунтарей и происхождением, и уровнем развития.

Как бы то ни было, только летом или осенью 1826 года, покончив с удерживавшими его в Подольской губернии делами, отставной майор Алексей Сергеевич Некрасов вместе с женой и пятью детьми (шестилетним Андреем, пятилетней Елизаветой, четырехлетним Николаем, трехлетней Анной и двухлетним Константином) приехал в Грешнево на постоянное жительство.

ДЕТСТВО: ДЕРЕВНЯ И УСАДЬБА

С приезда в Грешнево начинается для Некрасова время, с которого он «себя помнил». С того дня, как семья приехала в родовое имение, он в автобиографии начинал рассказ собственно о себе:

«… Мне — было тогда три года. Я помню, как экипаж остановился, как взяли меня на руки (кто[-то] светил, идя впереди) и внесли в комнату, в которой был наполовину разобран пол и виднелись земля и поперечины. В следующей комнате я увидел двух старушек, сидевших перед нагоревшей свечой друг против друга за небольшим столом; они вязали чулки, и обе были в очках. Впоследствии я спрашивал у нашей матери, действительно ли было что-нибудь подобное при первом вступлении нашем в наследственный отцовский приют. Она удостоверила, что всё было точь-в-точь так, и немало подивилась моей памяти. Я сказал ей, что помню еще что-то про пастуха и медные деньги. «И это было дорогой, — сказала она, — дорогой, на одной станции я держала тебя на руках и говорила с маленьким пастухом, которому дала несколько грошей. Не помнишь ли еще, что было в руках у пастуха?» Я не помнил. «В руке у пастуха был кнут» — слово, которое я услыхал тогда в первый раз. Хорошая память всю жизнь составляла одно из главных моих качеств.

Старушки были — бабушка и тетка моего отца».

Здесь поэта опять подводят память и типичное небрежное отношение к прошлому: ни бабушки отца, ни его собственных бабушек давно не было в живых. Однако тетка отца по женской линии Степанида Степановна Грановская, вольноотпущенная крестьянка семьи Некрасовых, действительно жила в доме в Грешневе, занимаясь ведением хозяйства и нянча детей племянника.

Семья поселилась в доме, доставшемся Алексею Сергеевичу при разделе имений. Опись, сделанная в 1815 году, дает его подробное описание: «Господский дом деревянного строения, в нем малых покоев с перегородками восемь, с тремя дверьми растворчатыми плотничьей работы. Печь голландская с лежанкой изразцовая. С семью окошками и с двойными рамами, обиты шпалерами. Наверху светелка с голландской печью… во внутренности выщекотурено, с печью и с лежанкой изразцовой, с семью окошками и двойными рамами. Одни сени и два чулана под одной крышей, покрыты тесом». Из мебели были «стенное зеркало о двух стеклах в рамах красного дерева, под ним

конторка, оклеена красным деревом с бронзою ветхой. Шкаф со стеклами, под ним комод с четырьмя ящиками, ветхий… Комод, оклеенный красным деревом, с четырьмя ящиками, ветхий. Один ломберный стол, оклеенный разным деревом с бронзою, внутри обит зеленым сукном, ветхий. Шесть кресел простого дерева под чехлами полосатой затрапезы, ветхие. Одно конопе, обито полосатой затрапезой, ветхое. Стульев деревянных окрашенных двенадцать, с досчатым сиденьем, вообще ветхие. Столов простых два, в том числе один «с полами», ветхие. Два шкафа плотничьей работы, ветхие». Стены украшали «разных картин семнадцать с простыми рамами за стеклами, из оных без стекла», и 20 икон, среди которых — большой образ «Ахтырской Божьей Матери в серебряном окладе под золотом». Имелись и книги: «Псалтырь, один ветхий. Русских разных ветхих шесть. Старых годов календарей пять. Отрывок французского букваря. Две расходные книжки старинные».

При доме имелись усадебные строения, обозначенные в описи как «ветхие»:

«В особливом корпусе баня, со всеми внутренними принадлежностями, покрыта тесом.

Два каретных сарая, конюшня с денником под одной крышей, покрыто тесом.

Амбар с погребом под одной крышей, покрыто тесом.

Флигель с сенями, с принадлежащей к нему кухней, с дверями, с семью окошками и с рамами, под одной крышей, покрыто тесом.

Изба людская, с принадлежащим строением, покрыта соломой.

Скотный двор, при оном две избы с горенкой и два денника, покрыты соломой.

Погреб, покрыт соломой.

Три денника и при оных сарай с голубятней под одной крышей, покрыты соломой.

В саду беседка на столбах, обшита тесом и отчасти покрашена.

Двор с двумя воротами растворчатыми и при одной калитке, обнесен оный и сад досчатым и бревенчатым забором».

В этой обстановке прошло детство Некрасова — до 1842 года значительных изменений ни в дом, ни в усадебные постройки не вносилось. Сразу за забором, огораживавшим усадьбу, «длинная бревенчатая деревня», «начинающаяся столбом с надписью: «Сельцо Грешнево, душ столько-то господ Некрасов[ых]». Сельцо состояло из примерно тридцати дворов, из которых отцу Некрасова принадлежала по разделу только небольшая часть

(постепенно со смертью братьев и успехом в тяжбе против сестры в его владение переходили всё новые дворы). За деревней — простые, заурядные пейзажи, привычные глазу русского человека: «местность ровная и плоская, извилистая река (Самарка), за нею перед бесконечным дремучим лесом — пастбища, луга, нивы. Невдалеке река Волга». В усадьбе Некрасову запомнился «старый обширный сад», за усадьбой — Ярославско-Костромской «столбовой почтовый тракт», видная из окон барского дома дорога, «называемая Сибиркой». Из окон можно было видеть «всё, что по ней шло и ехало и было ведомо, начиная с почтовых троек и кончая арестантами, закованными в цепи, в сопровождении конвойных». Так выглядел детский мир Некрасова. Поскольку будущий поэт оказался в нем в четырехлетием возрасте, еще не менее трех-четырех лет значимыми персонажами этого мира были отец, мать, братья и сестры.

Глава семьи, Алексей Сергеевич, судя по всему, не имел ничего общего с тем грубым, жестоким, невежественным помещиком, в котором позднее представал в стихах знаменитого сына. Некрасов признал в автобиографии 1877 года: «В произведениях моей ранней молодости встречаются стихи, в которых я желчно и резко отзывался о моем отце. Это было несправедливо, вытекало из юношеского сознания, что отец мой крепостник, а я либеральный поэт. Но чем же другим мог быть тогда мой отец? — Я побивал не крепостное право, а его лично, тогда как разница между нами была, собственно, во времени». Конечно, Алексей Сергеевич не был деспотом-крепостником, как не был и типичным помещиком. Поселившись в имении, он, естественно, занялся хозяйством, однако, поскольку произошло это уже в достаточно зрелом возрасте, так и не приобрел самых существенных черт помещика. У него не было воспетой Львом Толстым и Афанасием Фетом любви к земле, страсти к сельскому хозяйству. Алексей Сергеевич относился к земле и крестьянам как к недвижимому и движимому имуществу. Его крестьяне были оброчные, при этом оброк собирался скорее всего в основном деньгами, а не продуктами. Из хозяйства отец Некрасова стремился извлечь прибыль, поэтому охотно закладывал части имения, за деньги отпускал на волю крестьян, кроме того, на оброчные деньги держал ямские станции: на Ярославско-Костромском тракте в селе Тимохино Даниловского уезда (на 20 лошадей) и в селе Шопша на почтовом тракте из Ярославля в Москву (на 21 лошадь). С 1837 по 1839 год исполнял должность исправника Ярославского земского суда.

Само местоположение имения не способствовало любви к сельскому хозяйству. Ярославская губерния, указывал

статистический справочник, «много имеет тощей почвы и вообще землю только умеренно плодородную. Оная поверхность имеет ровную, даже до нагорных берегов Волги; сухая… Такая земля не может много пропитывать людей посредством земледелия, но положение ее тем выгоднее для торговли». Низкая рентабельность сельского хозяйства формировала из ярославского мужика не трудолюбивого пахаря, а отходника, отправляющегося на заработки в города. Ярославский же помещик стремился вложить деньги, полученные от эксплуатации земли и крестьян, во что-то более прибыльное.

В этом проявилась едва ли не самая важная сторона влияния обстановки на личность Некрасова. С детства он не испытывал не только интереса к череде предков (все разговоры о них сводились к теме «был богат, да разорился» или «благоприобрел, да проиграл в карты»), но и гордости за принадлежность к дворянству как служащему сословию. Он не мог унаследовать от отца и хозяйской любви к земле, по мнению Льва Толстого, объединяющей крестьянина и помещика в общей священной «жадности». В семье Некрасова земля — имущество, и только. Поэтому он был психологически готов к «политическому» разрыву со своим сословием, никогда не чувствуя никакой привлекательности и даже крупицы правоты в идейной и общественной позиции таких «нутряных» консерваторов (как тот же Толстой или новоиспеченный помещик Фет), которые будут отстаивать священное право дворянства на землю как заслуженное многовековой любовью к ней. И в поэзии Некрасова среди персонажей-помещиков мы не найдем ни одного трудолюбивого земледельца-хозяина, подобного Левину из «Анны Карениной». Встречаются там или карикатурные паразиты вроде Оболт-Оболдуева из «Кому на Руси жить хорошо», или бескорыстные, далекие от сословных интересов, живущие душой в совершенно других сферах «дворянские интеллигенты» вроде Агарина из поэмы «Саша» или декабристов в «Дедушке» и «Русских женщинах».

Мало занимаясь сельским хозяйством, Алексей Сергеевич много времени тратил на судебные процессы. Только в 1831 году наконец завершилось в пользу братьев и сестры Татьяны дело по иску Е. С. Певницкой — ее претензии на увеличение доли в отцовском наследстве не были удовлетворены. Дела о владимирских имениях и компенсации ущерба, причиненного Еленой Сергеевной родственникам в годы ее управления общим имуществом, тянулись дольше. Завершал их Алексей Сергеевич в одиночку — Дмитрий скончался 15 апреля 1832 года, а Сергей, не способный из-за финансовых проблем оплачивать судебные

расходы, пошел с ответчицей на мировую. Дело о владимирских имениях осложнялось тем, что Певницкие вели хозяйство очень плохо, много тратили, занимали большие суммы под залог незаконно доставшегося им имущества; в результате над имениями постоянно нависала угроза наложения ареста и продажи за долги. Поэтому Алексей Сергеевич был вынужден бороться не только за аннулирование незаконной сделки, но и за то, чтобы имущество до решения вопроса не ушло к другим владельцам. Тем не менее одно из имений — саратовское — Певницкие успели до завершения тяжбы продать помещицам Юрьевым, и вернуть его не удалось, поскольку отобрать имение у добросовестных приобретателей было невозможно, а о какой-либо денежной компенсации с Певницких речь уже не шла — у них к тому времени были только огромные долги.

Двадцать второго декабря 1833 года после многочисленных откладываний слушания, опять же вызванных неустанной деятельностью Певницких (в какой-то момент им даже было запрещено подавать жалобы, которыми они засыпали суды, оттягивая решение вопроса), Сенатом был издан указ о признании незаконной сделки между Еленой Сергеевной и Иваном Ивановичем Певницкими и наследниками Дарьи Певницкой; имения были временно возвращены последним (разумеется, для новой продажи, поскольку они по-прежнему не могли владеть землей и крепостными). Имения у них выкупил за 24 тысячи рублей ассигнациями уже сам А. С. Некрасов. Ему же в конце концов достались и все ярославские поместья, принадлежавшие отцу: за умеренную сумму он приобрел на аукционах части, унаследованные Еленой Сергеевной после смерти братьев Дмитрия и Сергея и выставленные на продажу за ее долги и судебные издержки[5]. К 1837 году он добился возвращения всех имений, которые считал принадлежащими ему по праву, хотя единственным полноправным владельцем всего имущества семьи Некрасовых так и не стал — часть дворов в Грешневе осталась во владении помещиков Гурьевых, часть принадлежала сестре и ее наследникам, они же имели долю в других ярославских имениях. Вел Алексей Сергеевич и тяжбы, касающиеся раздела крепостных с Т. С. Алтуфьевой, размежевания с Гурьевыми, и др. Некоторые дела тянулись до конца его жизни.

Все эти судебные процессы не были следствием страсти отца Некрасова к сутяжничеству. Проявлением таковой выглядит скорее поведение Певницких. Со стороны же Алексея Сергеевича практически всегда мы видим защиту законных интересов — собственных и семейных. Других средств этой защиты в

распоряжении отца Некрасова не имелось. То, что процессы тянулись так долго, обусловлено энергией его противников и несовершенством российского законодательства и судебной системы, позволявшим Певницким затягивать дело, находя всё новые возможности для апелляций, переноса рассмотрения из инстанции в инстанцию и иных проволочек. Может быть, более мелочными выглядят процессы 1840-х годов, которые, видимо, до некоторой степени стали результатом выработавшейся привычки, однако и в этом случае трудно требовать от старика какого-то особенного великодушия. Алексей Сергеевич заботился о семейном имуществе, которым для него были земля и крепостные и часть которого он еще при жизни передал детям[6], и боролся за это имущество, которое считал принадлежащим ему по праву, очень энергично. Именно эту цепкость, энергичность и готовность до конца защищать свои интересы Николай Алексеевич унаследовал от отца.

Не став помещиком по духу, по любви и привязанности к земле, Алексей Сергеевич тем не менее усвоил некоторые вкусы и привычки помещичьего быта, в первую очередь страсть к охоте. Уже семидесятилетним он просил старшего сына: «Купи мне в 25 или 30 рублей легкое ружье. Бельгийских Мастера Бернимолена в магазине Минуса. Естли легких нет, то какое есть, только скобку гладкую, я еще утешаюсь мыслию, что буду может быть стрелять, но вы меня огорчите, естли ружья скоро непришлете, пусть оно висит у меня пред глазами и напоминает, что и я когдато был Охотник и порядочный Стрелок». В другом письме позже говорится: «…относительно содержания охоты, она уменьшена, Гончих осталось лутших Английских 4 и прежних наших 17-ть — лошадей щитая и трех Жеребят 13-ть». С детства любовь к охоте появляется и у Некрасова, хотя он пристрастился к другой разновидности этого дворянского «спорта». Анна Алексеевна вспоминала: «Брат мой всю жизнь любил охоту с ружьем и лягавой собакой. 10-ти лет он убил утку на Печельском озере; был октябрь, окраины озера уже заволокло льдом, собака не шла в воду. Он поплыл сам за уткой и достал ее. Это стоило ему горячки, но от охоты не отвадило. Отец брал его на свою псовую охоту, но он ее не любил». Страстным охотником Николай Алексеевич оставался до начала своей смертельной болезни.

Еще одна несколько комическая черта помещичьей жизни была у Алексея Сергеевича: он любил музыку (возможно, пристрастившись к ней еще на армейской службе). Об этой его склонности мало сведений; видимо, отец Некрасова держал в имении целый крепостной оркестр; единственное сохранившееся в Грешневе здание называлось «музыкантской». Косвенно

свидетельствует об этом пристрастии и письмо Алексея Сергеевича сыну, написанное в 1858 году: «Федору я дал сто рублей, на покупку трех инструментов, он не высылает их и ничего не пишет, а музыка теперь составляет единственное мое удовольствие». К дорогим удовольствиям относилось также курение сигар; в письме от 1858 года он сообщал Николаю: «Мне хотелось бы на зиму иметь две пары чулок и несколько сигар Гаванских слабых». Упоминания же Николая Алексеевича о страсти его отца к картам ничем не подтверждаются. Возможно, в армейской молодости он и увлекался карточной игрой, однако в его помещичьей жизни это увлечение никак не проявилось. Свидетельств о его крупных проигрышах или выигрышах нет. Все доходы доставались Алексею Сергеевичу специфически понимаемым «трудом», и «шальных денег» среди них не было. Вообще, судя по всему, он был скуповат, сорить деньгами не любил, старался не тратить их на удовольствия.

Тем не менее одному из наиболее одиозных помещичьих пороков Алексей Сергеевич отдал должное. Связи его с крепостными женщинами хорошо известны. Его сожительницами были «дворовая девка» Елена Петрова (от которой прижил дочь Лукерью Александрову), Федосья Полетаева (родившая от него дочерей Александру и Елизавету, записанных Ивановыми) и Екатерина Назарова. В поздние годы жизни сердце Алексея Сергеевича принадлежало записанной им в «ярославские мещане» Аграфене Федоровой. Все эти связи, однако, были уже после смерти его жены; нет никаких фактов, свидетельствующих, что, еще не овдовев, Алексей Сергеевич открыто жил с «крепостными любовницами», как можно понять из некоторых намеков в стихах Некрасова. Во всяком случае, он не выглядит распутным хозяином гарема. В этом смысле он был вполне заурядным помещиком, которого не назовешь особо безнравственным. Крепостнические порядки давали Алексею Сергеевичу такие возможности, и он ими пользовался. Вопреки впечатлению, которое может сложиться благодаря стихам Некрасова, никакой открытый грязный разврат не окружал его в детские годы в усадьбе. Что касается внебрачных дочерей, то старший Некрасов о них заботился, стремился дать образование, хорошо выдать замуж. Впоследствии их опекал и его знаменитый сын. В частности, как показывают конторские книги «Современника», Некрасов в начале 1860-х годов оплачивал учебу Елизаветы Ивановой в хорошем и довольно дорогом петербургском пансионе, помогал материально другим единокровным сестрам. Связи отца с крепостными воспринимались его законными детьми, в том числе Николаем, скорее с пониманием и не

вредили отношениям с ним; на склоне лет в письмах сыну Алексей Сергеевич не раз будет передавать ему «поклон» от Аграфены.

Говорить о каких-либо культурных запросах отца Некрасова (кроме вышеназванной любви к оркестровой музыке) не приходится. Алексей Сергеевич не был, несомненно, таким уж «невеждой» — на старости лет он писал с ошибками, но такими, которые вполне можно приписать небрежности, а не безграмотности. Но интерес к литературе ему взять было, конечно, неоткуда, и количество книг в доме он вряд ли увеличил. Впрочем, и активного презрения к культуре и искусству он тоже никогда не проявлял, а возможно, даже уважал умственные занятия. В старости Алексей Сергеевич читал периодику: в конторе «Современника» для него выписывали «Северную пчелу», «Труды Вольного экономического общества», «Русский вестник», «Русскую беседу». Когда Николай стал знаменитым поэтом, отец видел в этом большое жизненное достижение и предмет гордости; в январе 1858 года попросил: «Буде можно, пришли мне книжку твоих Стихов, отдельно напечатанных, которую у меня все знакомые спрашивают», — хотя, конечно, сомнительно, чтобы он подробно знакомился с творчеством сына. Никаких особенных эмоций содержание книги у старшего Некрасова не вызвало; на стихи, где выведен он сам в образе жестокого развратного крепостника, он никак не отреагировал.

Словом, культурные интересы, более тонкие духовные потребности у будущего поэта должны были формироваться с подачи не отца, а матери. И здесь мы сталкиваемся с важнейшей в жизни и творчестве Некрасова загадкой, которая навсегда останется неразрешимой. Фактически сведения о матери поэта ограничиваются сказанным в предыдущей главе: Елена Андреевна, в девичестве Закревская, старшая из пяти дочерей чиновника IX класса, вероисповедания, скорее всего, православного. Поскольку она вышла замуж не старше пятнадцати лет, следовательно, сына Николая родила в 19 лет, то есть была очень молодой женщиной, какой и запомнил ее навсегда поэт. Практически все остальные сведения о ней, сообщавшиеся ее знаменитым сыном в стихах и автобиографической прозе, или вызывают серьезные сомнения (например, что она получила хорошее образование в пансионе, хорошо играла на рояле и пела), или прямо ложны (о ее польском происхождении, о ее похищении А. С. Некрасовым и тайном венчании). Не сохранилось ее портретов, и о ее внешности мы можем судить только по стихотворениям сына. И этот облик тоже

скорее поэтический, идеализированный: женщина с «болезненно-печальным» «ликом», «с неземным выраженьем в очах, русокудрая, голубоокая, с тихой грустью на бледных устах», — в большей степени портрет ее души.

О характере Елены Андреевны, уровне ее образования, отношении к детям, манерах и всём прочем также можно судить исключительно по некрасовским стихам, где ее образ идеализирован и создан на основе часто прямо вымышленных поэтом элементов: высокообразованная, страдающая от грубости и жестокости окружающей обстановки аристократка, привыкшая к роскоши, влюбившаяся в заурядного тирана-крепостника и т. д. Если отец в «автобиографических» стихах Некрасова воплощает дурное начало, то мать — любовь, гуманность, сострадание. Отец — жестокий, мать — защитница детей, неспособная отвратить от них отцовское насилие. Непременная черта ее поэтического образа — постоянное безгласное, покорное страдание от жизни, невыносимой для такой утонченной натуры, естественным и ужасным результатом которого представляется ранняя (в 38 лет) смерть.

Нельзя ни полностью принять этот образ, ни полностью отвергнуть его. Видимо, можно признать, что именно мать стала для будущего поэта первым побуждением к нематериальным духовным интересам, хотя бы потому, что их источником вряд ли мог являться его отец, для которого они были совершенно чужды. С этой загадочной женщиной, с ее влиянием, в каких бы конкретных внешних формах оно ни выражалось, должно было быть связано пробуждение в мальчике потребности в чем-то более высоком и значительном, чем окружавший его заурядный и грубоватый мир усадьбы средней руки. Недаром в автобиографии Некрасов утверждал, что первое детское стихотворение написал Елене Андреевне: «…Помню, я что-то посвятил матери в день ее именин:

Любезна маменька! примите
Сей слабый труд
И рассмотрите,
Годится ли куда-нибудь».

Ее связь со сферой культуры подчеркивается в поздней поэме «Мать»:

И голос твой мне слышался впотьмах,
Исполненный мелодии и ласки,
Которым ты мне сказывала сказки

О рыцарях, монахах, королях.
Потом, когда читал я Данта и Шекспира,
Казалось, я встречал знакомые черты:
То образы из их живого мира
В моем уме напечатлела ты.

Мать в его памяти и воображении предстает противоположностью отцу по отношению к детям: она пытается защитить детей их от жестокости и грубости супруга. Очевидно, и в этом отношении поэт в некоторой степени прав. Скорее всего, и к крепостным, и к собственным детям Алексей Сергеевич применял телесные наказания (что тогда было делом совершенно обычным); вполне возможно, что мать относилась к детям мягче, чем он. Безусловно, это ценилось детьми, хотя утверждать, что они однозначно предпочитали мать и ненавидели отца, было бы слишком смело. Отец, несомненно, любил их. Безусловно, его забота о семье касалась прежде всего материальной стороны жизни, но тем не менее оставалась заботой, и это не могло не ощущаться родными, в том числе и самим поэтом. Семья не была богатой, но никогда не испытывала нужды, во всяком случае о каких-либо материальных лишениях, чрезмерной скупости, жадности отца ничего не сообщают ни сам Николай Алексеевич, ни другие члены семьи. Видимо, однозначное распределение ролей (положительной и отрицательной) между родителями было совершено Некрасовым уже ретроспективно, в зрелом возрасте. В детстве же оба они, скорее всего, существовали в жизни Некрасова как два противоположных или как минимум несхожих начала, находящихся в относительном равновесии. И отец мог отдельными чертами личности быть не менее привлекателен для сына, чем мать.

Из других старших членов семьи можно упомянуть Степаниду Степановну Грановскую, двоюродную бабку Некрасова — бывшую крепостную, жившую в доме в Грешневе и ведшую домашнее хозяйство. Возможно, очень отдаленно именно ее образ отразился в стихотворении «Родина» в строках о крепостной няне. Там же остаток жизни прожил дядя Дмитрий Сергеевич (он скончался в 1832 году, когда будущему поэту было десять лет), женатый на бывшей крепостной Авдотье Федоровне. Второй брат отца, Сергей, видимо, в основном живший в Ярославле, умер в 1845 году. Ни тот ни другой дядья никак не отразились в воспоминаниях поэта — видимо, ничем не были ему интересны. Бывали в Грешневе и другие родственники: супруги Алтуфьевы приезжали для сбора оброка с принадлежащих им грешневских

крестьян; появлялась, несмотря на враждебные отношения с Алексеем Сергеевичем, и чета Певницких, и маленький Николай вполне мог их запомнить, в особенности колоритную фигуру интригана-землемера Ивана Ивановича.

Поскольку неизвестно, насколько хлебосолен был Алексей Сергеевич Некрасов, нельзя сказать, насколько частыми были гости в Грешневе, насколько шумным был дом Некрасовых. В поэме «Несчастные», где также принято видеть автобиографические черты, изображен барский дом, в котором часы тишины в отсутствие гостей были временем облегчения для всех домочадцев, однако никакого фактического подтверждения этому не имеется. Гости у Некрасовых, конечно, бывали; но ярких, запоминающихся личностей, которые могли бы оказать на будущего поэта сильное нравственное влияние, среди них, очевидно, не было, авторитет отца и матери не перебивался посторонними как минимум до гимназического периода его жизни.

Что касается младших членов семьи, то из них наиболее близка будущему поэту была старшая сестра Елизавета (о которой вследствие ее ранней смерти мы также знаем крайне мало[7]), разделявшая его литературные интересы и духовные стремления. Эта близость сохранилась или даже усилилась в юности. Самое раннее дошедшее до нас письмо Некрасова было отправлено в ноябре 1840 года из Петербурга именно ей. Оно написано в духе несколько высокопарной и литературной романтической исповеди: «Что делаешь ты, милая сестра? Что думаешь ты? Я знаю твою глубокую душу… твой взгляд на всё… а потому думаю, что тебе грустно, очень грустно в минуты немых бесед с собою… Я бы понял тебя, ты бы поняла меня, если бы мы были вместе…» Решившийся на такие излияния автор должен был быть уверен, что получит в ответ не насмешку, а сочувствие.

Со старшим братом Андреем, младшими Константином и Федором (родившимся в марте 1826 года, уже после переезда семейства в Грешнево) и сестрой Анной (в замужестве Буткевич) [8] особой дружбы и значимых отношений в детстве не было, хотя никто из них не помнил и крупных ссор. До конца жизни все они сохраняли приязнь друг к другу, хотя по-настоящему близкие отношения у Николая впоследствии сложились только с Анной. Ни у рано (в 1838 году) скончавшегося Андрея, ни у Федора каких-то серьезных культурных интересов не было в детстве и не развилось впоследствии. Только Константин Алексеевич в зрелом возрасте выступил в ярославской прессе в качестве поэта-любителя. Федор Алексеевич стихов не писал и вряд ли любил поэзию, но и он, и Константин, несомненно, уважали достижения

знаменитого брата. Никогда не писала стихов и Анна Алексеевна, что, впрочем, не помешало ей в более поздние годы стать горячей поклонницей творчества брата, его преданной помощницей и хранительницей литературного наследия.

Еще одной сферой, в которой также проходила жизнь Некрасова в детстве, была жизнь деревни, которая, по воспоминаниям, его постоянно притягивала. Сам Некрасов утверждал в конце своих дней: «Я постоянно играл с деревенскими детьми». А. А. Буткевич в воспоминаниях рисовала более детальную картину (видимо, со слов брата, а не по собственным впечатлениям): «За нашим садом непосредственно начинались крестьянские избы…. толпа ребятишек, нарочно избиравшая для своих игр место по ту сторону садового решетчатого забора, как магнит притягивала туда брата — никакие преследования не помогали. Впоследствии он проделал лазейку и при каждом удобном случае вылезал к ним в деревню, принимал участие в их играх, которые нередко оканчивались общей дракой. Иногда, высмотрев, когда отец уходил в мастерскую, где доморощенный столяр Баталин изготовлял незатейливую мебель, брат зазывал к себе своих приятелей. Беловолосые головы одна за друго[й] пролезали в сад, рассыпались по аллеям и начинали безразличное опустошение: от цветов до зеленой смородины и проч. Заслыша гам, старуха-нянька, приноровившаяся разом выживать «пострелов», трусила с другого конца сада, крича: «Барин, барин идет!» — и спугнутые ребята бросались опрометью к своей лазейке».

Эта дружба с крестьянскими ребятишками стала впоследствии одним из краеугольных камней хрестоматийного образа Некрасова как «народного поэта», и нет причин отрицать ее. Барчонок вполне мог играть с крестьянскими детишками, тем более что для этого не нужно было далеко ходить (деревня, как мы помним, начиналась прямо за забором помещичьего сада). Нет причины и видеть в этом факте что-то специфическое, какое-то раннее проявление «демократического инстинкта», впитанной с молоком матери любви к народу. Сословные разграничения, даже если они культивируются в семье, не играют для ребенка большой роли и до поры оттесняются на второй план различиями в возрасте, физической силе, ловкости, умении играть, находить развлечения и рассказывать увлекательные истории. Поэтому в самой тяге барского сына к детскому коллективу нет ничего особенного; такой опыт близкого общения с «народом» в детстве был у самых разных помещичьих отпрысков (например, он изображен в первой главе пушкинской «Капитанской дочки»).

Анна Алексеевна утверждала, что это общение с

крестьянскими детьми «было постоянным огорчением для нашей матери». Именно Елена Андреевна (а не отец, который, впрочем, если верить рассказам, также запрещал его) была недовольна, что ее сын играет с крестьянскими детьми. Видимо, эта деталь в воспоминаниях (верна она или нет, опять же нельзя утверждать) предназначена подчеркнуть не сословную спесь Елены Андреевны, а тонкость ее натуры, страх за ребенка, нежелание, чтобы он принимал участие в грубых забавах.

Таким был детский мир Некрасова. Очевидно, что это был мир достаточно маленький, как у всякого ребенка, но отчасти и открытый миру большому: через обучение, которое, несомненно, велось в доме Некрасовых (хотя о том, кто и чему учил детей в семье, сведений тоже нет), через наблюдения за дорогой и движущимися по ней людьми (и, возможно, беседы с кем-то из них), через общение со сверстниками из иной социальной среды. Детство Некрасова проходило в общении с крестьянскими детьми, с родителями, дававшими противоположные импульсы для развития и контрастные примеры для подражания, демонстрировавшими противоположные жизненные ценности и цели. В этом детстве были и поэтические, и грубые, и наверняка, по современным меркам, мрачные стороны. К последним можно отнести не раз описанные Некрасовым картины тягостного труда бурлаков, которых он видел на Волге, действительно представлявшей в тех местах особую трудность для прохождения судов. Однако можно полагать, что в раннем детстве Некрасову редко приходилось видеть эти сцены — всё-таки Волга была довольно далеко от имения, и вряд ли маленький ребенок мог часто самостоятельно добираться до ее берегов. Тем не менее великая русская река, несомненно, с детства вошла в жизнь Некрасова.

Всё это были разные стороны жизни дворянского ребенка, сына простого и грубоватого помещика средней руки и его более культурной и более утонченной супруги. До времени эти «ингредиенты» находятся под спудом, в ожидании того, какие из них понадобятся и реализуются в жизни и — в случае Некрасова — в творчестве. Только время и внешние обстоятельства определят, что из того, что его окружало, станет частью его поэзии. Если поэзия и заложена изначально в природе, отношениях с родителями и крестьянскими детишками, то это не значит, что она сразу отчетливо видна. Она будет увидена Некрасовым позднее — вовсе не в начале творческого пути. Долгое время он будет искать красоту и поэзию совсем в других местах, пока сама жизнь и литература не покажут ему, что самая высокая красота содержится именно здесь, во всём этом

заурядном окружении детства.

ГИМНАЗИЯ. МЕЧТЫ И ЗВУКИ

Между 24 августа и 1 сентября 1832 года в ярославскую гимназию была подана бумага: «1832 г. августа… дня, я, нижеподписавшийся, сим свидетельствую, что представляемые мною для обучения в ярославскую гимназию Андрей и Николай действительно мои дети; от роду имеет 1-й 12-ть, а 2-й 11-ти лет. В чем и подписуюсь — уволенный от службы майор Алексей Сергеев, сын Некрасов».

Этот документ обозначил резкое изменение в жизни старших сыновей Некрасовых. Как в семье решался вопрос о их учебе, неизвестно. Алексей Сергеевич, исходя из собственного опыта и семейной традиции, наверняка предпочитал военную карьеру статской; позднее сын Константин по достижении требуемого возраста будет определен в Московский кадетский корпус, Федора отец безуспешно пытался пристроить в Главное инженерное училище в Петербурге. В данном случае возобладало, видимо, представление матери о правильном образовании детей, предположительно, подкрепленное отсутствием у Николая какой бы то ни было склонности к военной службе (относительно его старшего брата в этом смысле ничего не известно). Естественно, выбор пал на ближайшую гимназию — в Ярославле. Поскольку Грешнево находилось в 20 верстах от него, новоиспеченным гимназистам пришлось переселяться в губернский город.

«Город Ярославль, — писал в своей знаменитой книге «Россия в 1839 году» путешествовавший по России французский маркиз Астольф де Кюстин, — столица одной из самых примечательных губерний во всей империи, заметен уже издалека, как и предместья Москвы. Подобно всем провинциальным городам в России, он обширен и кажется безлюдным. Обширность его — не столько от многочисленности обитателей и домов, сколько от огромной ширины улиц и площадей и оттого, что здания здесь обычно расположены далеко друг от друга, так что жителей почти и не видать. <…> Цветные и золоченые главы ярославских церквей, которых здесь немногим меньше, чем домов, видны путнику издалека, как и в Москве, но сам город менее живописен, нежели старая столица империи. Рядом с ним протекает Волга, и со стороны реки город заканчивается высоким, обсаженным деревьями набережным бульваром. Ниже этого широкого бульвара пролегает подъездной путь, спускаясь от города к реке и пересекая под прямым углом бечевую тропу. Этот необходимый для хозяйственных и торговых нужд путь не прерывает собой набережной, переходящей в красивый мост. Скрытый под

прогулочной аллеей, мост этот заметен лишь снизу; в целом получается недурная картина, которая имела бы внушительный вид, будь в ней еще и движение и свет; однако город, несмотря на свое торговое значение, настолько плосок, настолько правильно расчерчен, что кажется вымершим; в нем пусто, печально и тихо; впрочем, другой, сельский берег реки, который виден с набережной, еще более пуст, тих и печален».

Литератор и путешественник Павел Иванович Сумароков сообщал в фундаментальном труде с несколько легкомысленным названием «Прогулка по 12-ти губерниям с историческими и статистическими замечаниями в 1838 году»: «Волга здесь почти при начале своего течения, понижает свои берега, река Которосль, впадающая в нее у собора, мало видна, и местоположение редкой красоты сзади, над Волгою, внутри города есть обыкновенное. Со всем тем в нем дышит какая-то веселость. Ярославль лучше Нижнего, уступает преимущество над собою только Казани, Одессе, Риге и превосходит все прочие наши города. <…> Церквей 57, вдвое более Петербургского, и древнейшая из всех, против губернаторского дома, называется Св. Николая Найденского, как думать надобно, от имени строителя. <…> Середина города заключает в себе 577 каменных домов, какого количества нет даже в славной Казани, деревянные числом 2609 находятся в боковых улицах, отчего кажется, что весь Ярославль слит из камня. Жителей обоего пола 33 197. Город велик, имеет в длину до 5, в ширину до 4 верст. <…> В городе еще 5 богаделен и странноприимная, палата для бедных. <…> Улицы правильные, не все вымощены, и осенью бывает большая грязь».

Ярославль был в это время одним из наиболее богатых промышленных и торговых городов в России. Тот же Сумароков отмечал: «Купцы богаты, торгуют чужим хлебом, скотом… Фабрик в городе шелковых 3, делают атласы, сатен-тюрк, тафты, прочие ткани. Полотняных 2, бронзовых 1, купоросных 3, белил 3, колокольных 1, меди 1, кожевенных 1, свечносальных 3, табачных 3, уксусных 1, чугуннолитейных 2, красной мумии 1, суриковой 1 и канатных 1, лавок 813». На всю Россию славилась огромная ткацкая фабрика Яковлевых, к которой было приписано почти три тысячи крепостных душ. Реки не только создавали красивые виды, но и представляли образ кипучей торговой жизни: «Волга и Которосль весною сливаются вместе и потопляют места на дальнее расстояние. Они облегчают торговлю и доставляют большие выгоды. — Машины, расшивы, коломенки, барки, полубарки[9] разгружаются, нагружаются и проходят мимо до Рыбинска, далее по Шексне, Мологе до Саратова, Астрахани».

Хвалил Сумароков и общекультурный уровень жителей

Ярославля — во всяком случае, сливок его общества: «Посмотрите на здешние собрания, барышни хорошо воспитаны, одеты по тем же журналам, девицы скромны, любезны, мужчины образованны, вежливы. Хотите языков, и услышите разговоры по-французски не хуже ваших. В Ярославле можно забыть о Петербурге и Москве. — В вещах, даже прихотных, нет недостатка, расстояние 240 верст от Москвы и Волга способствуют этому. Стерлядей, других рыб, дичи в изобилии… Забав довольно, бульваров, считая с поперечными, 6, есть театр, играют охотники, приезжие актеры, есть дворянское собрание, клуб, сады. Летом дают в парке у заставы воксалы[10]; там дорожки усыпаны песком, в галерее музыка, танцы; густая зелень освещается плошками, разноцветными фонарями и прогуливаются толпами. Тут качели, разные игры… Осенью, зимою бывают у многих балы…» Имелась в Ярославле и своя газета: официальные «Ярославские губернские ведомости» издавались по инициативе министра финансов Егора Францевича Канкрина с марта 1831 года и до 1838 года оставались единственными провинциальными «ведомостями» в России (публиковались там в основном цены на разнообразные товары, сведения о предприятиях, торговых оборотах ярмарок, объявления о продажах и тому подобная информация). В первый же год издания газета имела более трехсот подписчиков (среди которых был, кстати, Сергей Сергеевич Некрасов). При этом, однако, еще в 1835 году ярославский житель жаловался, что в городе «нет общественной библиотеки, нет литературной газеты, нет постоянного спектакля».

Таким был Ярославль, провинциальный, но культурный и тянувшийся за столицей, богомольный и прагматический, временами наводящий уныние, временами веселый, чрезмерно просторный на взгляд иностранца, но скорее уютный для русского человека, — город, в котором Некрасову предстояло провести почти четыре года. Ходить по широким мощеным и немощеным улицам, смотреть на кипящую на воде и на пристани торговую жизнь, заходить в лавки, глазеть на гуляющих по набережной и на бульварах, посещать праздники, любоваться видом стрелки Волги и Которосли. Но всё-таки основное время должно было принадлежать гимназии. Мальчиков Некрасовых — Андрея и Николая — привезли в Ярославль в июле, до начала учебного года, поскольку им потребовалась подготовка к вступительным экзаменам в гимназию — видимо, те знания, которые были получены дома, не давали уверенности, что они легко поступят. В результате экзамены были сданы успешно, и оба брата поступили в первый класс. Поселились под присмотром крепостного дядьки на Вознесенской улице недалеко от самой

гимназии.

Первым делом необходимо было пошить форму. Замечательный исследователь жизни и творчества Некрасова Владислав Евгеньевич Евгеньев-Максимов так описывает ее: «С 1826 по 1834 год, то есть и в течение первых двух лет пребывания Некрасова в гимназии, форменная одежда состояла из сюртука и мундира синих, однобортных, с белыми гладкими пуговицами и малиновым воротником, а также из фуражки синей с малиновым же околышем. В 1834 году форма подверглась изменениям, состоявшим в том, что однобортные сюртуки были заменены двубортными, малиновые воротники красными, а белые гладкие пуговицы желтыми гербовыми». Одноклассник поэта Михаил Николаевич Горошков вспоминал: «Наружность Некрасова помню до сих пор хорошо, как живой стоит он передо мной: коренастый, небольшого роста, красивый по наружности, остриженный, в своем форменном однобортном со светлыми пуговицами и с красным воротником сюртуке».

Учебное заведение, в котором будущий поэт получал знания, не представляло собой ничего выдающегося. Порфирий Иванович Мизинов, преподававший в ярославской гимназии в 1880—1890-е годы, реконструировал ее облик того времени, когда в ней учился Некрасов:

«Ярославская гимназия помещалась в собственном двухэтажном каменном доме, стоявшем на месте нынешних Спасских казарм. На вывеске золотыми литерами были изображены слова: «Губернская гимназия».

Двор гимназический не предназначался для ученических прогулок в перемены, потому что, по воспоминаниям Горошкова, перемены были небольшие, такие, что учителя едва могли сменить один другого. В некоторые, например в царские[11], дни гимназический дом принимал торжественный, блестящий вид: канцелярская комната, директорские «камеры», «камеры классические» в эти дни освещались по окнам сальными свечками, по тротуарам горели десятками плошки.

В каждом классе, кроме длинных ученических парт, на которых сидело по нескольку учеников, помещался запиравшийся замком учительский стол и около березовый стул для учителя; в классах были с приделанными к ним ящиками классные доски, мел с которых стирался постоянно «фризом», или сукном; кроме этих больших досок, в классах для некоторых уроков (напр., латинского) были сделаны еще добавочные малые доски.

Классы иногда окуривались курительным порошком из медной курильницы; в одной из комнат висели стенные часы металлического устройства. Парадные сени освещались лампами,

в которых горело постное масло; в гимназии, наконец, кроме квартир и классных комнат, существовали еще отдельно физический и минералогический кабинеты и особая комната для рисования с крашеными стульями и особыми приборами для рисования больших картин».

В гимназии преподавались Закон Божий, низшая и высшая части математики, словесность, география, история, статистика, латынь, немецкий и французский языки, черчение и рисование. Затем к этим предметам прибавились логика, минералогия, зоология, физика, греческий язык. Поскольку на время учебы Некрасова в гимназии пришлась гимназическая реформа, по которой обучение из четырехклассного стало семиклассным (это никак не сказалось на программе), то после окончания первого класса братья были переведены сразу в четвертый.

Атмосфера в гимназии, видимо, была неплохая, о чем говорит наличие совместных мероприятий во внеурочное время, чаще всего представлявших собой прогулки за город и по Волге. М. Н. Горошков вспоминал: «Большей частью гуляли мы в Полушкиной роще. Соберутся, бывало, своекоштные (то есть содержавшиеся за свой счет. — *М. М.)* ученики, воспитанники Сиротского Дома (Дом призрения ближнего) со своим надзирателем, и все отправятся в рощу. Бегаем там, играем в лапту и в городки. Когда подходишь из Ярославля к роще, то поправее ее есть площадка, где и происходили игры. Тут, около площадки, помню, была сосна, которая долго существовала и после. Соберемся мы около этой сосны и стреляем в нее пулями из захваченных нарочно для этого из дому пистолетов. И теперь, если только цела она, то в ней сидит, вероятно, немало наших пуль. Гуляли мы и в осиновой рощице около берега Волги. Теперь у Полушкиной рощи уже нет этой осиновой заросли, вся она вырублена, и место расчищено, но в наше время она была еще цела. В рощу ездили мы иногда на лодках, которые брали у перевоза в Ярославле, иногда ходили туда пешком. Во время поездки в лодке распевали мы песни, самая любимая, помню, была:

Век юный, прелестный,
Друзья, пролетит,
И всё в поднебесной
Изменой грозит. <…>

Пели все, кто хотел и кто мог петь. На обратной дороге из рощи затягивали обыкновенно «Вниз по матушке, по Волге»…»

Случались во внеклассное время и коллективные побоища

между гимназистами и семинаристами, но только в первый год обучения Некрасова в ярославской гимназии. По свидетельству его соученика, тот с удовольствием участвовал в прогулках и других развлечениях. Он был неплохим товарищем, дружба с которым ценилась другими гимназистами: «Мы, товарищи, очень любили Николая за его характер и особенно за его занимательные рассказы: всё, бывало, рассказывает он нам эпизоды из своей деревенской жизни». Проблем во взаимоотношениях Некрасова с товарищами Горошков не запомнил.

Отношение Некрасова к учебе было иным. Поначалу, в первом классе, он превосходил старшего брата, учился достаточно усердно, мало пропускал занятия, и его оценки вполне порядочные. Тот же Горошков вспоминал: «В обоих братьях сразу бросалась в глаза большая разница: Андрей был вялого характера, часто казался он почти больным, учился по всем предметам плохо. Бывало, учитель российской словесности Туношенский спросит его заданный урок, а он флегматично отвечает: «Учил, да не выучил». Что же касается до другого брата, Николая, то он учился хорошо и часто сидел на первых партах. Ученики в то время ежемесячно рассаживались на места по успехам: кто был успешнее, того сажали в первые ряды. И Некрасов Николай, я помню, сидел около меня то на первой, то на второй парте». Однако в последующие годы он стал учиться намного хуже, сравнявшись в этом отношении с братом Андреем: оба были оставлены на второй год (а в пятом классе Николай оставался даже три года). Причиной, конечно, было отсутствие у ученика склонности к овладению знаниями и серьезных внутренних и внешних стимулов к достижению успехов в учебе. Видимо, отец не проявлял большой заинтересованности в результатах и не требовал от сыновей отличных оценок, относясь к образованию вполне формально. Видимо, и сама система гимназического обучения не стимулировала серьезное отношение Некрасова к образованию.

Это не значит, что ярославская гимназия была плохая — скорее средняя, обычная. Среди учителей встречались и персонажи вроде учителя греческого языка Миляева, который летом 1836 года был схвачен дозором полиции «за некоторые грубости, которые, вероятно, произошли оттого, что он находился не совсем в трезвом виде», и фигуры, подобные выпускнику Московского университета учителю географии и истории Павлу Марковичу Нечаю, о котором выпускники вспоминали с уважением и благодарностью.

Для Некрасова (как, впрочем, для любого ученика в это

время) гимназическая жизнь явилась первым опытом инициации, посвящения в верноподданные. Здесь он сталкивается не просто с дисциплиной, но с обязательными атрибутами и ритуалами: портретом государя на стене, необходимостью его прославления, официальными запретами на определенные высказывания и поступки. Ярославская гимназия была в этом отношении не хуже и не лучше любой другой гимназии Николаевской эпохи, в той же степени принуждала учеников к лицемерию, обычному для законопослушного подданного. Судя по характеру Некрасова, мальчик негативно относился к принуждению. Имело место и асоциальное поведение, хотя о каких-то его политических выходках в воспоминаниях ничего не сказано, и вряд ли они могли быть. Появилась, скорее, типичная ненависть к школьной премудрости и принципам поведения в учебном заведении и только косвенно — к той системе, порождением и воплощением которой была гимназия.

Асоциальное поведение проявлялось, конечно, в том, что называется шалостями, и в тяге к запретным удовольствиям. Об этом сохранился колоритный рассказ в воспоминаниях Авдотьи Яковлевны Панаевой (сама она относит происшествие ко времени перед началом учебы в гимназии, однако, скорее всего, он характеризует весь ярославский период жизни Некрасова): «Его мальчиком с братом привезли в Ярославль готовиться к поступлению в гимназию и поселили на квартире с крепостным ментором, который обязан был присматривать за ними, чтобы они аккуратно ходили в класс к учителю, и готовить им обед. Но крепостному ментору, после деревни, представлялось столько соблазнов в Ярославле, что он, не желая возиться с стряпней, выдавал мальчикам на руки тридцать копеек, оставляя на их произвол продовольствовать себя. Мальчики очень были довольны своим ментором и в свою очередь нашли лучшим, вместо ученья, с утра отправляться на загородные прогулки, запасаясь хлебом и колбасой, и до вечера не являлись домой. Но привольная жизнь крепостного ментора и его питомцев продолжалась недолго. Раз, вернувшись вечером с прогулки, мальчики пришли в ужас: их встретил отец, до которого дошли слухи о их привольной жизни. У крепостного ментора обе скулы были сильно припухши, и он был отправлен в деревню, а к мальчикам был приставлен другой ментор, тоже крепостной, но более старый и строгий. Они очень скоро подметили, что этот строгий ментор, уложив их спать, дозволял себе, после дневных трудов, выпить. Некрасов с братом вылезали из окна и отправлялись в трактир, где маркером был также крепостной их отца, отпущенный по оброку, и практиковались в игре на

биллиарде, быстро приобретали большие познания в ней, но зато в науках успехи их были очень плохие». Сам Некрасов уже в зрелом возрасте на письмо бывшего однокашника ответил: «Весьма вероятно, что обучались мы в Ярославской гимназии вместе. Впрочем, я, собственно, более предпочитал проводить время в попутном Царьградском трактире в игре на бильярде, поэтому и не помню моих товарищей тогдашних».

Другим видом «асоциального» поведения становятся литературные опыты Некрасова. В ярославской гимназии разного рода упражнения в сочинительстве приветствовались, однако неизбежно направлялись в ритуальное русло. Апофеозом этого творчества являлось составление и произнесение торжественных речей на гимназических торжествах. Соответственно поощрялись жанры, востребованные на подобных мероприятиях. Так, например, выглядит «Порядок торжественного акта 1834 года сентября 2-го дня»:

«Отделение первое

1. Музыка.

2. Г[осподин] старший учитель Милославов прочитает собственного сочинения речь о связи успехов в латинской словесности с успехами в прочих необходимых для образования науках.

Отделение второе

1. Музыка.

2. Ученик 5-го класса Бычков прочтет отрывок из речи профессора императорского] Московского] университета] Погодина об ученом сословии.

3. Ученик 6-го класса Щербатов прочитает своего сочинения русские стихи на тему: Освобождение Греции.

4. Ученик 5-го класса Розов произнесет краткую латинскую речь собственного сочинения.

5. Ученик 7-го класса Всесвятский произнесет на немецком языке своего сочинения рассуждение на тему: Von dem Nutzen der Erziehung[12].

6. Ученик 6-го класса Сретенский прочтет на французском языке собственного сочинения краткое рассуждение.

Отделение третье

1. Музыка.

2. Г[осподин] старший учитель Лебедев прочтет краткую историческую записку о состоянии ярославской гимназии и училищ за истекший академический год. Вместе с сим прочтено будет объявление об удостоенных перевода в высший класс и наград за отличие, а из окончивших курс об удостоенных выдачи аттестатов.

3. Благодарственная речь на русском языке сочинения ученика 7-го класса гимназии Шипина.

4. Музыка».

Речь ученика Шипина выглядела следующим образом:

«А вы, почтеннейшие наставники, с мудрою деятельностью и заботливою попечительностью отечески старавшиеся о благе нашем, вы, в сердце вашем твердо решившиеся сделать нас просвещенными и добрыми на пользу отечества, примите чистейшую жертву сыновней нашей признательности к великим неоцененным благодеяниям вашим. Вечная молитва о вас будет воссылаема к Богу из глубины благодарных сердец наших.

Любезные товарищи! Кто из нас не знает, сколь полезны и сколь необходимы для будущей нашей жизни те мудрые наставления, кои мы получили в сем месте нашего воспитания. Оканчивая ныне учение наше, в присутствии сего почтенного собрания дадим же торжественный обет проводить жизнь по спасительным советам наставников, к радости и утешению любезных родителей наших; дадим и другой, важнейший первого, обет посвятить себя самих — все наши силы и знания пользе и славе великого государя и любезного отечества нашего».

Как видно из этого примера, гимназическое «творчество» представляло собой в конечном счете упражнения в пустой и лицемерной риторике.

Таким был и предмет, преподававшийся в российских гимназиях под названием «словесность». Он включал в себя изучение грамматики, логики и риторики, переводы с иностранных языков на русский, чтение литературных произведений, признанных образцовыми, а также краткую историю русской литературы. В ярославской гимназии словесность вел Петр Павлович Туношенский. Он преподавал по знаменитой «Общей риторике» Николая Федоровича Кошанского — систематическому руководству по составлению правильных фраз, оборотов, к которому, судя по всему, относился с большим пиететом. Это сочинение, основывающееся на понятии норм и правил, которым должны соответствовать и речи, и литературные произведения, учившее гладко и правильно оформлять любую мысль, избегать всякой шероховатости и в конечном счете искусно лгать и лицемерить, оказалось неожиданно точно выражающим дух николаевского времени. Такое пособие скорее могло оттолкнуть человека искреннего от словесности как чего-то заведомо пустого, безжизненного и бесполезного, годящегося только для торжественных гимназических актов. Уроки, заполненные заучиванием правил, упражнениями в механическом придумывании сравнений, метафор, гипербол и прочих

классических риторических приемов, наводили тоску на гимназистов. Горошков вспоминает: «Раз в пятом классе был написан пасквиль на того же Туношенского. Он тогда преподавал риторику и логику (второе не соответствует действительности. — *М. М.)*. По первой было печатное руководство — «Риторика» Кошанского, по второй были у нас письменные заметки на основании объяснений учителя. На эти-то заметки, довольно трудные, неудобопонятные, и были написаны приблизительно такие стихи: «Туношенского наука — учить ее скука! Лучше в… сидеть и на сибирское золото глядеть, лучше вниз туда свалиться, чем Туношенского логике учиться!».

Однако Туношенский отчасти компенсировал архаичную манеру преподавания одним ценным качеством — он искренне любил литературу и поощрял учеников к литературному творчеству. Сохранилось несколько гимназических рукописных сборников, «отредактированных» им. В 1832 году, когда в гимназию поступили братья Некрасовы, Туношенский задумал издавать печатный литературно-художественный журнал для юношества «Муза Ярославля» с девизом «В честном и полезном ищи приятного». В составленной им программе журнала декларировалось:

«Побуждаемый одобрением некоторых любителей отечественного слова, советами многих друзей, а особенно — желанием почтенного начальника моего, лучшие сочинения моих учеников издаю ныне в свет под названием «Муза Ярославля»». <…>1. Журнал свой я посвящаю чистой нравственности, языку отечественному и достопамятностям Ярославля с его страною. <…> III. Начало моему изданию полагаю сочинениями ученическими — я сам еще учусь в новом деле и не хочу ни себя, ни читателей моих обманывать. Притом спешу тех моих воспитанников, кои дарованиями и успехами своими делали некогда удовольствие и честь не мне только, не одним наставникам, но и самому месту их образования, — порадовать лестным вниманием общества и вместе поощрить преемников их ревностью подражать похвальному их примеру и стараться простерть далее свое любочестие».

Замысел не был осуществлен — Туношенский сумел подготовить только один выпуск журнала.

Видимо, учитель стремился заинтересовать учеников поэзией и смог этого достичь, скорее всего, не своими объяснениями, примерами и упражнениями, а энтузиазмом, любовью к искусству слова. Вероятно, он и подтолкнул Некрасова сначала к чтению, а затем и к сочинению стихов. Однако учитель, пробудивший или укрепивший интерес мальчика к поэзии (если он возник у

Некрасова еще в до гимназические годы, о чем сведений нет, кроме упоминания о поздравительном стихотворении матери), не мог научить его разбираться в современной литературе. Критерии художественности, которые были заимствованы словесником у Кошанского, основывались на следовании норме и универсальным правилам как высшем достоинстве любого сочинения. Между тем в литературе уже наступала эпоха, когда бесконечно выше стали цениться оригинальность, «неправильность», индивидуальность. Подтолкнув Некрасова к чтению современной поэзии, Туношенский оставил его «беззащитным» — неспособным в ней разбираться.

Поскольку книжных лавок в Ярославле не было (печатная продукция, видимо, в очень скудном ассортименте продавалась вместе с другими товарами в лавке местного богатого купца Эраста Оловянишникова), а у гимназиста Некрасова вряд ли имелась возможность выписывать книги по каталогам в комиссионерских конторах (как это делали в провинции состоятельные люди, стремившиеся следить за литературными новинками и достижениями науки), источником умственной пищи для него была библиотека. В это время в ярославской гимназии было целых две библиотеки — «подвижная» и фундаментальная, в которой имелось 392 книги по «философии, российской и иностранной словесности», а также книги по истории, географии и статистике, естественной истории, физике, математике. Кроме этого, выписывались литературные журналы, в том числе популярные столичные «Библиотека для чтения», «Телескоп» и «Московский наблюдатель». У латиниста Ивана Семеновича Топорского, вспоминал сам поэт, он брал «Московский телеграф». Эти журналы и стали его излюбленным чтением. Некрасов читал их и в библиотеке, и прямо во время уроков, благо такая возможность в гимназии была. Как вспоминал учившийся в петербургской гимназии министр народного просвещения Александр Васильевич Головнин, «если ученик выучил по книге или тетради заданный урок и особенно если уже отвечал его, то всё время в классе мог заниматься другим предметом, как бы в отсутствии учителя». Так, по воспоминаниям Горошкова, поступал и его товарищ: «В классах Некрасов, бывало, всё сидит и читает…» Сам Некрасов вспоминал об учебе именно как о времени знакомства с поэзией: «В гимназии я… начал почитывать журналы».

Видимо, наиболее важным для него был ежемесячный журнал «Библиотека для чтения», начавший выходить в 1834 году, как раз в то время, когда у Некрасова появился первый интерес к поэзии. Редактором журнала был Осип Иванович Сенковский — заметная

и весьма неоднозначная фигура в литературном мире, образчик человека ученого, неглупого и небездарного, но при этом беспринципного, быстро присоединившегося к складывавшемуся в 1830-е годы «торговому» направлению в русской словесности. Характеризуя свой журнальный круг чтения, Некрасов наверняка имел в виду прежде всего «Библиотеку для чтения»: «Пушкин в журналах почти не попадался, за Бенедиктовым там шли печенеговцы (после огромного успеха первого сборника Владимир Бенедиктов с 1836 года постоянно публиковался в этом журнале, его стихи отсутствовали в других журналах, упомянутых Некрасовым. — *М, М.)*». При этом нарисованная поэтом ретроспективная картина не совсем верна: Пушкин немало печатался в «Библиотеке для чтения» в первые два года ее издания. Поначалу там появлялись и произведения Василия Жуковского, Дениса Давыдова, других первоклассных поэтов, а стихи Алексея Тимофеева или Ивана Гогниева служили лишь фоном. Постепенно, однако, Пушкин и Жуковский исчезают со страниц «Библиотеки», а их место занимают многочисленные эпигоны: В. Г. Бенедиктов, А. И. Подолинский, А. В. Тимофеев, И. Е. Гогниев, Е. Бернет и др. Это были сложные процессы, происходившие в столичной литературе. В провинции были известны только результаты этих процессов, а не их суть, и Туношенский, конечно, никак не мог сориентировать в ней юношу, увлеченного литературой и в особенности поэзией. Его уроки не могли дать противоядие от низкосортной литературы, научить отличать Пушкина от Бенедиктова и Жуковского от Подолинского. Видимо, именно так нужно интерпретировать некрасовские слова, что для него Пушкин и Бенедиктов были практически неотличимы. Понять, чем Пушкин лучше Бенедиктова, было, конечно, непосильно для начинающего поэта, а потому неудивительно, что более «яркий», громкий Бенедиктов и подобные ему стихотворцы привлекли Некрасова больше, чем Пушкин, у которого могло нравиться только то, что было внешне похоже на поэзию Бенедиктова. Можно, однако, сказать в защиту юного провинциального любителя поэзии, что в разгар популярности Бенедиктова и такие опытные столичные литераторы, как Петр Андреевич Вяземский, Андрей Александрович Краевский, Федор Иванович Тютчев, оценивали его творчество чрезвычайно высоко.

После уроков Туношенского учеников «от противного» тянуло именно к такой поэзии. «Риторика» Кошанского учила следовать разуму, принципам умеренности, сдержанности, простоты, ясности, избегать расплывчатых сравнений и поэтому ассоциировалась с гимназической дисциплиной, рутиной,

казалась руководством к составлению верноподданнических речей для торжественных церемоний, тогда как эпигонская вульгарно-романтическая поэзия изобиловала дерзкими образами. Например, начало стихотворения Бенедиктова «Горные выси» («Одеты ризою туманов / И льдом заоблачной зимы, / В рядах, как войско великанов, / Стоят державные холмы. / Привет мой вам, столпы созданья, / Нерукотворная краса, / Земли могучие восстанья, / Побеги праха в небеса!») наверняка показалось бы «галиматьей» Кошанскому и его ярославскому адепту, но для гимназиста выглядело как дерзкое нарушение набивших оскомину правил, проявление свободы. К тому же в таких стихах выстраивался образ лирического героя, «раздираемого страстями», дерзкого, бунтующего против чего-то, недовольного окружающим миром, титанической личности, спорящей с роком, мирозданием («О, дайте мне крылья! О, дайте мне волю! / Мне тошно, мне душно в тяжелых стенах!» — писал в «Библиотеке для чтения» Петр Павлович Ершов — поэт-эпигон, более известный современному читателю как автор сказки «Конек-Горбунок»). Всё это привлекало и выглядело свежим и освобождающим. Именно таким, а не почерпнутым из учебников Кошанского примерам хотелось следовать юному Некрасову, вступавшему на сочинительскую стезю.

С копирования вульгарно-романтической поэзии начинается собственное стихотворство Некрасова («что ни прочту, тому и подражаю»); образы ярославской природы, крестьянских детей, дороги, Волги с бурлаками, все впечатления детства пока не востребованы им, не кажутся достойными высокой литературы. Подражая Бенедиктову, Кукольнику, Подолинскому, Бернету, Некрасов в Ярославле включается в актуальный процесс, в своеобразную литературную революцию, приведшую в журналы, альманахи, издательства большие массы эпигонов, людей посредственных дарований, овладевших высоким «романтическим» лексиконом (сам Некрасов впоследствии назовет это явление «фразерством») и фактически заменявших литературу, поэзию, мысль их подобиями, имитацией, неизбежно лишенной самого важного. Циничный Сенковский охотно публично провозглашал гениями таких ничтожеств, как Тимофеев или Кукольник, и холодно говорил о Пушкине и Лермонтове. И в этом были своя логика и своя выгода. Такая поэзия легко подменяла конкретный протест абстрактным. Бороться с бурей или роком, бросать вызов грозе или волне существенно проще и безопаснее, чем бороться с положением вещей в стране. Если присмотреться, то фактически вся подобная поэзия в конечном счете вполне благонамеренна: бурные страсти легко сводятся к

смирению, к провозглашению покорности Богу, проповеди вполне убогой морали. Если за лермонтовскими стихами, его демонизмом и аморализмом угадывалась трагическая судьба «гонимого странника», ведущая его к подножию горы Машук, к гибели в 26 лет, то за стихами Бенедиктова была вполне успешная карьера чиновника. Коммерческая литературная промышленность легко делала выбор в пользу безопасной имитации, дискредитируя подлинную литературу. Это был не бунт, не протест, а нечто вроде гимназической «шалости» — волнующей, внешне дерзкой, но в конечном счете безопасной.

Трудно сказать, видел ли юный Некрасов изнаночную сторону той журнальной поэзии, которая завоевала его внимание и стала для него примером для подражания. Возможно, начинающий стихотворец интуитивно чувствовал ее «несерьезность». Его опыт усадебной и гимназической жизни совсем не включал в себя ничего похожего на борьбу с роком. Косвенно Некрасов признавал это в позднем и в большой степени автобиографическом романе «Жизнь и похождения Тихона Тростникова», в котором заглавный герой так характеризует свое раннее творчество: «…Ко всем дурным наклонностям, которые волновали мою бурную, необузданную юность, с некоторых пор присоединилась еще одна — именно страсть сочинять стихи. Чтение романов не имело на меня такого влияния, какое имеет оно над большею частию молодых, неопытных голов: я не сделался ни безотчетным мечтателем, который живет на земле только для того, что бренное тело его приковано к этой «юдоли плача». Я не сделался пламенным идеалистом, которые за множеством выспренних идей и высших взглядов забывают даже обедать; нет, романтическое настроение, к которому несколько настроило меня чтение романов, не заглушало во мне голоса жизни положительной; я всегда был более человек положительный, нежели мечтатель; фантазия моя, как бы широко и свободно ни разгулялась она, никогда не загащивалась в «туманной дали» долее того срока, который нужен человеку для сварения пищи: желудок напоминал ей очень исправно свои потребности, — и фантазировать натощак мне казалось делом до крайности неблагоразумным. Однако ж чтение романов развило во мне идеализм настолько, что одних ежедневных житейских мелочей мне казалось недостаточно для наполнения пустоты жизни, и я скоро почувствовал стремление к невещественным интересам: с детской доверчивостью к собственным силам принялся я писать стихи…»

С поправкой на то, что это признание сделано уже опытным человеком, относившимся к собственным юношеским опытам с

беспощадной иронией, можно констатировать, что Некрасов никогда не забывал, что это «всего лишь» поэзия, поверхность, никак не связанная с глубиной его жизни, его опытом, его личностью. Соответственно и собственное «вдохновение» нужно черпать не из жизни и подлинных переживаний, но опять же из литературы: «На что я ни жаловался в своих стихах: и на любовь, которой я не чувствовал и не мог по молодости лет чувствовать; и на измену друзей, которых не имел и настоящего значения их не понимал; и на холодность и жестокость «братий», которые обращали внимания на меня столько же, сколько на собаку, бессознательно лающую; и на «милую», которую подвергал проклятиям; мало того: я пел даже «деву неги», «восторги сладострастья», которых не чувствовал…» Некрасов занимается именно тем, чем всегда занимается эпигон: копирует в данном случае уже не «оригиналы», а их имитаторов, не только не пытаясь выразить собственное мироощущение в новых, оригинальных художественных формах, но и в формы уже готовые, созданные другими, влить свои подлинные чувства (такое бывает в литературе, когда сильный поэт выражает себя в сложившихся поэтических формах; пример — Лермонтов).

Результатом бурного процесса сочинительства стал ворох стихов: «Так к 15-ти годам составилась целая тетрадь». Впоследствии, уже после отъезда из Ярославля, она была издана под названием «Мечты и звуки». Не все стихотворения, вошедшие в сборник, были написаны в гимназическое время; исследователи продолжают спорить, какие созданы уже после приезда в Петербург. Вопрос этот трудноразрешим из-за отсутствия данных: практически не сохранилось автографов, в том числе и той самой легендарной тетради («Тетрадки с детскими упражнениями я уничтожил», — говорил поэт перед смертью); нет свидетельств и указаний на время и место создания конкретных стихотворений. В любом случае, если даже значительная часть текстов была написана уже в Петербурге, то в целом эта книга ярославская, своим духом и формой обязанная гимназическому чтению журналов.

Книжка состоит из сорока четырех стихотворений с названиями типа «Ангел смерти», «Горы», «Безнадежность», «Пир ведьмы» и т. п. Это образцовое эпигонское вульгарно-романтическое сочинение. Стихи не только наполнены штампами, которыми автор явно не всегда твердо владеет, допуская комические диссонансы («Невольно сурово глядишь на руину / И думою сходствуешь с нею вполне»; «Нет ни горести, ни страха / На блистательном челе. / То душа, со смертью праха / Отчужденная земле»). Книжка не только наполнена

экзотическими картинами, которые сам автор никогда не видел, а вычитывал из стихов других эпигонов («Они манят к той дивной стороне, / Где жизнь сладка, от звуков тает камень, / Где всё восторг, поэзия и пламень» или «Передо мной Кавказ суровый, / Его дремучие леса / И цепи гор белоголовой / Угрюмо-дикая краса»), но и по содержанию вполне эпигонская. Картины удивительных красот завершаются «философическими» раздумьями, представляющими собой преимущественно назидательно высказанные банальности («Жизнь без надежд — тропа без цели, / Страсть без огня, без искр кремень, / Пир буйный Вакха без веселий, / Без слез тоска, без света день»). Титаническая борьба со стихией («Вчера я бесстрашно сидел под грозою /И с мужеством буйным смотрел в небеса, / Не робостью кроткой — надменной мечтою, / Суровой отвагой горели глаза») выливается в благонамеренные сентенции (лирический герой просит смерть прийти за ним не тогда, «Когда душа огнем мучений / Сгорает в пламени страстей», а в тот момент, «Когда я мыслью улетаю / В обитель к горнему царю, / Когда пою, когда мечтаю, / Когда молитву говорю»).

Может быть, единственным проявлением оригинальности во всей «тетрадке» был принцип отбора тем для подражания. Так, у Некрасова совершенно отсутствует специфическая бенедиктовская «эротика» («Люблю я Матильду, когда амазонкой / Она воцарится над дамским седлом, / И дергает повод упрямой рученкой, /И действует буйно визгливым хлыстом. / Гордяся усестом красивым и плотным, /Из резвых очей рассыпая огонь…»). Практически нет у него и исторических сюжетов, которые любили эпигоны (возможно, юный поэт чувствовал себя здесь крайне неуверенно, имея в гимназии «тройку» по этому предмету). Пожалуй, можно увидеть некоторое проявление индивидуальности в предпочтении мрачного колорита, тем смерти и страдания, доминирующих в сборнике, в целом окрашенном довольно пессимистически. Мрачность эта тоже заимствована из журнальных стихов — и, конечно, не потому, что была созвучна струнам души молодого эпигона. Очевидно, она больше всего ассоциировалась у него с поэзией как таковой; задача стихотворца с самого начала представлялась ему не в том, чтобы радовать и выражать радость, но в том, чтобы изливать горечь и злобу, боль и отчаяние, гнев и обиду. Только в этом отношении «Мечты и звуки» можно считать далеким предвестием «настоящего» Некрасова.

ПРОВИНЦИАЛЬНОЕ ДАРОВАНИЕ В ПЕТЕРБУРГЕ

Неуспеваемость, вызванная полным отсутствием прилежания и какого-либо интереса к учебе, привела к закономерному результату. Сначала Николай остался в пятом классе на второй год, затем на третий, а начиная с июля 1837-го совсем перестал посещать занятия. 18 июля 1838 года Алексей Сергеевич Некрасов подал гимназическому начальству прошение: «Сын мой Николай, обучавшийся в ярославской губернской гимназии в 5-м кл[ассе], по расстроенному его здоровью, взят был мною для пользования в дом мой и продолжать науки в гимназии не мог; по выздоровлении же ныне я желаю определить его в Дворянский полк[13], потому покорнейше прошу выдать ему свидетельство о знании наук, коим он во время бытности в гимназии обучался, равно о поведении его. Подлинное подписал: помещик майор Алексеи Некрасов». Так, можно сказать, бесславно закончилось гимназическое обучение будущего поэта. Некрасов оставляет гимназию, не окончив пятый класс. Остается неизвестным, как, собственно, он провел целый год, в который, как значилось в выданном гимназией свидетельстве, совершенно не посещал занятий. Жил ли он в Грешневе (что более вероятно) или в Ярославле (что менее вероятно)? Знали ли родители, что сын фактически бросил учебу?

Можно лишь предполагать, как возникло решение отправить Некрасова в Дворянский полк. Видимо, фиаско со «статским» образованием сына дало возможность отцу «выступить вперед» и настаивать на образовании военном. Как уже говорилось, военная карьера была Алексею Сергеевичу понятнее и ближе. В николаевском государстве она к тому же была и наиболее выигрышной в смысле чинопроизводства и материального благополучия. Возможно, выбор именно петербургского (а не провинциального, которое обошлось бы дешевле) военно-учебного заведения был результатом некоторого компромисса между отцовским и материнским взглядами на способности и жизненные перспективы сына, и представлявшаяся возможность жить в столице должна была подсластить горькую пилюлю. Однако план изначально имел существенный изъян, сводивший его на нет, о котором А. С. Некрасов, возможно, не знал: в этом году набор в Дворянский полк не проводился.

Очевидно, Николай не имел выбора. Сказать, однако, что он ехал неохотно, было бы неверно. Скорее перспектива жизни в

Петербурге его привлекала и, не исключено, даже вызывала восторг. Но вызвано это было не предстоящей учебой. Он собирался стать в столице знаменитым поэтом — это поприще представлялось ему бесконечно более блестящим и доходным, чем военная лямка, которую полжизни тянул его отец. Поэтому тетрадка стихов, которую Некрасов брал с собой, казалась ему намного более важным средством достижения жизненного успеха, чем отцовские рекомендательные письма влиятельным особам. При этом, видимо, возможность стать известным поэтом твердо связывалась в сознании юного Некрасова с пребыванием в столице. Мыслей о каких-то других путях «войти в литературу» (например, отправить стихи по почте в петербургский литературный журнал) ему тогда в голову не приходило. Это связано со специфическим «провинциальным» представлением о литературе как роде занятий, которое сложилось у Некрасова в Ярославле: литературной жизни в городе практически не было, и начинающий поэт мог судить о ней только по образу литератора, создававшемуся в тех стихах, которые он читал в журналах и которым сам подражал. Как ни странно, в данном случае это был худший из источников информации. Литература всегда склонна мистифицировать собственный образ, представать перед читателем в идеализированно-возвышенном виде. И особенно активно этим занимались писатели-эпигоны, изображая литературную жизнь как подмостки для деятельности возвышенных гениев, составляющих бескорыстное братство избранных, живущих в сферах чистой поэзии. В этом фантомном мире присутствовали и бескорыстные восторженные поклонники искусства, и меценаты, готовые осыпать золотом художника или поэта и ради самого искусства, и ради того, чтобы быть запечатленными в его бессмертных стихах. Гений в этом мире способен приносить своему носителю не только «святые» порывы вдохновения, но и славу, и богатство. Главный герой «драматической фантазии» Нестора Кукольника «Джюлио Мости», напечатанной в 1836 году в пятнадцатом томе «Библиотеки для чтения», восклицал:

И Тасс не беден был: какие деньги
Через его переливались руки,
А он их пренебрег и стал несчастлив!
И Буонаротти был богат и счастлив;
Рафаэль Санцио богат и счастлив.

И кто не согласится, что богатство
Есть принадлежность настоящей славы

И знаменатель степени таланта?
Довольно! Я прозрел. Пойдем за славой!

Юный Некрасов стал жертвой этой мистификации. В его более поздних прозаических произведениях не раз описывается, как молодой провинциал, руководствуясь ложными представлениями о литературном мире, приезжает в Петербург, чтобы познакомиться со знаменитыми литераторами, обрести с их помощью покровителей, которые если не осыплют его золотом, то во всяком случае укажут дорогу к славе и богатству («всем известно, что Вальтер Скотт миллионы нажил писанием… Предположим, что не столь великое счастие мне поблагоприятствует, но пиит и половиною сего будет удовольствован…» — рассуждает герой его рассказа «Без вести пропавший пиита» Иван Грибовников). Эта ситуация, несомненно, автобиографична. Юному Некрасову представлялось невозможным стать литератором без того, чтобы попасть в Петербург, оказаться в центре литературной жизни. Только там жили гении, печатавшиеся в «Библиотеке для чтения», и спонсировавшие их меценаты.

Как ни странно, для Некрасова не был значимым вопрос, заслуживали ли его стихи славы и богатства. Скорее всего, он считал их хорошими, и они действительно были не хуже большинства других стихов, печатавшихся в «Библиотеке для чтения». Так же, как из-за Туношенского Некрасов не имел возможности справедливо судить о достоинствах стихов Бенедиктова и Пушкина, он тогда не мог объективно оценивать и качество собственной поэтической продукции. Согласно представлению о поэзии, сложившемуся у Некрасова в гимназии, чтобы быть гением, нужно не столько отличаться от других «гениев», сколько быть на них похожим, подражать их «высоким» мыслям, «глубоким» чувствам, сильным страстям. И в этом искусстве имитации, не имеющем ничего общего с настоящей поэзией, он вполне преуспел.

По сравнению с этой целью задача продолжить обучение не имела в глазах Некрасова большого значения. Отсюда *и* противоречия и несовпадения в поздних «показаниях» поэта, почему и в какой момент он предпочел Дворянскому полку Санкт-Петербургский университет. Мы полагаем, что, когда Некрасов узнал о решении родителей отправить его в Петербург, у него не было намерения нарушить волю отца. Скорее всего, молодой человек вообще не имел определенных планов на этот счет. Поступление в военное училище не сильно препятствовало бы

литературной карьере (например, позднее оно не помешало Дмитрию Минаеву и Алексею Суворину, кадетам того самого Дворянского полка, стать известными литераторами). Университет в то время не имел у Некрасова репутации храма науки и оплота свободомыслия и, конечно, не мог быть для провинциала настолько притягательным, чтобы тот еще в Ярославле решился нарушить волю родителей. Некрасов отправлялся в столицу «за славой», становиться знаменитым поэтом, остальное было окутано туманом.

Двадцатого июля 1838 года Некрасов выехал в Петербург, оставляя в Грешневе поредевшую семью: в 1835 году Константин поступил в Московский кадетский корпус, в январе 1838-го скончался от воспаления легких Андрей. С родителями оставались Елизавета (девица на выданье), Анна и Федор, о будущем которого родители уже начали задумываться. Некрасов отправлялся в огромный и совершенно незнакомый город без сопровождения отца и крепостных слуг. Либо отец доверял выросшему сыну, либо несколько несерьезно относился к его будущему, либо желал сбыть с рук уже вполне взрослого отпрыска, не получившего к семнадцати годам образования и засидевшегося дома без определенных занятий и без всяких перспектив. Если отец и знал о страсти сына к стихотворству, то вряд ли видел в нем фундамент для прочной карьеры.

«Путешествие наше было весьма неудобно. — Надобно было проехать около 800 верст, вылезая на каждой станции из телеги и перекладываясь в другую. Из всех зданий, сооружаемых человеком, самое непрочное, бесспорно, то, которое на скорую руку громоздит себе путешественник, едущий на перекладных. Едва успеешь уложить пожитки и обжиться на них поудобнее, едва найдешь положение, в котором тряскость телеги не слишком чувствительна, — как уже пространство, отделявшее станцию от станции, исчезло: надобно опять вылезать из телеги, перекладывать вещи, платить прогоны, ссориться с смотрителем и внимательно присматривать за теплым народцем, с подозрительным любопытством осматривающим ваши пожитки» — так описывает поездку из Ярославля в Петербург герой романа «Жизнь и похождения Тихона Тростникова». У Некрасова путешествие заняло примерно неделю. Около 27 июля он прибыл в столицу и поселился на Разъезжей улице у безымянного солдата во «флигельке». Улица находилась в центральной части города, тем не менее состояла в основном из деревянных домов (первый каменный был построен на ней в 1836 году). По требованию городских властей застройщики должны были окружать дома деревьями, поэтому улица была зеленая и, возможно, чем-то

напоминала Некрасову Ярославль[14]. До университета, находившегося на Васильевском острове, был примерно час ходьбы (молодым ногам, возможно, несколько меньше); до казарм Дворянского полка (Большая Спасская, дом 21) — семь верст (семь с половиной километров) — около полутора часов ходьбы. Рядом располагался Ямской рынок, минутах в десяти ходьбы — Литейный и Невский проспекты.

В общем, поселился Некрасов в довольно тихом месте, но одновременно недалеко от настоящего столичного Петербурга — с огромными домами, набережными, мостами, дорогими магазинами, красиво одетой публикой. На всё это молодой человек не преминул посмотреть в первые же дни пребывания в городе. Несомненно, что столица с самого начала произвела на Некрасова, до тех пор видевшего только Ярославль и, возможно, Кострому, огромное впечатление. Восторг юного провинциала от первого знакомства с Петербургом описан в поэме «Несчастные»:

…Воображенье
К столице юношу манит,
Там слава, там простор, движенье,
И вот он в ней! Идет, глядит —
Как чудно город изукрашен!
Шпили его церквей и башен
Уходят в небо; пышны в нем
Театры, улицы, жилища
Счастливцев мира…
. . . . .
Теперь гляди на город шумный!
Теперь он пышен и богат —
Несется в толкотне безумной
Блестящих экипажей ряд,
Всё полно жизни и тревоги,
Все лица блещут и цветут…

Какими были первые шаги Некрасова в Петербурге, установить непросто, во многом из-за того, что его собственные воспоминания изобилуют противоречиями. В столицу он приехал с двумя достаточно широкими и неопределенными целями: первая (известная отцу) — завершить образование, вторая — (неизвестная Алексею Сергеевичу или не воспринимавшаяся им всерьез) — стать поэтом и получить от этого славу и деньги. Несмотря на то что первая задача была для Некрасова второстепенной, он занялся сначала именно ею, возможно, руководствуясь здравым рассуждением, что стать поэтом можно в

любое время, а сроки приема в учебное заведение нельзя пропустить. Видимо, как Некрасов и утверждал, в первую очередь он посетил с рекомендательными письмами «жандармского генерала» Д. П. Полозова[15], а также остающуюся загадкой для исследователей дальнюю родственницу — «старуху Маркову». Возможно, что уже с рекомендацией от Полозова он побывал у знаменитого Якова Ивановича Ростовцева, командовавшего всеми военными учебными заведениями, «который принял его и сказал, что определить можно» (об этом последнем факте имеются сведения в воспоминаниях А. С. Суворина). Тем не менее в Дворянский полк Некрасов не поступил.

Этот момент представляет одну из ключевых вех некрасовской биографии, выстраивавшейся им самим. В подавляющем большинстве случаев Некрасов связывает его с собственной волей, решением поступить в университет, то ли появившимся еще в Ярославле («Надув отца притворным согласием поступить в Дворянский полк, я туда (в Петербург. — *М. М.)* поехал»), то ли пришедшим уже в столице. Нежелание поступать в военное училище вызвало, по утверждению поэта, гнев отца, отказавшегося содержать сына, нарушившего его волю (такой поступок легко согласуется с образом Алексея Сергеевича как «угрюмого невежды», «крепостника» и «домашнего тирана»). Эта версия конспективно изложена Некрасовым в автобиографических заметках 1872 года: «Отказ мой Полозову от Дворянского полку. Генерал написал брату, брат пожаловался отцу. Грубое письмо отца. Грубый мой ответ отцу, заключение его («Если Вы, батюшка, намерены писать ко мне бранные письма, то не трудитесь продолжать, я, не читая, буду возвращать Вам письма»). Похожую историю Некрасов рассказал молодому сотруднику «Отечественных записок» Сергею Николаевичу Кривенко («Отказавшись поступить в Дворянский полк, как того хотел отец, и начав готовиться в университет, я был лишен отцом денежных средств…») и ставшему его приятелем в конце жизни Алексею Сергеевичу Суворину («…Некрасову вдруг не захотелось в Корпус… отец не любил шутить с непослушным сыном и не стал присылать ему денег»).

Видимо, эти сообщения Некрасова нуждаются в корректировке. Как уже было сказано, набор в Дворянский полк в том году не проводился (о чем, вполне вероятно, Некрасов мог узнать только по приезде в Петербург). Скорее всего, это и была главная причина, по которой Некрасов в него не поступил, хотя, вероятно, вмешательство Ростовцева могло бы преодолеть даже такое препятствие. Начальник всех военных училищ был в силах также помочь поступить в другое учебное заведение. Однако само

это обстоятельство могло натолкнуть Некрасова на мысль использовать его как средство избежать военного училища. Едва ли не единственной альтернативой ему для обучения сына дворянина среднего достатка был университет. По сообщению редактора «Вестника Европы» Михаила Матвеевича Стасюлевича, мысль об университете подсказал Некрасову случайно встреченный в Петербурге соученик по ярославской гимназии Андрей Глушицкий, только что ставший студентом. Проблема была в том, что вступительные испытания в университете завершились и поступить в этом году не было никакой возможности. Как представляется, именно в этом обстоятельстве и кроется исток последовавшей драматической истории.

Вряд ли А. С. Некрасов был абсолютно непримиримым противником университетского образования. Если отбросить его мифические «самодурство» и деспотизм, он не имел для этого причин — в это время университет не только еще не был для молодых людей окружен тем ореолом храма науки, который приобрел стараниями блестящих московских профессоров в 1840-е годы, но и их консервативными родителями пока не воспринимался как «опасное» место, рассадник вольнодумства и крамолы — эту репутацию он приобрел существенно позднее. Скорее всего, против университета Алексей Сергеевич принципиальных возражений иметь не мог, тем более что его собственную волю — о поступлении сына в Дворянский полк — исполнить было невозможно. В воспоминаниях Валериана Александровича Панаева, знакомого с Некрасовым практически с самого его приезда в Петербург, утверждается даже, что отец знал о намерении сына поступить в университет и скорее был готов этому способствовать. «Тогда, — рассказывал Некрасов, — я объявил отцу, что не хочу учиться в гимназии, а хочу поступить в университет. Отец согласился отправить меня в Петербург, а не в Москву, потому что в Петербурге жила родственница, старуха Маркова. Дал мне пятьсот рублей ассигнационных и письмо к Марковой, чтобы она оказала покровительство его сыну и пристроила его для приготовления в университет». Этому рассказу тоже нельзя доверять безоглядно, но утверждение, что отец не только знал о желании Николая поступить в университет, но и не препятствовал ему, выглядит весьма правдоподобно.

Причина же конфликта заключается в том, что Некрасов решил не возвращаться в Грешнево, где он вполне мог готовиться к поступлению в университет на следующий год, а остаться в Петербурге. Когда биографы, говоря об этой истории, осуждают отца Некрасова за то, что он лишил сына средств к существованию, подразумевается, что он не давал Николаю денег

на учебу в университете, так сказать, отрезал ему дорогу к просвещению. На самом деле Алексей Сергеевич просто не желал, а возможно, и не мог оплачивать содержание в таком дорогом городе, как Петербург, сына, с его точки зрения, неизвестно чем занимающегося, по сути, праздного, о чем наверняка сразу сообщил ему.

Почему Некрасов не вернулся в родные места, а остался в Петербурге, имея 150 (или 500, что всё равно крайне мало для годичного проживания в столице) рублей ассигнациями и без надежды на дальнейшую помощь от отца? Очевидно, дело было не в подготовке к поступлению в университет. Уроки можно было брать, существенно дешевле, в Ярославле, у учителей ничем не хуже описанных им в воспоминаниях. Очевидно, что молодой провинциал рассчитывал добиться «славы и денег» на поэтическом поприще, а для этого ему нужен был Петербург.

Несмотря на то что образование было для Некрасова скорее второстепенной целью, Санкт-Петербургский Императорский университет его действительно привлекал. В июле следующего года он пытался поступить на факультет восточных языков и получил «единицы» (тогда «единица» была положительной оценкой) на экзаменах по библейской истории и катехизису, географии и статистике, всеобщей истории, русской истории и «тройку» по российской словесности. На экзамен по латыни он не явился (возможно, сделав неправильный вывод из обещания Петра Александровича Плетнева, тронутого бедственным положением молодого провинциала, к тому же начинающего поэта, походатайствовать за него в Совете университета). Набранные баллы не давали возможности поступления. Виноват был сам Некрасов: поступавшие одновременно с ним пятеро выпускников той же ярославской гимназии — Андрей Глушицкий, Юрий Пальмин, Аркадий Покровский, Павел Ильенков и Ильдефонс Коссов — получили на экзаменах вполне приличные баллы и были приняты.

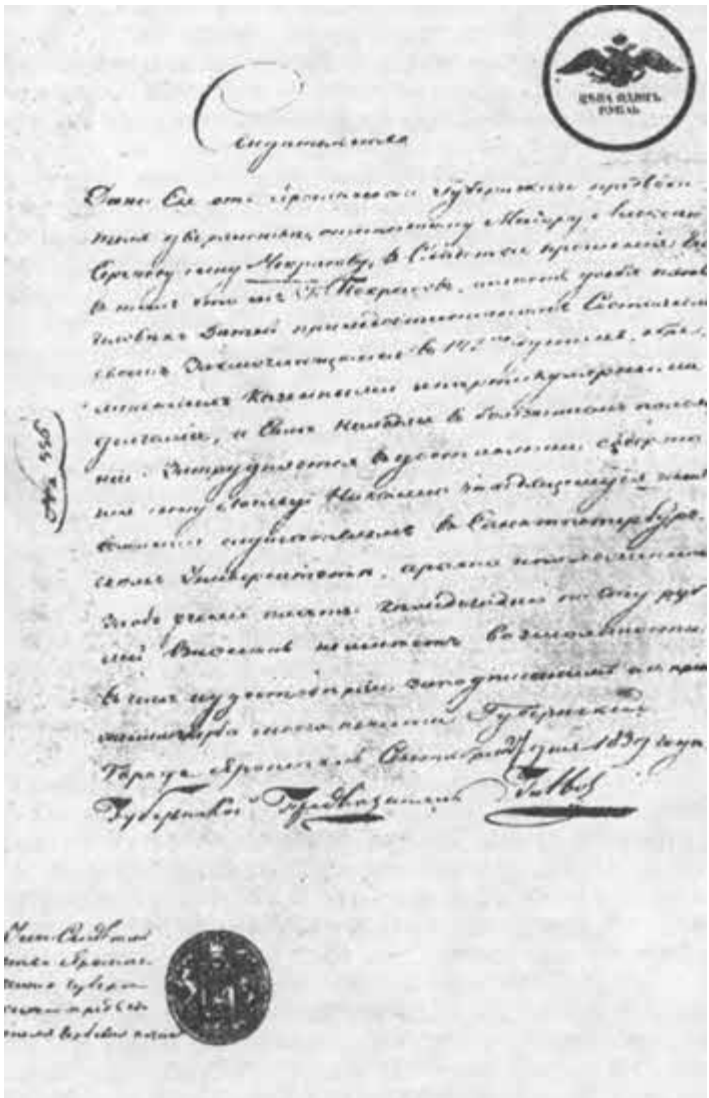
Некрасов, по его собственным словам, поддавшись убеждению Плетнева, 4 сентября подал прошение о принятии его вольнослушателем на философский факультет и после этого некоторое время ходил на университетские занятия. За право посещать лекции вольнослушатели платили 100 рублей ассигнациями в год. Такая сумма была, видимо, непосильна для юного Некрасова. Однако благодаря выданной по просьбе Алексея Сергеевича справке о неспособности оплачивать обучение сына — «свидетельству о бедности» (получение которого также подтверждает, что принципиальных возражений против университетского образования у старшего Некрасова не было) и,

видимо, покровительству Плетнева Некрасов был освобожден от уплаты этой суммы. Статус вольнослушателя давал возможность не только присутствовать на лекциях, но и сдавать экзамены и даже защитить по окончании учебы научную работу. Одновременно он освобождал студента от всякого контроля со стороны администрации. В следующем году Некрасов снова пытался поступить в университет в качестве обычного студента, но уже на юридический факультет. В этот раз он сдал экзамены существенно успешнее — получил по российской словесности пять баллов; по Закону Божьему и латинскому языку — по три; по логике, немецкому, французскому языкам, истории, арифметике — по два; по греческому языку — полтора; по географии и статистике, математике, геометрии — по одному; по аналитике и алгебре — ноль. Набранных баллов снова недоставало для поступления. Тем не менее вольнослушателем университета Некрасов продолжал числиться довольно долго — он забрал документы и был «уволен» 24 июля 1841 года. Видимо, потребность в систематических знаниях тогда так и не пробудилась.

Если к образованию Некрасов с самого начала относился легко, то существенно большую целеустремленность он проявил в отношении поэтической, литературной карьеры. Стремление попасть в круг литераторов, обрести сильных покровителей своего таланта было в нем в это время намного сильнее тяги к знаниям. И Некрасов быстро находит такую среду и начинает делать в ней определенные успехи. Конечно, единственный литературный круг, в который в это время Некрасов мог войти, — сообщество второразрядных писателей-эпигонов, подобных ему самому.

Здесь имело место везение, а точнее, случайность. Наряду с рекомендательными письмами к Полозову и к Марковой Некрасов, согласно воспоминаниям Матвея Авелевича Тамазова, востоковеда, дипломата и известного переводчика, имел подобное письмо и к бывшему смотрителю казарм лейб-гвардии Гренадерского полка отставному подполковнику Федору Федоровичу Фермору. Видимо, эта рекомендация, как и две другие, должна была, по замыслу отца Некрасова, помочь его сыну поступить в военно-учебное заведение. Остается неизвестным, что связывало Алексея Сергеевича с Фермором и в чем могла заключаться его помощь. Однако благодаря знакомству с ним Некрасов освоился в литературной сфере. Практически сразу после приезда в Петербург явившись в квартиру Фермора в доме 38 на Итальянской улице, Некрасов познакомился не только с хозяином, но и с его взрослыми сыновьями Павлом,

Александром, Николаем и Владимиром. Ферморы не имели серьезного влияния в сфере военного образования (только старший сын Федора Федоровича, Павел, преподавал в Главном инженерном училище), но зато любили литературу. Некрасов во время визита признался, что пишет стихи и в поэзии видит свое призвание, и тем самым вызвал у Ферморов интерес и сочувствие. Впоследствии члены этой семьи не раз поддерживали будущего поэта материально в трудный период борьбы за литературное признание; Некрасов некоторое время подрабатывал в пансионе Григория Францевича Бенецкого, женатого на дочери Марии. Павел Федорович даже помогал ему распространять тираж первой книжки среди кадетов Главного инженерного училища.



Свидетельство о бедности, представленное Некрасовым Фермора в университет. 1839 г.

Однако с самого начала наиболее близкие отношения сложились у Некрасова со средним из братьев Ферморов. Николай Федорович был колоритной фигурой; ему посвящены целых два литературных произведения — роман Феофила Матвеевича Толстого «Болезнь воли» и повесть Николая Семеновича Лескова «Инженеры-бессребреники». Он окончил в 1832 году Главное инженерное училище в Петербурге, служил в Варшаве, но не сошелся с местным начальством из-за неспособности брать взятки, был переведен в Санкт-Петербургскую инженерную команду, где продолжал служить в то время, когда познакомился с Некрасовым. Николай Фермор был человек благородный, кристально честный, при этом разочаровавшийся в окружающем мире, склонный к приступам тяжелой меланхолии, депрессии на грани серьезного душевного расстройства (впоследствии один из таких приступов привел его к самоубийству: летом 1843 года, когда их с Некрасовым пути уже разошлись, он бросился в море с корабля, на котором плыл за границу). Видимо, сама личность Николая Фермора произвела сильное впечатление на Некрасова — он вспоминал «приятеля» до самой смерти. Можно предположить, что объединяла их склонность к депрессии, видимо, уже тогда начавшая проявляться у Некрасова, хотя в стихах он и стремился ободрить Фермора и отвлечь его от грустных мыслей.

Сам Николай Фермор увлекался поэзией, был, по сообщению Лескова, поклонником Эдуарда Губера, автора мрачных стихов, намного более известного в истории русской литературы как талантливый переводчик, и сам писал эпигонски-романтические стихи. Так, в стихотворении «Я бы хотел!», обращаясь к возлюбленной (очевидно, такой же умозрительной, как воспеваемые в стихах юного Некрасова), Фермор высказывал желание «в туман преобразиться, / Чтоб пеленой своей тебя обвить», «Иль яростно могучею волною… на землю набежать, / В зыбучий дом унесть тебя с собою / И там с тобой разгульно вековать. / Или столпом ревущего волкана / Я бы хотел подняться к небесам».

Фермор имел связи в литературном мире и изъявил готовность ввести в него начинающего поэта. Едва ли не сразу после первой встречи с Некрасовым он представил его писателю,

ученому и литературному критику Николаю Алексеевичу Полевому. Это знакомство нельзя не признать огромной удачей для Некрасова. В том эпигонском литературном кругу, который мог стать питательной средой для начинающего поэта, Полевой был одной из наиболее влиятельных персон не только как прославленный литератор, но и как негласный редактор журнала «Сын Отечества», издаваемого известным книгопродавцем Александром Филипповичем Смирдиным. В романе «Жизнь и похождения Тихона Тростникова» Некрасов дает ироническое описание своего визита к знаменитости: «Журналист, человек среднего роста, в зеленом халате, зелено-серых чулках и старых калошах, из которых проглядывали голые пальцы (чулки были тоже худые), при моем появлении вскочил с своего места и начал низко раскланиваться, как купец из-за прилавка; при каждом поклоне он делал несколько шагов в правую сторону и на половине четвертого поклона очутился наконец подле меня. Лицо его было желто, как воск, и худо, как скелет крысы; волосы, средней величины, были всклокочены, а глаза сверкали, как мне тогда показалось, огнем байроновского отчаяния». Эта ирония, конечно, вызвана давно изменившимся отношением к Полевому и самого Некрасова, и той части литературного мира, к которой поэт принадлежал в зрелые годы. В то время, когда Николай Фермор привел юного дебютанта к маститому литератору, тот вынужденно находился в кругу одиозных Фаддея Булгарина и Николая Греча, успев написать верноподданническую пьесу «Дедушка русского флота», за которую получил от Николая I бриллиантовый перстень. В 1838 году это не могло скомпрометировать Полевого в глазах юного провинциала, для которого он представлялся фигурой недосягаемой высоты и значимости.

Полевой был намного более сложной личностью, чем его тогдашние соратники и соперники Булгарин, Сенковский и Греч. Еще совсем недавно он был участником наиболее актуальных событий литературной жизни. С 1825 по 1834 год полный тезка Некрасова вместе с братом Ксенофонтом издавал один из наиболее ярких русских литературных журналов «Московский телеграф», в котором печатались такие замечательные поэты и прозаики, как П. А. Вяземский, Е. А. Баратынский, В. К. Кюхельбекер, В. И. Даль, А. Ф. Вельтман, А. А. Бестужев (Марлинский), В. Ф. Одоевский. Журнал поднимал на щит тогдашнюю новинку — романтизм, который только ко времени литературного дебюта Некрасова превратился в обветшалое прибежище эпигонов. Сам Полевой оставил образцы ультраромантической прозы: роман «Клятва при Гробе

Господнем», повести «Абадонна», «Живописец», «Эмма» и др. Всё это, однако, касается «донекрасовской» эпохи. В 1834 году Полевой напечатал в «Московском телеграфе» отрицательную рецензию на вызвавшую одобрение императора пьесу Н. В. Кукольника «Рука Всевышнего Отечество спасла». За подобную дерзость журнал был навсегда закрыт, Полевому запрещено заниматься издательской деятельностью, печатать произведения под своим именем. Запрет действовал недолго, однако Полевой был сломлен. Обремененный долгами, обширной семьей, едва сводящий концы с концами, несмотря на многочисленные приработки, по возвращении к литературной деятельности он перешел в стан Булгарина — Греча. Оказавшись в центре эпигонской литературы, он понизился в ранге как литературный критик и журналист; литература подлинная, первоклассная проходила мимо, встречая враждебность в кругу, к которому он теперь принадлежал.

Однако нельзя не признать, что вступление в ряды эпигонов было для него органично. Даже на вершине своей славы Полевой был не оригинальным писателем и ученым, а подражал сделанному раньше, просто делая это быстрее других, беря за образцы по-настоящему актуальные, новые явления в европейской и русской литературе. Провозглашая в своих романтических трудах оригинальность как высшее требование литературы, Полевой на деле считал нормой воспроизведение чужого. Поэтому «журналист» благосклонно отнесся к молодому поэту, чьи стихи были не лучше, но и не хуже других и похожи на всё, что печаталось в журналах, а следовательно, воплощали более или менее актуальные литературные тенденции.

Полевой практически молниеносно напечатал стихотворение Некрасова «Мысль» в десятой книжке «Сына Отечества», видимо, по собственному выбору:

«Журналист взял мою тетрадь, развернул наудачу и начал читать про себя. Сердце мое сильно забилось; я думал, что от приговора журналиста будет зависеть судьба всей моей будущности. «Прекрасно! прекрасно!» — сказал наконец журналист и начал читать вслух одно из моих стихотворений, где описывалась ночь, озаряемая полной луною, и пр.

— Хорошо, почтеннейший, а сколько вам лет?

— Шестнадцатый год, — отвечал я.

— Очень хорошо. Я непременно напечатаю одно из ваших стихотворений».

К стихотворению было сделано примечание: «Первый опыт юного, 16-тилетнего поэта». Впоследствии Некрасов признавался, что был чрезвычайно доволен этим примечанием и особенно

самим фактом появления своего произведения в печати: «Забуду тот нелепый восторг, который заставлял меня бегать, высуня язык, когда я увидел в «Сыне Отечества» первое мое стихотворение, с примечанием, которым я был очень доволен». В следующем, ноябрьском номере «Сына Отечества» были опубликованы еще два стихотворения из некрасовской тетради — «Безнадежность» и «Человек». В 1839 году Полевой продолжал печатать стихотворения Некрасова в редактируемом им журнале. В первом номере было опубликовано стихотворение «Смерти», в шестом (вышедшем в свет в сентябре) — «Изгнанник», возможно, написанное уже в Петербурге (в журнальной публикации оно посвящено Н. Ф. Фермору).

В течение 1838 года Некрасов не раз посещал Полевого (о чем свидетельствуют записи в дневнике последнего), несомненно, относился к литератору с большим пиететом и с уважением внимал его суждениям и советам. В том, что на протяжении не менее полугода Полевой выступал в роли покровителя и литературного наставника начинающего поэта, сомнений быть не может. Однако содержание их бесед неизвестно. Какой мудростью мог поделиться с честолюбивым дебютантом литературный инвалид? В любом случае несомненно, что направить начинающего стихотворца на настоящий поэтический путь он способен не был.

Полевой, сохранивший многочисленные знакомства и пользовавшийся авторитетом как у начинающих, так и у маститых писателей, видимо, ввел Некрасова в более широкие литературные круги. В его доме бывали не только разнообразные эпигоны, но и серьезные литераторы: кавалерист-девица Надежда Дурова, начинающий водевилист Федор Алексеевич Кони, Николай Иванович Надеждин, Сергей Николаевич Глинка, Иван Иванович Панаев и многие другие. Видимо, эти знакомства также пошли на пользу Некрасову. В 1839 году в газете «Литературные прибавления к «Русскому инвалиду», редактировавшейся А. Ф. Воейковым и А. А. Краевским, были напечатаны стихотворения «Моя судьба» (в № 12), «Два мгновения» (в № 14) и «Рукоять» (в № 25). Попал Некрасов и в так много значившую для него «Библиотеку для чтения»: в седьмом номере за тот же год здесь было опубликовано его стихотворение «Жизнь».

На первый взгляд результаты деятельности Некрасова по обретению своего места в литературе в 1838–1839 годах выглядят впечатляюще. Он напечатал в столичных изданиях, считавшихся серьезными, восемь стихотворений, а значит, уже имел право носить звание поэта в, так сказать, профессиональном значении этого слова[16]. Некрасов получил покровительство знаменитого и

влиятельного литератора, обзавелся знакомствами, стал вхож в редакции журналов, даже получил «своего» заинтересованного критика в лице Федора Николаевича Менцова, в седьмом номере «Журнала Министерства народного просвещения» за 1839 год назвавшего его стихотворения произведениями «не первоклассного, но весьма замечательного дарования».

На деле за всем этим крылось настоящее поражение. Ничто из достигнутого не приносило не только богатства, но и просто средств к существованию. Обретенный покровитель Полевой сам обретался в нужде и не мог указать пути к богатству. Никаких вельмож-меценатов, стремившихся осыпать золотом молодого поэта за его гениальность или готовность прославить их своей лирой, не было видно. В Николаевскую эпоху институт покровительства искусству был разрушен, аристократия утратила интерес к литературе и не испытывала большого желания быть прославленной в каком-либо журнале. Знаменитый баснословно щедрый книгоиздатель Смирдин сам испытывал материальные трудности и даже Полевому уже не мог платить былые гонорары. Жить же только на заработки от поэзии такого типа, который культивировал Некрасов, было нельзя. Практически все те поэты, стихами которых он упивался в Ярославле, читая «Библиотеку для чтения», включая блистательного и сверхпопулярного Бенедиктова, зарабатывали на жизнь вполне прозаически, на государственной службе, усердно делая карьеру.

К сожалению, эту простую правду литературной жизни Некрасов узнал на собственном опыте. Неизвестно, сколько платили ему те журналы, в которых он печатался в эти годы; очень вероятно, что не платили вовсе, но если и платили, то сущие гроши. Ни в какое учебное заведение, которое могло бы предложить ему стипендию, хотя бы незначительную, он не поступил. Петербург — дорогой город, даже если, экономя на извозчиках, ходить пешком. Привезенные из Ярославля деньги быстро кончились, причем в самое неподходящее время — поздней осенью, которая в Петербурге особенно неприветлива к нерасчетливым приезжим. Сохранилось несколько записей рассказов Некрасова об этом едва ли не самом драматическом периоде его жизни. Наиболее выразительный и подробный звучит так:

«Задолжал я солдату на Разъезжей 45 рублей. Стоял я у него в деревянном флигельке. Голод, холод, а тут еще горячка. Жильцы посылали меня ко всем чертям. Однако я выздоровел, но жить было нечем, а солдат пристает с деньгами. Я кое-как отделываюсь, говорю, что пришлют. Раз он приходит ко мне и начинает ласково: «Напишите, что вы мне должны 45 руб., а в

залог оставляйте свои вещи». Я был рад и сейчас же удовлетворил его просьбу. Ну, думаю себе, гора с плеч долой. Отправляюсь к приятелю на Петербургскую сторону и сижу до позднего вечера. Возвращаюсь домой вдоволь наговорившись и совершенно уверенный в том, что солдат меня не скоро теперь потревожит. Дворник пропустил меня с какой-то улыбочкой: извольте мол, попробуйте итти. Подошел я к флигельку и стучусь. «Кто вы?» — спрашивает солдат. — «Постоялец ваш, Некрасов», — отвечаю. — «Наши постояльцы все дома», — говорит. «Как, говорю, все дома: я только что пришел!» — «Напрасно, говорит, беспокоились: вы ведь от квартиры отказались, а вещи в залог оставили…»

Что было делать? Пробовал бедняга браниться, кричать — ничто не помогло, солдат остался непреклонен. Была осень, скверная, холодная осень, пронизывающая до костей. Некрасов ходил по улицам, устал страшно и присел на лесенке одного магазина; на нем были дрянная шинелишка и саржевые панталоны. Горе так проняло его, что он закрыл лицо руками и плакал. Вдруг слышит шаги. Смотрит — нищий с мальчиком. «Подайте Христа ради», — протянул мальчик, обращаясь к Некрасову. Старик толкнул мальчика: «Что ты? не видишь разве, он сам к утру окоченеет».

— Чего ты здесь? — спросил нищий.

— Ничего.

— Ничего, ишь гордый! Приюту нет, видно. Пойдем с нами.

— Не пойду. Оставьте меня.

— Ну, не ломайся. Окоченеешь, говорю. Пойдем, не бойся, не обидим.

Делать нечего — пошел. Пришли они в 17-ю линию Васильевского острова. Теперь этого места не узнать, всё застроено. А тогда был один деревянный домишко с забором и кругом пустырь. Вошли они в большую комнату, полную нищими, бабами и детьми. В одном углу играли в карты. Старик подвел его к играющим.

— Вот грамотный, а приютиться некуда. Дайте ему водки, иззяб весь.

Некрасов выпил полрюмки. Одна старуха постлала ему постель, подложила под голову подушечку. Крепко уснул, а когда проснулся, в комнате никого не было, кроме старухи».

Этот случай, конечно, был тяжело пережит молодым человеком, однако всё-таки остался эпизодом. На дно жизни Некрасов не опустился. Для этого не было по-настоящему серьезных причин. Литература в то время давала возможность не умереть с голоду, конечно, при отказе от амбиций и готовности много работать и писать при этом по-другому и о другом, в

непрестижных жанрах. Переводы, переделки, рецензии, заметки и другая литературная продукция пользовались спросом благодаря росту популярности журналов, характерному как раз для тех лет, когда Некрасов явился в Петербург. Он хотел вступить в литературный мир, в котором богатые меценаты осыпают золотом воспевающих их поэтов, представляющих собой братство избранных сынов гармонии. В реальности ему пришлось познать другую сторону, изнанку литературной жизни, напоминающую толкучий рынок, где способные к литературным занятиям люди всех возрастов и сословий пытаются продать издателям и редакторам свою продукцию. Некрасов был вынужден адаптироваться к рыночным условиям.

Видимо, возможность первого литературного заработка (помимо гонорара за стихотворения, если таковой был выплачен начинающему поэту) предоставил Некрасову тот же Полевой, который проявил сочувствие к молодому провинциалу и направил его по примерно тому же пути, которым сам давно был вынужден идти, чтобы прокормить большое семейство. «Ради ли одного приличия, или в самом деле из участия, журналист подробно расспросил меня об моем положении и, узнав, что я приехал в Петербург учиться, очень хвалил мое намерение. Он также вызвался помочь мне в средствах к содержанию и предложил было мне сделать опыт перевода» — сказано в «Жизни и похождениях Тихона Тростникова». В романе главный герой вынужденно отказывается от предложения «журналиста», поскольку не знает французского языка; в автобиографии же Некрасов признаёт, что заработок у Полевого имел: «Н. Полевой… дал мне работу, [я] переводил с французского, писал отзывы о театральных пьесах, о книгах. Ничего о них не зная, ходил в Смирдинскую библиотеку-кабинет, бирал кое-какие материалы, и заметки [с]оставлялись. Так я писал и сам учился». Возможно, подобный заработок давал ему уже в 1839 году Осип Сенковский — в его «Библиотеке для чтения» были напечатаны критические заметки Некрасова о текущей литературе[17]. Видимо, этих заработков не хватало, и Некрасов пробовал себя в еще более «низком» окололитературном труде: по собственным воспоминаниям, он придумал сочинять «забавные стишки» для купцов-гостинодворцев и продавал их за небольшие деньги.

Некрасов недолго задержался в «углах». Доброта Полевого, не раз засвидетельствованная современниками, простерлась так далеко, что в конце ноября — начале декабря 1838 года Некрасов даже жил в его квартире. В декабре он переселился на квартиру профессора Санкт-Петербургской духовной семинарии Дмитрия Ивановича Успенского (в 6-м квартале Рождественской части, в

доме купца Трофимова у Малоохтинского перевоза), с которым его познакомил, несомненно, Полевой и который за небольшую плату не только предоставил жилье, но и взялся подготовить Некрасова к университетским экзаменам по латыни и древнегреческому языку[18]. Из-за возникших разногласий после неудачного экзамена в университете Некрасов в сентябре 1839 года покинул Успенского и переселился на Васильевский остров, видимо, в чрезвычайно бедную квартиру. Оттуда его в середине октября «забрал» пораженный нищенской обстановкой молодой художник и музыкант Клавдий Андреевич Данненберг, сам человек небогатый, и поселил у себя на 2-й линии Васильевского острова, в доме 132. С Данненбергом у Некрасова сложились приятельские отношения, и они делили жилье (несколько раз переезжая, но не покидая Васильевского острова) до мая 1840 года.

Новый приятель оказался не только добрым, но и предприимчивым, судя по всему, под стать Некрасову: совместно они замышляют целый ряд вполне «торговых» проектов, сведения о которых мелькают в письмах Данненберга. Проекты эти, с одной стороны, выглядят прожектерскими, наивными, чем-то напоминая первоначальное намерение Некрасова разбогатеть на романтической поэзии; с другой — практическими, соответствуют «торговому» духу новой эпохи: издавать альманах, написать оперу «Испанка» (Данненберг — музыку, Некрасов — либретто). Ни один из них не осуществился, и иного заработка, кроме поденной журнальной работы, у Некрасова в ранние петербургские годы не было. Жизнь в бедной квартире, в складчину, когда они с Данненбергом имели на двоих одну пару сапог и плащ (если один приятель выходил в город, второй был вынужден сидеть дома), имела характер и веселой и вольной богемы, скорее всего не чуждой и любовных историй, о которых сохранились только смутные намеки, но одновременно и борьбы за существование, на грани голода.

Так жизнь Некрасова зимой 1838/39 года и до конца 1839-го как бы раздваивалась: с одной стороны, шли публикации романтических стихов, претендовавших на звание «серьезной» литературы, а их автор — на место в каком-то умозрительном несуществующем пантеоне «гениев»; с другой — средства к существованию добывались литературной спекуляцией, мелкой журнальной работой, ничтожными и даже отчасти постыдными литературно-коммерческими предприятиями. Эта раздвоенность, однако, не представляла психологического парадокса, поскольку две стороны некрасовской деятельности подчинялись строгой иерархии: приоритетной была высокая поэзия, а журнальная

поденщина и мелкая литературная торговля — второстепенными, ничего не значащими для самого поэта.

Самоощущение Некрасова в это время легко укладывалось во вполне освоенную романтизмом модель: начинающий поэт, подающий надежды гений, вынужденный временно зарабатывать на жизнь способами, недостойными его таланта и будущего значения в литературе. Ответственность за такой эпизод в жизни питомца муз, вынужденного марать руки грязной работой, возлагалась, естественно, на черствую публику, «толпу», неспособную разглядеть замечательный талант и почитающую гениев уже в могиле (такие мотивы останутся в поэзии Некрасова вплоть до времени работы над поэмой «Несчастные»). Несомненно, что примерно так (по-разному, конечно, оценивая степень его гениальности и по-разному видя его будущие успехи) воспринимали Некрасова и все те, кто в это время ему покровительствовал или помогал: Ферморы, Бенецкий, Полевой, Данненберг, присоединившийся позднее всех к этой группе профессор Петербургского университета Петр Александрович Плетнев, помогший Некрасову после провала на экзаменах закрепиться при университете. Они видели в Некрасове романтического поэта, которого нужно поддержать, пока его муза не начнет приносить материальные плоды.

Соответственно, занимаясь мелким литературным заработком, Некрасов не оставлял планов поэтической карьеры. Видимо, закономерным шагом на этом пути после журнальных публикаций ему казалось издание своих стихотворений отдельной книгой. Такое решение Некрасов принимает, скорее всего, в июне 1839 года. Сам он позднее утверждал, что сделал это по совету Бенецкого, обещавшего распространить книгу в Дворянском полку и Пажеском корпусе. Не исключено, что так и было; вероятно, некоторые его «поклонники» были готовы поддержать его после выхода книги, недаром Данненберг утверждал, что Некрасов знаком со всеми «главными критиками».

Издателя, желающего опубликовать книгу стихов никому не известного (вопреки его собственным представлениям) дебютанта, конечно, найти было невозможно, нужно было издавать за свой счет. Возможно, именно это обстоятельство обусловило довольно долгий путь сборника до выхода из печати: цензурное разрешение на издание книжки под названием «Стихотворения Н. Некрасова» было получено 25 июля 1839 года, 8 августа Некрасов забрал рукопись из цензуры (эта задержка была вызвана, видимо, университетскими экзаменами), а отпечатан в листах (то есть не сброшюрован, поскольку перед этим нужно было пройти еще один этап цензурных мытарств —

получить билет на издание, которым подтверждалось, что отпечатанная книга полностью идентична рукописи, на публикацию которой было дано разрешение) он был только в январе 1840-го. В этот момент книжка уже носила название «Мечты и звуки». 14 февраля 1840 года сборник, наконец, увидел свет, претерпев еще одно изменение: вместо полного имени автора книга была подписана инициалами «Н. Н.».

Воспоминания о мотивах издания этой книги у Некрасова затемняются, искажаются позднейшим взглядом, в котором описанная выше иерархия давно была перевернута: стремление зарабатывать деньги тяжелым, пусть и грязным трудом для него давно станет выше (как специфическое проявление «привычки к труду благородной»), чем поза «баловня свободы» и «друга лени», творящего в отрыве от земной «суеты». Поэтому и издание сборника «Мечты и звуки» в поздних рассказах Некрасова предстает как попытка поправить материальное положение. Некоторые основания для этого были: сам поэт, его друзья и благожелатели немало сделали, чтобы хотя бы оправдать затраченные на издание средства: устраивали подписку, продавали книжку «по билетам», распространяли через знакомых и подчиненных.

Конечно, издание дебютного сборника бесконечно превосходило по значимости всё, чем занимался Некрасов в это время. И, конечно, это не был проект, рассчитанный на материальную прибыль, — для этого делались переводы, писались стишки для гостинодворцев, замышлялась опера «Испанка». Сборник как бы принадлежал другому миру — миру гениев их восторженных поклонников-меценатов, от которого Некрасов еще не отрешился в своих мечтах, в который он попытался вступить. Это была игра совсем по другим правилам, чем те, что господствовали в мелкой журналистике. Именно уверенностью в существовании таких правил обусловлен его знаменитый визит к Василию Андреевичу Жуковскому с еще не вышедшей из печати книжкой. Сам Некрасов вспоминал об этом:

«Я стал печатать книгу «Мечты и звуки». Тут меня взяло раздумье, я хотел ее изорвать, но Бенецкий уже продал до сотни билетов кадетам, и деньги я прожил. Как тут быть! Да Полевой напечатал несколько моих пьес в «Библиотеке для чтения». В раздумье я пошел с своей книгой к Жуковскому. Принял меня седенький согнутый старичок, взял книгу и велел прийти через несколько дней. Я пришел, он какую-то мою пьесу похвалил, но сказал: «Вы потом пожалеете, если выдадите эту книгу».

«Но я не могу не выдать» (и объяснил, почему). Жуковский мне дал совет: «Снимите с книги ваше имя».

Эпизод в трактовке Некрасова выглядит как своеобразное получение «благословения» у большого поэта (Жуковский предсказывает, что Некрасов пожалеет об этой слабой книге, вероятно, потому, что станет настоящим поэтом) и одновременно как проявление проснувшейся самокритики. Несомненно, однако, что логика, которая лежит в основе этого рассказа, — поздняя, принадлежащая уже зрелому поэту. Начинающий «гений» наверняка руководствовался другими мотивами. Он попытался обрести в Жуковском того могущественного, любящего литературу, способного по дебютному сборнику распознать настоящий талант покровителя, о котором давно мечтал. Старший поэт в высшей степени соответствовал таким надеждам. В отличие от прежнего покровителя Некрасова, Полевого, единственной наградой за многолетний литературный труд была бедность, Жуковский был не только живой классик (в чем Некрасов, читавший примеры из его поэзии в учебниках Кошанского, не сомневался), но и крупный сановник, не просто «литературный генерал», но генерал в буквальном смысле — действительный статский (с 1841 года — тайный) советник, кавалер всевозможных орденов, воспитатель наследника престола, приближенный к самому императору. Кроме этого, он имел заслуженную репутацию чрезвычайно доброго и отзывчивого человека, не раз помогавшего собратьям-литераторам. Только недавно он оказывал покровительство замечательному поэту Алексею Васильевичу Кольцову, чья судьба была в чем-то похожей на судьбу самого Некрасова, в частности в трудных отношениях с отцом.

Конечно, благосклонность такого человека могла очень много значить для юного гения. По логике Некрасова, его стихи должны были понравиться Жуковскому, поскольку были похожи на его собственные. Жуковский же был настоящий художник, и потому, конечно, «Мечты и звуки» не понравились ему — именно из-за отсутствия оригинальности. Никаких оснований предлагать молодому человеку покровительство Жуковский не видел. В его лице Некрасов едва ли не впервые столкнулся с подлинным художником, однако понять суть этой подлинности он, скорее всего, был еще не готов.

«ЛИТЕРАТУРНАЯ ТЛЯ»

Сборник «Мечты и звуки» продавался в книжных магазинах Ильи Ивановича Глазунова и Василия Петровича Полякова (куда, судя по всему, он был отвезен самим автором и его друзьями) за полтора рубля серебром. Покупали его плохо, чего, впрочем, стоило ожидать хотя бы по малой известности автора широкой публике.

Книжка не вызвала большого шума и в литературных кругах. В течение полугода (примерно до августа 1840-го), пока сборник еще лежал в книжных лавках, выходили немногочисленные рецензии, преимущественно благосклонные, что называется, «поощрительные» (едва ли не самый восторженный отзыв был дан имевшим крайне дурную репутацию критиком и литератором Леопольдом Брантом, в тринадцатом номере газеты «Русский инвалид» назвавшим стихи Некрасова «прекрасными»). На этом фоне помещенный в третьем номере «Отечественных записок» резко отрицательный отзыв Белинского (вторую отрицательную рецензию написал в «Литературной газете» критик Василий Межевич, которого Некрасов считал своим недоброжелателем, а следовательно, она вообще не шла в счет), которому Некрасов впоследствии приписывал судьбоносное значение, не выглядел приговором. Наоборот, книжный дебют можно признать успешным.

Некрасову, однако, так не казалось. Неизвестно, действительно ли он скупал и уничтожал тираж (это выглядит неправдоподобно, поскольку вряд ли книгопродавцы книгу купили — скорее всего, взяли на реализацию; следовательно, ему надо было просто забрать непроданные экземпляры); однако представляется несомненным, что Некрасов ощущал: «Мечты и звуки» провалились.

Дело не только в том, что рецензиям не хватало «восторга», но и в том, что практически все они вышли из-под пера тех литераторов, которые его знали, среди которых он и так числился подающим надежды молодым поэтом, которые ему сочувствовали и оказывали покровительство еще до выхода сборника (Полевой, Плетнев, Менцов, Сенковский). То есть книга не принесла какого-то резкого изменения его положения в литературном мире. Неудача визита к Жуковскому, высказанное старшим поэтом отрицательное отношение к книге, видимо, заставляли Некрасова предполагать заранее, что сборник окажется холостым выстрелом, неудачной инвестицией. Тем не менее преобладание положительных рецензий в серьезной печати оставляло хотя бы

слабую надежду на продолжение поэтической карьеры, и Некрасов еще до осени 1840 года (хотя всё реже) продолжает писать серьезные стихи в духе сборника «Мечты и звуки», рассчитывая, возможно, на чье-то новое покровительство. Последним таким стихотворением стало «Скорбь и слезы», напечатанное в ноябре этого года.

Такая раздвоенность, существование сразу в двух сферах — высокой и низкой — сохраняется у Некрасова еще почти год, хотя борьба за славу и признание в высокой сфере выглядит всё более безнадежной. Сама эта двойственность приобретает новые черты, которые обеспечивают победу низкой действительности над высокими устремлениями. Еще до выхода в свет своей книжки, в декабре 1839 года, Некрасов поступил на постоянную «службу» в новый, только начавший выходить журнал «Пантеон русского и всех европейских театров», издателем которого был книгопродавец В. П. Поляков, а редактором стал к тому времени уже довольно известный драматический писатель, автор популярных водевилей Ф. А. Кони. Познакомиться с последним Некрасов мог у Полевого, где тот часто бывал, или через Полякова, в книжных лавках которого продавалась книга Некрасова. Поначалу его обязанности были едва ли не корректорскими. Скоро, однако, Некрасов становится в «Пантеоне», а чуть позже и в «Литературной газете» (ее также начинает редактировать Кони, взяв в аренду у А. А. Краевского) своего рода доверенным лицом: выполняет редакторские, корректорские функции, начинает писать рецензии, давать собственные материалы. Работа у Кони продолжится до начала 1842 года. Тогда, только-только расставшись с работодателем, Некрасов будет отзываться о нем крайне едко, пародировать его, а позднее, в автобиографиях, станет игнорировать, даже не упомянет его имени (хотя о работе в «Пантеоне» и «Литературной газете» сообщит). Причины противоречивого отношения Некрасова к бывшему патрону, видимо, кроются не столько в самом Кони, обладавшем, по многочисленным воспоминаниям, добрым и отзывчивым характером, но в той роли, которую он объективно сыграл в жизни Некрасова.

Федор Кони был человек иной формации, нежели Николай Полевой. Он никогда не претендовал на первые роли в литературе, и редактировавшиеся им издания навсегда остались изданиями второго или третьего ряда. Он тоже писал в юности подражательные романтические стихи (с несколько большим успехом, чем Некрасов) и иногда продолжал их писать, когда начал редактировать «Пантеон». Однако романтическая поэзия со всеми ее атрибутами не помешала ему сделать карьеру критика и

драматурга, специализирующегося на водевилях, комедиях с куплетами. К такой «легкой» литературе Кони относился серьезно, добившись на этом поприще больших успехов, создав несколько классических русских водевилей.

Кони не относился к сочинительству в развлекательном жанре как к приработку, к падению или временной задержке на пути к славе великого поэта. Он согласился редактировать театральный журнал, что соответствовало его собственным литературным интересам, однако публиковал не только пьесы, но и театральную критику, а также прозу и стихи, не имеющие никакого отношения к театру. На страницах «Пантеона» можно было встретить как произведения больших поэтов, так и эпигонские философские медитации (в том числе в авторстве самого Кони) по соседству с фривольными водевилями (опять же вышедшими из-под пера самого редактора). В «Пантеоне» легко находилось место и «серьезным» романтическим стихам Некрасова, и его стихотворным фельетонам. Эта всеядность прежде всего отражала эклектические пристрастия самого Кони, но и соответствовала интересам достаточно широкой аудитории его изданий, для которой не было высокого и низкого, а было интересное и скучное, веселое и грустное, новое и устаревшее. Эта публика только недавно начала диктовать свои требования литературе и театру, но всё больше набирала силу.

На первый взгляд демократизм вкуса редактора заслуживал симпатии, поскольку давал возможность Некрасову печатать практически что угодно. Между тем скорее всего именно он, а не тяжелая работа, которой он нагружал Некрасова и на которую тот и тогда, и впоследствии жаловался («Господи! Сколько я работал! Уму непостижимо, сколько я работал, полагаю, не преувеличу, если скажу, что в несколько лет исполнил до двухсот печатных листов журнальной работы» — говорится в автобиографии Некрасова), стал причиной раздражения и обиды, испытываемых сотрудником к «издателю газеты, знаменитой замысловатостью эпиграфа», как он позднее в своей сатирической прозе называл бывшего работодателя.

Титульный лист февральского номера журнала «Пантеон русского и всех европейских театров» за 1840 год

Поскольку Кони не считал писание фельетонов и рецензий на спектакли низким занятием, он и к деятельности Некрасова на этом поприще не мог относиться как к временному подспорью начинающему гению. С самого начала между ними было заключено соглашение не о временном разовом приработке, но о постоянном сотрудничестве и именно в качестве журнального работника — корректора, рецензента, помощника редактора. Эти

условия, очевидно, менялись, но сотрудничество продолжалось. Некрасов должен был держать корректуры, следить за выходом номера, поставлять в журнал определенное количество листов собственного сочинения. Кони нанимал его и не видел в этом никакого унижения. Возможность писать претендующие на «гениальность» возвышенные стихи одновременно с фельетонами и легковесными водевилями была для него не временным компромиссом или поражением гения, а нормой. Кони вовсе не ощущал себя эксплуататором и злодеем, мешающим дальнейшей карьере молодого литератора, и тем более сокрушителем его надежд.

Между тем в глазах Некрасова он скорее всего выглядел именно так. Эпизодическая работа для Полякова, которому он поставлял детские водевили и «взрослые» сказки, откровенная халтура, воспринималась Некрасовым легче именно потому, что была халтурой, а следовательно, делалась исключительно для «заработка». (О своих отношениях с Поляковым Некрасов вспоминал в конце жизни с веселой иронией и без всякой горечи: «Был я поставщиком у тогдашнего Полякова, писал азбуки, сказки по его заказу. В заглавие сказки «Баба Яга, костяная нога» он прибавил: «Ж… жиленая», я замарал в корректуре. Увидав меня, он изъявил удивление и просил выставить первые буквы ЖЖ. Не знаю, пропустила ли ему цензура». Цензура не пропустила.) К сотрудничеству же с Кони нужно было относиться серьезно, как к «настоящей» работе, а учитывая ее объемы — единственной, практически не оставлявшей времени для чего-либо другого. В отличие от Кони, у Некрасова иерархия высокого и низкого еще продолжала существовать. Для него такое погружение в журналистскую работу означало понижение в ранге и неизбежно мучительный отказ от подлинного творчества, поскольку в иерархической системе эпигонского романтизма нельзя одновременно серьезно относиться к тому и другому. Этого-то втягивания его в журнальную работу поэт и не простил Кони.

Видимо, на протяжении всего 1840 года Некрасов еще рассматривал свое сотрудничество в изданиях Кони как временное, а сочинительство в низких жанрах и работу на вспомогательных должностях лишь как эпизод своей «настоящей» карьеры, но к концу года смирился. Уже к началу 1841-го Некрасов сжился с ролью второразрядного литературного работника: стал писать много рецензий, фельетонов, пародий, делал всё больше работы в журнале, участвовал в перепалках между журналами.

Возникали у него и конфликты с редактором. Наиболее серьезный произошел в середине 1841 года: Некрасов не отрицал

публично слухов, что он якобы выполняет всю работу за Кони (тем самым соглашаясь, что это правда), а также за глаза высказался нелестно о нем как о журналисте и редакторе. После того как до его «патрона» дошли известия об этом, молодому сотруднику пришлось давать унизительные объяснения:

«Досада, огорчение и вообще обстоятельства, в которых я тогда находился, может быть, действительно заставили меня сказать что-нибудь против Вас нашим общим знакомым, в чем я и прошу у Вас прощения. Но клянусь Богом и честью, что всё, что я говорил, касалось только личных наших отношений и нисколько не касалось, как Вам внушили, Вашего доброго имени. Я хочу объяснить Вам всё откровенно… Один только раз в жизни сказал я об Вас несколько резких слов, но и ими, если б Вы их слышали, могла бы оскорбиться только Ваша гордость; Ваше доброе имя, Ваше благородство, очень хорошо мне известное, я всегда считал священною обязанностию защищать, а не унижать, потому что никогда не забывал, как много Вам обязан… Да и для чего, скажите, стал бы я скрываться перед Вами?.. Если б я желал Вам зла, я бы мог действовать открыто… Но самые эти строки доказывают, что я не враг Вам. А на язык я, кажется, не до такой степени невоздержан, чтоб, из одной страсти к болтовству, стал говорить где только можно дурное… и об ком же!.. Неужели Вы почитаете меня до такой степени испорченным и низким. Я помню, что был я назад два года, как я жил… я понимаю теперь, мог ли бы я выкарабкаться из сору и грязи без помощи Вашей…»

Конфликт был улажен: очевидно, сотрудник был полезен, и Кони решил его простить.

Если карьере преемника Подолинского и Бенедиктова Кони помочь не мог, то для успеха в той скромной области литературы, где он сам занимал видное место, его содействие имело серьезное значение. Прежде всего, постоянная работа в «Пантеоне» и «Литературной газете» обеспечила Некрасову материальную стабильность. Нельзя сказать, чтобы он разбогател, периодически он жаловался на безденежье и просил у своего работодателя прибавки или выдачи жалованья вперед, однако об «углах» и ночлежках речь уже не шла. В мае 1840 года Некрасов разъехался с Данненбергом (мы не знаем, что их развело) и поселился в Свечном переулке в доме купца Щанкина близ Лиговского канала, где жил до июля 1841-го; у него уже были своя мебель и имущество не менее чем на 150 рублей.

Благодаря работе у Кони Некрасов едва ли не к началу 1841 года становится как минимум заметной фигурой в мире «низовой» журналистики, усваивая привычки и манеры этой среды. Он приобретает определенные влияние и известность в

качестве фельетониста и театрального критика и даже, как считают исследователи, удостаивается выведения в повести уже тогда бывшего модным писателем Ивана Ивановича Панаева «Литературная тля» (при первой публикации во втором номере «Отечественных записок» за 1843 год — просто «Тля») в образе литератора Гребешкова, к которому и применяется вынесенное в заглавие определение (Кони изображен там в виде издателя «какой-то газеты» Александра Петровича). Гребешков описан как типичный журнальный работник, имеющий ничтожные литературные интересы, принимающий активное участие в мелких перебранках с другими изданиями, которые его хозяин считает враждебными, ведущий внешне богемную, а на самом деле паразитическую жизнь, состоящую из ужинов с людьми, жаждущими литературного признания, дорожащий знакомствами с литературными хозяевами и окололитературными людьми, разнообразящий попойками рутину редакционной работы. Всё это, видимо, в той или иной степени присутствовало в тогдашней жизни молодого Некрасова.

Сотрудничество в театральном журнале открывало также дорогу к миру театра и драматургии. Русский театр в целом находился тогда на том же уровне, на который опустился Некрасов. Аристократия предпочитала итальянскую оперу или французскую труппу. Непритязательная «свежая» публика русского драматического театра (в случае проживающего в Петербурге Некрасова — Александрийского) состояла преимущественно из купечества, мелких чиновников, мещан, разночинцев. Наиболее продвинутой ее частью было студенчество. И в репертуаре преобладали пьесы, соответствовавшие уровню этой публики: водевили, оригинальные или чаще переделанные с французского, французские же мелодрамы, патриотические «исторические» пьесы вроде «Параши Сибирячки» бывшего покровителя Некрасова, Полевого, или исторической хроники «Рука Всевышнего Отечество спасла» Кукольника, чьими «драматическими фантазиями» Некрасов упивался в ярославской жизни. Ставилась, конечно, и мировая классика — Шекспир, Шиллер, Мольер; но для большой части тогдашней публики они были малоотличимы от Коцебу или Кукольника. Значительных оригинальных произведений на русской сцене со времени первых постановок «Ревизора» в 1836 году не появлялось.

Репертуар русского театра составлялся людьми посредственными, поэтому и Некрасов не чувствовал препятствий для начала драматургической деятельности. По примеру своего наставника он начал писать водевили и именно на этом поприще

добился наибольших успехов. «Перепельский» (так Некрасов подписывал свои драматургические опусы) приобрел даже некоторую славу и популярность. В течение 1841–1842 годов Некрасов написал в соавторстве или самостоятельно, перевел или переделал с французского больше дюжины водевилей. Какие-то ветреная публика Александрийского театра покрывала аплодисментами, что-то ошикивала; но в этой сфере провал, особенно шумный, не являлся крахом и совсем не обязательно становился концом карьеры водевилиста, а был просто неизбежной издержкой производства. Эта сфера была устроена так (и в этом она не отличается от современного шоу-бизнеса), что самое важное — быть на слуху, поэтому скандальное фиаско часто было важнее скромного успеха. Этот закон Некрасов легко усвоил. Если совсем недавно недостаточный успех сборника «Мечты и звуки» стал для него почти трагедией, крушением надежд, то провал водевиля «Феоклист Онуфриевич Боб», написанного по мотивам его же собственного стихотворного фельетона 1840 года, только побудил писать дальше, сочинять новую развлекательную пьеску. Холодный прием водевиля или шумное недовольство публики означали всего лишь, что автор не смог ей угодить и тем сильнее должен стараться потрафить ее вкусу в следующий раз. Это правила рынка, на котором покупатель всегда прав.

Соответственно для успеха на этом рынке важен не столько талант, сколько энергия, трудолюбие, готовность учитывать интересы публики в сочетании с полезными связями. Некрасов знакомится с массой водевильных авторов (Петром Ивановичем Григорьевым, Николаем Ивановичем Куликовым, Дмитрием Тимофеевичем Ленским и др.), работает в соавторстве, надеясь на особенный успех от соединения нескольких громких имен (считая свое — «Перепельский» — в их числе). Он сочиняет водевили для бенефисов известных актеров, испытывает серьезное, но наверняка платоническое чувство к талантливой водевильной актрисе Варваре Асенковой (под впечатлением от ее игры в «Гамлете» он написал одно из последних «серьезных» произведений 1840 года «Офелия», а ее раннюю смерть оплакал в прочувствованном стихотворении 1855 года). Словом, он совершенно вживается не только в положение «литературной тли», но и в роль водевилиста, «известного почтенной публике».

Из Ярославской губернии Некрасов виделся столичным литератором, успешным журналистом и драматургом. В конце июля 1841 года он приехал в Ярославль на бракосочетание сестры Елизаветы. Документально зафиксировано, что поэт присутствовал на обряде, совершённом 27 июля. Неизвестно,

заезжал ли он перед этим в Грешнево или сразу приехал в Ярославль. Между тем это важно, поскольку от ответа на этот вопрос зависит, видел ли он свою мать перед ее кончиной. «Мать моя умерла за три дня до моего приезда», — писал Некрасов Кони 16 августа. Елена Андреевна Некрасова скончалась 29 июля, в одной метрической книге сказано «от чахотки», в другой — «от изнурительной лихорадки» (в метриках также указан разный возраст: в одной — 45 лет, в другой — видимо правильно — 38). Следовательно, в Грешнево Некрасов попал только 2 или 3 августа. Где он был пять дней, неизвестно. По предположению биографов — ездил в Москву для улаживания конфликта с Кони. Даже если это так, то непонятно, почему Некрасов не приехал сразу в Грешнево — он давно, видимо еще с середины июля, знал о болезни матери, — а предпочел поездку по другим делам свиданию с ней. Возможно, он недооценивал тяжесть ее болезни. На ее похоронах, состоявшихся 31 июля в селе Абакумцеве, где была церковь, которую посещала семья Некрасовых, поэт также не присутствовал. Эта запутанная история венчает загадки, связанные с матерью Некрасова и его отношением к ней.

До середины августа Некрасов, видимо, гостит у молодоженов в Ярославле, а затем приезжает в Грешнево. Ему уже не стыдно показаться на глаза отцу. В деревне Некрасов охотится («…теперь последнее время порош, и я с утра до вечера на поле — травлю и бью зайцев… Это моя страсть, в этом занятии я провел всё время пребывания здесь; в городе был не больше трех дней», — пишет он Кони в ноябре 1841 года), продолжает сочинять и как столичный сноб интересуется местной литературной продукцией и театральной жизнью, обещая своему патрону Кони прислать в журнал «уморительный» обзор под названием «Ярославская литература». Теперь в глазах родных и близких он уже не строптивый юнец, пропадающий в столице, а настоящий петербургский литератор.

Пробыв на родине несколько месяцев, Некрасов в январе 1842 года покидает наскучившую провинцию. Возвратившись в Петербург, поселяется на третьем этаже дома 25 (Головкина) на той же Разъезжей улице, на которой остановился, впервые приехав в столицу. Теперь это уже вернувшийся к себе столичный журналист, собирающийся продолжить карьеру.

Прежде всего стоило отказаться от деления литературы на «высокую» и «низкую» и начать серьезно относиться к журнальной работе как к своей профессии, делу жизни. Здесь есть свои «верхи» и «низы», различающиеся уже не по «темам» и формам, которые литератор избирает, а по тому, насколько серьезное содержание он может вложить в легкие формы. Для

существования в журнальной литературе вовсе не обязательно оставаться «тлей» — она предоставляет возможности развития таланта и духовного роста. Тот же Кони был автором и ничтожных поверхностных однодневок, ничем не выделяющихся из сотен других, и ставшего классическим водевиля «Петербургские квартиры», содержавшего серьезную критику современной общественной жизни, пусть и заключенную в легкую непритязательную форму. Театральная критика, фельетон, обзор городских новостей вполне пригодны и для серьезного содержания. В сущности, даже господствующее положение потребителя на этом литературно-театральном рынке не являлось фатальным препятствием для такого развития. Да, нужно соответствовать запросам публики. Но, возможно, ее подлинные запросы вовсе не так примитивны и поверхностны, а на самом деле намного более серьезны. Она ищет в театре и журналистике развлечения и отвлечения, но виновата в этом не только она, но и сама театральная литература и журналистика. Здесь и проходит граница между «высокой» и «низкой» литературой. Обе обращаются к публике, при этом вторая паразитирует на необразованности читателя или зрителя, развлекает, отказываясь участвовать в их подлинных делах и заботах, тогда как первая, видящая в публике серьезного собеседника, а в ее пожеланиях требование говорить о серьезных проблемах общества, просвещает.

Именно в направлении такой литературы и начинает двигаться Некрасов. Происходившие изменения видны прежде всего в его театральных рецензиях. В 1840 году, когда Некрасов только начинает их писать, и в 1841-м, когда пишет их уже изрядное количество, эти рецензии не выходят за пределы бойкой заурядности. Состоят они обычно из краткого пересказа сюжета, ориентированного на очень простую и отчасти даже невежественную публику (рецензируя постановку шекспировской трагедии, автор считает необходимым изложить сюжет «Кориолана»), и кратких оценочных замечаний, обычно касающихся технических сторон постановки или построения текста: порицающих недостаток действия или, наоборот, хвалящих его живость и очень субъективно и поверхностно употребляющих похвалы другого типа (например, за «жизненность» характеров или «теплоту» отношения драматурга к своим персонажам).

У автора этих рецензий и обзоров имеется в целом «правильная» шкала ценностей: он не сомневается, что Шекспир лучше, чем популярный автор водевилей Коровкин, однако объяснить, чем именно лучше, пока не может и ограничивается

общими похвалами Шекспиру и иронией в отношении Коровкина. Несмотря на нее, чувствуется, что мир Ленского или Григорьева рецензенту всё еще существенно ближе и понятнее, чем мир Шиллера и Мольера.

Узость его кругозора определяется тем, что для него зрители — прежде всего «театральная публика», то есть толпа людей, пришедших в театр поглазеть на актрис, развлечься, будто бы оставив свои духовные запросы за его порогом. В результате фактически единственный критерий, который доступен в это время Некрасову, — удовольствие, доставленное или не доставленное публике (аплодировала ли она, вызывала ли автора и актеров или шикала во время представления). Но уже в 1842 году Некрасов в рецензиях порицает писателя за то, что в его романе нет «характеров, в нем нет современной жизни, нет картин действительности». Это требование «действительности» сочетается с требованием занимательности, и Некрасов в это время высоко оценивает, к примеру, Поля де Кока как «самого народного и самого веселого из французских романистов», при этом защищая его от обвинений в «аморальности», исходящих от людей, легко терпящих безнравственность в жизни, но требующих «благопристойности» в литературе. Позднее Некрасов, конечно, не будет относить французского беллетриста к числу писателей, у которых можно «поучаться»; его юношеская оценка — отчасти результат журнально-эклектических вкусов, в которых занимательность и «веселость» еще стояли практически наравне с «картинами действительности».

Такое же взросление, стремление из «низов» в «верхи» заметно и в некрасовской прозе, которую он начинает писать и публиковать в изданиях Кони с января 1840 года (а в 1841 и 1842 годах в его писаниях проза и драматургия практически совершенно вытесняют стихи). Главное отличие романтической прозы Некрасова от его же романтической поэзии в том, что сам автор осознает ее как халтурную, написанную на потребу читателю, ищущему «высокого», таинственного и загадочного. От прямой халтуры в ультра-романтическом духе вроде «Певицы» (1840) или «В Сардинии» (1842) и гибрида светской повести и истории в гоголевском духе «Макар Осипович Случайный» (1840) Некрасов приходит к замыслу «Повести о бедном Климе» (1841–1848). По воспоминанию сына Федора Алексеевича Кони, Анатолия, писать прозу Некрасова убедил редактор, предложив ему описать какую-нибудь историю, которую он «знает», то есть почерпнул из жизни, а не прочел в чужих книжках.

Обычно считается, что первым прозаическим произведением, в котором Некрасов описал известную ему «историю», является

«Макар Осипович Случайный»; однако вполне возможно, что ответом на предложение Кони стал замысел «Повести о бедном Климе», которую он начал в 1840 году, но быстро бросил и попытался завершить только в 1842-м. Именно вещи, основанные на личном опыте столкновения с Петербургом, удались ему лучше всего. Это не только названные «Макар Осипович Случайный» и «Повесть о бедном Климе», но и редкий у Некрасова пример по-настоящему смешного юмористического рассказа «Без вести пропавший пиита» (1840), персонаж которого, провинциальный поэт Грибовников, подобно самому автору, явился в столицу за славой и богатством.

Это ни в коем случае не означает, что написанные тогда повести и рассказы Некрасова совершенно оригинальны. Наоборот, они в неменьшей степени подражательны, чем «Мечты и звуки». Но подражал он теперь другому: популярной беллетристике от гоголевских «Петербургских повестей» до произведений новых модных писателей Владимира Соллогуба, Ивана Панаева, Евгения Гребенки, Николая Павлова, уже открывших к тому времени в своих повестях и рассказах петербургский мир мелких чиновников и журналистов, бедных студентов и поэтов, других пасынков судьбы, бесполезно ищущих протекции у сильных мира сего. Подражая этим писателям, Некрасов сближается (пусть и в качестве, так сказать, арьергарда) с самым передовым движением в русской литературе — с ее широким «гоголевским» направлением, как стали его определять позднее. Проза получается у него существенно лучше, чем романтическая поэзия (иногда и лучше, чем у тех, за кем он следовал), потому что, в отличие от романтических идеалов, здесь за написанным стоит реальный жизненный опыт, пусть во многих случаях и неумело выраженный. И Некрасов, очевидно, это почувствовал. Так, еще одним уроком, полученным им от Кони, стало простое открытие: если писать о том, что знаешь и чувствуешь сам, получается лучше, чем когда пишешь о том, чего не испытал и не понимаешь[19].

1842 год ознаменовался и новым шагом к подъему «наверх» в журнальной сфере. Из двух изданий, которые редактировал Кони, более заметное место в журналистике принадлежало «Литературной газете». Некрасов начал сотрудничать в ней в октябре 1840 года, а через два месяца после возвращения из Грешнева в Петербург, в марте 1842-го, принял на себя все дела по изданию вместо уехавшего в Москву Кони, фактически стал ее редактором.

Работа в «Литературной газете» свела Некрасова с человеком, который навсегда войдет в жизнь Некрасова (хотя, конечно, его

ни в коем случае нельзя назвать «покровителем» поэта). Это Андрей Александрович Краевский, фигура примечательная и для русской литературы крайне важная, хотя и противоречивая. Именно он начал издавать «Литературную газету» в начале 1840 года, однако затем передал ее в аренду Ф. А. Кони. Краевский был вполне заурядным литератором (это занятие он вскоре практически оставил), но чрезвычайно значительным и амбициозным издателем. В 1835 году он познакомился с Пушкиным, в следующем году помогал ему в технических вопросах издания «Современника», а после его гибели участвовал в издании пушкинского журнала. Именно Краевский в 1836 году ввел в журнальный мир Лермонтова. У Краевского было безошибочное чутье на таланты, сочетавшееся с безошибочным представлением о том, что из происходящего в литературе является самым значимым, где находится ее передовой край. Краевский понимал, что Пушкин и Лермонтов — поэты более талантливые, чем Бенедиктов и Кукольник, даже если последние пользуются сейчас большей популярностью. Желанием издавать лучший журнал, в котором будет печататься всё оригинальное и передовое, что есть в русской литературе, было продиктовано его решение выкупить у Павла Свиньина «Отечественные записки». Краевский начал издавать этот журнал с 1839 года и быстро реализовал свои планы, пригласив Виссариона Григорьевича Белинского — самого яркого из тогдашних литературных критиков, призванного определить направление журнала. В «Литературной газете» Краевский видел своего рода «приложение» к «Отечественным запискам». Однако сразу два издания оказались ему не по силам, и он, оставаясь владельцем «Литературной газеты», передал ее под редакцию сначала Межевича, а затем Кони. «Литературная газета» и «Отечественные записки» имели общих сотрудников, общую линию журнальной политики, общую контору и общего фактического владельца. Это и сделало работу Некрасова в «Литературной газете» переходным этапом в его восхождении на русский литературный ОЛИМП.

«Отечественные записки», несомненно, были лучшим русским журналом того времени, и вхождение в ряды его авторов означало вхождение в передовые ряды русской литературы и журналистики. С самого начала состав поэтического отдела был блестящий: здесь и Лермонтов с его самыми лучшими стихотворениями, и поэты пушкинского круга; и посмертные публикации стихов самого Пушкина, и произведения Гоголя, Жуковского, Кольцова. Но еще более важно, что здесь уже в 1840–1841 годах (когда Некрасов публикуется преимущественно в «Пантеоне» и «Литературной газете», пишет сказки и фельетоны и

всё еще надеется на успех сборника «Мечты и звуки») печатаются молодые поэты и прозаики, чье творчество определит будущее русской литературы, ее магистральный путь развития и ее славу: Николай Платонович Огарев, Владимир Александрович Соллогуб, Иван Иванович Панаев, Александр Иванович Герцен. При «Отечественных записках» собрался круг западников — молодых интеллектуалов, веривших в необходимость европейского пути развития России, живших напряженной умственной жизнью и стремившихся присоединиться к важнейшим интеллектуальным событиям Европы. Таким событием была философия Гегеля, которую этот круг усвоил. Сложное, с трудом поддающееся интерпретации, но имеющее колоссальный освобождающий потенциал учение немецкого мыслителя его молодые русские последователи спустили с академических высот и соединили с волновавшей их общественной проблематикой, используя для критики российской действительности: фальшивой казенщины николаевского времени, ее враждебности всякому прогрессу, свободной мысли; наконец, крепостного права, сословной несправедливости. Некоторые из членов этого круга, как Огарев и Герцен, уже испытали гонения, побывали в тюрьме и ссылке. Их беседы и труды в разной степени значительны, но их коллективная интеллектуальная работа, вполне вероятно, была самым важным из того, что происходило тогда в России. Главой, общепризнанным лидером этой группы был Виссарион Григорьевич Белинский.

Союз молодых гегельянцев со считавшим себя передовым издателем Краевским был неизбежен. Переехавший в конце 1839 года из Москвы в Петербург, чтобы возглавить литературно-критический отдел «Отечественных записок» и вместе с тем определять всё «направление» журнала, Белинский привел в него своих приятелей и товарищей по кружку, обретших не просто трибуну, с которой можно высказываться, но по-настоящему популярное издание, единственное способное успешно конкурировать с коммерческой «Библиотекой для чтения» и всем «торговым» направлением в литературе. Фактически заслуга Краевско-го перед русской культурой заключается в том, что он дал возможность серьезной литературе быть популярной, коммерчески успешной. Союз с «дельцом» и «литературным коммерсантом» был важен этим людям с высочайшими интеллектуальными запросами, которые тем не менее не ощущали себя замкнутой элитой и изначально обращали свое слово ко всем желающим слушать и получать свет истины. Человек, готовый обеспечить им максимально широкую аудиторию, был очень нужен. Таким и стал Краевский.

1840.

24 января.

Год первый

№ 7.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА ГОД:

ПЕРЕПИСКА.

СИЛА ЗОЛА.

ПОВЪСТЬ ВЪ СЦЕНАХЪ.

СЦЕНА V.

Первая страница «Литературной газеты».

24 января 1840 г.

Думается, Некрасов хорошо понимал разницу в литературном весе «Литературной газеты» и «Отечественных записок». Его газета была рядовым органом, журнал Краевского — изданием первого ранга, принадлежность к его кругу означала

принадлежность к совсем другому, самому высшему уровню новой литературной иерархии. Но до конца 1842 года кружок Белинского был для Некрасова недосягаем. Тем не менее сотрудничество в «Литературной газете», остававшейся, несмотря на существенно более заурядный характер публикуемых там материалов, своего рода «филиалом» «Отечественных записок», постоянно сводило Некрасова с Краевским. В 1841 году он опубликовал в «Отечественных записках» повесть «Опытная женщина». Весной 1842-го в отсутствие Кони он постоянно советовался с Краевским об издании «Литературной газеты». Тот, очевидно, оценил работоспособность Некрасова и его полезность для своего журнала. Благодаря принадлежности к «дружественному» изданию Некрасов удостоился печатных похвал Белинского за некоторые фельетоны и водевили. Эти похвалы были весьма умеренными, критик всегда подчеркивал «несерьезность» работы автора; однако несомненно, что некрасовская проза, водевили и стихотворные фельетоны были ему существенно ближе, чем обруганные им «Мечты и звуки», хотя бы отсутствием претензий и благонамеренности, скрывающейся за картонными бурями эпигонско-романтического «бунта».

Несомненно, уже в 1840–1842 годах были какие-то личные встречи Некрасова с сотрудниками и постоянными авторами «Отечественных записок». Он явно давно познакомился с Панаевым, был знаком с Соллогубом, Одоевским. Но и собственная творческая эволюция постепенно подготавливала Некрасова к новому шагу вверх, в высший литературный круг. Его члены не только обращались к максимальному количеству слушателей, но и были готовы принять в свой состав всех, кто разделял их идеи и ценности. Эта открытость была составной частью их идеологии: любой, кто честен и любит свою и чужую свободу, может быть призван на пир духа и мысли, в союз честных свободных людей.

Конечно, в реальности войти в круг Белинского и Герцена было совсем непросто. Тем не менее постепенно Некрасов приближался к нему. В начале 1843 года, оставаясь ведущим сотрудником и позднее даже став фактическим издателем «Литературной газеты», он начал регулярно печататься в «Отечественных записках». Некрасов больше не нуждался в покровительстве Кони. Он вступал на дорогу, по которой его прежнему патрону далеко идти было не по силам; «редактор газеты, знаменитой замысловатостью эпиграфа», быстро остался позади своего бывшего сотрудника.

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ

Конечно, печататься в каком-либо журнале еще не означает попасть в число его постоянных сотрудников, определяющих его лицо. При каждом издании есть литераторы, принимающие в нем эпизодическое участие, есть и постоянные рядовые сотрудники, заполняющие второстепенные рубрики: смесь, обзор текущей литературы, хронику. Видимо, так и начинал Некрасов. Чтобы войти в «ближний круг», для которого «Отечественные записки» были трибуной, требовалось нечто большее, чем публикация время от времени небольших заметок и рецензий. Нужен был участник этого сообщества, который ввел бы Некрасова в него. Из членов этого кружка Некрасов к тому времени, видимо, лучше всего знал И. И. Панаева, чрезвычайно близкого к Белинскому. Однако Панаев был человек легкомысленный, неглубокий (хотя и безусловно талантливый беллетрист) и не смог бы разглядеть в Некрасове что-то интересное, выходящее за пределы обычной литературно-журнальной заурядности. Ключом, открывшим дверь в элитарный круг, стала для него встреча с Белинским, произошедшая, видимо, в феврале 1843 года.

Белинский жил тогда в доме купца А. Ф. Лопатина у Аничкова моста, на углу Невского проспекта и Фонтанки, напротив дворца князей Белосельских-Белозерских (по тогдашней нумерации — Невский, 71, Фонтанка, 41–43). Дом Лопатина был расположен недалеко от редакции «Отечественных записок», в нем на четвертом этаже находилась квартира Панаевых, да и сам владелец и редактор журнала А. А. Краевский проживал там же, на третьем этаже. Очевидно, Некрасов часто бывал в этом доме на протяжении 1842 года, когда приходил советоваться с Краевским об издании «Литературной газеты». Белинский в то время, когда у него впервые побывал Некрасов, занимал квартиру «в нижнем этаже… невеселые, довольно серые комнаты».

Позднее, в мае того же года, он переехал в квартиру, которую ранее снимал Краевский, сухую и светлую.

Слово «встреча» в данном случае, конечно, употребляется не буквально. Скорее всего, Белинский и Некрасов встречались и раньше — в редакции, в конторе «Литературной газеты» и «Отечественных записок». Речь идет о встрече как «узнавании», неожиданном или ожидаемом обнаружении близости, заинтересованности друг в друге, начале дружеских отношений. Такая близость возникла быстро — великий критик был, по многочисленным свидетельствам, порывистым, увлекающимся, и Некрасов смог его заинтересовать. С этого момента Белинский

становится новым и, наверное, последним, хотя и специфическим, «покровителем» Некрасова. Как и отношения с Полевым и поначалу с Кони, это были отношения учителя и ученика. Белинский, обладавший склонностями и темпераментом учителя жизни, даже больше, чем его «предшественники», нуждался в людях, готовых внимать ему и учиться у него. Таким был Кольцов, скончавшийся в конце 1842 года и оставивший место «ученика» Белинского вакантным. Очевидно, Некрасов выказал готовность занять его.

Но чем Некрасов привлек Белинского? Панаев, человек очень близкий к Белинскому, а впоследствии к Некрасову, замечает: «Литературная деятельность Некрасова до того времени не представляла ничего особенного. Белинский полагал, что Некрасов навсегда останется не более как полезным журнальным сотрудником…» Это, безусловно, верно. Некрасов, несмотря на происходившую с ним эволюцию, особо не выделялся из толпы журналистов и литераторов, примыкавших к «гоголевскому направлению». Может быть, Некрасов отчасти прав, утверждая: «Отзывы мои о книгах обратили внимание Белинского, мысли наши в отзывах отличались замечательным сходством, хотя мои заметки в газете по времени часто предшествовали отзывам Белинского в журнале. Я сблизился с Белинским». Однако скорее всего Некрасов привлек Белинского в первую очередь не как литератор, но как человек, заинтересовал складом личности и судьбой: «Он с каждым днем более сходился с Белинским, рассказывал свои горькие литературные похождения, свои расчеты с редакторами различных журналов…» — вспоминал Панаев.

Самым привлекательным в Некрасове оказались для Белинского не перенесенные бедствия, а способность их преодолеть, способность бороться. Вызвала интерес его предпринимательская жилка, проявившаяся еще в годы бедствий в мелких издательских проектах и подтолкнувшая его в конце 1842-го — начале 1843 года выпускать совместно с издателем Андреем Ивановичем Ивановым сборник «Статейки в стихах без картинок», состоявший из юмористических стихов, сочиненных им самим и второстепенным беллетристом Владимиром Рафаиловичем Зотовым (в то время, когда произошла знаменательная встреча, Некрасов вместе с Зотовым активно рекламировал книжку). Именно практическая сметка Некрасова и его способность добиваться материального успеха, задумывать и доводить до успешного итога литературные предприятия оказались особенно привлекательны для критика. Точно говорит об этом И. И. Панаев:

«Некрасов произвел на Белинского с самого начала очень приятное впечатление. Он полюбил его за его резкий, несколько ожесточенный ум, за те страдания, которые он испытал так рано, добиваясь куска насущного хлеба, и за тот смелый практический взгляд не по летам, который вынес он из своей труженической и страдальческой жизни — и которому Белинский всегда мучительно завидовал. <…> Некрасов пускался перед этим в издание разных мелких литературных сборников, которые постоянно приносили ему небольшой барыш… Но у него уже развивались в голове более обширные литературные предприятия, которые он сообщал Белинскому.

Слушая его, Белинский дивился его сообразительности и сметливости и восклицал обыкновенно:

— Некрасов пойдет далеко… Это не то, что мы… Он наживет себе капиталец!

Ни в одном из своих приятелей Белинский не находил ни малейшего практического элемента и, преувеличивая его в Некрасове, он смотрел на него с каким-то особенным уважением».

Это совершенно неудивительно, учитывая, что сам Белинский и его друзья и единомышленники как раз в то время подошли к осознанию противоречия между социальной устремленностью их учения, предполагавшего необходимость реального преобразования жизни людей, и собственными неспособностью к какой-либо практической деятельности, «идеализмом», чрезмерной погруженностью в философские абстракции, теоретичностью мышления. Отсюда появлялась своего рода мечта о приходе нового человека, который соединил бы в себе практические навыки, склонность к занятию предпринимательством, умение добиваться благополучия с честными убеждениями и стремлением к общественному благу. Эта мечта об идеальном предпринимателе воплотится позднее в литературе в образах Петра Адуева («Обыкновенная история») и Штольца («Обломов») в романах Гончарова, оказавшегося чутким слушателем проповеди Белинского. Такие персонажи будут появляться и у Некрасова (например, Каютин в написанном в соавторстве с А. Я. Панаевой романе «Три страны света»). Именно предпринимателем, не гнушающимся черной и грязной работы, но сохранившим честную натуру, предстал перед Белинским мелкий фельетонист и журналист, автор среднего качества водевилей и издатель юмористического сборничка, подобных которому, как признавал сам Некрасов, в это время было пруд пруди. Но даже его роль «литературной тли» приобретала в новом свете ценность, поскольку давала возможность проявиться редкому в его собственном кругу качеству — предприимчивости,

готовности браться за черную работу для честного обогащения. Некрасову, правда, пока не хватало ясных и твердых убеждений, но он готов был их перенять от самого Белинского.

Невозможно определить, насколько он подыгрывал Белинскому, выстраивая свой образ так, чтобы он соответствовал ожиданиям великого критика, но довольно простодушного человека (впоследствии он сам охарактеризует Белинского: «Наивная и страстная душа, / В ком помыслы прекрасные кипели»). Во всяком случае, долгое время Белинский не видел в Некрасове никаких черт, противоречивших изначальным представлениям о нем. Любовь Некрасова к Белинскому, восхищение его сильной, страстной и благородной натурой и его учением были неподдельными. Всю последующую жизнь он будет говорить и писать (когда это было возможно) о великом критике с огромным пиететом. В пантеоне кумиров, очень немногочисленном у Некрасова, Белинский навсегда занял первое место, которое никем и ничем не могло быть поколеблено. Не подлежит сомнению, что Некрасов искренне считал Белинского своим учителем и был готов развиваться под его влиянием, осознавая нехватку не столько образования, сколько общего кругозора, устойчивой системы ценностей, способных дать ему почву и для литературной, и для издательской деятельности, к которой он, судя по всему, к этому времени склонялся.

Чему же учил и научил его Белинский? О своих разговорах с ним Некрасов рассказывал (в неотправленном письме Салтыкову 1869 года) неопределенно: «Я не был точно идеалист… еще менее был я ровня ему по развитию; ему могло быть скучно со мною, но помню, что он всегда был рад моему приходу. <…> Белинский видел во мне богато одаренную натуру, которой недостает развития и образования. И вот около этого-то держались его беседы со мною, имевшие для меня значения поучения»[20]. Некрасов делился жизненными наблюдениями, говорил о себе, о своих предприятиях. Белинский резюмировал, делал выводы, обобщал, открывая собеседнику его самого. Это можно считать внушением определенных принципов, но происходило оно через возможность переосмысления «учеником» своего жизненного опыта в рамках другой системы ценностей, иного понимания причин и самого смысла происходившего с ним. Белинский внушал ему, что к бедности и тяжелой работе за гроши нужно относиться не как к постыдной неудаче, но как к следствию несправедливого устройства общества, что труд бедняка благороднее безделья богача, что массы крестьянства и народа в целом являются создателями цивилизации и культуры. Конечно, говорилось и о том, что крепостное право — зло, что оно

нетерпимо и должно быть постоянным предметом борьбы; что быть помещиком и владельцем крепостных душ стыдно; что стремлением всякого порядочного человека должно быть устранение социальной несправедливости, установление законов и правил жизни, воплощающих идеалы Просвещения: Свободу, Равенство, Братство; что сословное государство с крепостным правом и несправедливостью, вписанными в самую сердцевину его порядков и законов, каковым была николаевская Россия, должно быть предметом ненависти для всякого честного, благородного человека.

Короче говоря, это были либеральные и даже радикальные (потому что Белинский, несомненно, был настроен радикальнее большинства членов своего кружка) принципы и ценности, которые Некрасов принял и в которые безоговорочно верил до конца жизни. И усвоил их не по книгам — Белинский вряд ли требовал, чтобы он читал Гегеля или Фейербаха, своих тогдашних кумиров. Некрасов не то чтобы не мог прочесть и понять их — его серьезный цепкий ум никогда ни у кого не вызывал сомнений (чрезвычайно умным человеком его впоследствии называли кумиры молодежи Чернышевский, Писарев, Михайловский), но не имел склонности к абстрактному теоретическому мышлению и не стремился погружаться в философские глубины. Он усвоил эти идеалы по разговорам с Белинским. (Тургенев так вспоминал впечатления от речи великого критика: «Не было возможно представить человека более красноречивого в лучшем, в русском смысле этого слова: тут не было ни так называемых цветов, ни подготовленных эффектов, ни искусственного закипания, ни даже того опьянения собственным словом, которое иногда принимается и самим говорящим, и слушателями за «настоящее дело»; это было неудержимое излияние нетерпеливого и порывистого, но светлого и здравого ума, согретого всем жаром чистого и страстного сердца и руководимого тем тонким и верным чутьем правды и красоты, которого почти ничем не заменишь».) Сыграла роль, конечно, и «влюбленность» в великого критика, столь характерная для людей, тесно с ним соприкасавшихся. Литературный критик Павел Васильевич Анненков, в то время только что вернувшийся из заграничной поездки, много позднее вспоминал: «В 1843 году я видел, как принялся за него (Некрасова. — *М. М.)* Белинский, раскрывая ему сущность его собственной натуры и ее силы, и как покорно слушал его поэт, говоривший: «Белинский производит меня из литературного бродяги в дворяне». Неизвестно, насколько эти мысли были для Некрасова новы, перевернули ли они его мир или он отчасти был уже подготовлен к их восприятию. Сам поэт

встречу с Белинским осмыслял как своего рода второе рождение, пробуждение сознания.

Конечно, Белинский не учил Некрасова писать стихи и прозу, и не только потому, что не считал возможным научить писателя писать, но и потому, что не видел у молодого литератора серьезных перспектив. Но разговоры об искусстве и его подлинном значении, несомненно, между ними велись: оба были критики, и Белинский именно в этой области мог выступить как практический руководитель. Стремление отвечать на серьезные запросы публики, заниматься современными животрепещущими вопросами общественной жизни, которое уже появилось у Некрасова, конечно, было близко и Белинскому. Но одной современности было недостаточно для подлинной литературы, как ее понимал великий критик. Некрасову запомнился диалог, который, без сомнения, выражает едва ли не самое важное наставление касательно искусства, данное ему наставником: «… Белинский сказал: «Вы верно смотрите, [но] зачем вы похвалили «Ольгу»?» — «Нельзя ругать всё сплошь, говорят». — «Надо ругать всё, что нехорошо, Некрасов, нужна одна правда».

Вот эта «одна правда», собственно, и составляет основу эстетических взглядов позднего Белинского. Безусловно, понятие «правда» неоднозначное. Критик имел в виду бескомпромиссное отношение к действительности, неуклонное следование своим убеждениям (и конечно, способность отказаться от них, если они оказываются неистинными). В искусстве правда — это не просто точность, верность бытовых подробностей (эту правду Некрасов уже и сам понял благодаря своему художественному опыту); это непременно искренность моральных оценок писателя, бескомпромиссность в поиске и донесении до читателей глубинных причин изображаемых фактов. С этой точки зрения нет «низкой» реальности, любая реальность становится «высокой», если увидена в свете по-настоящему высоких ценностей и идеалов. И конечно, правда предполагает недопустимость для честного литератора невынужденных компромиссов, непростительность подмены стремления к истине необязательными прагматическими соображениями. Подлинные задачи искусства никогда не определяются простой прагматикой — эта мораль для мелкого журналиста Некрасова была, конечно, особенно актуальна. Он принял ее в том числе и потому, что все эти принципы не противоречили, по Белинскому, возможности личного обогащения: капитал, нажитый умом и честным трудом, не мешает следованию правде в литературе и в предпринимательстве.

Всё это также было принято Некрасовым и осталось его

идеалом писателя, редактора, издателя до конца жизни. Как ни странно, это было в том числе прагматично, поскольку войти в тот круг, в котором главенствовал Белинский, стать частью этого круга, не имея никаких убеждений или имея убеждения «неблагородные», было нельзя. Допускались нюансы, личные предпочтения, расхождения в деталях, но базовые ценности должны были быть общими, приемлемыми для всех единомышленников. Кроме того, Некрасов чувствовал, что в новую эпоху было выгоднее иметь убеждения, чем не иметь их. Убеждения, страстно и ярко отстаиваемые, выводили в люди, поднимали на вершины литературы и журналистики; люди без убеждений оставались в убогой массе «литературных тлей».

Белинский не только заполнил идейный вакуум, позволил обрести жизненные ценности, но и свел его с людьми своего круга и сделал это намеренно, считая «ученика» ценным приобретением для них всех. Иван Сергеевич Тургенев вспоминал, как Белинский «летом 1843 года… лелеял и всюду рекомендовал и выводил в люди Некрасова». На квартире у Белинского Некрасов познакомился с Тургеневым (и это, думается, второе по значению его знакомство в это время), только что издавшим поэму «Параша» — первое серьезное произведение, понравившееся Белинскому. Несомненно, Белинский же представил его Василию Боткину, Павлу Анненкову, Константину Кавелину, Николаю Тютчеву, Михаилу Языкову и другим петербургским литераторам и просто близким ему людям. Сделалось существенно более близким знакомство Некрасова с Панаевым. Позднее он познакомился с Герценом, Огаревым, историком Тимофеем Николаевичем Грановским, врачом и переводчиком Николаем Христофоровичем Кетчером и другими представителями уже московской части круга Белинского. А. Я. Панаева в воспоминаниях передает (может быть, не очень точно), как примерно Белинский представлял Некрасова своим друзьям и единомышленникам:

«Когда коснулись низменной литературной деятельности Некрасова, то Белинский на это ответил:

— Эх, господа! Вы вот радуетесь, что проголодались, и с аппетитом будете есть вкусный обед, а Некрасов чувствовал боль в желудке от голода, и у него черствого куска хлеба не было, чтобы заглушить эту боль!.. Вы все дилетанты в литературе, а я на себе испытал поденщину. Вот мне давно пора приняться за разбор глупых книжонок, а я отлыниваю, хочется писать что-нибудь дельное, к чему лежит душа, ан нет! надо притуплять свой мозг над пошлостью, тратить свои силы на чепуху. Если бы у меня было что жрать, так я бы не стал изводить свои умственные и

физические силы на поденщине».

Друзья Белинского были вынуждены глядеть на Некрасова глазами своего лидера, видя в нем воплощение идеального предпринимателя, практического человека, честного труженика, существенно недотягивающего до их уровня образованности, неспособного говорить с ними о тонкостях гегелевской или прудоновской философии, но «честного», разделяющего их ценности, их веру.

Однако нельзя сказать, что Некрасов был для друзей Белинского совершенным «чужаком». В некотором отношении он был даже ближе Тургеневу и Герцену, чем аскетичному и жившему почти исключительно духовными интересами критику. Как Тургенев или Огарев, Некрасов был «барин» по происхождению и с улучшением материального положения вновь обрел барские вкусы и привычки: любил охоту, изысканную еду, вино, шампанское, женщин. Эти привычки культивировались (хотя, возможно, несколько вульгаризировались) и в театральной и околотеатральной среде, в которой Некрасов провел несколько богемных лет. Такой гедонизм был вовсе не чужд и компании западников. Герцен в «Былом и думах» описал собрания своего университетского кружка не только как пир духа, но и как пиршество в буквальном смысле: «Наш небольшой кружок собирался часто то у того, то у другого, всего чаще у меня. Рядом с болтовней, шуткой, ужином и вином шел самый деятельный, самый быстрый обмен мыслей, новостей и знаний. <…> Но внимание всех уже оставило их, оно обращено на осетрину; ее объясняет сам Щепкин, изучивший мясо современных рыб больше, чем Агассис[21] — кости допотопных. Боткин взглянул на осетра, прищурил глаза и тихо покачал головой, не из боку в бок, а склоняясь; один К[етчер], равнодушный по принципу к величиям мира сего, закурил трубку и говорит о другом». Эту любовь к «радостям жизни» Некрасов вполне разделял, и на бытовом уровне (одном из наиболее чувствительных для человеческого общежития), во вкусах, привычках различий между ним и друзьями Белинского было немного. Можно предположить, что и любовь к карточной игре, быстро превратившаяся у Некрасова в страсть и своего рода «профессию», не была унаследована им от отца, а развилась под влиянием новых знакомых: Белинский имел привычку играть в преферанс (и Некрасов постоянно стал составлять ему компанию), позднее страстным картежником стал Грановский. Азарт легко воспринимался кругом Белинского как одно из удовольствий, в которых незачем себе отказывать развитому человеку.

Так же как Белинский, молодые писатели, профессора и

публицисты не воспринимали Некрасова как настоящего литератора, журнальную деятельность ему только «прощали». Он был для них прежде всего литературный предприниматель, подобный Краевскому, однако выгодно отличающийся от редактора «Отечественных записок» наличием убеждений. Поэтому и наиболее заметные успехи Некрасова, и наибольшая активность его в первый период знакомства с кругом Белинского лежат прежде всего в издательской сфере. Плодотворным оказалось знакомство с книгопродавцем Андреем Ивановичем Ивановым. Вместе с ним Некрасов летом 1843 года издал второй выпуск «Статеек в стихах без картинок», в котором вместе с его собственным стихотворным фельетоном «Говорун» была напечатана «философская» стихотворная сказка В. Р. Зотова «Жизнь и люди». В сентябре 1843 года Некрасов взял в аренду у Краевского «Литературную газету» и стал самостоятельным редактором, что означало существенный шаг вверх в иерархии русской журналистики: из сотрудника или «негласного» редактора он практически превратился в хозяина «серьезного», хотя и не первостепенного издания. В это же время Некрасов издавал книги, заказывая тексты начинающим литераторам (как ему самому давал заказы Поляков). Дмитрий Васильевич Григорович, будущий автор нашумевших повестей «Деревня» и «Антон Горемыка», а тогда только-только начинавший литературную карьеру, вспоминал:

«…Утром, зимою, раздался сильный стук в мою дверь; отворив ее, я увидел Некрасова с толстою книжкой в руках.

— Григорович, — сказал он, спешно входя в комнату, — вчера умер наш знаменитый баснописец Крылов… Я принес вам сочинение Бантыш-Каменского, материалы для биографии Крылова, садитесь и пишите его биографию, но не теряйте минуты… Я уже прежде, чем быть у вас, заехал в литографию и заказал его портрет.

«Дедушка Крылов» — книжка, написанная мною в десять дней, не многим отличалась в литературном отношении от предшествовавших «Первое апреля» и «Полька в Петербурге».

Все эти мелкие, плохие книжонки сбывались Некрасовым книгопродавцу Полякову, издававшему их почти лубочным образом, но умевшему сбывать их с замечательною ловкостью».

Впрочем, и сам Некрасов не чуждался возможности подзаработать в роли литературного поденщика. Например, в октябре 1843 года он за 25 рублей написал по заказу Жана Шульта, содержателя кабинета восковых фигур, стихи для афиши. Возможно, что он не брезговал браться и за другие заказы такого же рода, но они не разысканы.

Издательская деятельность Некрасова приводит к новому улучшению его материального положения. К концу 1843 года он уже может считаться человеком с серьезным достатком, существенно большим, чем у его учителя. «С 44 года дела мои шли хорошо. Я без особого затруднения до 700 рублей ассигнациями выручал в месяц, в то время как Белинский, связанный по условию с Краевским, работая больше, получал 450 рублей в месяц», — утверждает Некрасов в поздних автобиографических фрагментах. В середине 1844 года он совместно с В. Р. Зотовым задумывает издание сборника, посвященного описанию разных сторон петербургской жизни. Видимо, толчком к этому замыслу стал успех описаний жизни столицы, которые Некрасов печатал в «Литературной газете» под названием «Письма петербургского жителя». Возможно, однако, что на него подвигли слухи об огромной популярности во Франции жанра «физиологий» — иногда коротких, чаще развернутых очерков, содержащих описания самых разнообразных сторон частной и общественной жизни (издавались «физиологии» брака, женщин, трущоб, шляп, улиц, кровати, спальни и т. д.). Были попытки привить этот жанр русской литературе: в 1841–1842 годах выходил альманах Александра Павловича Башуцкого «Наши, списанные с натуры русскими». Фаддей Венедиктович Булгарин только что, в 1843 году, отметился в модном жанре, издав сборник «Очерки русских нравов, или Лицевая сторона и изнанка рода человеческого».

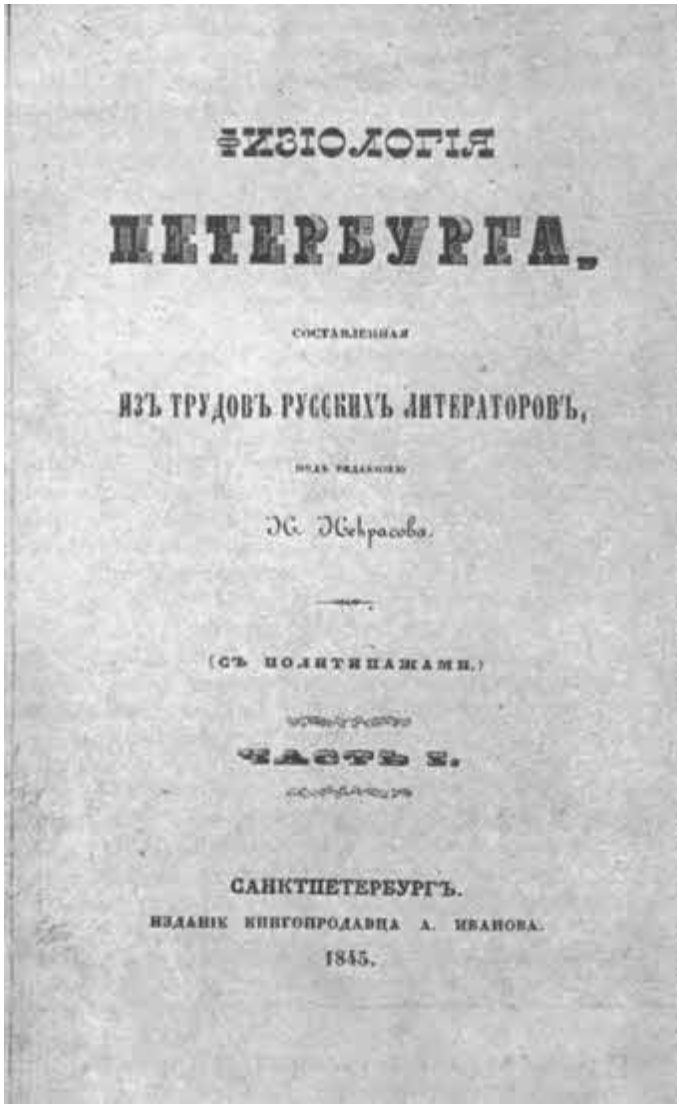
Судя по участию Зотова, поначалу их с Некрасовым проект мало отличался от стихотворных фельетонов, журнальных обозрений и «Статеек…». Однако замысел заинтересовал Белинского и благодаря ему превратился в одно из серьезных литературных предприятий. Дело шло трудно, Некрасову впервые пришлось вести переговоры уже не с начинающими литераторами, литературными поденщиками вроде его самого в недавнем прошлом, а с популярными авторами, преодолевать проблемы с цензурой (в связи с «Физиологией Петербурга» произошло едва ли не первое серьезное столкновение Некрасова с этим институтом, свидетельствующее в том числе, что издание по-настоящему «задевало», затрагивало глубокие раны общественной жизни). Всё неожиданно усложнилось из-за того, что у сборника в ходе создания поменялся литературный «ранг» — теперь его нельзя было выпускать на дрянной бумаге, с плохой полиграфией. Понадобились качественные гравюры, шрифты и пр. В результате Некрасов оказался настолько поглощен новой работой, что в середине 1844 года был вынужден отказаться от редактирования и издания «Литературной газеты», и Краевский

снова передал ее Ф. А. Кони.

Затрата сил и вложение средств в результате себя оправдали. Сборник, получивший название «Физиология Петербурга», вышел двумя выпусками в марте и июле 1845 года и стал важнейшим событием в истории русской литературы, провозгласившим появление новой литературной школы, окрещенной Булгариным «натуральной». В сборнике были напечатаны статьи и очерки маститых, популярных В. Г. Белинского, В. И. Даля, И. И. Панаева, Е. П. Гребенки, малоизвестного А. Я. Кульчицкого, начинающего Д. В. Григоровича и, наконец, самого Некрасова, поместившего в нем стихотворный фельетон «Чиновник» и прозаический очерк «Петербургские углы» (фрагмент незавершенного романа «Жизнь и похождения Тихона Тростникова»). Судя по косвенным данным, альманах был успешен и в коммерческом отношении — Некрасов точно угадал интерес к теме сборника и правильно выбрал авторов.

Став литературным событием, сборник, однако, не содержал шедевров, выходивших за рамки крепкой беллетристики, оставшихся в истории русской литературы в качестве бессмертной классики (это относится и к текстам Некрасова). Во вступительной статье Белинского это не только учитывается, но и становится своего рода программой: критик утверждает необходимость и полезность как раз такой литературы среднего уровня как инструмента правдивого и критического изображения разных сторон жизни общества. По мысли Белинского, литература не может существовать и выполнять свои функции только усилиями гениев. Гении — редкость, к тому же они прихотливы и капризны. Им нельзя предложить общественно полезную задачу, заставить служить чему-нибудь, кроме их собственного призвания. Иное дело — талант второго ряда: он не может дойти до высот и глубин осмысления действительности, доступных гению, но способен верно изобразить ее; он более рационален, а потому его можно мобилизовать на выполнение общественно значимой задачи (например, изображение страданий городской бедноты). Отчасти размышления Белинского выглядели несколько бестактно, поскольку фактически он объявлял всех участников сборника посредственными литераторами (и к этому сразу придралась славянофильская критика: сборник действительно «посредственный», иронически соглашался Константин Сергеевич Аксаков, в то время наиболее активный и красноречивый противник западничества). Однако по сути это было верно — практически ни один из участников «Физиологии Петербурга» впоследствии не поднялся выше уровня талантливого

беллетриста. Парадоксальным образом получалось, что участники сборника сами соглашались с суждением Белинского, поскольку печатались в сборнике, открывавшемся таким суждением о них.



ФИЗІОЛОГІЯ

ПЕТЕРБУРГА,

СОСТАВЛЕННАЯ

ИЗЪ ТРУДОВЪ РУССКИХЪ ЛИТЕРАТОРОВЪ,

ПОДЪ РЕДАКЦІЕЮ

Н. Некрасова.

(СЪ ИЛЛЮСТРАЦІЯМИ.)

ЧАСТЬ I.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

ИЗДАНІЕ КНИГОПРОДАВЦА А. ИВАНОВА.

1845.

Титульный лист первой части сборника «Физиология Петербурга». 1845 г.

Оценка Белинского касается и произведений Некрасова, опубликованных в «Физиологии Петербурга», и, безусловно,

справедлива и по отношению к ним. Соглашался ли Некрасов с тем, что он всего лишь дельный, толковый беллетрист, пусть и полезный для общества и литературы? Видимо, сама публикация в этом сборнике знаменовала для Некрасова переход на новый уровень, продвижение от развлекательной литературы и журналистики к серьезной. И вполне умеренная похвала Белинского свидетельствовала по меньшей мере о признании Некрасова вполне органичной частью нового движения, «серьезным» писателем, пусть и не гениальным. Это значило тогда для Некрасова очень много — как минимум то, что как литератор он перестал быть «тлей» и с его литературной детальностью можно было уже не только «мириться» или оправдывать ее необходимостью добывать средства к существованию.

Изменения в творчестве Некрасова, произошедшие после встречи с Белинским и под влиянием их бесед, наиболее отчетливы в его критике. С одной стороны, было очевидно, что, несмотря на наставничество Белинского, большим критиком он не стал, не открывал новых горизонтов. Он никогда не встанет в ряд не только со своим кумиром Белинским, но и с Добролюбовым, Анненковым и даже Михайловским. С другой стороны, именно критические статьи этого времени едва ли не нагляднее всего показывают усвоение Некрасовым литературных и общественных приоритетов Белинского. Это хорошо видно в публикации «Взгляд на главнейшие явления русской литературы в 1843 году. Статья первая» в «Литературной газете» за 1 января 1844 года. Здесь во вступительной части Некрасов, говоря о немногочисленных образцах настоящей литературы, характеризует ее:

«С великодушным самоотвержением, ради благой и далекой корыстных расчетов цели, одушевленная высокими началами великого преобразователя России, избрала она путь тернистый и трудный, ведущий к достижению вечной и святой истины, к осуществлению на земле идеала, — и медленно, но твердо и самостоятельно шествует по своему пути, невидимо подвигая вперед общественное образование и науки, благородно симпатизируя всему высокому, она разрабатывает важнейшие вопросы жизни, разрушает старые, закоренелые предрассудки и с негодованием возвышает голос против печальных явлений в современных нравах, вызывая наружу, во всей ужасающей наготе действительности, «всё, что ежеминутно перед очами и чего не зрят равнодушные очи, всю страшную, потрясающую тину мелочей, опутавших нашу жизнь, всю глубину холодных, раздробленных повседневных характеров, которыми кишит наша

земля». Эта литература не приписывает нам достоинств, которых мы не имеем, не скрывает от нас наших недостатков, но старается по возможности раскрывать их и обнаруживать, потому что, по ее мнению, истинный патриотизм заключается не в присвоении отечеству качеств, которых оно, быстрыми шагами идущее к совершенству, не успело еще себе усвоить, но в благородных и бескорыстных усилиях приблизить время, когда оно в самом деле достигнет возможного совершенства».

В этом пассаже хорошо видно практически всё, что Некрасову проповедовал Белинский: общественные идеалы, требование современности и правды в литературе, разоблачение «бесплодного романтизма». И, что особенно важно, появляется правильная, с точки зрения Белинского и его круга, литературная иерархия: о Державине говорится уважительно, но как о явлении, имеющем только историческую ценность, на вершину литературы помещены Лермонтов и Гоголь; высоко отзывается Некрасов о Соллогубе и Панаеве, поощрительно — о начинающих поэтах Аполлоне Майкове и Афанасии Фете. В третий ряд поставлены Бенедиктов, Кукольник, Вельтман, у которых автор находит и определенные достоинства. Наконец, совершенным презрением покрываются Полевой, Булгарин и Греч, воплощающие идею приспособленчества, служения власти за деньги.

Такая скрупулезная «правоверность» отчасти делает статью вторичной, представляющей собой квинтэссенцию взглядов Белинского и его кружка на литературу и общественную жизнь. Но она показывает не только то, что Некрасов хорошо усвоил идеи великого критика и его единомышленников, но и то, что он готов публично продекларировать свою верность этим идеям. В этом основное достоинство новых статей, где проявляется «верный» и последовательный взгляд на литературу в целом и отдельные произведения. Это будет важно для Некрасова-редактора намного больше, чем для Некрасова-критика. У него всегда будет чутье, которое позволит ему впоследствии увидеть в «Детстве» Л. Н. Толстого произведение «таланта необыкновенного», с самого начала разглядеть огромные дарования Николая Успенского и Достоевского (которого он «открыл» раньше, чем Белинский). Собственно анализ текста ему никогда не был интересен. Его рецензии никогда не будут подниматься выше пересказа сюжета, одной или нескольких выписок, общей оценки. Зато оценивал Некрасов практически всегда очень точно.

Однако от усвоения деклараций еще далеко до художественного воплощения этих принципов и ценностей. Всерьез приняв их (не забудем, что это еще очень молодой

человек, в момент «встречи» с Белинским ему всего 21 год), Некрасов стал думать не только о том, чтобы издавать хорошую литературу, но и о том, какой «ответ» он мог бы дать Белинскому в своем творчестве, выразить свое новое понимание мира, общества и человеческой жизни. Какова «правда», которую он мог бы высказать? Закономерно, что он начинает искать такие ответы прежде всего на путях прозы. В это время к главенству прозы в литературе склонялся Белинский, реагируя и на засилье эпигонских стихов, скомпрометировавших само слово «поэзия», и на смерть Лермонтова, чье творчество поставило новую высочайшую планку, которая казалась недосягаемой для любого из живших тогда поэтов. В прозе тоже был высочайший и недосягаемый образец — Гоголь; однако проза, считал Белинский, сама по себе дельнее и «проще» поэзии, она доступна средним талантам, в ней меньше формы, меньше требований к одаренности и оригинальности автора, зато больше содержания. В поэзии практически бесполезно соревноваться с Лермонтовым, неудачное подражание ему никому не нужно, оно тут же дает стихотворцу статус эпигона; в прозе же можно было попытаться стать «новым Гоголем», и даже неудача на этом пути могла быть оценена достаточно высоко, если произведение написано «правдиво» и честно.

Видимо, в 1843 году Некрасов начал работать над большим романом, который в современных публикациях называется «Жизнь и похождения Тихона Тростникова». Кажется, в этом тексте, оставшемся незавершенным, Некрасов хотел охватить всё, от жизни бедноты до нравов богачей, журналистов, литераторов и большого света, в жанре приключенческого романа о молодом авантюристе, неудачливом литераторе, становящемся успешным журналистом. Однако создать полноценный роман, объединить все сферы, которые он хотел затронуть, автор не сумел, и упомянутые «Петербургские углы» остались единственным целостным фрагментом. Именно его Некрасов впервые решается прочесть вслух в кругу Белинского, возможно, по просьбе самого критика. Он читал в квартире Панаевых перед несколькими слушателями, среди которых хозяйка запомнила только Боткина: «Некрасов, видимо, был сконфужен при начале чтения; голос у него был всегда слабый, и он читал очень тихо, но потом разошелся. Некрасов имел вид болезненный и казался на вид гораздо старее своих лет; манеры у него были оригинальные: он сильно прижимал локти к бокам, горбился, а когда читал, то часто машинально приподнимал руку к едва пробивавшимся усам и, не дотрагиваясь до них, опять опускал. Этот машинальный жест так и остался у него, когда он читал свои стихи». Текст

понравился слушателям, но особо сильного впечатления не произвел — «новый Гоголь» не появился. Некрасов описал едва ли не единственный достоверный случай своих петербургских мытарств — попадание в ночлежку в первый год жизни в Петербурге. В этом отношении очерк правдив — в том смысле, что говорит о социальных язвах, о том, что общество скрывает от самого себя. При этом очевидно, что он не оригинален и чрезмерно литературен: живо рисуя картины из жизни низов общества, автор немногое прибавляет к тому, что уже изображалось Гребенкой или Панаевым, не говоря уже о том, чтобы сравняться с Гоголем. Поэтому стоявший за текстом реальный опыт автора не выделяет этот очерк из числа других, написанных людьми, зачастую такого опыта не имевшими. Сказанное относится и ко всему роману, от завершения которого Некрасов окончательно отказался уже после смерти Белинского, в 1848 году.

Таким образом, и как критик, и как прозаик Некрасов не выходил за пределы среднего уровня, не был «новым Белинским» и не мог стать «новым Гоголем». Возможно, перспектива остаться на среднем уровне, в числе «полезных» беллетристов всё-таки не казалась ему соблазнительной, не соответствовала его заново проснувшимся амбициям. И неудача с художественной прозой и литературной критикой (неудача, конечно, относительная, но в том же смысле, в каком неудачей была судьба сборника «Мечты и звуки»: отзывы теплые, но не провозглашающие автора новым гением, не возносящие его на верхние ступени литературной иерархии), возможно, и заставила его снова попробовать себя в «серьезных» стихах, серьезных уже в новом духе — не «возвышенных», а «дельных», основанных на обретенной «правде». Риск здесь был, но психологически намного меньший, чем при издании сборника «Мечты и звуки»: Некрасов, уже опытный литератор, не собирался опрометчиво инвестировать в свою продукцию, поставив всё на карту. Он начинает в режиме пробы, о которой хочет узнать мнение Белинского. И в качестве нового ориентира, объекта для подражания он, естественно, берет не первого попавшегося поэта из журнала, а Лермонтова — и не только потому, что тот был кумиром Белинского. Несмотря на то что поэт был убит больше двух лет назад, новые, ранее не публиковавшиеся его стихотворения продолжали появляться в журналах, и его творчество оставалось актуальным, стихи были литературной новинкой.

Некрасов подражал Лермонтову в период эпигонства, выбирая из его стихотворений наиболее отвлеченные, наиболее «романтические». Теперь он увидел другого Лермонтова, которого

охарактеризовал в обзоре литературы 1843 года: «Лермонтов был истинный сын своего времени — и на всех творениях его отразился характер настоящей эпохи, сомневающейся и отрицающей, недовольной настоящею действительностию и тревожимой вопросами о судьбе будущего. Источником поэзии Лермонтова было сочувствие ко всему современному, глубокое чувство действительности, — и ни на миг не покидала его грустная и подчас болезненно потрясающая ирония, без которой в настоящее время нет истинного поэта. С Лермонтовым русская поэзия, достигшая в период пушкинский крайнего развития как искусство, значительно шагнула вперед как выражение современности, как живой орган идей века, его недугов и возвышеннейших порывов». Это «глубокое чувство действительности» делает его, по выражению Некрасова, создателем «новой школы поэзии, которая началась у нас Лермонтовым да им же и кончилась». Пусть эта школа и кончилась (хотя в той же статье Некрасов причисляет к ней первую поэму Тургенева «Параша», только что вышедшую в свет), но само обозначение лермонтовской поэзии как «школы» означает, что у него можно учиться.

«Обучение» в «школе» Лермонтова Некрасов начинает с неожиданной стороны — пишет на него пародии. В 1844 году Некрасов пародирует стихотворение «И скучно и грустно, и некому руку подать…». У него получается:

И скучно, и грустно, и некого в карты надуть
В минуту карманной невзгоды…
Жена?., но что пользы жену обмануть?
Ведь ей же отдашь на расходы!

К этому тексту он не отнесся серьезно и включил его в фельетон «Преферанс и солнце». Однако затем Некрасов пишет пародию на «Казачью колыбельную песню», которая неожиданно окажется для него настолько важна, что он включит ее в «Петербургский сборник» с подзаголовком «Подражание Лермонтову» (а не «пародия» на Лермонтова):

Спи, пострел, пока безвредный!
Баюшки-баю.
Тускло смотрит месяц медный
В колыбель твою…

Эти пародии не являются средством как-то унизить

Лермонтова, высмеять его поэзию. Тот же Белинский не воспринимал «Колыбельную песню» Некрасова как какое-то хулиганское деяние по отношению к великому поэту. Это, скорее, освоение лермонтовского взгляда на мир и использование его для выработки собственного. Некрасов берет очень характерные и узнаваемые лермонтовские ритмы и интонации как своего рода рамку и «вставляет» в нее поверхностно-юмористическое или сатирическое содержание. И происходит что-то совершенно неожиданное. По теме «Колыбельная песня» очень близка ко многим некрасовским стихотворным фельетонам, особенно к опубликованному в «Физиологии Петербурга» «Чиновнику». В обоих произведениях рисуется образ канцеляриста-взяточника. Но если в «Чиновнике», написанном бойким, но совершенно стертым пятистопным ямбом (напоминающим разве что шутливый пушкинский «Домик в Коломне»), мы видим простую и довольно мелкую сатиру, в лучшем случае намекающую, что брать взятки нехорошо, то в «Колыбельной песне» благодаря наложению бесславной и позорной судьбы чиновника на трогательную и возвышенную лермонтовскую фактуру — обращение матери к младенцу, которому предстоит стать настоящим казаком, — его будущие служебные нарушения начинают рассматриваться как бы в более широкой перспективе, и неожиданно за насмешкой проглядывает глубокая горечь, подлинная трагедия: жизнь чиновника становится дурной потому, что не соответствует высокому предназначению человека, выглядит как предательство этого предназначения. Само отсутствие ответа на вопрос, почему так произойдет, делает этот вопрос настоятельным, заставляет читателя смеяться и презирать не только чиновника, но и положение вещей, прямо от колыбели ведущее человека к такой судьбе, подталкивает его к недовольству «настоящею действительностию», заставляет размышлять «о судьбе будущего». Если в некрасовских фельетонах центральным приемом является ирония, насмешка скрывается под маской добродушного снисхождения к «грешкам» чиновника (так, например, описывается приспособленчество чиновника в одноименном фельетоне: «Пред старшими подскакивал со стула /Ив робость безотчетную впадал, / С начальником ни по каким причинам — / Где б ни было — не вмешивался в спор»), то новое ощущение трагизма такой жизни и скорби о человеке позволяет уже не юлить, не намекать, а использовать прямое, резкое (и, конечно, очень лермонтовское) слово: «Будешь ты чиновник с виду / И подлец душой»; «До хорошего местечка / Доползешь ужом». В «Чиновнике» доминирует ирония:

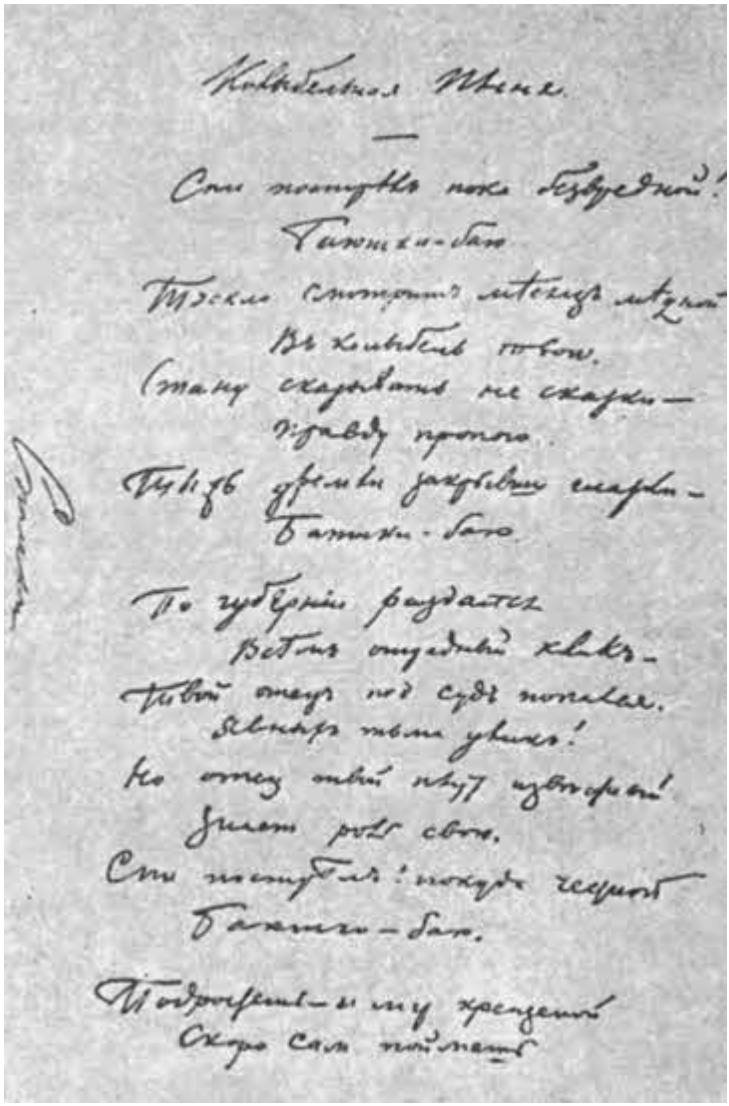
По службе вел дела свои примерно
И не бывал за взятки под судом,
Но (на жену, как водится) в Галерной
Купил давно пятиэтажный дом.

В «Колыбельной песне» воровство прямо названо воровством, без всякого ерничества и недомолвок:

И охулки не положишь
На руку свою.
Спи, покуда красть не можешь!
Баюшки-баю.

Купишь дом многоэтажный,
Схватишь крупный чин
И вдруг станешь барин важный,
Русский дворянин.

Прямое, бескомпромиссное, «жестокое» высказывание, сделанное от лица моральной человеческой правды, становится важнейшей краской, найденной в этой «пародии» Некрасовым. Это священная ярость («демократическая злость», как назвал ее Герцен существенно позднее), подобная гневу библейских пророков, поднимающаяся до сатиры Кантемира, Новикова, Фонвизина, Державина. В этом тексте это всё очень сгущено и резко, как бывает в случаях вдруг обретенного голоса; недаром это стихотворение до конца жизни Некрасова останется одним из самых «нецензурных» его произведений, постоянно вызывавшим запреты. После того как «Колыбельная песня» была напечатана, сам шеф жандармов Алексей Федорович Орлов потребовал наказать цензора, дозволившего ее публикацию: «Сочинения подобного рода, по предосудительному содержанию своему, не должны бы одобряться к печатанию». Начальство боялось, конечно, не покушений на литературную славу и значение Лермонтова, но покушения на «всё самое святое и высокое», именно потому, что стихотворение показывает, как в тогдашнем обществе всё святое и высокое было поругано и предано.



Автограф стихотворения «Колыбельная песня». 1846 г.

«Колыбельная песня» — блестящее стихотворение, одна из первых поэтических удач Некрасова, превосходящая абсолютно всё написанное им ранее, — займет почетное место в его прижизненных собраниях стихотворений (хотя и будет переноситься в раздел «Приложения» — формально как «несерьезное», а на деле по цензурным причинам). Но не в нем Некрасов видел свое новое рождение как поэта и не его первым

показал Белинскому. В «Колыбельной песне» не хватает для «нового начала» своей темы, чего-то специфического, присущего только ему одному, эффект создается с помощью соединения двух уже хорошо разработанных в литературе (в том числе и самим Некрасовым) тем. В поисках своей темы Некрасов как бы открывает для себя те части своей жизни, опыт которых ему до сих пор не требовался ни в литературных занятиях, ни для вхождения в круг Белинского (для последнего были важнее его бедствия и мелкое предпринимательство в Петербурге): детство и раннюю юность, проведенные в поместье. Не то чтобы он вдруг вспомнил о них посреди петербургской жизни или краткое пребывание в Грешневе в 1844 году пробудило в нем тяжелые воспоминания о страшных сценах из детства. В детстве Некрасова не было ничего экстраординарного. Но благодаря Белинскому он научился видеть в тех обыденных крепостных порядках, среди которых вырос, в самом крепостном праве нечто ненормальное и в своей ненормальности ужасное. И в какой-то момент, когда Некрасов был озабочен поисками своей темы, инвективы Белинского в адрес крепостного права совместились с судьбой и личностью его «ученика».

Наиболее важным здесь было то, что он сам в силу происхождения был крепостником — не жертвой, а «злодеем», принадлежал к тем, кто виновен в страданиях миллионов людей. Или, точнее, в диалектике гегелевского типа, хорошо понятной Белинскому и его друзьям, — одновременно виновником и жертвой. И Некрасов пишет стихотворение «Родина», направленное не просто против крепостного права (хотя и об этом тогда писали нечасто), но как бы против самого себя как его порождения.

В чем сила этого еще одного «лермонтовского» стихотворения Некрасова? Оно «лермонтовское» в том числе и потому, что здесь обвинения в адрес помещичьей усадьбы наложены на лермонтовский ритм и смысл (очевидно, что по мелодике стиха и по теме — возвращение в родную усадьбу — оно напоминает «Как часто, пестрою толпою окружен…»). Но в некрасовском стихотворении нет никакой «шутки» и иронии в тех бескомпромиссных прямых словах, которые описывают усадебные обычаи:

И вот они опять, знакомые места,
Где жизнь отцов моих, бесплодна и пуста,
Текла среди пиров, бессмысленного чванства,
Разврата грязного и мелкого тиранства;
Где рой подавленных и трепетных рабов

Завидовал житью последних барских псов…

Лирический герой обвиняет самого себя и потому вправе говорить такие слова:

Где научился я терпеть и ненавидеть,
Но, ненависть в душе постыдно притая,
Где иногда бывал помещиком и я;
Где от души моей, довременно растленной,
Так рано отлетел покой благословенный,
И неребяческих желаний и тревог
Огонь томительный до срока сердце жег…

И это воспитание, пробуждающее ненависть, одновременно накладывает на самого автора несмываемую печать:

Нет! в юности моей, мятежной и суровой,
Отрадного душе воспоминанья нет;
Но всё, что, жизнь мою опутав с первых лет,
Проклятьем на меня легло неотразимым, —
Всему начало здесь, в краю моем родимом!..

Эта печать — конечно, в первую очередь печать вины за соучастие в произволе, в самом крепостном праве, в этих социальных порядках, но одновременно и печать на характере, на самом складе личности, на судьбе. Можно сказать, что здесь появляется новый вид сочувствия, в значительной степени перекликающийся с отразившимся в лермонтовской «Думе»: лирический герой «Родины» проклинает социальное явление за зло, какое оно причинило не окружающим, а ему самому, не обездолив, но искалечив его душу. Здесь рождается новый лирический герой — «изломанный» человек, который неизбежно проклинает и то, что любил, потому что все его любимые существа также искалечены, их трагическая судьба несет на себе такое же неизбывное клеймо позора, что и его собственное. О матери:

Навеки отдана угрюмому невежде,
Не предавалась ты несбыточной надежде —
Тебя пугала мысль восстать против судьбы,
Ты жребий свой несла в молчании рабы…

О любимой сестре:

И ты, делившая с страдалицей безгласной
И горе и позор судьбы ее ужасной,
Тебя уж также нет, сестра души моей!

О няне:

Ее бессмысленной и вредной доброты
На память мне пришли немногие черты,
И грудь моя полна враждой и злостью новой…

Это безжалостный расчет с прошлым:

И с отвращением кругом кидая взор,
С отрадой вижу я, что срублен темный бор —
В томящий летний зной защита и прохлада, —
И нива выжжена, и праздно дремлет стадо,
Понурив голову над высохшим ручьем,
И набок валится пустой и мрачный дом…

Эмоциональное воздействие стихотворения усиливается сочетанием широких обобщений, обличительной патетики и чрезвычайно, даже рискованно интимных деталей, в некотором смысле бестактных и безжалостных по отношению к себе и персонажам стихотворения, способных вызвать у читателей чувство неловкости от непрошеного, неожиданного признания (например, о «неребяческих желаниях», о крепостных любовницах отца). Это своего рода эксгибиционизм, требующий от читателя напряжения и стойкости. При этом стихотворение неправдиво и в целом, и в мелочах: уже говорилось, что у Алексея Сергеевича при жизни матери не было крепостных любовниц, во всяком случае таких, с которыми он жил открыто (они, как и побочные дети, появились у отца Некрасова после смерти жены). Как ни странно, это не мешает эффекту, производимому «Родиной», — искренность здесь не есть откровенность, это скорее способность приписать себе и пережить как собственные любые общественные пороки и язвы, не останавливаясь перед самыми унизительными.

«Родина» — первое стихотворение, которое Некрасов решил показать Белинскому. И это закономерно: здесь не только отразились важнейшие ценности его круга, но и сама инвектива против самого себя была вдохновлена, возможно, известной

чертой личности Белинского — способностью порицать себя за пороки, издеваться над собственными преодоленными заблуждениями. И стихотворение произвело впечатление на самого важного читателя. Сам Некрасов описывал судьбоносное событие своей жизни в автобиографии: «Я сблизился с Белинским. Принялся немного за стихи. Приношу к нему около 1844 г. стихотворение «Родина», написано было только начало, Белинский пришел в восторг, ему понравились задатки отрицания и вообще зарождение слов и мыслей, которые получили свое развитие в дальнейших моих стихах. Он убеждал продолжать»[22]. Менее сдержанно, но, возможно, более точно описывает реакцию Белинского Панаев: «Стихотворение «Родина» привело Белинского в совершенный восторг. Он выучил его наизусть и послал его в Москву к своим приятелям…» Таким образом, несмотря на то что стихотворение долго не получалось напечатать (оно не нравилось цензуре по той же причине, что и «Колыбельная песня», — из-за резкости обличения «всего святого и высокого», в том числе материнской и братской любви), именно оно дало миру нового поэта. Теперь Белинский назвал его «истинным поэтом» и так же, как ввел в свой крут его самого, ввел туда и его новую поэзию. Конечно, титул «гения» Некрасов получить не мог — это место было занято Лермонтовым, — но «истинный поэт» значило примерно то же самое.

Тем не менее свои собрания стихотворений (кроме первого) Некрасов открывал другим произведением, которое, видимо, считал впоследствии подлинным началом своего «настоящего» пути в литературе. Недаром некоторые мемуаристы ошибались, принимая именно его за тот текст, который вызвал первый восторг у некрасовского «учителя» («…У Белинского засверкали глаза, он бросился к Некрасову, обнял его и сказал чуть не со слезами на глазах: «Да знаете ли вы, что вы поэт — и поэт истинный?», — пишет в воспоминаниях Панаев). Это стихотворение, написанное в 1845 году и также напечатанное в «Петербургском сборнике». Белинский в целом отозвался о помещенных там стихах Некрасова очень высоко, но особенно выделил именно это. Герцен назвал стихотворение «превосходным». Именно «В дороге» стало подлинным обретением Некрасовым голоса. Голос здесь — самое важное. Стихотворение «Родина» имеет те же достоинства, что «Колыбельная песня», но и те же недостатки: оно одновременно слишком «громкое» — до истерики и слишком интимное — до эксгибиционизма, и в этом смысле и опасное, и «незрелое». Некрасов ищет другой — буквально «чужой» — голос, который звучал бы «тише», сдержаннее.

«В дороге» — еще одно стихотворение о том, как крепостное право калечит человека, но ощущение ужаса и несправедливости возникает само по себе, из «услышанной» истории. Стихотворение буквально разложено по голосам: самого лирического героя, ямщика, и как будто откуда-то из глубины слышится голос несчастной крепостной женщины. Здесь так же все — и мужик, и его несчастная жена — жертвы, но сказано об этом не прямо, не сильными словами, а становится ясно как будто из самого сопоставления двух миров, двух языков, мужицкого и дворянского. Трагедия женщины заключается в несовместимости этих миров, культур, пониманий смысла жизни, законов общежития. И потому за общей мыслью, заключающейся в том, что крепостное право позволяет обращаться с человеком, как с игрушкой, которую можно бросить, когда она надоест, перестанет нравиться или просто сделает что-то против господской воли, встает более сложная и, так сказать, долгая проблема: кому сочувствовать и кто здесь большая жертва.

В стихотворении «В дороге» легко можно увидеть еще одно обыгрывание «материнского» сюжета «Родины»: утонченная женщина с высокими духовными стремлениями отдана замуж за грубого «невежду». Но здесь сам «невежда» становится и порождением, и жертвой какой-то общей неправильности жизни. И читателя охватывает не просто негодование, но леденящий ужас оттого, что обычные люди, а не отпетые злодеи причиняют друг другу невероятную боль просто в «силу вещей», считая себя нормальными и добрыми. После смерти хозяина, в доме которого выросла крепостная девушка, новый барин отправляет ее, не приученную к сельской жизни, в деревню: «Знай-де место свое ты, мужичка!» И ямщик — добрый человек и гордится этим:

Видит Бог, не томил
Я ее безустанной работой…
Одевал и кормил, без пути не бранил,
Уважал, тоись, вот как, с охотой…
А, слышь, бить — так почти не бивал,
Разве только под пьяную руку…

И он действительно не понимает, что говорит и что делает со своей женой. И что же это за сила вещей, которая позволяет людям так поступать с другими людьми? Лирический герой не дает ответа — он здесь не судья, а слушатель, передающий читателю чужой рассказ. В результате оказывается высказано больше, чем в «Родине». Если «Родину» повторить невозможно (да и не нужно — это стихотворение, имеющее силу выкрика, а

кричать всё время нельзя), то в стихотворении «В дороге» автор как будто впервые спрашивает о том, о чем будет еще писать и писать. Оно открывает настоящий путь Некрасова-поэта.

БЛЕСТЯЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И РОКОВАЯ СТРАСТЬ

Начало 1845 года и первая половина 1846-го проходят под знаком укрепления позиций Некрасова в кругу Белинского. Он не только получает поддержку своих новых стихотворений (о них одобрительно и серьезно высказываются Герцен, Тургенев, Панаев), но и становится своим в этом кругу, не только усваивает привычки и ценности этих людей, но и тонко понимает их отношения между собой, разбирается в том статусе, который имеют внутри круга его члены, и знает, как к кому относиться. Например, в декабре 1845 года Некрасов пишет в Москву Кетчеру, с которым к тому времени перешел на «ты»: «Здесь всё так себе — ничего. Белинский здоров и работает. Тургенев бегает в оперу; Панаев ядрит, лупит и наяривает; Анненков сбирается (всё еще) за границу». В этом кратком отчете прекрасно видно, как расставлены акценты: про Белинского главное — его работа и вызывающее тревогу здоровье; Тургенев — человек легкомысленный, но развитый; Панаев — совсем бессмысленный; Анненков — ленивый и неповоротливый. Сам шутливый тон письма говорит о короткости автора с адресатом и с перечисленными общими знакомыми, проявлены любовь к ним и одновременно отчасти снисходительность. Только Белинский здесь деятель, остальные — скорее «персонажи», общие приятели. Более того, Некрасов уже не просто чувствует себя среди друзей Белинского как рыба в воде, но и начинает принимать участие в расширении круга, вводит в него новых членов — сначала Григоровича, затем Достоевского, которого называет «новым Гоголем». С мнением Некрасова начинают считаться, и это важно для него как издателя — он постепенно обретает собственный голос, перестает быть только исполнителем, обеспечивающим «техническую» реализацию замыслов Белинского: расчеты с авторами, типографией, бумажной фабрикой, книгопродавцами. Герцен уже, присылая свою статью, интересуется мнением о ней Некрасова-издателя («Я написал небольшую статейку для некрасовского сборника… если она ему покажется серьезною, пусть скажет», — писал он Краевскому). Эта эволюция, возможно, не особо заметна членам круга, но она, несомненно, происходит. Друзья Белинского считают его абсолютно своим человеком и доверяют ему, как самим себе.

Безусловно, пока Некрасов остается для молодых западников прежде всего тем же культурным и честным предпринимателем,

каким был «представлен» им Белинским. Его серьезная поэтическая продукция пока очень невелика; не все стихи, которые он печатает в 1845 году, легко отличить от публиковавшихся ранее. Некрасов еще пишет рецензии, газетные и журнальные фельетоны. В Александрийском театре идет его водевиль «Петербургский ростовщик». Словом, новый Некрасов еще окончательно не совлек с себя водевилиста и журнального фельетониста. Его издательская деятельность пока более плодотворна и занимает в его жизни существенно больше места, чем поэзия. Первая часть «Физиологии Петербурга», вышедшая в марте, еще собирает рецензии, вторая часть только проходит цензуру (вышла в свет 26 июня), а Некрасов уже начинает реализовывать новый замысел: сначала он назывался «Первое января», а затем получил название «Петербургский сборник».

В октябре 1845 года Некрасов переселяется в Поварской переулок, дом 12 — владение отставного подполковника А. Д. Тулубьева около Владимирской церкви. Художник П. П. Соколов вспоминал: «[Некрасов] занимал маленькую квартиру почти без мебели… У стены стоял деревянный стол, а около него стул. Как на том, так и на другом грудою лежали книги, газеты, на одном из окон валялась неповешенная стора. Другая комната была с таким же убранством». В такой обстановке квартиры истинного «журналиста» и создавался «Петербургский сборник», ставший значительным шагом вперед в издательской карьере Некрасова. Стоит отметить, что сборник был его самостоятельным проектом, который он осуществлял на собственные деньги, и, в общем, предприятием рискованным. Некрасов писал Александру Васильевичу Никитенко, цензору и одному из участников собираемого альманаха, в июле 1845 года: «Для меня это дело важно; я издержал на него последние свои деньжонки и основываю на нем кое-какие надежды».

Некоторые нюансы издания, свидетельствующие, что «посторонний» капитал Некрасову всё-таки понадобился, излагаются в письме от 19 октября сестре Анне Алексеевне, недавно вышедшей замуж за штабс-капитана Генриха Станиславовича Буткевича: «Жалею, что не могу послать тебе, Аненька, известную материю, теперь я просто без гроша. Затеял предприятие в 10 тысяч, имея только четыре, и всякую копейку, какая есть, принужден отдавать на бумагу, на печать, на картинки и на всякие другие принадлежности. Всё это изготовится только к генварю, и тогда только начнутся деньги, то есть законное вознаграждение за труд и за риск. Впрочем, дело идет успешно, потому что я принял к себе в долю по этому предприятию г. Языкова, своего короткого знакомого, имеющего капитал, и чего

недостает денег, беру у него, разумеется, в ожидании будущих благ, которые, впрочем, очень верны». Усилия оправдались, и сборник стал по-настоящему коммерчески успешным; во всяком случае, Некрасов в конце жизни утверждал: «Сборник мне дал чистых 2000 рублей».

Но в данном случае более важна нематериальная сторона этого предприятия. Как издатель и редактор «Петербургского сборника» Некрасов оказался в центре одного из самых значительных событий в истории русской литературы. Прежде всего, этот сборник существенно лучше, чем его предшественник, представил публике круг Белинского. В «Физиологии Петербурга» участвовали только сам Белинский, Панаев и Некрасов (дебютант Григорович еще не мог быть назван частью этого круга). В «Петербургском сборнике» напечатаны произведения Григоровича, Некрасова, Белинского, Герцена (Искандера), Панаева, Тургенева, Кронеберга (перевод «Макбета»), Достоевского — нового члена круга. Вошли туда произведения «старших» литераторов, до некоторой степени разделявших идеалы Белинского и его друзей — Одоевского и Соллогуба. Издание сборника, таким образом, стало проектом, «мобилизовавшим» всех единомышленников. Здесь их принципы и их понимание общественных идеалов представали в существенно более концентрированном виде, чем, скажем, в «Отечественных записках» Краевского. Если «Физиология Петербурга» всё-таки посредственна, то «Петербургский сборник» содержит первоклассные произведения, ставшие бессмертной классикой, — это не только статьи Белинского, «Бедные люди» Достоевского, но и «Помещик» и «Три портрета» Тургенева, наконец, стихотворения самого «господина издателя».

«Петербургский сборник» стал важным событием и в еще одном отношении: он не только сплотил литераторов и журналистов крута Белинского, но и обозначил их неизбежный разрыв, размежевание с литераторами предшествующего, пушкинского поколения. Князя Владимира Одоевского и графа Владимира Соллогуба еще можно видеть среди участников сборника, но другие их ровесники и более старшие писатели уже не приняли ни художественные, ни идейные тенденции новой школы, проявившиеся в нем. Николай Михайлович Языков написал о «Петербургском сборнике»: «Всё читал и всё — дрянь»; крайне резко высказывался о нем другой приятель Пушкина, Плетнев. Утверждая преемственность по отношению к Гоголю (пусть и не «благословившего» ее лично), участники новой школы начали утрачивать поначалу важную преемственность по отношению к Пушкину, встретив резкую оппозицию со стороны

многих литераторов 1830-х годов, которых до того считали скорее своими союзниками.

Одновременно с консолидацией сил сборник провоцирует едва ли не первый серьезный внутренний конфликт, связанный с заложенным в нем противоречием: издан он был под прежним лозунгом необходимости беллетристики, важности для литературы «средних талантов», но при этом включал в себя и материалы литературных «звезд» первой величины (каковыми, несомненно, уже тогда были Герцен, Соллогуб, Одоевский), и произведения прямо гениальные (прежде всего «Бедные люди»). Кроме того, литераторы, давшие в «Петербургский сборник» свои сочинения, обладали разными характерами и разными амбициями, далеко не все из них ощущали себя средними беллетристами. И если любящие Белинского Герцен, Тургенев, Панаев добродушно готовы были встать под знамена беллетристики (или не принимали всерьез формулы Белинского об «обыкновенных талантах» и «гениях»), то Достоевский, человек новый, не чувствовавший себя связанным узами круга, отказаться от амбиций, влиться в стройные ряды «обыкновенных талантов» был совершенно не готов. Уже в период подготовки издания возникли проблемы из-за желания Достоевского выделиться (Некрасов просил художника Соколова, иллюстрировавшего сборник, как-то по-другому оформить именно роман Достоевского, сделать иллюстрации к нему особенно выразительными). В результате амбиции, нежелание быть как все и, видимо, идейные разногласия наряду с завышенными финансовыми требованиями молодого гения привели его к разрыву с Белинским и его кругом. Новичок был изгнан, Белинский дезавуировал свои «поспешные» похвалы (он назвал талант Достоевского «необыкновенным») и, рецензируя произведения, написанные после «Бедных людей», разжаловал Достоевского в «обыкновенные таланты». Некрасов в конфликте был, несомненно, на стороне Белинского и принимал участие в иронических стихотворных нападках на «дутого» «гения».

Отношения между ним и Достоевским возобновятся только после возвращения писателя из ссылки.

«Петербургский сборник» открыл публике не только гений Достоевского, но и нового Некрасова. Там напечатано четыре его стихотворения: «В дороге» и «Колыбельная песня», о которых уже шла речь, а также «Отрадно видеть, что находит…», по резкости схожее с «Колыбельной песней», и «Пьяница», напоминающее скорее «В дороге». Они дали возможность Белинскому публично признать талант Некрасова. Критик писал, что «в прошлый (1844-й. — *М. М.)* год явилось в разных периодических изданиях

несколько счастливых вдохновений таланта», имея в виду три стихотворения Некрасова и одно — Аполлона Майкова, тоже участника «Петербургского сборника». О стихах «Петербургского сборника» Белинский отозвался так: «Самые интересные из них принадлежат перу издателя сборника г. Некрасова. Они проникнуты мыслию; это — не стишки к деве и луне; в них много умного, дельного и современного. Вот лучшее из них — «В дороге». Находит отклик это произведение и у других критиков, особенно сильное впечатление оно произвело на тогда еще начинающего журналиста Аполлона Александровича Григорьева, написавшего в дружественном «Отечественным запискам» небольшом журнале «Финский вестник»: «Из стихотворений сборника более прочих замечательны стихотворения самого издателя г. Некрасова. Одно из них в особенности. «В дороге» chef-d'oeuvre простоты, горького юмора и злой грусти. Питая полное уважение к таланту г. Некрасова, мы при первом удобном случае выскажем о нем наше мнение как о таланте замечательном».

И не только критика начала публично говорить об огромном таланте Некрасова. Тот же Григорьев впоследствии вспоминал об огромном впечатлении, произведенном стихотворением «В дороге» на читающую публику. Великий актер Михаил Семенович Щепкин, близкий к кругу Белинского и Герцена и пользовавшийся среди литераторов-западников большим авторитетом, для выступления на благотворительном вечере в Москве избрал, помимо «Старосветских помещиков» Гоголя и фрагмента из «Бедных людей» Достоевского, «В дороге» и «Пьяницу» Некрасова. Наконец, по свидетельству Панаевой, московские друзья Белинского именно после выхода «Петербургского сборника» впервые просили Некрасова прочесть свои новые стихотворения, окончательно признав его поэтический талант достойным внимания. Так «Петербургский сборник» превратил Некрасова не только в серьезного издателя, но и в серьезного поэта.

ПЕТЕРБУРГСКІЙ

СБОРНИКЪ,

ИЗДАННЫЙ

Н. НЕКРАСОВЫМЪ.

НѢКОТОРЫЯ СТАТЬИ ИЛЛЮСТРИРОВАНЫ.

Изъ Библіотеки
Э.Э.Клекль.

В. Г. БѢЛИНСКІЙ.
Ѳ. М. ДОСТОЕВСКІЙ.
ИСКАНДЕРЪ.
А. И. КРОНЕБЕРГЪ.
А. Н. МАЙКОВЪ.
Н. А. НЕКРАСОВЪ.
А. В. НИКИТЕНКО.
КН. В. Ѳ. ОДОЕВСКІЙ.
И. И. ПАНАЕВЪ.
ГР. В. А. СОЛЛОГУБЪ.
И. С. ТУРГЕНЕВЪ.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.
ВЪ ТИПОГРАФІИ ЭДУАРДА ПРАЦА.
1846.

Титульный лист «Петербургского сборника». 1846 г.

И еще одно изменение связано с выходом «Петербургского сборника». Видимо, именно с него начинается своего рода традиция отрицания за Некрасовым права называться поэтом, непризнания в его стихах «подлинной поэзии». Враждебная критика, в целом резко нападавшая на оба сборника, едва ли не выделяла стихи Некрасова как самое отвратительное в них. Анонимный критик славянофильского «Москвитянина» говорит о

«крайнем безобразии… стихотворений г. Некрасова». Плетнев в пятом номере «Современника», который он издавал после смерти Пушкина, пишет о «Колыбельной песне»: «Ужели есть столь жалкие читатели, которым понравится собрание столь грязных и отвратительных исчадий праздности? Это последняя ступень, до которой могла упасть в литературе шутка, если только не преступление называть шуткою то, что нельзя назвать публично ее собственным именем». Эта неожиданная резкость, конечно, свидетельствует и о новаторском характере стихов Некрасова, неприемлемости эстетических принципов, лежащих в их основе, для людей, подобных Плетневу, и о новом статусе Некрасова, о том, что он перешел в «высшие литературные круги» и судят его теперь не как «литературную тлю» или «юного» поэта, но как человека, «оскверняющего» пушкинские принципы, высокую и святую поэзию, которой «литературная тля», конечно, никакого вреда причинить не может.

Некрасов в это время не просто осознаёт свой новый статус, но и понимает, что нашел свое настоящее лицо, свои неповторимые интонации и темы. В 1845–1846 годах он пишет мало стихов, отчасти потому, что сильно занят издательскими проектами, но по написанному видно, как он пользуется найденным оружием: из-за введения резкого прямого гневного слова преображается «газетный фельетон»; «юмористические» стихотворения «Новости», «Современная ода» — не пустоватое обозрение столичных развлечений и глупостей; приговор ничтожному и подлому обществу, а легкое на первый взгляд стихотворение «Стишки, стишки! давно ль и я был «гений» не просто нападает на мелкую эпигонскую поэзию, но позволяет увидеть в ней предательство подлинного высокого общественного предназначения литературы. И здесь моральной поддержкой сатире служит уже не раскаяние лирического героя в своем помещичьем прошлом, которого не вытравить из его настоящего, но его эпигонское творчество — оно теперь тоже «пригодилось», теперь нужно не «умалчивать» о нем, стараясь делать вид, что его вообще не было, но прямо говорить как о «заблуждении». Найденными в стихотворении «В дороге» приемами поэт пользуется в «Тройке» о крестьянской девушке, достойной «лучшей участи»; только в отличие от жены печального ямщика эта безымянная красавица не получит даже намека на яркую жизнь. «Тройка» еще усиливает ту же дорожную печаль, «неотвязную скуку», заставляющую думать навязчивые, ненужные «думы», которая и впоследствии останется одним из любимых некрасовских настроений. К «Родине» чрезвычайно близко стихотворение «В неведомой глуши, в деревне полудикой…», в

котором заголовок «Подражание Лермонтову» прямо указывает на истоки этой горькой и беспощадной медитации.

Явно экспериментальный характер имеет стихотворение «Когда из мрака заблужденья…», в котором речь ведется от лица, судя по всему, молодого человека, предлагающего руку и сердце падшей женщине. Экспериментально оно в том смысле, что в нем автор как будто ищет предел дерзости и откровенности в поэзии и литературе в целом. В этом произведении едва ли не впервые в русскую литературу входят благородные проститутки, женщины «падшие», «погибшие» в глазах общества, но сохранившие сердце и совесть. Может быть, оно и не принадлежало к лучшим образцам творчества Некрасова (хотя чрезвычайно нравилось современникам — даже такой не симпатизировавший поэзии Некрасова критик, как Александр Васильевич Дружинин, позднее писал, что его текст настолько гениален, что Пушкин мог бы поставить под ним свое имя), но было важно для самого автора и для русской литературы в целом, поскольку намечало ту позицию, с которой можно судить общество. Проститутка — та, кого общество помещает на самый низ своей моральной иерархии, презирает и клеймит больше нищего и преступника, — оказывается выше самого этого общества и тем самым позволяет вынести ему самый суровый приговор.

Чуть позже, в стихотворении «Еду ли ночью по улице темной…» эта тема найдет потрясающее выражение за счет теплоты и жалости; но пока в некрасовской трактовке много риторики, за описанием «воскресения» падшей женщины и благородства молодого человека, «прощающего» ее, теряется жалость к ней. В «Когда из мрака заблужденья…» декларативно утверждается равенство проститутки с любым другим человеческим существом, и отчасти поэтому Некрасов «промахивается», не попадает в цель. До равенства этим женщинам пока далеко, пока еще слишком много причин для жалости к ним.

Еще одна краска в палитре некрасовской поэзии появляется уже в 1846 году, и стимулом для овладения ею стало очередное предприятие. В начале марта вместе с Николаем Яковлевичем Прокоповичем Некрасов издал книгу «Стихотворения Кольцова. С портретом, его факсимиле и статьею о его жизни и сочинениях, написанною В. Белинским». В уже упоминавшемся обзоре литературы 1843 года Некрасов ставил Кольцова не очень высоко: «Кольцов не обещал из себя явления слишком важного для современной русской поэзии, ибо сфера его поэтической деятельности была весьма ограничена; но в том, что он обладал замечательным самобытным талантом, который мог бы принести

свою долю пользы русской поэзии, никто уже не спорит…» Видимо, во многом такое прохладное отношение Некрасова к поэту-скототорговцу связано с усилением противостояния со славянофилами, заставлявшее западнический круг Белинского с изначальным сомнением относиться ко всякому «простонародному» национальному элементу в литературе. В статье, открывавшей некрасовское издание стихотворений Кольцова, Белинский, однако, отстаивал важность национального своеобразия культуры как части и основы общечеловеческого единства, утверждая, что кольцовские «русские песни» — одно из высочайших достижений русской поэзии. Работа над изданием и обсуждение его с Белинским, видимо, заставили Некрасова присмотреться к творчеству Кольцова и проявить интерес к «кольцовскому», то есть фольклорному, началу в литературе. Попыткой освоения стихии народной песни стало стихотворение «Огородник».

Легко увидеть смысловую связь между «Огородником» и стихотворением «В дороге». И здесь в центре проблема неравенства, та же «мораль», что нельзя быть вместе мужику и девушке дворянской культуры (в данном случае это природная «дворянская дочь»), однако мысль эта в «Огороднике» развивается иначе. В стихотворении «В дороге» фольклорные элементы появляются не в речи мужика, а в словах лирического героя-дворянина, который предлагает ямщику: «Песню, что ли, приятель, запой / Про рекрутский набор и разлуку; / Небылицей какой посмеши», — а он вместо этого рассказывает вполне прозаическую, реальную историю. Удивительным образом фольклор предстает чем-то не «мужицким», а барским, народная песня становится интересной только барину, только для дворян фольклор может казаться правильным способом понимания народа — очевидно потому, что он, так сказать, несерьезен, а несерьезен, в свою очередь, потому что «неконкретен» — не содержит анализа положения народа, в нем нет «обличения», приговора действительности, то есть той «правды», к которой должна стремиться литература. По-другому дело обстоит в «Огороднике». Если ямщик в стихотворении «В дороге» отвергает фольклор и «оставляет» его барину для «потехи», то «огородник лихой» сам складывает песню о своей судьбе. Стихотворение сюжетно основано на популярной народной песне о «Ваньке-ключнике»; речь героя насыщена условными фольклорными формулами (таковой, а не просто эвфемизмом, заменяющим слишком прозаического «крестьянина», является даже название стихотворения). Впервые появляется в некрасовской «серьезной» поэзии «кольцовский» анапест — трехсложный размер,

имитирующий распевность народной поэзии.

В результате оказывается, что введение в произведение фольклорных элементов, фольклорная стилизация не мешают выражению идеи социального неравенства, препятствующего любви, человеческим отношениям, и, как ни странно, не мешают, а скорее помогают и утверждению превосходства таких отношений над сословными. В стихотворении «В дороге» отношения между ямщиком и его женой превращаются в столкновение двух культур, несовместимых, не понимающих друг друга, что отражается в языке стихотворения. Дворянские слова искажаются мужиком (орган — «варган», портрет — «патрет» и т. п.) именно потому, что принадлежат абсолютно чуждой ему культуре, которую он не способен понять. Ямщик и его «злодейка-жена» почти буквально говорят на разных языках, и это делает невозможными для них ни взаимопонимание, ни любовь. Молодая женщина не может любить «неряху» мужика, не способного даже правильно выговорить слово «портрет». В «Огороднике» же этого столкновения культур нет, дворянская культура, представленная через призму фольклора, оказывается частью той же общенациональной культуры, что и народная, и поэтому различие в социальном положении в данном случае не препятствует любви. Эту объединяющую роль исполняет именно народная культура (дворянская в стихотворении «В дороге» оказывается на это неспособной). Так в этом стихотворении Некрасов не только осваивает фольклор, но и впервые вступает в ту проблематику, которая станет одной из магистральных в русской литературе второй половины XIX века: поиск основ и принципов единства нации, которые были бы выше сословных различий, ее разделяющих. Тогда такую идею искали неприятели-славянофилы, однако она же будет поставлена И. С. Тургеневым, А. Н. Островским, не говоря уже о Л. Н. Толстом.

Стихотворения печатаются в сборниках, «Отечественных записках», «Литературной газете», открывая публике разные возможности некрасовского дарования и постепенно складываясь в узнаваемое единство — поэзию Некрасова.

Видимо, по-прежнему первым читателем большинства из них становится Белинский — отношения поэта и критика со временем только укрепляются. Они часто встречаются на петербургских квартирах (скорее всего, чаще Некрасов бывал гостем Белинского). Говорил, конечно, преимущественно Белинский, но и Некрасов постепенно получал в этих разговорах свою роль, поскольку наверняка они не только носили эстетический и общественный характер, но и касались материальных вопросов, планов, проектов и вообще способов разбогатеть или хотя бы

улучшить материальное положение. Очевидно, что в разговорах такого плана голос Некрасова был весомее голоса Белинского, не умевшего считать деньги, вечно нуждавшегося и зависевшего от своего работодателя Краевского. Наверняка также часто звучали в этих разговорах жалобы на издателя «Отечественных записок», требовавшего много работать и, с точки зрения Белинского, мало плативщего (такие мотивы постепенно стали общими для всех друзей великого критика). Эти настроения, конечно, усиливались тяжелой болезнью Белинского — туберкулезом, именно в это время вступавшим в последнюю стадию. Желание Некрасова помочь Белинскому, дать ему возможность заработать привело к плану издания, в котором критик выступил бы в качестве владельца, получающего всю прибыль. Естественно, что после успехов некрасовских сборников (за триумфом «Петербургского сборника» последовал еще один коммерчески успешный, но более легкомысленный сборник «Первое апреля») таким изданием должен был стать новый сборник или альманах. Проект казался заведомо прибыльным еще и потому, что предполагалось существенно сэкономить на гонорарах — друзья Белинского могли дать свои материалы в сборник, предназначенный для помощи ему, либо бесплатно, либо с большой скидкой. Некрасов предложил взять на себя техническую сторону издания: переговоры с типографией, бумажной фабрикой, книгопродавцами и пр.

Замысел этот начинает становиться реальностью уже в начале 1846 года, то есть когда «Петербургский сборник» только вышел в свет и стал приносить первые материальные плоды успеха. Свои сочинения обещали дать практически все участники круга Белинского: Герцен, Грановский, Тургенев, Достоевский, Гончаров (не что иное, как роман «Обыкновенная история», только что одобренный Белинским), Анненков, Панаев, сам Некрасов и многие другие. Сборник, таким образом, должен был стать исключительным по качеству и огромным по объему, раза в два толще почти шестисотстраничного «Петербургского сборника», за что получил от Белинского название «Левиафан».

Безусловно, и в этом случае непрактичность великого критика привела к тому, что большая часть работы легла на плечи Некрасова, которому он всецело доверял, поручая в том числе переговоры с авторами и сбор материала. Фактически от участия Белинского оставалось только его имя, но значило оно, конечно, очень много. Это не мешало Белинскому оставаться бенефициаром, небезосновательно предвкушавшим значительную прибыль. Видимо, в значительной степени именно это предвкушение обусловило окончательное решение критика

порвать с Краевским и оставить «Отечественные записки» (в марте 1846 года этот разрыв был оформлен «официально»). По воспоминаниям П. В. Анненкова, Некрасов давно поддерживал это намерение Белинского, а по его собственным воспоминаниям, даже подталкивал к такому решению («Я стал подымать его на дыбы, указывая на свой заработок»).

Всё было готово, кажется, к апрелю 1846 года, когда Белинский с Некрасовым выехал в Москву, чтобы, погостив в старой столице и повидавшись с московскими приятелями и единомышленниками, отправиться вместе с М. С. Щепкиным на юг для поправки сильно ухудшившегося здоровья (поездку на лечение оплатил Некрасов, дав две тысячи рублей из средств, полученных им от издания «Петербургского сборника»). В Москве был большой сбор — туда приехали также Тургенев и Панаев. Видимо, гощение Белинского проходило в очень радушной атмосфере. С новым интересом встретили Некрасова, в апреле и мае он читал свои стихи москвичам в уже сложившейся манере — «слегка заунывным тоном». 16 мая Белинский с Щепкиным отправился в Крым, оставив завершение дел по «Левиафану» Некрасову.

Скорее всего, «Левиафан» принес бы Белинскому определенный доход, не меньший, чем «Петербургский сборник» Некрасову. Тому, однако, план издать еще один альманах в какой-то момент показался слишком заурядным, не соответствующим новым возможностям. Ему больше не хотелось издавать сборники, занимаясь, в сущности, одноразовыми предприятиями, которые его учитель простодушно называл «спекуляциями». И там, где Белинский усматривал еще одну «спекуляцию», Некрасов рассчитывал на выход своей издательской деятельности на новый, высший уровень. К таким мыслям его подталкивал сам Белинский, видевший принципиальную разницу между крупным капиталистом и мелким торговцем и рассчитывавший, что крупное предприятие даст возможность преодолеть «грязь», неизбежную для всякой торговли и спекуляции. Так, в статье о Кольцове (запавшей в душу Некрасова) критик писал: «Кольцов полагал большое различие между купцом-капиталистом, которому не только необходимо — даже выгодно быть честным, потому что честность дает кредит, а без кредита большая торговля невозможна, и между мелким торговцем, которого положение всегда скользко, ненадежно, неопределенно, который всегда принужден вертеться ужом и жабою, кланяться, подличать, божиться, натягивать всеми правдами и неправдами…» Некрасов хотел перестать «вертеться» и «кланяться».

Некрасову приходит в голову идея издания литературного журнала, в котором ведущим сотрудником, определяющим его направление, будет Белинский. В основу же первых номеров Некрасов решает положить материал, уже собранный или обещанный для «Левиафана», на что, по его мнению, Белинский должен был охотно согласиться. Замысел был столь красивым, сколь и авантюрным: Белинский, не поставленный в известность, мог не согласиться и сорвать или осложнить дело в самом начале. Однако этим риск не исчерпывался. Нужно иметь в виду, что, хотя мысль издавать самостоятельно, без участия Краевского, литературный журнал, в котором Белинский был бы полным хозяином, носилась в воздухе (ее можно встретить в письмах Кетчера или Герцена еще в 1845 году), сама необходимость создания литературного журнала, где публиковалась бы публицистическая, научная и художественная продукция авторов западнического направления, вовсе не была очевидной. Такой журнал уже существовал — «Отечественные записки». Никаких предпосылок для создания второго журнала не было: теоретических разногласий и, соответственно, «фракций» внутри западнической «партии» не возникало, не выросло внезапно и поголовье хороших писателей. В журнале Краевского всем хватало места. Более того, сам Некрасов не верил, что публика станет покупать два журнала западнического направления. Он предполагал издавать не второй, а *единственный* журнал либеральных западников. Новый журнал, по замыслу Некрасова, должен был не вступить в конкурентную борьбу с «Отечественными записками», а занять их место. Краевский должен быть устранен, а его журнал уничтожен. Некрасов с самого начала представлял себе, как можно этого добиться.

Попытка конкуренции с Краевским выглядела на первый взгляд поединком муравья со слоном. Краевский, несомненно, по сравнению с Некрасовым казался тяжеловесом. Однако для более внимательного наблюдателя, каким был сам начинающий издатель, дело обстояло вовсе не безнадежно. Прежде всего, у Некрасова были причины считать себя литературным предпринимателем, не уступающим Краевскому. Изданные им сборники оказались более яркими и значительными явлениями литературной и общественной жизни, чем любая книжка «Отечественных записок». Некрасов не сомневался, что может вести финансовые и организационные дела журнала не хуже Краевского, поскольку к этому времени прекрасно освоил все тонкости издательского дела, имел опыт издания «Литературной газеты». Не уступая будущему конкуренту в технических вопросах, Некрасов, несомненно, превосходил его «идейно», к

тому же был уже признанным поэтом. Несмотря на отсутствие начального капитала, он мог рассчитывать на свое умение получать кредиты. Кроме того, даже сама его бедность могла быть источником силы: голодный, жадный и энергичный начинающий издатель выступал против (как могло казаться Некрасову) подуставшего, пресытившегося, растратившего бойцовские качества «маститого» коллеги. И, конечно, в борьбе с Краевским Некрасов имел такой козырь, как Белинского. И это касалось не только его способности придать журналу яркое, определенное направление, но в еще большей степени его авторитета в круге западников. Белинский должен был, по замыслу Некрасова, убедить своих друзей порвать с «Отечественными записками» и перейти в новый журнал. Это казалось делом легким и естественным: зачем иметь дело с «торгашом» и «беспринципным эксплуататором Белинского», с которым ни у кого не было идейной близости, и не лучше ли объединиться вокруг нового журнала того же направления?

Некрасову и ставшему его ближайшим приятелем Ивану Ивановичу Панаеву, который на самом раннем этапе был посвящен в замысел и принял деятельное участие в его осуществлении, ответ казался очевидным настолько, что мнения самих этих будущих сотрудников друзья не спросили. 1 октября 1846 года, когда дело было уже сделано, Панаев уверенно писал Н. Х. Кетчеру: «Вы давно хотели иметь журнал свой, независимый. Желание ваше исполнилось. Действуйте же и помогайте нам… Я рискнул на него деньгами — вы поддержите его трудами. Уже я уверен, что ни одна строка, принадлежащая вам, не исключая и конца повести Искандера «Кто виноват», — не будет в «Отечественных] Записках».

Дело было решено, видимо, сразу после отъезда Белинского на юг, в казанском имении Панаева, где летом 1846 года Иван Иванович и Авдотья Яковлевна периодически принимали поселившегося по соседству Некрасова. В основном всех волновала финансовая сторона проекта, которую вроде бы удавалось разрешить с помощью довольно случайного доброжелателя, как вскоре выяснилось, человека непоследовательного и легкомысленного, однако на тот момент заявившего себя твердым сторонником либерально-западнических взглядов, готовым финансировать журнал подобного направления. Некрасов вспоминал: «Летом 46 года я гостил в Казанской губернии у приятеля своего, помещика Григория Матвеевича Толстого, он бывал за границей, обладал некоторым либерализмом. Жили мы с ним в бане и, сидя на балконе, часто беседовали о литературе. В соседство приехал

Панаев с семьей, у него было там имение. Я возбуждал вопрос об издании журнала. Дело останавливалось за деньгами. Панаев заявил, что у него есть 25 000 [рублей] свободного капитала. Толстой обещал ссудить также 25 000. Тогда я поспешил в Петербург».

Из Казанской губернии Некрасов уехал в конце июля. По пути в Петербург он заехал в Москву, а оттуда в Соколово, подмосковное имение, нанимавшееся на лето Герценом, где уже второй год подряд собирались либералы-западники для дружеского времяпрепровождения и интеллектуального общения. В это лето дискуссии привели к «теоретическим» философским разногласиям между Герценом и Грановским, сказавшимся на монолитности круга единомышленников. Полемика касалась существования Бога, высшего существа или хотя бы чего-то трансцендентного. Герцен, уже давно ставший сознательным атеистом, столкнулся с нежеланием Грановского (к которому «примкнул» ряд других лиц) отказаться хотя бы от надежды на существование сил, высших по отношению к человеку и его земному бытию, пусть и не в виде персонализированного христианского Бога.

Некрасову, вероятно, в тот момент было не до размышлений о Боге, его намного больше занимали предстоящие хлопоты по созданию журнала. По некоторым предположениям, он заглянул в Соколово, чтобы убедить единомышленников и друзей Белинского участвовать в затеваемом издании. Мы полагаем, что практически невозможно, чтобы Некрасов объявил о своих планах Герцену и его друзьям раньше, чем самому Белинскому. Он мог говорить неопределенно и предположительно, скорее разведывая обстановку, чем конкретно к чему-то призывая. Но не исключено, что и к спорам о существовании Бога Некрасов прислушался и, скорее всего, в душе был на стороне Герцена, однако в теоретических спорах приятелей голоса не подавал (возможно, скептическое отношение к этим дискуссиям он выразил в написанном в Соколове загадочном стихотворении «Я за то глубоко презираю себя…», которое не решался опубликовать до 1856 года). Но в целом обстановка в кружке была благоприятная; даже если Некрасов и увидел разногласия, то им не стоило придавать большого значения, поскольку они оставались разногласиями единомышленников. Несомненно, они не поколебали авторитет Белинского и не разрушали дружеских связей членов группы. Можно было действовать, и Некрасов отправился в Петербург.

О том, чтобы начать издавать новый журнал, не могло быть и речи — тогда для этого необходимо было иметь серьезнейшую

протекцию в правительстве и репутацию абсолютно благонадежного человека. Естественным выходом была аренда уже существовавшего журнала (так Некрасов уже делал с «Литературной газетой»). Оставалось найти такое издание, которое нынешний владелец был готов сбыть с рук. При этом следовало торопиться: чтобы издавать журнал с начала 1847 года, нужно было как можно раньше объявить на него подписку, организовать рекламу, договориться с типографией и бумажной фабрикой, найти корректоров.

Некрасов начинает действовать энергично. В начале августа к нему присоединяется Панаев, вспоминавший: «С самого приезда в Петербург Некрасова до 10 сентября включительно метались мы, отыскивая журнал». Пробовали подойти к «Финскому вестнику», «Маяку», наконец, даже к «Сыну Отечества», после смерти Полевого издававшемуся Константином Петровичем Масальским. Некрасов вспоминал: «Журнал «Сын Отечества» умирал, издатель его Масальский был в это время в Ревеле (ныне Таллин. — *М. М.). Я* ездил к нему, но дело ни к чему не привело…» Очевидно, такую деятельность трудно было скрыть, и слух, что Панаев и Некрасов собираются «купить журнал», стал достаточно быстро распространяться в литературных и окололитературных кругах. Наконец журнал, который владелец соглашался сдать в аренду, нашелся. Им оказался «Современник», выпуском которого («бесконечными корректурами») его тогдашний редактор и издатель тяготился. «Я пошел к Плетневу — издателю «Современника», начатого Пушкиным в 36-м году. Плетнев легко согласился, уступил мне и Панаеву журнал, написал контракт: с каждого подписчика давать Плетневу рубль, а если журнал прекратится вследствие явного нарушения цензурных правил, то мы ему платим 30 000 рублей неустойки», — вспоминал поэт в конце жизни.

После достижения этой договоренности Некрасов решил, что журналу необходим официальный редактор, человек благонамеренный и менее подозрительный в глазах правительства, чем он сам или Панаев. Таким подходящим человеком ему виделся Александр Васильевич Никитенко, профессор Петербургского университета, читавший курс русской словесности и внушавший студентам благотворные мысли «о творящей силе в поэзии», служивший, как многие университетские профессора, в цензуре, писавший «ученые» (скорее популярные) статьи, литератор бледный, но либерально мыслящий, уже принимавший участие в некрасовском проекте — опубликовавший в «Петербургском сборнике» статью «О характере народности в древнем и новейшем искусстве».

Никитенко охотно согласился стать редактором, видимо, не понимая, что его собираются использовать как подставное лицо. И только после того как был выбран журнал для аренды и у него появился официальный редактор, Некрасов письмом сообщил о своем замысле Белинскому, еще не вернувшемуся в столицу.

Это письмо построено так, чтобы завуалировать неловкость ситуации и убедить Белинского, что дело было затеяно хотя и без его согласия, но в его интересах. Некрасов начинает с того, что представляет в мрачном свете дела по изданию «Левиафана»:

«Здравствуйте, Белинский! Я было на днях написал к Вам о печальном состоянии Вашего альманаха, но письмо как-то залежалось, и я очень рад: теперь могу сообщить Вам вести хорошие. Но всё-таки сначала обращусь к нехорошим. Еще до моего приезда в Петербург (а я приехал в конце июля) Гончаров хныкал, и жаловался, и скулил, что отдал Вам свой роман ни за что, будто увлеченный и сконфуженный всеобщими похвалами и тем, что Вы (его собственные слова) просили «именем своего семейства» и т. д.; он ежедневно повторял это Языкову, Панаеву и другим с прибавлением, что Краев[ский] дал бы ему три тысячи, и наконец отправился к Краев[скому]. Узнав всё это, я поспешил с ним объясниться и сказать ему за Вас, что Вы, верно, не захотели бы и сами после всего этого связываться с ним и что если он отказывается от своего слова, то и дело кончено и пр. По моему мнению, больше и нечего было делать с этим скотом. Достоевский Краевскому повесть дал, а Вам — неизвестно когда, и кончит ли; от Тургенева ни слуху, ни духу. Панаева повесть поспеет не ранее, как к декабрю… Всё это весьма прискорбно и поставило бы меня в крайние затруднения касательно Вашего альманаха, если б не следующее обстоятельство…»

Далее он так описывает совместное решение издавать журнал и уже предпринятые в этом направлении шаги, как если бы всё это изначально никак не было связано с Белинским, его альманахом и собранным для него материалом (между тем, если бы Белинский не согласился передать свои материалы, на что мог рассчитывать Некрасов? какой другой материал был в его распоряжении?):

«Еще в Казани решили мы с Толстым и с Панаевым хлопотать о приобретении журнала, чтоб с 1847 года приступить к его изданию. На это предприятие Толст[ой] и Панаев решились употребить значительные деньги. В июле я отправился в Петербург, в августе прибыл и Панаев, и, наконец, мы на днях кончили с Плетневым и взяли у него «Современник». Ответственным редактором будет Никитенко, ибо иначе сделать было нельзя, — впрочем, влияние его ограничивается

наблюдением за журналом в отношении к цензуре и несколькими мелкими льготами, кои он себе выторговал. Подробнее узнаете дело, когда свидимся. На днях мы выпустим объявление».

И только после этого Некрасов предлагает передать материалы, собранные для «Левиафана», в новый журнал, представляя этот шаг как выход из тупиковой ситуации с альманахом:

«Еще в Казани мы имели в виду, когда дело удастся, списаться с Вами касательно уступки Вашего альманаха нам в журнал. Но теперь, при вышеописанных обстоятельствах, я нахожу этот оборот дела выгоднейшим для Вас и не думаю, чтоб Вы находили иначе. Мы заплатим Вам за все статьи, имеющиеся для Вашего альманаха, и за те, кои будут для него доставлены, хорошие деньги, и это будет Ваш барыш с предполагавшегося альманаха. Пишите, что Вы обо всём этом думаете и когда Вы приедете, ибо можете судить, как Ваше присутствие в Петербурге для нас теперь важно. Само собою разумеется, что мы предложим Вам условия самые лучшие, какие только в наших средствах. Работой также Вы слишком обременены не будете, ибо мы будем Вам помогать по мере сил».

Завершается письмо напоминанием, какой дурной человек Краевский, который по-прежнему «делает гадости».

Письмо произвело эффект, на который было рассчитано. Белинский не просто согласился со сделанным ему предложением, но и отнесся к нему с большим энтузиазмом. Он не только отказался от издания своего сборника и передал собранные для него материалы в журнал, но и выразил готовность принять активное участие в организации кампании в его поддержку. Уже после получения согласия Белинского Некрасов решился прямо обратиться с приглашением к его друзьям, у которых всё-таки нужно было получить согласие на перемещение их трудов из альманаха Белинского в журнал Панаева, Некрасова и Никитенко. Однозначная поддержка Белинским начинания Некрасова (Герцен от имени москвичей потребовал от Некрасова в письме прямого ответа, будет ли главой журнала Белинский и будет ли это издание того же направления, что «Отечественные записки»; только на этих условиях они соглашались участвовать в новом издании) вынудила их друзей выразить готовность сотрудничать с «Современником». Практически все согласились отдать обещанные для «Левиафана» материалы и дали разрешение поставить в объявлении об издании журнала в следующем году их уже известные имена в качестве постоянных сотрудников.

Это было, однако, только начало; будущее издание

продолжало требовать от Некрасова огромных усилий. Министр народного просвещения граф С. С. Уваров официально утвердил Никитенко ответственным редактором «Современника» только 22 октября. Много времени и сил ушло на окончательное юридическое согласование условий с Плетневым: нотариальный договор, по которому тот ежегодно должен был получать от новых редакторов три тысячи рублей серебром, был оформлен 28 октября.

Препятствия возникли с неожиданной стороны: 10 октября, узнав о передаче «Современника» Панаеву и Некрасову, опекуны наследников А. С. Пушкина Петр Петрович Ланской (второй муж Натальи Николаевны Пушкиной) и Михаил Юрьевич Виельгорский обратились к Плетневу с протестом и потребовали вернуть право собственности на журнал детям покойного поэта, вероятно, не желая, чтобы он попал в руки той группы людей, которую представлял Некрасов. Очевидно, юридически никаких прав они не имели, однако их демарш рассматривался Главным управлением цензуры до декабря, то есть нависал над всем предприятием как постоянная угроза. В результате претензии опекунов были отклонены, но сам факт их предъявления символичен — наследники Пушкина как бы не признали Некрасова преемником великого поэта, и начало некрасовского «Современника» стало в их глазах не столько наследованием, сколько своего рода узурпацией, похищением. Некрасовский «Современник», вопреки распространенным представлениям, обозначил не преемственность новой литературы по отношению к литературе «пушкинской эпохи», но разрыв с ней.

Одновременно с преодолением бюрократических препятствий шла рекламная кампания, в которую активно включился вернувшийся 18 октября в Петербург (и совершенно не поправившийся) Белинский. Действия редакции по рекламированию нового журнала удивляли современников, в том числе его «друзей» и будущих сотрудников, и размахом, и общей броскостью, нетипичной для «серьезного» издания. «В громадном числе» (как вспоминала Панаева) печатались афиши с «буквами в аршин на зеленом огромном листе» (как писал Плетнев) и рассылались с разными оказиями во все концы России (например, сын актера Щепкина Николай отвез пачку таких афиш в Воронеж). Этот размах вызывал настороженность у друзей Белинского, а врагам давал повод сравнивать новую редакцию «Современника» с «апраксинскими молодцами», которые, по словам Панаевой, «с нахальством тащат в свою лавку всякого приходящего и расхваливают свой товар»[23]. Такая броскость рекламы была отчасти вызвана необходимостью как-то

выделиться, поскольку особенной программы, принципиально отличающейся от программы «Отечественных записок», новая редакция «Современника» сформулировать не могла, да и не хотела, а лишь ставила задачу привлечь внимание публики к своему появлению.

Одновременно с публичными методами продвижения готовившегося издания Некрасовым и другими членами редакции «Современника» использовались методы негласные. Как уже говорилось, Некрасов был убежден, и Белинский разделял его мнение, что единственный путь к успеху нового журнала — полное вытеснение Краевского. Поэтому они стремились внушить подписчикам, что «Современник» как бы отменяет «Отечественные записки». Читателей, любителей литературы Белинский и Некрасов старались убедить в том, что прежние сотрудники «Отечественных записок» уже окончательно решили перейти в «Современник». Некрасов писал 26 октября Н. М. Щепкину:

«Русь-матушка велика — скоро ли дойдет до нее, что «Отечественные] записки» переменили квартиру и, приодевшись и приумывшись, хотят явиться к ней под именем «Современника». Вероятно, в Воронеже есть и книгопродавец; пусть же он наклеит одно из цветных объявлений на картон и повесит у себя в магазине: оно и украшением может служить. Просить Вас о распространении известия о «Современнике» считаю лишним: если можно, Вы, верно, это сделаете. Пишу к Вам как по собственному побуждению, так и по совету Белинского, который Вам кланяется».

Не все использовавшиеся приемы были одинаково корректны. Неожиданно слухи об оставлении «Отечественных записок» сотрудниками поддержал Фаддей Булгарин, сообщивший своим многочисленным читателям в фельетоне «Журнальная всякая всячина», напечатанном в вышедшем 5 октября 224-м номере «Северной пчелы»: «…Все статьи, как вам известно, писали для «Отечественных записок» гг. Белинский… Некрасов, Панаев и другие молодые литераторы. Теперь все эти бывшие постоянные сотрудники «Отечественных записок» решительно оставили журнал и перешли в редакцию «Современника», который с 1847 года будет иметь другого редактора», — и ехидно прибавлял: «Главным сотрудником «Отечественных записок» остается г. Фурман, сочинитель нескольких детских книжек и бывший сотрудник «Иллюстрации». Краевский небезосновательно увидел за этим выступлением «руку» «Современника» и резко ответил, воспользовавшись возможностью выставить напоказ неожиданный союз Белинского и Булгарина. Завязалась перепалка, в которой

Краевский выглядел едва ли благороднее своих оппонентов.

Представление о том, что «Современник» уже занял место «Отечественных записок» и все сотрудники Краевского перешли в новый журнал, было действительно широко распространено. Так, недавно приехавший из-за границы Боткин писал П. В. Анненкову: «Краевский оставлен всеми и желтеет от злости». Достоевский в декабре сообщал брату: «Краевский повесил нос. Он почти погибает». К огорчению новой редакции, эти сообщения и слухи не соответствовали действительности. Практически никто из постоянных авторов «Отечественных записок» (кроме Герцена и Кронеберга) не дал разрешения напечатать в объявлении «Современника» о своем согласии участвовать «исключительно» в этом журнале, то есть не захотел публично заявить о своем полном прекращении сотрудничества с Краевским. Это обстоятельство раздражало и приводило в недоумение Белинского, вызывало недобрые предчувствия у Некрасова, но пока представлялось преодолимым. Казалось, что друзья ждут дальнейшего развития событий, выхода хотя бы первых книжек журнала и их осторожность можно будет преодолеть, когда «Современник» явится во всём блеске. В целом можно было считать подготовку к изданию завершенной и приступить к составлению первой книжки журнала. Это была работа, существенно более приятная Белинскому и наверняка совершавшаяся под его деятельным руководством.

Видимо, Некрасов должен был считать удачей и другое событие, резко изменившее его жизнь. С Авдотьей Яковлевной Панаевой, женой его близкого приятеля и впоследствии соредактора, он, скорее всего, близко познакомился тогда же, когда сошелся с самим Панаевым, то есть уже летом 1842 года, когда они жили по соседству на дачах в Павловске и Некрасов часто бывал в их доме. Возможно, уже тогда у Некрасова появилось чувство к Авдотье Яковлевне, однако нет никаких свидетельств того, как возникла любовь и как в целом складывались отношения между ними. Вряд ли, однако, у Некрасова была возможность добиться ее благосклонности в то время, когда он был для всех заурядным журнальным работником.

Дочь актера Якова Григорьевича Брянского, учившаяся только в балетной школе, она обладала незаурядным умом и была (во всяком случае, это отмечали многие современники) яркой красавицей. Благодаря этому качеству она привлекла внимание Ивана Ивановича Панаева. Они поженились весной 1839 года, когда ей было 19 лет, а ему 27, неожиданно для родных, вызвав гнев матери жениха. С одной стороны, это был несомненный

мезальянс — Панаевы принадлежали к хорошему роду, семья была богата (правда, благодаря склонности матери к мотовству, унаследованной и сыном, от состояния вскоре почти ничего не осталось), брак с дочерью актера воспринимался как скандал. С другой стороны, Авдотья Яковлевна была женщина яркая, эффектная; в иерархии жен, сложившейся в западническом кружке, она уступала только Наталье Александровне Герцен, урожденной Захарьиной, чье первенство в роли «новой» прогрессивной и красивой женщины было непререкаемым, и отодвинула явно отставшую от нее скромную Елизавету Богдановну Грановскую, урожденную Мюльгаузен. В этом кругу было принято восхищаться ее красотой, и немало новых его членов как минимум на первых порах испытывали к ней серьезные чувства (так произошло, в частности, с Достоевским). Однако она не только исполняла роль красавицы и объекта поклонения. Панаева, несомненно, была развитая женщина. Трудная юность (актерская среда, сочетавшая в себе черты художественной богемы и одновременно плебейства, объект презрения со стороны аристократии), стремление вырваться из душной семейной атмосферы подготовили ее к принятию тех моральных ценностей, которые были главными для ее мужа и его единомышленников. Вопрос об эмансипации был для Белинского и его окружения одним из главных, Жорж Санд — их кумиром, вера в равенство женщины с мужчиной — непререкаемой, уважение к свободной любви — одним из наиболее важных требований к любому желавшему вступить в их круг (репутация Гончарова как отсталого, замшелого мещанина, позволившая Некрасову назвать его «скотом» в одном из писем Белинскому, была вызвана как раз его отрицательным отношением к таким принципам).

Однако эти принципы имели свою оборотную сторону. Панаев, как показывает вся его дальнейшая жизнь, был добрым, увлекающимся, способным страстно привязываться и самоотверженно служить тем, кто вызывал его восхищение. Он был предан Белинскому, которому взялся пересказывать заграничные литературные новинки, поскольку у того были проблемы с иностранными языками. Видимо, сильную дружескую привязанность он испытывал и к Некрасову, чьим верным (хотя и не всегда полезным) соратником и помощником по «Современнику» оставался до конца жизни. При этом Панаев был человек безвольный, слишком легко относившийся к принципу свободы любви. Скорее всего, он постоянно заводил интрижки, случайные связи, что, видимо, отчасти компенсировалось готовностью сквозь пальцы смотреть на увлечения жены и знаки

внимания, выказываемые ей гостями и нередко переходившие «идейные» границы. Такая «легкая» обстановка совместной жизни, тянувшейся почти семь лет, и устраивала молодую женщину, вырвавшуюся из семьи благодаря замужеству, и одновременно была терпима ею только в отсутствие какой-то жизненной альтернативы.

Повторимся: когда возникли взаимные чувства Некрасова и Авдотьи Яковлевны, неизвестно. Он сошелся с семьей Панаевых еще до знакомства с Белинским и давно стал для них до некоторой степени «домашним человеком»; на протяжении трех с половиной лет близкого знакомства было много возможностей для возникновения и развития чувства. Можно предположить, что с какого-то момента Некрасов начал, что называется, добиваться Панаевой. Победу он одержал тогда же, когда принял окончательное решение издавать журнал, — летом 1846 года. Единственный рассказ о том, как это произошло, содержится в мемуарах (не во всех случаях достоверных) сотрудника «Современника» Елисея Яковлевича Колбасина, утверждавшего, что описал ситуацию со слов самого поэта: «Некрасов был долго и безнадежно влюблен в одну очень хорошую женщину. Один раз, когда поэт переезжал с ней через Волгу в довольно многолюдном обществе, она на страстные нашептывания поэта с досадой отвечала: «Все вы, господа, фразеры, на словах готовы на все жертвы, а на самом деле умеете только разглагольствовать. Вот вы бог знает что говорите, однако не броситесь из-за меня в воду». При последних ее словах Некрасов со всего размаху бросился из лодки в Волгу почти посредине ее течения… не умея плавать. С великим трудом удалось спасти утопавшего поэта. Но эта недоступная женщина сумела оценить Некрасова и наградила его продолжительной любовью…»

Неизвестно, насколько фактически достоверен этот эпизод, однако сама атмосфера чувства наверняка передана верно: Некрасов долго добивался Панаевой и произвел на нее впечатление каким-то неоспоримым доказательством настоящей страсти. Рассказ Колбасина открывает страстную сторону натуры Некрасова, мало бросавшуюся в глаза даже хорошо знавшим его людям, однако умалчивает о конкретном продолжении и вообще стыдливо избегает подробностей этой «награды». То, что Панаева наконец «сдалась» другу семьи, возможно, не было для нее исключительным событием (естественно, у нас нет никаких прав утверждать это). Несомненно, внове было то, что Некрасов хотел не одноразовой, короткой победы — он хотел «владеть» Авдотьей Яковлевной, быть с ней постоянно. Сильная и страстная натура Некрасова, именно в это время устремленного к будоражащей

цели — стать своего рода хозяином и распорядителем всей литературы, королем журналистики, — была противоположна легкомысленному Панаеву. Некрасов предлагал настоящую любовь, преданность и не хотел делить любимую с кем-то еще, требовал верности и от нее. Панаева была, очевидно, готова к этому и ответила согласием. Это решение, однако, ставило перед влюбленными проблему, звавшуюся «Иван Иванович Панаев».

Дело было, конечно, не в самой измене, кратковременной или длительной связи. Само слово «измена», видимо, уже не имело какого-то смысла, в том числе морального, в их семье. Проблема вытекала из желания Некрасова и Панаевой жить (во всех смыслах) вместе. Что тогда делать с Панаевым? Мы полагаем, что решение этого вопроса принималось исключительно Некрасовым и Авдотьей Яковлевной. Развод был делом сложным и скандальным, но возможным, и для Некрасова с его страстью и энергией не составило бы труда заставить Панаеву добиться его. Думается, такое решение было отклонено из-за Ивана Ивановича — из-за жалости и, может быть, остаточной любви, которую сохраняла к нему жена, и из-за сложившихся партнерских отношений между ним и Некрасовым, которые только укрепились благодаря панаевскому вкладу в финансирование «Современника». Возможность же жизни втроем предполагалась идеологией круга, к которому они принадлежали. Образцами для них могли выступить и обожаемые Белинским и Некрасовым романы Жорж Санд, и биография самой их сочинительницы баронессы Авроры Дюдеван, и жизнь прототипа целого ряда жорж-сандовских героинь Полины Виардо-Гарсиа, уже в 1843 году вошедшей в русскую литературу через запутанную историю с Тургеневым. Такие отношения, были уверены и Некрасов, и Панаева, были просто обязаны принять и одобрить все члены круга Белинского. Можно было, конечно, заранее предвидеть и издержки такого разрешения проблемы, обусловленные тем, что жизнь не ограничивается этим кругом и придется общаться и иметь серьезные дела и с людьми, для которых такие отношения не являются морально и социально приемлемыми. Однако и здесь можно было надеяться на то, что все участники найдут достаточно такта и социальных навыков, чтобы сделать такие издержки минимальными. Об издержках психологических, очевидно, в таких случаях думают мало.

Решение было предложено Панаеву: ему предоставлялась полная свобода в обмен на функции официального мужа Панаевой при сохранении дружеских и деловых отношений с Некрасовым. Он согласился. Вернувшись в августе 1846 года из Казани в Петербург, Панаевы поселяются в общей с Некрасовым

квартире на Фонтанке, между Аничковым и Семеновским мостами, в доме княгини Урусовой.

НЕВЕРНЫЙ ШАГ И ИСПОРЧЕННАЯ РЕПУТАЦИЯ

Первая книжка нового «Современника» вышла в свет 1 января 1847 года. Некрасов и Белинский сделали всё, чтобы журнал был не просто хорошим, а ошеломляющим. В первом номере были напечатаны статьи Белинского, стихотворение Некрасова «Тройка», стихи Огарева и Тургенева, «Письмо из Парижа» Анненкова, «Роман в девяти письмах» Достоевского; статья Константина Кавелина «Взгляд на юридический быт древней России», развертывавшая картину исторического движения к утверждению прав личности, сделавшая нового члена кружка, друга и бывшего ученика Белинского знаменитым; наконец, бессмертный очерк Тургенева «Хорь и Калиныч», с восторгом принятый читателями и положивший начало циклу «Записки охотника». Там же появляется постоянный отдел «Новый поэт», составляемый из юмористических и пародийных стихов преимущественно Панаевым, в котором впоследствии постоянно участвовал и Некрасов. В февральскую книжку вошли «Петр Петрович Каратаев» (второй рассказ из «Записок охотника»), стихотворение Некрасова «Псовая охота», новые статьи Белинского, окончание начатой в первой книжке повести Панаева «Родственники». С мартовской книжки начинается публикация «Обыкновенной истории» Гончарова, также имевшей сенсационный успех; в ней также было напечатано стихотворение Некрасова «Нравственный человек» (отчасти повторяющее уже найденные приемы, но развивающее их за счет соединения искренности тона рассказчика и тех настоящих нравственных преступлений, а не «грешков», которые он совершает, заставляя ужасаться бесчеловечной и бессмысленной природе его «строгой морали»). Тогда же в «Современнике» дебютировал очень популярный Искандер — А. И. Герцен: его роман «Кто виноват?» был в январе разослан подписчикам в качестве бесплатного приложения. Редакция и далее будет стараться не опускать планку, заданную первыми номерами, представшими перед читателями как действительно замечательное издание.

Между тем «за кулисами» журнала развивались драматические истории и скандалы. Прежде всего, к середине года откровенно обозначилось нежелание друзей Белинского, как московских, так и петербургских, печататься исключительно в «Современнике» и тем более делать публичное заявление об этом; более того, некоторые из них демонстративно отдавали свои

произведения Краевскому. Это вызывало бешенство Белинского, связавшего свою судьбу и положение в литературе с «Современником» и предъявлявшего своим друзьям обвинения в предательстве или как минимум оппортунизме, равнодушии к нему. Например, 5 ноября 1847 года, после того как критик прочел объявление об издании «Отечественных записок» на будущий год, в котором было немало имен его друзей и единомышленников, он писал В. П. Боткину, очень откровенно раскрывая свою стратегию в отношении Краевского:

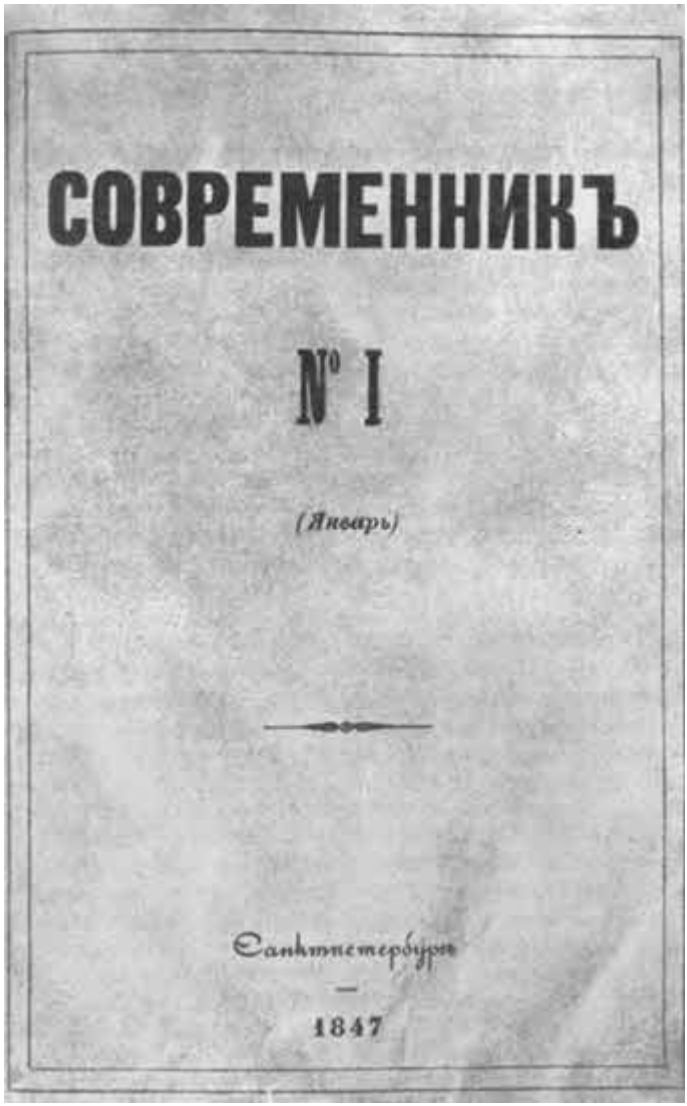
«Вчера я увидел в «Отечественных записках» страницу, наполненную обещанием статей для будущего года: она меня, что называется, положила в лоск. <…> Да, твое участие в «Отечественных записках» глубоко огорчает меня… мне уже следует коситься не на одного тебя: Кавелин и Грановский как будто уговорились с тобою губить «Современник», отнимая у него, своим участием в «Отечественных записках», возможность стать твердо на ноги. Но их непонятный для меня образ действования огорчает меня, глубоко огорчает, но не заставляет на них коситься. А почему огорчает — выслушай и суди: «Библиотека для чтения» всегда шла своею дорогою, потому что имела свой дух, свое направление. «Отечественные записки» года в два-три стали на одну с нею ногу, потому что со дня моего в них участия приобрели тоже свой дух, свое направление. Оба эти журнала могли не уступать друг другу в успехе, не мешая один другому, и если теперь «Библиотека для чтения» падает, то не по причине успеха «Отечественных записок» и «Современника», а потому, что Сенк[овский] вовсе ею не занимается. Совсем в других отношениях находится «Современник» к «Отечественным запискам»: его успех мог быть основан только на перевесе над ними. Дух и направление его — одинаковы с ними, стало быть, ему для успеха необходимо было доказать чем-нибудь свое право на существование при «Отечественных записках». Тут, стало быть, прямое соперничество, и успех одного журнала необходимо условливается падением другого. В чем же должен состоять перевес «Современника» над «Отечественными записками»? В переходе из них в него главных его сотрудников и участников, дававших им дух и направление. Об этом переходе и было возвещено публике, и это возвещение было единственною причиною необыкновенного успеха «Современника»…»

Друзья выслушивали или читали эти инвективы и поступали по-своему. Разделяя убеждения Белинского, они не считали, что их «вождь» прав в этом конкретном случае, не видели необходимости порывать с Краевским. Попросту говоря, они решили, что два хороших прогрессивных журнала лучше, чем

один, — если не для издателей, то, несомненно, для литераторов. Их выгоду Боткин описывал Анненкову 20 ноября 1846 года, еще на стадии сбора материалов для нового «Современника», в самом начале борьбы с Краевским: «Конкуренция явилась страшная. Краевский дает большие деньги за малейшую статью с литературным именем. Недавно за поллиста печатных стихотворений Майкова заплатил он 200 руб. сер[ебром]. Это всё наделало появление «Современника». Видите, законы промышленности вошли уже в русскую литературу, а ведь это сделалось на наших глазах; за десять лет об этом слуха не было. Значит, литература уже есть сила. Теперь даже с небольшим дарованием да с охотою к труду можно жить литературными трудами, то есть можно выработать себе до 3 или 4 тысяч в год. И это факт непреходящий. Явившись раз, он уже останется навсегда».

Не без некоторого преувеличения, вызванного эйфорией от происходящего (к тому же Боткин, только что вернувшийся из-за границы, был в состоянии «крайнего материализма и практицизма»), но в целом точно здесь определено значение появления «Современника», который, как совершенно искренне написал Белинский, идейно мало отличался от журнала Краевского. Стремясь уничтожить соперника, ненавистного «Андрюшку», как за глаза называл его критик, Некрасов и Белинский создали нечто такое, что им самим представлялось невозможным: конкуренцию на рынке «серьезной» литературы и журналистики. Вопреки их предположениям, поражение в борьбе на уничтожение с Краевским (именно так и выражался Белинский) не привело к гибели «Современника». Оказалось, что двум серьезным либеральным западническим журналам есть место на рынке, а конкуренция не только между идейными противниками, но и между единомышленниками возможна и даже очень полезна и может носить коммерческий характер. Все ее последствия тогда было невозможно предвидеть, однако они уже начали проявляться, прежде всего в том, что Краевский, до этого имевший возможность почивать на лаврах, активизировался перед нависшей над его изданием нешуточной угрозой, нашел новых лидеров: сначала замечательного критика Валериана Николаевича Майкова, а после его ранней смерти — несколько менее одаренного Степана Семеновича Дудышкина. Вступив в полемику с Белинским, они были вынуждены определить, чем их платформа отличается от платформы оппонента, и отчасти эти отличия попросту «изобрести» (Майков, в частности, еще раньше нападал на Белинского с позиций крайнего космополитизма и отчасти вынудил его признать значение национального элемента

в искусстве). В результате сами взгляды либералов-западников, в целом оставаясь едиными, общими, начинают усложняться, в рядах общего строя постепенно выделяются «фракции», доктрины, разные трактовки и разные видения общей проблематики. Иначе говоря, если создание нового журнала и не было следствием какого-либо идейного размежевания в стане западников, то стало отчасти его причиной. Аналогичным образом если создание «Современника» не было следствием роста числа литературных работников, то стимулировало его: с увеличением количества журналов появился спрос на сотрудников, который неизбежно рождал и предложение. Возникшая борьба за читателя, попросту необходимость заполнять чем-то свои страницы открыли путь в большую литературу и журналистику новому «призыву» людей.



Первый номер некрасовского «Современника». 1847 г.

Всё это, конечно, было трудно предвидеть в 1847 году, тем более издателям журнала, только вставшего на ноги. И Белинский, и Некрасов переживали непотопляемость Краевского как свое поражение и ожидали катастрофических результатов новой подписки, негодуя на сотрудников, которые их «переиграли», обеспечив свои интересы и проигнорировав интересы издателей «Современника». В ноябре Некрасов

жаловался в письме Кетчеру:

«Скажу тебе, любезный друг, что объявление в 11 № «Отечественных] зап[исок]» (где означены заготовленными статьи многих наших сотрудников самых капитальных и на которых основывался перевес нашего журнала) нас чрезвычайно сконфузило. Я еще понемногу креплюсь, но Белинский впал в совершенное уныние, которое в самом деле весьма основательно. Как ни смотри на дело, а «Совр[еменник]» всё-таки находится в соперничествующем отношении к «Отечественным] зап[искам]». Чем же он мог взять верх над ними? Явным перевесом, но перевес этот уничтожен: публика видит теперь, что в «Отечественных] зап[исках]» она будет иметь статьи тех же, которых получила бы и в «Соврем[еннике]», а между тем к этому еще у «Отечественных] зап[исок]» перевес девятилетней хорошей репутации, исправности доказанной, привычки и пр. Ты скажешь, перевес остался в Белинском? Но в нынешнем году у нас статей Белинского почти не было, и, стало быть, в глазах у публики и этого перевеса не существует, ибо не имеет она основания думать, что в следующем году Белинский будет деятельнее.

Ты еще, может быть, скажешь, что найдутся подписчики и для нас и для него. Нет, выписывать два журнала с одним направлением и с одинаковыми сотрудниками — не у многих явится охота.

Конечно, у нас остались еще некоторые преимущества, но они известны только нам, и публика в них входить не может и не станет. Они обнаружатся, но уже будет поздно, — дело решат последние два месяца нынешнего года, и, нет сомнения, значительной прибыли подписчиков нам ожидать нельзя. Я положительно уверен, что у нас прибудет разве каких-нибудь сто подписчиков].

Между тем мы в нынешнем году с лишком 25 тысяч в убытке. (В декабре, после 12-й книжки, я окончу годовой счет и, пожалуй, пришлю тебе копию для подтверждения этого.) Надеясь на следующий год, мы тратили без оглядки: мы дали 400 листов вместо 250, мы дали оригинальных листов двумя третями больше, чем «Отечественные] зап[иски]». Сообрази эту разницу: переводный лист относится к оригинальному, как 50 р[ублей] ассигнациями] к 175. Наконец, мы платили с листа больше и значительно! Конечно, всё это мы делали добровольно, но если б мы знали, что нам должно надеяться только на себя, необходимость заставила бы нас действовать иначе. Конечно, может быть, мы не должны были простирать так далеко своих надежд, но за ошибку мы платимся слишком сильно.

Даже свистун Панаев и тот приуныл и ходит живым упреком

мне, и можешь представить, как приятно мое положение: никто тут не виноват, потому что я затеял дело и втянул Панаева, я за всё брался и ручался, — конечно, я виноват, — и еще более тем виноват, что в моих руках всё-таки было настолько средств, чтоб вести дело без убытков, только не претендуя на первенство между журналами. Но я не сообразил и не предвидел.

Я знаю, что наши приятели худа нам не желают, а желают добра, но уверяю тебя, что в настоящем случае они сделали гораздо больше вреда нам, чем пользы Краевскому».

Вероятно, друзья Белинского не хотели порывать с Краевским не только из стремления обеспечить свои интересы. У них практически с самого начала были причины разделять Белинского и «Современник», не считать журнал «его» собственным предприятием. С журналом же Некрасова (Панаева в качестве серьезного «игрока» никто, конечно, не рассматривал) они хотели вести дела как минимум осмотрительно и тем более не готовы были заключить какой-то эксклюзивный договор, публично связав с ним свое имя и литературную репутацию. Столь отчужденное отношение к человеку, которому они совсем недавно безоговорочно доверяли, было обусловлено драматическими событиями, произошедшими в первые месяцы 1847 года.

С самого начала идея Некрасова вести дела по будущему журналу, делая ставку на главенство в нем Белинского и рассчитывая на материал его сборника, при этом не ставя в известность самого критика, выглядит рискованной не только в коммерческом, но и в моральном плане. Ощущение, что Некрасов и Панаев решают за Белинского, сохраняется на протяжении всего подготовительного периода: критик не принимает участия ни в каких «делах» по изданию, его имя не фигурирует ни в каких официальных бумагах, связанных с журналом. Это, конечно, объясняется и известной непрактичностью Белинского, и сомнительностью его фигуры для правительства. И всё же такая готовность Белинского совсем устраниться от дел вызывает удивление.

Удивительно и то, что материальные условия его отношений с журналом заранее не были оговорены, заключение договора отложено. «Насчет условий с «Современником» — всё будет сделано по выходе 2-ой книжки. У самого Некрасова] не сделано еще с Пан[аевым] никаких условий», — писал Белинский Боткину 29 января 1847 года. Возможно, имелись какие-то устные временные договоренности об условиях, на которых Белинский отдавал в журнал свои статьи (в письме Боткину от 7 февраля Белинский сообщает не только о деньгах, уже полученных им за

статьи, но и о тех, которые может получить, если не уедет за границу), а вопрос о доле критика в доходах был отложен до того времени, когда эти доходы появятся. Почему «всё будет сделано» именно после выхода второго номера, понятно: как показывают позднейшие конторские книги «Современника», в январе и феврале поступала основная часть подписных сумм, тем самым во многом определялась успешность подписки, а значит, и возможность продолжать издание.

Только 13 февраля, почти через две недели после выхода второго номера журнала, разговор Белинского и Некрасова об условиях сотрудничества наконец состоялся (несомненно, по инициативе критика) и стал для обоих катастрофой. Судя по всему, Белинский был уверен, что станет соиздателем «Современника», получая равную с Некрасовым и Панаевым долю в настоящих и будущих доходах. Именно с этой позиции он и завел разговор с Некрасовым не просто о дополнительных выплатах, но о сроках предоставления ему доли в доходах или заключения соответствующего договора.

Чем была вызвана уверенность Белинского (разделявшаяся многими его друзьями), что условия будут именно такими? Можно предположить, что всё-таки существовало какое-то устное обещание — не обязательно прямое, но, скажем, уклончивое, которое могло показаться Белинскому вполне определенным, — данное Некрасовым Белинскому, на которое тот и положился. Более вероятно, что критик считал, что станет соиздателем и получателем части прибыли просто «по справедливости», исходя из своей чрезвычайно значительной, ключевой роли в успехе будущего предприятия, а Некрасов избегал каких-либо разговоров об этом, давая возможность Белинскому представлять свои финансовые перспективы так, как ему вздумается. К сожалению, и эта щадящая версия не делает поведение Некрасова простительным. То обстоятельство, что материальные условия с ведущим сотрудником начали обсуждаться только в феврале 1847 года, уже после выхода второй книжки журнала и получения подписных денег, бросает тень на владельца предприятия. (С Плетневым условия обсуждались тщательно, были формализованы и безукоризненно выполнялись Некрасовым на протяжении всего существования «некрасовского» «Современника». Впрочем, с Панаевым материальные отношения по журналу до 1861 года не были столь четко оформлены, но это, конечно, особый случай.)

На свой вопрос Белинский получил от Некрасова неохотно данный, но однозначный и ошеломивший его ответ: его участие в журнале в качестве собственника, имеющего равную долю в

дивидендах, не предполагалось и не предполагается. Белинский писал Тургеневу: «При объяснении со мною он был не хорош: кашлял, заикался, говорил, что на то, чего я желаю, он, кажется, для моей же пользы согласиться никак не может по причинам, которые сейчас же объяснит, и по причинам, которых не может мне сказать». Вместо прав собственности Некрасов предложил Белинскому выглядевший очень щедрым контракт (схожий с тем, который был подписан с Никитенко): «8 тысяч платы, да после двух тысяч подписчиков по 5 к[опеек] с рубля и, в случае болезни или смерти, получение процентов до истечения десятилетия журнала». Это условие отчасти, видимо, оскорбило Белинского как попытка «откупиться» от него и одновременно закабалить, связать с «Современником»: «Я отказался и предпочел сохранить мою свободу и брать плату, как обыкновенный сотрудник и работник», — сообщил он Тургеневу. Встречные условия, которые выдвинул Белинский и которые принял Некрасов в результате этого болезненного для обоих разговора, были следующие (их Белинский также изложил в письме Тургеневу): «С Некрасовым у меня всё порешено: я получаю на тот год 12 тысяч ассигнациями] и остаюсь сотрудником». «Остаюсь сотрудником» — это и было самым главным. Несмотря на внешнюю выгоду этого договора, Белинский, согласно ему, становился не одним из хозяев журнала, но его «работником». Хозяином был Некрасов.

Известие об этом распространилось среди их общих друзей моментально и тут же вызвало шквал гнева, обрушившийся на Некрасова. Это предчувствовал Белинский, сразу предсказавший развитие событий на три десятилетия вперед: «…Я хорошо знаю наших москвичей — честь Н[екрасо]ва в их глазах погибла без возврата, без восстания, и теперь, кто ни сплети им про него нелепицу, что он, например, что-нибудь украл или сделал другую гадость — они всему поверят». Так и произошло. Кавелин, один из наиболее суровых судей Некрасова, воспоминал: «Говорилось, что это будет журнал Белинского… Белинский попал на удочку с всегдашней своей младенческой доверчивостью. Что Панаев стал редактором «Современника» — это было еще понятно. Он дал деньги. Но каким образом Некрасов, тогда малоизвестный и не имевший ни гроша, сделался тоже редактором, а Белинский… оказался наемником на жалованье, — этого мы не могли понять, негодовали, подозревали Некрасова в литературном кулачестве и гостиннодворничестве, которые потом так блистательно им доказаны».

На репутацию Некрасова легло пятно, смыть которое он не смог до конца жизни. Образ честного предпринимателя, думающего об общественной пользе едва ли не больше, чем о

своих интересах, видевшийся Белинским в Некрасове и принятый его друзьями, разрушился в несколько дней, сменившись образом «литературного кулака», жесткого, даже безжалостного предпринимателя, блюдущего в первую очередь свой интерес, с которым надо держать ухо востро. Не помогло и то, что отношение самого Белинского к произошедшему изменилось. Если сначала он высказался о мотивах издателя крайне резко и саркастически: «Некрасов] отстранил меня от равного с ним значения в отношении к «Современнику» даже не потому, что 1/4 меньше 1/3, а потому, что 1/3 меньше 1/2-ой… Расчет простой и верный», — то немного позднее этот взгляд сменился более сдержанным и Белинский признал право Некрасова поступить так. В следующем письме тому же Тургеневу критик писал: «…Я почти переменил мое мнение насчет источника известных поступков Н[екрасо]ва. <…> Мне теперь кажется, что он действовал честно и добросовестно, основываясь на объективном праве, а до понятия о другом, высшем, он еще не дорос, а приобрести его не мог по причине того, что возрос в грязной положительности и никогда не был ни идеалистом, ни романтиком на наш манер».

Тем не менее нельзя, конечно, не заметить очевидной перемены отношения критика к бывшему ученику. О прежней близости больше не могло быть и речи, она сменилась горечью утраты. По горячим следам разговора с Некрасовым Белинский писал: «Я любил его, так любил, что мне и теперь иногда то жалко его, то досадно на него за него, а не за себя. Но мне трудно переболеть внутренним разрывом с человеком, а потом ничего. Природа мало дала мне способности ненавидеть за лично нанесенные мне несправедливости; я скорее способен возненавидеть человека за разность убеждений или за недостатки и пороки, вовсе для меня лично безвредные. Я и теперь высоко ценю Н[екрасо]ва за его богатую натуру и даровитость; но тем не менее он в моих глазах — человек, у которого будет капитал, который будет богат, а я знаю, как это делается. Вот уж начал с меня».

Так Белинский говорил в первом порыве гнева; но даже смягчив сарказм суждений, в одном из последних писем Кавелину он характеризовал произошедшее между ним и его учеником, как будто отчасти «проклиная» «Современник» и сожалея о злополучном начале его издания: «Я, с моей стороны, вполне сознавая несправедливость и неделикатность поступка со мною, — тем не менее не вижу в нем дурного человека. Это потому, что я знаю его, знаю давно и хорошо, и знаю все circonstances attdnuantes[24] его поступка со мною, прямой его

источник. <…> Вы мне поверите, если я Вам скажу, что посягательство на мои личные, материальные интересы слишком мало на меня действовало, и то в начале только истории, и что я страдал больше за него. Я должен Вам признаться, что до сих пор я чувствую, что мне с ним не так тепло и легко, как было до этой истории. Вообще, по причине ее всё начало «Современника» какое-то неблагодатное: что-то нетвердое и шаткое виделось в самых успехах его, чуялось, что не таковы бы еще были его успехи, если б разделение и охлаждение не проникли туда, где всё зависело от единодушия и общего одушевления».

Белинский продолжал уговаривать своих друзей относиться к «Современнику» как к «своему» журналу, печататься в нем, в чем отчасти преуспел, но, конечно, изменить произошедшего не мог: его единомышленники больше не доверяли Некрасову и четко отделяли его от Белинского.

Что испытывал после этих тяжелых разговоров Некрасов? Возможно, столь раннее объяснение с Белинским не входило в его планы, а вопросы и требования критика стали для него внезапным ударом. Он наверняка мог бы применить к себе грустные слова в вышеприведенном письме Белинского. Его отношения с бывшим наставником кардинально изменились, не могли не потерять прежние естественность и простоту. «Он повеселел (после достигнутой договоренности об условиях сотрудничества Белинского. — *М. М.)* и теперь при свидании протягивает мне обе руки — видно, что доволен мною вполне, бедняк!» — жестко пишет критик.

Но даже из этого письма видно, как потрясен и растерян был Некрасов. Конечно, он осознавал масштаб произошедшей катастрофы и переживал утрату доверия и привязанности дорогого человека, предшествующую его явно близившейся смерти (ситуация отягощалась тем, что Белинский с января пытался найти деньги на поездку в Силезию, в которой, будучи безнадежно больным, видел единственный шанс на спасение).

И всё-таки раскаяния, ощущения своей неправоты у Некрасова не было. Уже существенно позже в неотправленном письме Михаилу Евграфовичу Салтыкову 1869 года он раскрыл свои мотивы, о которых не сказал при первом объяснении с Белинским. Некрасов трижды начинал и откладывал это письмо. Эти попытки объясниться дополняют друг друга. Сначала Некрасов пишет прямую неправду: «Мысль о журнале пришла нам в голову летом 1846 года, когда Белинский ездил со Щепкиным в Малороссию. Об этом и об условиях, на коих он может вступить в дело, было ему написано, он отвечал согласием». Это утверждение опровергается фактами. К чести Некрасова, в других

отрывках он его не повторяет. Дальнейшие объяснения носят ясный и логичный экономический характер: «В начале 1847 года он (Белинский. — *М. М.)* предложил мне, чтоб я ему дал в доходах журнала 3-ью долю. Я на это не согласился, как мне ни было тяжело ему отказывать, не согласился потому, что трудно было уладить дело: у нас еще были: Панаев, я, Плетнев, Никитенко, которому тоже как редактору кроме жалования принуждены мы были дать долю из будущих барышей (в 1848 году он вышел и от всякого участия как в убылях, так и в барышах отказался). К чему повела бы доля? С первого года барышей мы не ждали (да их и не было, а был убыток), между тем для нас и для всех друзей Белинского было не тайна, что дни его, как говорится, сочтены. Пришлось бы связать себя надолго…» В другом отрывке Некрасов уточняет, что именно считал подлинной обузой: «И мнение Панаева было то же, что и мое, именно, что предоставление Белинскому доли было бы бесплодно для него и опасно для дела, ввиду неминуемой близкой смерти Белинского, которая была решена врачами, что не было тайной ни для кого из друзей его; пришлось бы связать себя в будущем, имея дело не с ним, а с его наследниками, именно с его женой, которую все мы не любили, не исключая и Тургенева, который, между прочим, сочинил на нее злые стихи. И вот с ней-то нам пришлось бы иметь дело, это особенно пугало Панаева…» В этом случае нельзя не признать правоту Некрасова: жену Белинского Марию Васильевну Белинскую, в девичестве Орлову, и впрямь никто из его друзей не любил, считая их брак откровенным мезальянсом, а саму ее — недостойной гения заурядной мещанкой, удивляясь, что привлекло в ней такого человека, как Белинский.

Была у Некрасова и своя версия того, как изменилось отношение Белинского к произошедшему: «Я имею убеждение и некоторые доказательства, что Бел[инский] сам очень скоро увидел, что его положение как дольщика (при необходимости брать немедленно довольно большую сумму на прожиток и неимении гарантии за свою долю в случае неудачи дела) было бы фальшиво. Это он мне сам высказал». Некрасов настаивал, что Белинский признал правильность его решения и неразумность своих притязаний. Журнал — дело долгое, это не сборник, вложения в который сразу окупаются и приносят разовую прибыль. Журнал должен был издаваться десятилетиями и мог сталкиваться в процессе своей, сейчас только начинающейся, жизни с самыми разнообразными материальными проблемами. Неразумно было брать на себя тяжелые обязательства перед человеком, никакой пользы принести ему не могущим. Так думал

Некрасов, и ему хотелось, чтобы так думал и Белинский.

Наконец, Некрасов утверждал, что имеет право руководствоваться собственными интересами и не обязан чем-то жертвовать для Белинского: «…если б даже Вы остановились на мысли, что я отказал ему по корыстным соображениям, то пусть и так: я вовсе не находился тогда в таком положении, чтоб интересы свои приносить в жертву чьим бы то ни было чужим. Белинский это понимал…» Это утверждение, дважды повторенное в набросках письма Салтыкову, звучит особенно смело и откровенно. И, возможно, Некрасов искренне не понимал (или не хотел признать), что обвиняли его не в том, что он не дал Белинскому долю в «Современнике» и что «корыстные соображения» ему бы простили, как прощали всё время и даже восхищались ими, а в том, что он обманул своего учителя, поманив его обещанием участия в доходах от журнала или же намеренно держа его в неведении относительно своих планов на этот счет; что, поведи он дело прямо, с самого начала объяснив Белинскому свои намерения и расчеты, всё могло пойти по-другому.

Было ли всё произошедшее результатом злого (хотя и не обязательно тщательно спланированного) умысла или трагической ошибкой Некрасова, сделанного не вернуть. Журнал нужно было издавать, хотя те условия, в которых приходилось это делать, оказались непредвиденно тяжелыми. С одной стороны, друзья Белинского продолжали печататься в «Современнике»: до конца 1847 года благодаря позиции Белинского, не столько «простившего» Некрасова, сколько призывавшего их всё равно сотрудничать с «Современником», на его страницах были опубликованы произведения Герцена (в том числе «Доктор Крупов»), Огарева, Кавелина, Грановского, Боткина, Анненкова, Григоровича (в последних номерах был напечатан принесший ему настоящую славу «Антон Горемыка»). С другой стороны, начавшаяся ощущаться нехватка материалов заставляла Белинского и Некрасова разыскивать новые литературные силы. И спрос породил огромное предложение.

1847 год оказался чрезвычайно богат на литературные и журналистские дебюты. Некрасов и Белинский без устали открывали талантливых людей, которые должны обеспечить существование журнала и в конечном счете будущее русской литературы. В «Современнике» в этом году впервые выступили молодой экономист Владимир Алексеевич Милютин (брат будущих чиновников-реформаторов царствования Александра II Дмитрия и Николая Милютиных), будущий знаменитый исследователь фольклора Александр Николаевич Афанасьев,

будущий крупный ученый-экономист Иван Кондратьевич Бабст, будущий великий историк Сергей Михайлович Соловьев, первые рецензии опубликовал будущий великий сатирик Салтыков-Щедрин. Наконец, в конце года сенсационно дебютировал повестью «По-линька Сакс», посвященной «женскому вопросу», будущий жрец чистого искусства Александр Васильевич Дружинин. За талантливую молодежь велась борьба с Краевским — у него активно «отбивались» все только-только успевшие чем-либо проявить себя сотрудники: кое-что напечатал в «Современнике» связавший себя с «Отечественными записками» Валериан Майков, делались предложения ставшему позднее ведущим критиком в конкурирующем издании Дудышкину. Не все начинавшие в «Современнике» оставались его постоянными сотрудниками, участие многих было эпизодическим. Почти никто не соглашался на работу исключительно в «Современнике» (вероятно, такие предложения редакция перестала делать). Круг либеральных западников расширялся, приходила смена старым друзьям Белинского. Этот процесс был важен и потому, что в журнал приходили сотрудники, не связанные с Белинским так тесно, как Боткин, Грановский или Кавелин, а следовательно, существенно менее близко к сердцу принимавшие только что произошедший конфликт и в тонкостях не разбиравшиеся в его сути. Таким образом, обновление состава было благом не только для русской литературы, но и для Некрасова как будущего единоличного редактора «Современника».

Не приходится сомневаться, что для Некрасова возможность руководить крупным центральным изданием, находиться в центре литературной жизни, в точке рождения новой литературы, самому участвовать в определении ее будущего была источником огромного наслаждения. С этого момента и навсегда он был «отравлен» профессией редактора и издателя и не мыслил без нее жизни. Но одновременно эта работа по своей концентрированности и непрерывности с самого начала потребовала огромных усилий, непривычных даже для Некрасова: хлопоты по цензуре, привлечение средств, которых снова не хватало (несмотря на пять тысяч рублей, полученных взаймы от Натальи Александровны Герцен перед их с мужем отъездом за границу в начале 1847 года), поиск новых авторов и переговоры с ними отнимали практически всё время, несмотря на помощь Белинского, который к тому же с начала мая до начала сентября 1847 года находился за границей.

Письма Некрасова, написанные в этом году, в основном посвящены работе: он сообщает корреспондентам журнальные новости, торгуется с авторами, просит немного подождать с

гонораром или, наоборот, обещает прислать деньги вперед, чтобы заполучить полезного сотрудника; сетует на лень или забывчивость приятелей, убеждает их прислать что-нибудь новое; уверяет Никитенко, что очередной присланный ему материал «совершенно невинен в цензурном отношении», и пр. Стараясь сохранять шутливый тон в письмах друзьям, Некрасов периодически жалуется им (например, приятелю Огарева Николаю Михайловичу Сатину) на тяжелую судьбу: «Я всё по-прежнему то работаю, то валяюсь по дивану в изнеможении и молчании, — плохо приходится! В декабре меня просто работа замучила и довела до отчаяния — насилу отдышался…»

Практически весь год Некрасов провел в Петербурге (только на короткий срок ездил по делам в Москву) — о поездках в Грешнево пришлось надолго забыть. И всё же, несмотря на трудности, журнальная работа продвигалась успешно, и его жалобы — это сетования человека, занятого тяжелым, но любимым делом. По-настоящему неприятной стороной такой жизни Некрасов поделился с Тургеневым, отношения с которым, видимо, стали в это время несколько отличаться от отношений с другими единомышленниками: «А о себе скажу, что похвалы, которыми обременили Вы мои последние стихи в письме к Белинскому, нагнали на меня страшную тоску — я с каждым днем одуреваю более, реже и реже вспоминаю о том, что мне следует писать стихи, и таковых уже давно не пишу. Мне это подчас и больно, да делать нечего. Но, за исключением сего, живу изрядно, хотя работы много и поводов злиться еще больше — однако ж привык, и ничего».

Стихов Некрасов действительно пишет мало и еще меньше публикует. С этого времени начинается тянущийся практически до 1854 года период поэтического бесплодия: в 1847 году он пишет всего пять стихотворений, за весь 1848-й — три, не считая стихотворения «Вчерашний день, часу в шестом…», традиционно относимого к этому времени, но на деле неизвестно когда написанного; 1849-м не датировано ни одно стихотворение Некрасова. Среди этих немногих произведений — новая вариация на тему «падшей женщины»: «Еду ли ночью по улице темной…». Здесь отброшен и «преждевременный» пафос освобождения проститутки, фальшиво звучащее в устах лирического героя «прощение» ее за «преступления», в которых она виновна не перед ним, как было в стихотворении «Когда из мрака заблужденья…». Исчезает прочь позиция заведомого морального превосходства, граничащего с самолюбованием, с которой герой предыдущего стихотворения на ту же тему призывал падшую женщину стать «хозяйкой полною» в его доме. Вместо этого — признание своей

вины за ее участь и позорного бессилия ей помочь, бесполезные и неопределенные проклятия и глубокая и столь же бессильная жалость, с помощью которой не будет спасен «друг беззащитный, больной и бездомный». Жалость и злоба не способны защитить ее от болезни, смерти и презрения, от «имени страшного», которым назовут ее «все без изъятья». Эти чувства усиливаются потрясающей петербургской картиной, резко контрастной, где доминирует холод и где свет не может победить мглу:

Помнишь ли день, как, больной и голодный,
Я унывал, выбивался из сил?
В комнате нашей, пустой и холодной,
Пар от дыханья волнами ходил.
Помнишь ли труб заунывные звуки,
Брызги дождя, полусвет, полутьму?
Плакал твой сын, и холодные руки
Ты согревала дыханьем ему.

По дерзости и искренности стихотворение тоже не имело себе равных, ведь его лирический герой фактически признавался, что довел неназванную женщину до проституции. Жалость и бесстрашие в осознании собственной вины делают его нравственным защитником падшей женщины перед всеми, кто ее лицемерно презирает.

Этот год, несмотря на крайнюю скудость поэтической продукции, в литературном отношении очень важен для Некрасова. Именно сейчас у него впервые появляется любовная лирика в точном значении этого слова — не изображение любви героев, но обращение к возлюбленной. Стихотворения, входящие в выявленный исследователями «панаевский цикл», трудно поддаются хронологическому упорядочиванию, Некрасов по большей части не датировал их, а публиковал — возможно, намеренно — спустя какое-то время после событий, которые в них отразились. Но, скорее всего, первым любовным стихотворением был именно этот «отрывок» — «Если, мучимый страстью мятежной…», опубликованный в седьмом номере «Современника» за 1847 год. Пожалуй, самое удивительное в том событии в жизни любовников, которое послужило основой стихотворения, — то, что к нему в полном смысле применимо слово «ссора». Толчком к созданию произведения стал не разрыв, не измена, но именно заурядный домашний конфликт, видимо, не приведший ни к каким серьезным последствиям и закончившийся примирением. Каким-то замечанием лирический герой вызвал приступ гнева у своей возлюбленной, обрушившей на него град упреков. Теперь,

когда она успокоилась, он просит не длить ссору, не упрекать его, поверить, что он и так наказан своими подозрениями, чувством стыда и раскаяния. Ссора отчасти даже изображается как событие типичное, и даже ее ход (бурные упреки, затем успокоение и прощение, следом упреки уже спокойные) вполне привычен обоим участникам. Таким образом, это событие «бытовое» в том смысле, что не исключительное само по себе и не определяющее суть отношений, но дающее представление о их повседневном течении. Конечно, это уже кое-что говорит о самих отношениях.

Это не значит, что в стихотворении нет никакого обобщения. Оно есть, но выражено не прямо, а прежде всего через обилие эмоционально окрашенных эпитетов: «злое чувство», «гнев», «беспощадно», «негодующе», «осмеивать», «поражать», «жгучий укор», «досада», «ненавистное слово» (очевидно, имеются в виду «слова, полные ненависти»). Всё это обрушивается на героя, главная вина которого — ревность, который всего лишь «позабылся», а теперь «оправдывается» и льет слезы, героя мучающегося, больного «грустным недугом», тревожащегося, сожалеющего, «безумного, но любящего». Всё это представляет чувства и слова героини как неадекватную реакцию на то, что сказал ей возлюбленный, предстающий жертвой не только своих страстей и неразумия, но и ее гнева. Перенося в любовную лирику уже найденный прием, лирический герой признаёт свою вину, называет свой «порыв подозренья» «постыдным» и даже как будто поощряет гнев возлюбленной как не только заслуженный им, но и полезный для нее, приносящий облегчение.

Есть в стихотворении еще одно противопоставление — антитеза в облике самой героини, противоречие между ее сиюминутным «злым чувством» и «кроткой и нежной» душой. И прощение, которое возлюбленная дарует герою, обусловлено тем, что душа у нее, вопреки впечатлению, которое может сложиться из-за ее поведения, нежная и кроткая, а «злое чувство» возникает у нее, когда герой причиняет ей боль своими подозрениями. В некотором смысле сама ссора оказывается только парадоксальным способом проявить эту кротость, напомнить о ней. Даже то, что это не разрыв, а именно ссора, то есть мелочь жизни, говорит о нежности и доброте женщины. «Ненавистное слово» в ее устах не означает оскорбление, идет не из глубины души, а от взволнованного, злого, но сиюминутного и поверхностного чувства. Очевидно, что так и у самого героя: его ревность и упреки тоже вызваны «мятежной страстью», не отражающей его «любящей» натуры. Вспышки гнева, обидные слова, которые они периодически бросают друг другу, — только проявления подлинной любви и привязанности. (Придирчивый

глаз в самом этом контрасте может увидеть некоторый оттенок внушения ей и самому себе, что, несмотря на ее вспышки гнева и его ревность, они друг друга любят.) Этот мотив ссоры, заканчивающейся примирением и только подтверждающей подлинность и глубину любви, станет одним из центральных в «панаевском цикле».

Примерно так и складывались отношения Панаевой и Некрасова в реальной жизни. Почти с самого начала они не были простыми. Каждый, вероятно, считал, что дает больше, чем получает. Периоды безоблачного счастья сменялись ссорами, скандалами, завершавшимися очередными возвращениями друг к другу. Что может победить такую любовь, которая включает в себя ссоры как проявление своей глубины? Очевидно, что у такой любви есть слабое место — привычка и рутина, скрытая в самих ссорах и примирениях. Видимо, только усталость от них, усталость друг от друга могла победить эту любовь, то есть и кончиться она могла таким же «бытовым», рутинным образом. Пока же сами ссоры были своего рода развлечением, нарушением привычного течения жизни. К тому же и сама эта жизнь не была еще такой уж рутинной. Некрасов был поглощен журнальными делами (Авдотья Яковлевна жаловалась своей подруге Марии Львовне Огаревой: «Некрасов занят, как вол, и я в неделю много если скажу с ним три слова»), и надоесть друг другу они не успевали.

Сама Панаева также не удовлетворялась ролью хозяйки дома. Вместе с Панаевым она начала вести в «Современнике» отдел мод, затем попробовала силы в литературе повестью «Семейство Тальниковых», в которой очень жестко и гиперболизированно (возможно, отчасти и здесь поддавшись «злому чувству» и гневу) свела счеты с безрадостным детством (правда, повесть оказалась совершенно «нецензурной» и при ее жизни так и не увидела свет). Она сразу проявила себя как добротный беллетрист, бытописатель, способный вполне живо изображать лица и обстановку. Тем не менее с самого начала Панаева не имела серьезных литературных амбиций, и у нее с Некрасовым никогда не было профессионального соперничества, тем более что Некрасов отчасти благословил ее на литературную деятельность (одобрительно отзывался о ее первых опытах и Белинский). Но если она была заведомо слабее Некрасова в сфере литературы, то в сфере эмоций, сфере личностной они были равными соперниками.

«ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ»

1848 год начался, можно сказать, рутинно. Январь и февраль прошли в уже, видимо, ставших Некрасову привычными журнальных хлопотах. Он готовил первые номера «Современника», в которых, включая апрельскую книжку, еще печатал статьи Белинского (критик больше не мог работать — его болезнь перешла в последнюю стадию). В них же были опубликованы «Сорока-воровка» Герцена, произведения Дружинина, Гончарова, Соловьева, Грановского, очередные «записки охотника» Тургенева. Тогда же Некрасов набрал и готовил к печати новый сборник — «Иллюстрированный альманах», в котором намеревался всё-таки опубликовать «Семейство Тальниковых» Панаевой, забракованное Никитенко. Однако к концу февраля ход событий резко изменился.

Двадцать второго февраля 1848 года в ответ на отмену королем Франции Луи Филиппом «реформистских банкетов» в Париже началось восстание — на улицах города жители возводили баррикады. На следующий день было отправлено в отставку правительство Гизо, и тогда же солдаты линейной пехоты, охранявшие Министерство иностранных дел, открыли огонь по толпе — погибли 52 человека. 24 февраля была распущена палата депутатов, король отрекся от престола и бежал в Англию, а еще через день Франция была провозглашена республикой. Волнения и кровопролитные столкновения продолжались до 26-го числа, когда восстание рабочих было подавлено генералом Кавеньяком. Волна революций прокатилась практически по всей Европе: Австрии, Пруссии, Бельгии и другим странам.

Известия о событиях во Франции мгновенно дошли до России и произвели ошеломляющее впечатление на образованную часть общества. М. Е. Салтыков-Щедрин вспоминал: «Мыс неподдельным волнением следили за перипетиями драмы последних лет царствования Луи-Филиппа… Я помню, это случилось на масленой 1848 года. Я был утром в итальянской опере, как вдруг, словно электрическая искра, всю публику пронизала весть: министерство Гизо пало. Какое-то неясное, но жуткое чувство внезапно овладело всеми. Именно всеми, потому что хотя тут было множество людей самых противоположных воззрений, но, наверно, не было таких, которые отнеслись бы к событию с тем жвачным равнодушием, которое впоследствии (и даже, благодаря принятым мероприятиям, очень скоро) сделалось как бы нормальною окраской русской интеллигенции. Старики

грозили очами, бряцали холодным оружием, цыркали и крутили усы; молодежь едва сдерживала бескорыстные восторги. Помнится, к концу спектакля пало уже и министерство Тьера (тогда подобного рода известия доходили до публики как-то неправильно и по секрету)». Сочувствие российских либералов французским повстанцам было огромным, а разочарование после поражения июньского восстания — тяжелым.

Правительственная реакция была столь же радикальной. Николай I был готов сделать всё, чтобы не допустить подобного в России. Для демонстрации серьезности его намерений были приведены в боевую готовность некоторые части. Однако правительство хорошо понимало, что угроза была не в возможности военного столкновения со вновь республиканской Францией, а в ее «дурном примере»: опасны были те идеи, которые привели к падению монархии и которые быстро распространялись по Европе. Предстояло бороться с их проникновением в Россию. Поэтому пресса, прежде всего оппозиционная, стала объектом особого внимания правительства. 23 февраля, после получения «двойного» доноса на «Современник» и «Отечественные записки», шеф жандармов граф Алексей Федорович Орлов представил императору доклад об опасном и вредном направлении этих журналов, на котором 27-го числа была начертана высочайшая резолюция о создании особого комитета для рассмотрения действий цензуры и соответствия журналов их утвержденным программам. Такой комитет был организован «немедля», его председателем был назначен генерал-адъютант князь Александр Сергеевич Меншиков. Слухи о создании комитета быстро распространились. Его полномочия и круг обязанностей были неясны, что только усугубляло его потенциальную опасность. Чуть позднее его сменил не менее страшный «негласный комитет по делам печати», так называемый Комитет 2 апреля (или бутурлинский, по имени недолго возглавлявшего его действительного тайного советника Дмитрия Петровича Бутурлина). 14 марта новая правительственная политика была официально декларирована в печально знаменитом царском манифесте о противодействии «смутам, грозящим ниспровержением законных властей и всякого общественного устройства».

Некрасов впервые столкнулся с подобным. Он, безусловно, никогда не сомневался, что издает журнал «оппозиционный», что идеалы и ценности Белинского, которые он принял как свои собственные, воплощал в стихах и стремился пропагандировать в «Современнике», потенциально враждебны не только конкретному «николаевскому режиму», но и всему

государственному строю, существовавшему в России, что полностью высказать их открыто невозможно. Но на эти идеалы можно было намекать, говорить о них не напрямую и, если соблюдать цензурные правила, не подвергаться серьезным угрозам. Правительственная реакция на французские события давала понять, что занятие оппозиционной журналистикой и литературой в России — крайне опасное дело: здесь за песни, поэмы, пьесы могли приговорить к смерти, сослать на каторгу, отправить в ссылку, довести до самоубийства. Закрытие журнала могло, особенно поначалу, казаться Некрасову едва ли не самым легким наказанием за оппозиционность. В тот момент трудно было предугадать все возможные угрозы издателю «Современника» и автору стихов.

Угрозы, впрочем, быстро конкретизировались. Еще до объявления царского манифеста, 11 марта, редакторов петербургских журналов (очевидно, в том числе и Некрасова) пригласили в меншиковский комитет, где от высочайшего имени им было объявлено, что «долг их не только отклонять все статьи предосудительного направления, но содействовать своими журналами правительству в охранении публики от заражения идеями, вредными нравственности и общественному порядку». 29 марта Некрасову пришлось по личному приглашению явиться к А. Ф. Орлову, вероятно, сделавшему ему серьезное «внушение» в том же духе. Видимо, до этого времени поэт еще не испытывал внимание к себе чиновника такого ранга и значения и запомнил свой визит к шефу жандармов на всю жизнь. Отчасти карикатурно-иронически Некрасов описал его в начале 1870-х годов в поэме «Недавнее время»:

Получив роковую повестку,
Сбрил усы и пошел я туда.
Сняв с седой головы своей феску
И почтительно стоя, тогда
Князь Орлов прочитал мне бумагу…
Я в ответ заикнулся сказать:
«Если б даже имел я отвагу
Столько дерзких вещей написать,
То цензура…» — «К чему оправданья?
Император помиловал вас,
Но смотрите! Какого вы званья?»
— «Дворянин». — «Пробегал я сейчас
Вашу книгу: свободы крестьянства
Вы хотите? На что же тогда
Пригодится вам ваше дворянство?..

Завираетесь вы, господа!
За опасное дело беретесь,
Бросьте! бросьте!.. Ну, Бог вас прости!
Только знайте: еще попадетесь,
Я не в силах вас буду спасти…»

Правила радикально менялись: правительство уже не только требовало не говорить запрещенного, но заставляло писать то, что оно считает нужным, не просто не противодействовать его интересам, а содействовать им. Перед оппозиционными изданиями встал трудный выбор. В случае Некрасова эта новая ситуация усугублялась смертельной болезнью Белинского, больше не способного ни писать в «Современник», ни помогать советами (к тому же Белинский с точки зрения правительства был намного подозрительнее, чем сам Некрасов; перед смертью критика пытались вызвать для «собеседования» и едва ли не намеревались арестовать). Финансовые дела журнала были не блестящи: после успеха первого года наступала предвиденная Белинским и самим Некрасовым пора спада; конкуренция со стороны Краевского, участие в его «Отечественных записках» тех же литераторов негативно сказались на числе подписчиков «Современника», хотя и не привели к крушению журнала. Вдобавок ко всему в апреле Никитенко, то ли поняв, что им только прикрываются, то ли подчиняясь негласной рекомендации цензорам не состоять в редакциях периодических изданий, отказался от поста ответственного редактора; на его место временно, «в виде опыта», был утвержден Панаев.

Видимо, на фоне всех этих проблем даже смерть Белинского отошла для Некрасова на второй план. Великий критик скончался 26 мая 1848 года в такой бедности, что деньги на похороны собирали его друзья (это еще раз заставило их вспомнить о «несправедливости» к нему Некрасова). Перед смертью Белинский, как вспоминала его свояченица, «необыкновенно громко, но отрывочно начал… произносить как будто речь к народу. Он говорил о гении, честности, спешил, задыхался». Некрасов простился с Белинским за неделю до его смерти. Впоследствии поэт говорил, что последнее свидание было грустным и теплым — бывший наставник просил его беречь себя, чтобы не кончить так же.

Некрасов был, безусловно, человек закаленный, однако обрушившаяся на него волна неприятностей и угроз привела его в замешательство. Самым тяжелым было правительственное требование подтверждения лояльности, фактически открытого

ренегатства. Некрасов попытался занять выжидательную позицию: просил авторов «Современника» смягчать резкие высказывания, сам внимательнее следил за материалами, предлагаемыми журналу, от некоторых ярких статей отказывался, то есть вынужден был выполнять функции цензора еще до того, как очередная книжка поступала в настоящие цензурные органы (а ведь был еще бутурлинский комитет). Но, казалось, этого мало, и неясная угроза нависала, власть же требовала прямых подтверждений благонадежности. Некрасов чувствовал, что не в силах найти выход из создавшегося положения. В отсутствие какой-либо поддержки со стороны умиравшего Белинского (о том, чтобы положиться на интеллектуальные способности Ивана Ивановича Панаева, речи не было) он решил пригласить в ответственные редакторы «Современника» кого-то более пригодного.

Его выбор пал на одного из «москвичей», Евгения Федоровича Корша, который давно имел в кружке репутацию человека, наиболее способного к редакторской деятельности. Эта репутация была вполне заслуженной: с 1842 года Корш был издателем и редактором выходившей при Московском университете газеты «Московские ведомости», которую он серьезно преобразовал и улучшил. К этому времени он от редакторских обязанностей «освободился». Привела к этому скандальная история, разыгравшаяся в феврале — марте в Московском университете в связи с недостойным поведением профессора Н. И. Крылова: тот «в пьяном виде» избивал и «таскал по улице за косу» супругу (приходившуюся Коршу сестрой), а она уличила мужа-деспота в том, что он брал взятки со студентов. Несколько профессоров и сотрудников университета, принадлежавших к московской части либерально-западнического круга, в том числе Грановский, Кавелин, Редкин и Корш, потребовали увольнения Крылова из университета, в противном случае грозя уйти из университета. Министр народного просвещения Уваров принял сторону Крылова, и Корш вместе с другими подали в отставку (только Грановского не отпустили — он должен был отработать свою заграничную поездку). Так начальство предпочло подлеца и взяточника знаменитым ученым — очевидно, ради внешнего порядка; субординация, устав оказались важнее таланта, бескорыстия и подлинного патриотизма. Московский университет потерял лучших профессоров. Корш, как и остальные, был вынужден искать другого заработка, чтобы кормить свою большую семью.

Корш был опытным и даже блестящим редактором, но, возможно, для Некрасова дело было не только в нем. С его

помощью Некрасов хотел привлечь к более тесному участию в издании и к выработке новой программы других «москвичей», всю московскую группу западников, многие из которых перебирались теперь в Петербург. Задача была непростой, поскольку «москвичи», отличавшиеся высокими моральными требованиями (что и проявилось в истории с Крыловым), не доверяли ему существенно больше, чем прагматичные «петербуржцы». Тем не менее в конце апреля или начале мая 1848 года Некрасов с Панаевым предложили Коршу стать ответственным редактором «Современника». Посредником в переговорах выступил Т. Н. Грановский, приезжавший в Петербург 23 мая, чтобы хлопотать об отставке, повидаться с умирающим Белинским и разузнать о подлинных намерениях редакции «Современника» в отношении Корша. Грановский побывал у Некрасова и Панаевых и пришел к выводу, что намерения редакторов журнала не были серьезными. «…На Панаева и Некрасова Коршу нельзя много полагаться. Они как бы неохотно и, как бы раскаиваясь в своем предложении ему, говорят об его деле, хотя и готовы выслать ему деньги.

Вообще мое мнение об их пустоте оправдалось», — писал он жене. После беседы с вернувшимся в Москву Грановским Корш от предложения петербургских издателей отказался.

Между тем проблема «направления» продолжала нависать над «Современником», и в сентябре разрешить ее взялся другой «москвич», также оставшийся без университетской кафедры, Константин Дмитриевич Кавелин. Дебютировавший в некрасовском журнале блестящий историк, несколько догматического склада, имевший чрезвычайно высокое мнение о своем уме и моральном облике и крайне низкое — об уме и нравственности Некрасова, Кавелин еще весной этого года приехал хлопотать о поступлении на государственную службу. Проживая в Северной столице, он активно общался с редакторами журнала (Некрасов сообщал Тургеневу 12 сентября: «Кавелин перебрался теперь сюда на службу и усердно работает для «Совр[еменника]»). Кавелин решительно не признавал способности Некрасова и Панаева вести серьезное литературное издание и убедил их повторить предложение Коршу (тот снова ответил отказом). Сам же он был готов определить новое направление «Современника», и Некрасов склонялся к тому, чтобы ему это доверить.

Кавелин писал Грановскому в Москву: «Панаев покончил свое литературное поприще. Тень убеждения, веры — исчезли. Некрасов — человек страшно даровитый, но совершенно неприготовленный к делу и воспитанный в школе торгашества; он

сам это чувствует и скрывает сколько можно эти стороны, но они прохватывают наружу, несмотря ни на что. На днях составил он объявление о журнале. Мы с Тютчевым сказали ему, что в объявление нужно включить программу; что публика, либеральная партия и все серьезные умы потребуют от журнала объяснить, как он будет действовать теперь, когда на литературу наложены путы, ошейник раба, и европейские события изменили наше положение. Ему сначала не хотелось — так мало понимают они, что такое журнал; потом предложил он мне написать программу. Я это сделал как умел; положил на нее много душевной теплоты, убеждения, но вышла в руках редакции — дрянь. Прежде цензурной переделки они подвергли ее своей, там урезали, здесь прибавили, что вовсе к ней не подходит, и вышла дрянь, ни то ни се».

Новое направление, которое предложил Некрасову Кавелин, состояло в том, чтобы сблизиться со славянофилами, объявить своими новыми ценностями нацию, народ и патриотизм. Эти понятия стали важнейшими в официальной идеологии, а потому выдвижение их «Современником», по мнению Кавелина, должно было быть благосклонно воспринято наверху как демонстрация требуемой готовности содействовать. До некоторой степени такое направление не было чуждо настроениям Белинского, в последние годы жизни отчасти благоволившего славянофилам, что отразилось, к примеру, в его высокой оценке стихотворений Кольцова и полемике с Валерианом Майковым. При этом Кавелин предлагал не реальный союз с властью, которую он ненавидел не меньше Белинского, но своего рода мимикрию. Проповедуя народность и патриотизм, «Современник» должен был вкладывать в эти понятия собственное содержание, отстаивать ценности, совершенно чуждые правительственной идеологии. Грановскому Кавелин писал об этом откровенно: «Всего отвратительней, что в этих возгласах в пользу России, патриотизма русского, в этих ругательствах Европе слышится очень явственно один камертон: власть Николая Павловича, ее сохранение и обеспечение во веки веков. Будь это истинно национальное движение — можно было бы с ним не соглашаться, но, по крайней мере, его уважать. Но покуда это движение в Петербурге — лицемерная интрига немецкой династии, прикрывающейся русским именем, и воскурение фимиама со стороны подлой дворни, царских холопьев… патриотическая маска, надетая лицемернейшим из правительств и вдобавок самым невежественным, какое себе представить можно, может быть эксплуатирована в пользу истинного патриотизма. Они и мы будем разуметь розное; но наружность — та же. Например, ломать русскую историю на

новый лад можно…»

Видимо, бывшему «москвичу» удалось убедить Некрасова в правильности такой тактики. В пространном редакционном объявлении «Об издании «Современника» в 1849 году», опубликованном в номере «Московских ведомостей» от 30 сентября, утверждалось: «Очевидно и несомненно стало, что у нас свое дело, своя задача, своя цель, свое назначение, а потому и своя особенная дорога, свои особенные средства. Чувство народной самобытности и историческое, практическое разумение, подготовленные в последнее двадцатилетие совокупными усилиями правительства и частных лиц, теперь окончательно получили у нас право гражданства. Такое приобретение вносит новые условия в наше бытие, обогащает его новыми данными и потому, по всей справедливости, должно составить начало новой эпохи в нашей истории, нашем умственном и нравственном развитии. Теперь, более чем когда-нибудь, мы должны обратиться на самих себя, сосредоточиться, глубже вглядываться в свою народную физиономию, изучать ее особенности, проникать внимательным оком в зародыши, хранящие великую тайну нашего, несомненно великого, исторического предназначения».

Неизвестно, что произошло, однако уже как минимум в ноябре курс решили не менять: редакция выпустила отдельной брошюрой, приложенной к двенадцатому номеру журнала за 1848 год, новое объявление об издании «Современника» в 1849 году, как бы дезавуирующее предшествующее. Это объявление было в несколько раз короче, и о направлении журнала в нем говорилось так же лаконично, как и обо всём остальном: «Весь этот отчет о деятельности редакции «Современника» в 1848 году представили мы здесь подписчикам нашим для того, чтобы, объявляя о продолжении журнала, сказать им коротко, что ничто не изменится в издании его в следующем году. Мы будем издавать журнал наш на тех же основаниях, при содействии тех же сотрудников и руководствуясь теми же соображениями; итак, кому нравился наш журнал доныне, тот может оставаться его читателем и на следующий год, с полной уверенностью, что журнал хуже не будет».

Можно только гадать, что заставило Некрасова отказаться от лицемерного патриотизма. Возможно, этот эпизод — просто проявление короткой слабости, замешательства поэта, заставившего сделать неверный шаг, в котором он быстро раскаялся. В любом случае несомненно, что и от нового направления, и от услуг Кавелина отказались. Некрасов решил не делать каких-либо заявлений, призванных продемонстрировать правительству свое «исправление» (кроме обычных ритуальных

формул, неизбежных для всякого подцензурного издания). Он вернулся к тактике выжидания: максимально воздерживаться одновременно и от шагов, могущих повлечь за собой репрессии в отношении журнала и его редакции, и от того, что скомпрометировало бы его в глазах либеральной общественности, издавать журнал вообще без ярко выраженного направления до тех пор, пока не появится возможность выражать его открыто.

Видимо, такая позиция оказалась в конечном счете приемлемой для правительства. Но она же привела к тому, что «Современник» начал выглядеть «бледным». Особенно отчетливо это проявляется в отделе беллетристики: современная русская проза с его страниц почти исчезает — начиная с мая 1848 года в каждой книжке печатается не более двух-трех оригинальных произведений (остаются верными журналу Григорович, Тургенев, постоянно пишет Дружинин, в отделе «Смесь» печатается Панаев), зато до конца года тянется публикация толстого сатирического романа английского писателя XVIII века Генри Филдинга «Том Джонс» в переводе Андрея Кронеберга и Владимира Майкова.

Отсутствие материала, «пригодного для печати», заставляет самого Некрасова вместе с Панаевой взяться за написание длинного приключенческого романа с продолжением. Авдотья Яковлевна вспоминала: «В 1848 году строгость цензуры дошла до того, что из шести повестей, назначенных в «Современник», ни одна не была пропущена, так что нечего было набирать для ближайшей книжки. В самом невинном рассказе о бедном чиновнике цензор усмотрел намерение автора выставить плачевное положение чиновников в России. Приходилось печатать в отделе беллетристики переводы. <…> Некрасову пришла мысль написать роман во французском вкусе, в сотрудничестве со мной и с Григоровичем. Мы долго не могли придумать сюжета. Некрасов предложил, чтобы каждый из трех написал по главе, и чья глава будет лучше для завязки романа, то разработать сюжет, разделив главы по вкусу каждого. Я написала первую главу о подкинутом младенце, находя, что его можно сделать героем романа, описав разные его похождения в жизни. Григорович принес две странички описания природы, а Некрасов ничего не написал. Моя первая глава и послужила завязкой романа; мы стали придумывать сюжет уже вдвоем, потому что Григорович положительно не мог ничего придумать. Когда было написано несколько глав, то Некрасов сдал их в типографию набирать для октябрьской книжки «Современника», хотя мы не знали, что будет далее в нашем романе; но так как писалось легко, то и не боялись за продолжение. — Некрасов дал название роману «Три страны света», решив, что герой романа будет

странствовать».

Первая часть романа была опубликована в октябрьской книжке 1848 года, окончание — в майской 1849-го. Поскольку его предполагалось писать и печатать долго, авторам пришлось еще до того, как первая часть появилась в печати, дать обязательство, что «роман будет производить впечатление светлое и отрадное, ибо для главных лиц его, в которых читатель примет наибольшее участие, *роман кончится счастливо*. Все лучшие качества человека: добродетель, мужество, великодушие, покорность своему жребию представлены в лучшем свете и увенчаются счастливой развязкой. Напротив, *порок решительно торжествовать не будет*». Это унизительно и комически выглядящее «Примечание для г[оспод] цензоров «Современника» к роману «Три страны света» наглядно характеризует требования, предъявлявшиеся к литературе: перестать «очернять» и выводить «дурное», тем самым расшатывая основы государственного порядка. И в романе всё действительно заканчивалось хорошо. Главный герой, энергичный и предприимчивый молодой человек Каютин, пространствовав по России, в результате составил капитал, который позволил ему жениться на любимой девушке. Все сведения для описаний тех мест, в которых он побывал, заимствовались соавторами из географических атласов, справочников и дневников путешественников. Никакого собственного опыта вояжей по стране ни у Панаевой, ни у Некрасова не было, а потому наиболее ярко и колоритно, со знанием дела, рассказано о деятельности нечистоплотного и развратного книгопродавца Кирпичова. Соавторы и не делали вид, что создают шедевр. Функция «Трех стран света» — заполнять страницы журнала, поскольку имелось обязательство перед подписчиками об определенном объеме каждой книжки («Если увидите мой роман, не судите его строго: он писан с тем, чтобы было что печатать в журнале, — вот единственная причина, породившая его на свет», — писал Некрасов Тургеневу в декабре 1848 года). Роман, впрочем, получился занимательным и после завершения журнальной публикации дважды выходил отдельным изданием.

Весь 1848 год журнал находился в опасности, Некрасов падал духом, жаловался на здоровье. Многим казалось, что следующий год принесет облегчение. Эту мысль выразил Гоголь, встретившись с молодыми литераторами и сотрудниками «Современника». П. В. Анненков вспоминал: «Он также продолжал думать, что по отсутствию выдержки в русских характерах преследование печати и жизни не может долго длиться, и советовал литераторам и труженикам всякого рода пользоваться

этим временем для тихого приготовления серьезных работ ко времени облегчения. Эту же мысль развивал он при мне и в 1849 году на вечере у Александра Комарова. Тогда произошла довольно наивная сцена. Некрасов, присутствовавший тоже на нем, заметил: «Хорошо, Николай Васильевич, да ведь за всё это время надо еще есть». Гоголь был опешен, устремил на него глаза и медленно произнес: «Да, вот это трудное обстоятельство». Однако 1849 год не оправдал ожиданий гения. Правительство проявляло «выдержку»: в мае были арестованы Михаил Васильевич Петрашевский и члены его «общества», в том числе Достоевский, в декабре им был вынесен абсурдно-жестокий приговор. По свидетельству Анненкова, Некрасов был чрезвычайно «испуган» происходящими событиями. Панаева утверждает, что во время всего процесса над петрашевцами за Некрасовым велась слежка с помощью прислуги и дворника. По ее свидетельству, в редакции «Современника» каждый день ждали появления жандарма. Ее слова находят документальное подтверждение: исследователи обнаружили в архивах распоряжение управляющего Третьим отделением Собственной Его Императорского Величества канцелярии Леонтия Васильевича Дубельта от 31 октября 1849 года: «Г-н шеф жандармов имеет неблагоприятные сведения на счет образа мыслей редактора «Современника» г-на Некрасова. Должно наблюдать за ним».

Всё это, естественно, сказывалось на «Современнике», содержание которого и общее состояние дел постоянно удручали Некрасова. «Мы трепещем за наступающую подписку, ибо многие книжки журнала сряду были плохи», — писал он Тургеневу 12 сентября 1848 года. Ему же 17 декабря Некрасов сообщал: «Подписка идет у нас хуже прошлого года, чему Вы, конечно, и не удивляетесь, видя, как плох стал наш журнал сравнительно с прошлым годом. А отчего плох? Узнаете, как сюда приедете. Мы печатали, что могли». То же он повторил Тургеневу и в письме от 27 марта 1849-го: «В нынешнем году у нас подписка на все журналы хуже, вследствие того что газеты политические в интересе повысились, а журналы по некоторым причинам стали скучны и пошлы до крайности. Так у «Библиот[еки] для чт[ения]» убыло 900 подписчиков, у Краевск[ого] — 500, у нас — 700. Дела наши не очень блистательны». В целом так оно и было: отдел словесности «Современника» заполняли светские, кавказские или бытовые повести Дружинина (которому ни разу не удалось повторить успех своей дебютной повести «Полинька Сакс»), Григоровича, Панаевой (Станицкого), печатаются переводы Гёте и Ламартина, второстепенных европейских писателей. Грановский, его друг географ Николай Григорьевич Фролов, Соловьев в

ученых статьях по возможности избегали современности и касались преимущественно развития естественных наук, удаленных периодов российской и европейской истории; но даже вполне невинная статья Соловьева о Смутном времени вызвала замечания и привела к выговору цензору за пропущенную цитату из послания Лжедмитрия II с призывом к крестьянам захватывать земли господ, в котором усмотрели «применение» к общественной жизни современной России. Много места в журнале занимали описания путешествий, причем в основном подальше от России: в Африку или Испанию. Поднимать по-настоящему острые темы, более или менее прямо отстаивать либеральные ценности было невозможно.

При этом работать Некрасову приходилось едва ли не больше, чем в случае, если бы пригодный для печати материал был в изобилии. Он вынужден был не просто оценивать качество текста, но стараться не допускать в журнал, с одной стороны, ничего по-настоящему подлого и лицемерного, с другой — слишком опасного. Тому же Тургеневу в письме от 9 января 1850 года Некрасов жаловался на «невероятное, поистине обременительное и для крепкого человека количество работы»: «…честью Вас уверяю, что я, чтоб составить 1-ю книжку, прочел до 800 писаных листов разных статей, прочел 60-т корректурных листов (из коих пошло в дело только 35-ть), два раза переделывал один роман (не мой), 1 раз в рукописи и другой раз уже в наборе, переделывал еще несколько статей в корректурах, наконец, написал полсотни писем, был каждый день, кроме лихорадки, болен еще злостью, разлитием желчи и проч. Кроме физических недугов и состояние моего духа гнусно, к чему есть много причин». Практически каждая книжка отнимала массу сил.

Предприятие при этом выглядело невыгодным. Некрасов опять жаловался в письмах на долги и нехватку средств, уведомлял сотрудников и авторов, что не может своевременно заплатить гонорар, и просил «подождать». Работа плохо сказывалась на здоровье: в это время он периодически сообщал приятелям в письмах, что болят глаза, неделями мучает лихорадка. Неблагодарный труд отнимал всё время и силы — в 1849 году Некрасов стихов не писал. Бросить дело, однако, было уже невозможно — и в силу привычки, и в силу новой самоидентификации: в какой-то момент Некрасов стал воспринимать себя прежде всего редактором «Современника», ставшего уже во всех смыслах его собственным предприятием. «Современник» уже был важен сам по себе как состоявшееся явление, живое дело и имя, которое выше и важнее того состояния, в каком он находится в данный момент. Момент был

тяжелый, но давал возможность журналу сохраниться, дожидаясь лучших времен. Неизвестно, верил ли Некрасов, подобно Гоголю, что такие времена настанут. Его волновал вопрос, как продержаться. Он продолжал работать от одной книжки «Современника» до другой.

То, что журнал, несмотря на постоянное правительственное давление, оставался живым, подтверждается постепенным изменением состава его постоянных авторов. Реакция, общественный застой и упадок неблагоприятны для появления по-настоящему больших талантов, однако вполне пригодны для появления дарований средних, способных на время привлечь внимание публики «на безрыбье». И такие авторы пришли в это время в «Современник». В 1849 году повестью «Ошибка» дебютировала в журнале Елизавета Васильевна Салиас-де-Турнемир, ставшая известной под псевдонимом Евгения Тур; Михаил Васильевич Авдеев опубликовал в этом году и в начале следующего свои сенсационные повести «Варенька» и «Записки Тамарина». Павел Васильевич Анненков впервые выступил в качестве литературного критика, дав в первый номер 1849 года статью «Заметки о русской литературе прошлого года», в которой, между прочим, впервые употреблено столь значимое для русской литературы слово «реализм». В 1850 году в журнал пришел и до 1853 года помогал Некрасову издавать его будущий замечательный библиограф Виктор Павлович Гаевский. Всё это свидетельствует, что и в трудное время журнал был центром литературного процесса, по-прежнему формировал современную и завтрашнюю литературную повестку дня.

Несмотря на все огорчения, которые приносит работа, «Современник» в это время дает Некрасову чрезвычайно много: полученная им закалка превращает его в 29 лет в маститого редактора и издателя. Уже в 1850 году критика как само собой разумеющееся называет «Современник» одним из «лучших наших журналов», а известный писатель Григорий Петрович Данилевский считает журнал «модным», прибавляя, впрочем, сплетню, что его редактор не принимает в журнал стихов, «которые опасны для имени г. Некрасова». Некрасов осваивает механизмы общения с цензурой, изобретает способы «прикармливания» цензоров, осторожно нащупывает связи (очень скромные) в правительстве. В это время он обретает новый общественный статус — уже не мелкого литературного пролетария и даже не просто талантливого и заметного литератора, а солидного издателя, владельца журнала, в котором страстно желают опубликовать свои опусы начинающие (и не только) литераторы, поскольку увидеть свое имя на страницах

«Современника» уже значило приобщиться к большой литературе. Тому же Авдееву, делавшему только первые шаги на писательском поприще, Некрасов пишет уже как мэтр, как человек, чье мнение имеет значительный литературный вес: «Я с большим удовольствием прочел Вашу повесть. В ней много хорошего, и Вы имеете несомненный талант… Напишите мне также, сколько Вам лет, где Вы служите, куда думаете выступить из Нижнего. Всё, что напишете, присылайте смело ко мне: годное будет напечатано, и будут Вам тотчас высланы деньги (по 32 рубля серебром с каждого печатного листа). Что же окажется неудовлетворительным, на то я не поленюсь прислать Вам свои замечания, ибо Ваш талант меня очень заинтересовал. Высылайте мне поскорей».

В 1849–1850 годах постепенно складывается новый круг «Современника», соответствующий временам, переживаемым журналом и российским обществом в целом. В него только отчасти входят литераторы и ученые, близкие Белинскому. «Москвичи» дают в «Современник» материалы, но держат дистанцию с его редакторами. Новый круг составляют либо такие менее принципиальные друзья Белинского, как И. С. Тургенев (отношения с которым у Некрасова приближаются к приятельским), В. П. Боткин, П. В. Анненков, либо новые сотрудники, мало или совсем не связанные с Белинским: Д. В. Григорович, В. А. Милютин, М. Н. Лонгинов, А. В. Дружинин. Большинство из них образуют приятельский круг, состоящий из людей, близких по интересам, чьи отношения выходят достаточно далеко за пределы редакции. Все они, умные и образованные, с широким кругозором, исповедовали либеральные убеждения, были сторонниками прогресса и просвещения, но при этом никто не обладал ни общественным темпераментом и страстью Белинского, ни философской глубиной и интеллектуальной яркостью эмигрировавшего Герцена (связь с которым практически прервалась в 1848 году), ни ученостью Кавелина или Грановского (остававшихся авторами «Современника»). Новые приятели Некрасова не были склонны вести страстные философские споры. Они были не чужды «барских» вкусов и привычек, не меньше Герцена или Огарева любили радости жизни и удовольствия.

Душой этой новой компании стал Александр Васильевич Дружинин, едва ли не самый постоянный автор, печатавшийся в 1849–1850 годах практически в каждой книжке «Современника» и постепенно начавший определять направление журнала, никак об этом не заявляя. Дружинин, сын крупного чиновника, на три года младше Некрасова, получил образование в Пажеском корпусе, служил в лейб-гвардии Финляндском полку, а с 1846 года — в

канцелярии Военного министерства. Дебютировал он в «Современнике» повестью «Полинька Сакс» в 1847 году, посвященной вопросу эмансипации женщин и получившей высокую оценку Белинского. Очевидно, до этого времени никто в компании Некрасова и Белинского не слышал про Дружинина и его рукопись попала в журнал через кого-то из самых периферийных членов кружка. Как-то незаметно он вошел в личные отношения с редакцией журнала и его постоянными сотрудниками. В сентябре 1848 года Некрасов писал Тургеневу: «Дружинин малый очень милый и не то, что Иван Александр[ович] (Гончаров. — *М. М.):* всё читает, за всем следит и умно говорит. Росту он высокого, тощ, рус и волосы редки, лицо продолговатое, не очень красивое, но приятное; глаза, как у поросенка».

Дружинин был идеальный литератор периода застоя, именно такой, какой нужен, чтобы писать тогда, когда не о чем писать, или, точнее, нельзя писать о чем-то по-настоящему серьезном и важном. По привычкам и вкусам настоящий аристократ, англоман, *дэнди,* как называли его друзья, он являл собой полную противоположность Белинскому: спокойный, хладнокровный, культивирующий сдержанность и присутствие духа, не терпевший слишком сильных страстей и увлечений, любивший изящное в разных его проявлениях, не без склонностей эротомана. Вечный холостяк, он был завсегдатаем публичных домов, оставил в подробном дневнике характеристики проституток, которых, впрочем, мог и жалеть. Дружинин был действительно добрый человек и впоследствии стал вдохновителем первого в России общества помощи нуждающимся литераторам и ученым. Он очень любил литературу и отказался ради нее от карьеры военного, существенно более перспективной. Но любил он ее, конечно, не так, как Белинский и Некрасов. Она была для него не способом говорить о кровоточащих общественных ранах и проповедовать высокие идеалы свободы и равенства, а проявлением изящного, легкого, родом возвышенного удовольствия, безусловно, отличающегося от того, которое можно получить в борделе, но в конечном счете — наслаждения. Дружинин был чутким критиком, любил художественность в разных видах (в том числе ценил и совсем не «изящную» поэзию Некрасова, хотя и утверждал ее «ограниченный» характер), но при этом ему не нравилась чрезмерная серьезность. Фактически являясь с 1849 по 1854 год ведущим сотрудником «Современника», Дружинин убедил Некрасова отказаться от серьезных обзоров литературы и заменил их ежемесячными фельетонами «Письма иногороднего подписчика». Его трудолюбие было замечательным. Он много

писал о том, что не имело злободневного значения: сначала задумал и осуществил цикл статей под названием «Галерея знаменитых романов», затем создал целый ряд портретов английских писателей (литературу Туманного Альбиона он знал прекрасно и хорошо в ней разбирался). В 1850 году Дружинин начал публиковать фельетонный роман-обозрение «Сентиментальное путешествие Ивана Чернокнижникова по петербургским дачам», содержащий обзор разнообразных незначительных событий столичной и дачной жизни. Всё делалось им со вкусом, но было мелким и совершенно «безобидным». Эти черты в совокупности превращали его в идеального журнального работника периода застоя.

Дружинин влиял не только на характер журнала, но и на «литературный быт» круга «Современника». Литературу он считал возвышенным развлечением, а литераторов — своего рода аристократическими дилетантами, любящими развлекаться, хорошо жить, а не сухарями, предающимися разговорам о Боге, общественных идеалах и прочих скучных вещах. Видя себя душой любой компании (сказывалось гвардейское прошлое), Дружинин активно вовлекал литераторов круга «Современника» в развлечения: к началу 1850-х годов придумалось даже «домашнее» словцо «чернокнижие», которым приятели называли разнообразные совместные «мероприятия», варьировавшиеся в диапазоне от коллективного сочинения непристойных стихов до коллективного же посещения «дев». Под влиянием Дружинина (и, конечно, благодаря склонности остальных) круг «Современника» превратился в это время в веселую компанию беззаботных людей, благородных и честных, но без больших умственных горизонтов, без предельных запросов и претензий на какое-либо воздействие на окружающий мир. Это было во многом вызвано невозможностью участвовать в какой-либо общественной деятельности, подспудным ощущением отсутствия альтернативы. В самой склонности к аморализму, легким формам разврата можно видеть форму протеста против существующего порядка вещей, режима, лицемерно провозглашавшего мораль своим принципом и при этом глубоко аморального (своего рода портрет этой власти как будто пророчески изображен в «Нравственном человеке»).

Некрасов недаром позволил Дружинину определять лицо его журнала — он, несомненно, в то время считал его полезным и даже не видел ему альтернативы. Многое сближало поэта с кругом Дружинина, в том числе и образ жизни, основанный на культе изящного, дорогого; ему так же не был чужд принцип брать от жизни всё самое лучшее. Некрасов участвовал в

«чернокнижии» во всех его разновидностях, принимал участие в составлении «Сентиментального путешествия Ивана Чернокнижникова…», давал волю разным страстям. Именно в это время увлечение карточной игрой переросло у Некрасова в страсть и даже стало своего рода профессией. А. Я. Панаева писала в феврале 1850 года своей подруге М. Л. Огаревой: «Нек[расов]: работает, пиет и тоже играет в карты…»

Тем не менее, скорее всего, Некрасов не считал Дружинина достойной заменой Белинскому, не мог относиться к тому направлению (а скорее отсутствию направления), которое принял журнал, иначе как к временному его состоянию. Именно во время «правления» автора «Сентиментального путешествия Ивана Чернокнижникова…» Некрасов называл «Современник» очень плохим и даже «пошлым». Скорее всего, и некоторые другие члены круга не считали, что та жизнь, которую они ведут, и та литературная продукция, которую производят, по большому счету достойны русского литератора (например, не мог быть доволен блестящий экономист Владимир Алексеевич Милютин, в 1847 году выступивший в печати с серьезными статьями по актуальным вопросам экономической теории и политики, а теперь вынужденный писать в «Современнике» о беспринципном древнегреческом политическом деятеле Алкивиаде и журналах XVIII века). Но эта компания и эти развлечения позволяли легче переносить тяготы труда, цензурного давления, общего гнета эпохи. Видимо, и Дружинину редактор «Современника» никогда не был по-настоящему социально и человечески близок. Он записал в дневнике: «Особенность в характере Некрасова, происходящая ли от болезни, истощения или жизни в подлом кругу и с скверной деятельностью». Белинский никогда не охарактеризовал бы окружение Некрасова такими словами, как «подлый круг».

Несмотря на плодовитость Дружинина, на готовность Григоровича много писать для «Современника», на некоторый приток новых литераторов, пригодного к печати материала всё равно не хватало, и практически сразу после окончания публикации в «Современнике» «Трех стран света» его соавторы начали печатать новый сериальный роман «Мертвое озеро». Как и его предшественник, он написан по законам массовой литературы: с большим количеством персонажей, неожиданными сюжетными поворотами и торжеством добродетели в финале. Роман этот сильно уступал «Трем странам света», хотя тоже имел читательский успех. Считается, что в нем вклад Панаевой существеннее, чем Некрасова: большое место в книге занимает описание театрального быта, хорошо знакомого обоим соавторам,

но поданного в том ракурсе, который был явно ближе Авдотье Яковлевне. Думается, не от хорошей жизни Некрасов обратился к литературной критике: вместе с Боткиным, с которым он в это время сблизился, он задумал цикл статей «Русские второстепенные поэты». Несомненно, его перу принадлежит первая статья цикла, в которой автор одним из первых высоко оценил поэзию Тютчева, безоговорочно причислив его к первоклассным талантам, достойным встать рядом с Пушкиным и Лермонтовым. Принял участие Некрасов и в критическом отделе — мелкими заметками и вставками в чужие рецензии.

Подавляющая часть тех немногих «серьезных» стихотворений, которые создал Некрасов за три первые года «мрачного семилетия» — любовная лирика «панаевского цикла». Преимущественное обращение к частной жизни выглядит совершенно закономерно в условиях отсутствия жизни общественной, когда все злободневные социальные вопросы оказались под запретом. Однако эти стихи вызывают у читателя ощущение, что любовь не приносит поэту спасения и не освещает жизнь. Стихотворение «Так это шутка? Милая моя…» еще говорит о счастливом примирении, о том, что «рассчитанно суровое, короткое и сухое письмо», которое он получил от возлюбленной, оказалось шуткой. Но в других текстах уже возникает тема разрыва — уже произошедшего (как в стихотворении «Да наша жизнь текла мятежно…») или неотвратимо приближающегося (как в стихотворении «Я не люблю иронии твоей…»). Особенно же мрачен фрагмент «Поражена потерей невозвратной…», возможно, написанный после смерти их с Панаевой ребенка: «…ночь не близится к рассвету, / И мертвый мрак кругом…».

Единственное исключение, выходящее за пределы интимной лирики, хотя вроде бы тоже интимно окрашенное, — поразительный цикл «На улице», самим автором незадолго до смерти датированный 1850 годом, однако, возможно, составленный из стихотворений разных лет (впервые все стихотворения опубликованы только в 1856-м). В любом случае этот цикл содержит новые краски, которых до сих пор не было в поэзии Некрасова, но которые станут одним из ее наиболее выдающихся признаков. Здесь впервые появляется то, что можно назвать прозой в поэзии — не только в смысле прозаизированности лексики, но и в смысле изображения обычного, текущего. Можно сказать, что Некрасов здесь как бы вспоминает свой опыт создания фельетонного обозрения. Специфика фельетонной колонки прежде всего в том, что фельетонист дает обязательство описать, сообщить обо всём интересном, ценном, значительном, что произойдет за месяц или

неделю. При этом сам критерий значительности становится относительным: автор выберет и опишет то, что интереснее всего за тот промежуток времени, о котором он дает отчет читателям. Соответственно, если за месяц не случится ничего по-настоящему значительного, то какие-то события будут попадать в фельетон просто потому, что они ярче других, произошедших в тот же период, но сами по себе они рутинные и обыденные. В цикле «На улице» перед нами как раз такой «фельетон», написанный в то время, когда ничего значительного как будто не происходит, история замерла и жизнь общества остановилась. Три стихотворения цикла прямо начинаются с указания на то, что их нужно воспринимать как «сцены» («вот», «смешная сцена»), содержат указание на обстоятельства, при которых лирический герой увидел происходящее. Сцены, которые изображены в цикле, с одной стороны, чем-то выделяющиеся, цепляющие глаз, драматичные (смерть ребенка, поимка вора, проводы рекрута), с другой — именно рутинные, в них нет ничего необычного. Это трагедия, ставшая повседневностью, и оттого только более тягостная и безысходная.

Необычна и авторская позиция, проявившаяся в произведениях цикла. Так, в стихотворении «Вор» (строку из которого «Торгаш, у коего украден был калач», Фет через 35 лет в письме августейшему поэту К. Р. будет приводить как пример «жестяной прозы») слово «торгаш», употребленное как определение «потерпевшей стороны», заранее закрывает возможность симпатии к торговцу. Эмоции, которые проявляет обокраденный, описаны только внешне (вой и плач) и воспринимаются как лицемерные; состояние вора также передано через внешние проявления, но тем не менее его эмоции однозначно ощущаются как подлинные. «Закушенный калач дрожал в его руке; / Он был без сапогов, в дырявом сертуке», «Лицо являло след недавнего недуга. / Стыда, отчаянья, моленья и испуга» — все эти детали подводят читателя к сочувствию вору. Однако в финале автор избегает моральных оценок и вора, и торгаша, и начальства: «Я крикнул кучеру: «Пошел своей дорогой!» — / И Богу поспешил молебствие принесть / За то, что у меня наследственное есть…» Наблюдатель отправляется «на званый пир», благодаря судьбу и небеса за то, что не находится на месте вора. Лирический герой не вмешивается, ничем не помогает вору и из-за этого априори лишается права вершить моральный суд, которое имел лирический герой «Нравственного человека» или «Колыбельной песни». В «Родине» или «В неведомой глуши…» право на моральную оценку автору давало откровенное признание в тех же пороках, которые он обличает в

других, в «Воре» же позиция автора скорее может быть выражена формулой «кто я такой, чтобы судить?». В самом начале «мрачного семилетия» Некрасову кажется, что важнее заявить о собственной моральной уязвимости, отказаться на время от позиции моралиста, скомпрометированной деспотической властью, лицемерно присвоившей себе статус стража общественной нравственности; хотя бы мягко настаивать на относительности морали, на обусловленности поведения человека жизненными обстоятельствами.

Заключительное стихотворение цикла — «Ванька» — строится на традиционном приеме комического параллелизма: извозчик, чистящий бляхи на своей заморенной кляче, чтобы привлечь седока «побогаче», уподобляется «продажной красе», желающей придать себе «блеск фальшивый» с помощью прически. Стихотворение будто бы написано для того, чтобы повеселить читателя, слова «смех» и «смешное» употреблены в нем трижды. Однако завершается оно неожиданно:

Но оба вы — извозчик-дуралей
И ты, смешно причесанная дама, —
Вы пробуждаете не смех в душе моей —
Мерещится мне всюду драма.

Собственно, мораль стихотворения проста: не смешно, когда люди, вынужденные продавать себя, пускаются на жалкие ухищрения для сохранения ничтожного заработка. Это делает «Ваньку» своего рода протестом Некрасова против своего участия в веселой компании, чьи юмористические занятия не есть задача и смысл поэзии и человеческой жизни. Жизнь на самом деле совсем не смешна, и общество представляет совсем не веселые картинки для комических уподоблений. И забывать об этом нельзя, даже если нет возможности сказать прямо, какая драма скрывается за этим весельем.

ВОЙНА

Новое десятилетие начиналось без надежды на «рассвет». 1851 год проходил для Некрасова под знаками уныния, тяжелой работы, дружининского «веселья», жалоб приятелям на «нездоровье». В «Современнике» по-прежнему печатались Григорович, Авдеев, Евгения Тур и сильно выделявшийся на их фоне Тургенев (подходила к завершению публикация «Записок охотника»). «Москвичи» практически перестали посылать свои ученые статьи, которые отчасти заменили несколько более занимательные Лонгинова и Милютина. Тянулся из книжки в книжку роман «Мертвое озеро», публиковались «греческие» стихи поэта Николая Федоровича Щербины, переводы более или менее безопасных произведений европейской литературы.

В марте произошел конфликт с Дружининым: тот обиделся на Панаева, в редакционной заметке назвавшего его «гостем» в журнале, и отказался продолжать печатать в «Современнике» свои «Письма иногороднего подписчика». Их приходится заменить столь же «легковесными» «Заметками Нового поэта о русской журналистике», сочинявшимися преимущественно Панаевым при некотором участии Некрасова.

Только в октябре произошло событие, которое можно назвать неординарным: в десятой книжке «Современника» было опубликовано начало романа «Богатый жених» Алексея Феофилактовича Писемского, годом ранее прославившегося опубликованной в конкурирующем издании повестью «Тюфяк». Молодой писатель заинтересовал Некрасова и сотрудников журнала оригинальным талантом. Впоследствии он напечатал в «Современнике» еще несколько произведений, однако постоянным автором журнала не стал и не вошел в его ближний круг. Отталкивающее впечатление производили не только его дурные манеры, ставшая легендарной нечистоплотность (позднее Некрасов будет писать Тургеневу в резкой манере: «Это неряха, на котором не худо оглядывать каждую пуговку, а то под застегнутым сюртуком как раз окажутся штаны с дырой или комок грязи на жопе»), но и беспринципность и жадность («…этот господин, порядившись с нами за 2000, счел себя вправе даже не предуведомить нас, что ему дают более, и продал роман Краевскому за три», — сообщил Некрасов Григоровичу в 1855 году). Раздражала его самоуверенность, не соответствовавшая уровню его, впрочем, значительного дарования. «Вкусу в этой вещи мало и претензии очень много» — так впоследствии Некрасов будет характеризовать одно из произведений

Писемского.

Сам Некрасов в 1851 году написал и напечатал в одиннадцатом номере «Современника» только одно значительное стихотворение: «Мы с тобой бестолковые люди…» — шедевр его любовной поэзии. Первая строка вначале звучала как «Мы с тобою капризные люди…»; рукописи показывают, как долго выбирал Некрасов эпитет: пробовал еще «престранные» и «не бескровные», прежде чем решиться на такой предельный прозаизм. Снова объект изображения — «ссора», вызванная вспышкой гнева то ли женщины, то ли самого лирического героя; снова ласковое ободрение, готовность видеть в этих «вспышках» способ разрядки (в рукописи зачеркнуты те же уверения, что ее «сердце прекрасно»). Завершается стихотворение предложением взять из прозы любви долю счастья, видеть в ссорах повод помириться. Это делает стихотворение своеобразной квинтэссенцией всех мотивов «панаевского цикла». Кроме него в этом году была опубликована только некрасовская журналистика в стихах, напоминающая период «Пантеона» и «Литературной газеты», но с существенно более зрелым и совсем не легкомысленным взглядом: «Мое разочарование», «Деловой разговор», «Новый год».

Следующий год, в целом окрашенный всё той же скукой общественного упадка и политического гнета, принес несколько значительных событий. 21 февраля в Москве скончался Гоголь. Некрасов, видимо, узнал об этом от Тургенева, а того известил Боткин: «Теперь скажу тебе весть печальную: сегодня в 8 часов утра — умер Гоголь… Я сей час с панихиды — лицо Гоголя очень мало изменилось, только черты сделались резче. Вот что я еще узнал от слуги, который ходил за ним: за 11 дней до смерти — ночью сжег он все свои бумаги, он тогда болен еще не был, по крайней мере явно не был болен; но он говорил, что чувствует, что скоро умрет. Как только он сжег свои бумаги, так словно он опустился, и с тех пор собственно начинается его болезнь. Когда его сажали в ванну — это было за 1 суток до смерти — он противился, не хотел — остальные сутки он был в беспамятстве, в беспамятстве и умер». С этой смертью в русской литературе как будто произошел какой-то обрыв. Гоголь уже более десяти лет не издавал ничего, кроме рожденных под несчастливой звездой «Выбранных мест из переписки с друзьями», вызвавших насмешки и негодование, и многие перестали надеяться, что второй том «Мертвых душ» оправдает ожидания и станет значительным событием (Белинский довольно жестоко написал незадолго до смерти, что, похоже, от таланта Гоголя ожидать больше нечего); но, несмотря на это, он продолжал присутствовать в литературе. Публику потрясли и обстоятельства его похожей на самоубийство

смерти, которой предшествовало уничтожение рукописей, как будто завершившее дело самоуничтожения, которому великий писатель предавался последние годы.

«Мир опустел» — такое чувство испытали многие образованные русские люди, и, несомненно, то же ощутил Некрасов после чтения письма Боткина, которое Тургенев наверняка показал ему и Панаеву — по просьбе самого автора. Конечно, для Некрасова Гоголь был не только фигурой огромного значения, но и главой (пусть и никогда этого не признававшим) того литературного направления, к которому принадлежал сам Некрасов. Как и многие другие, он, видимо, в эти дни перечитывал «Мертвые души», глядя на хорошо знакомые строки через призму трагической судьбы их автора, ставшего жертвой сомнения в правильности избранного пути (представлявшегося Некрасову тем же, что и его собственный), ломавшего себя ради того, что он считал более важным и правильным. (Позже Некрасов напишет Тургеневу: «Вот честный-то сын своей земли! Больно подумать, что частные уродливости этого характера для многих служат помехою оценить этого человека, который писал не то, что могло бы более нравиться, и даже не то, что было легче для его таланта, а добивался писать то, что считал полезнейшим для своего отечества. И погиб в этой борьбе, и талант, положим, свой во многом изнасиловал, но каково самоотвержение!»)

Судьба Гоголя, возможно, впервые привела Некрасова к мысли о стихах, о поэзии не как о занятии или даже профессии, но как о жизни и судьбе — не в затертом эпигонами значении «жребия», «удела» и прочего, но в каком-то ужасающе буквальном смысле: что поэзия может стать непосильной ношей даже для гения. Это открытие побуждает его создать поэтическую декларацию, написанную как бы в диалоге с Гоголем, — стихотворение «Блажен незлобивый поэт…», варьирующее мотивы знаменитого лирического отступления в «Мертвых душах» о двух типах писателей, в котором Некрасов увидел отражение мучительных сомнений, превращающих поэтический дар в наказание, в страдание и пытку.

У Гоголя первый писатель — счастливый, «который мимо характеров скучных, противных, поражающих печальною своею действительностью, приближается к характерам, являющим высокое достоинство человека, который из великого омута ежедневно вращающихся образов избрал одни немногие исключения, который не изменял ни разу возвышенного строя своей лиры, не ниспускался с вершины своей к бедным, ничтожным своим собратьям, и, не касаясь земли, весь повергался в свои далеко отторгнутые от нее и возвеличенные образы» —

противопоставлен другому, «дерзнувшему вызвать наружу всё, что ежеминутно пред очами и чего не зрят равнодушные очи, — всю страшную, потрясающую тину мелочей, опутавших нашу жизнь, всю глубину холодных, раздробленных, повседневных характеров, которыми кишит наша земная, подчас горькая и скучная дорога, и крепкою силою неумолимого резца дерзнувшему выставить их выпукло и ярко на всенародные очи!». Первому живется легко: «Всё, рукоплеща, несется за ним и мчится вслед за торжественной его колесницей»; второй не может похвастаться лаврами и любовью толпы: «…без разделенья, без ответа, без участья, как бессемейный путник, останется он один посреди дороги. Сурово его поприще, и горько почувствует он свое одиночество».

Этот второй, конечно, ближе к самому Гоголю, и к нему ощущает свою близость Некрасов. В стихотворении «Блажен незлобивый поэт…» прямо повторяется гоголевская антитеза, однако на нее как бы накладывается судьба самого автора: к противопоставлению художника, воспевающего прекрасное, художнику, обличающему пошлость, добавляется отсутствующий в гоголевском лирическом отступлении мотив колебаний, творческих сомнений, которые совершенно отсутствуют у поэта воспевающего («Он чужд сомнения в себе — / Сей пытки творческого духа…») и, наоборот, составляют постоянную часть жизни поэта-сатирика («И веря и не веря вновь / Мечте высокого призванья»). Творческие сомнения, превращающиеся в настоящую пытку, — удел, судьба обличающего поэта, поскольку трудно верить в то, что описание низкой, пошлой жизни может быть воплощением высокого предназначения. И как будто в ответ на эти сомнения фигура «низкого» поэта в некрасовском стихотворении теряет пассивность, присущую ей у Гоголя. Если поэт солнечной стороны жизни миролюбив и спокоен, то его антипод у Некрасова воинствен и агрессивен, напоминает одновременно грозного судью и воина: у него «карающая» лира, его слово «враждебное», плодящее врагов. Он — своего рода крестоносец, идущий с огнем и мечом, чтобы дать слово христианской любви диким народам, погрязшим в невежестве и язычестве. Он не заискивает перед толпой, не хочет, чтобы его жалели. Там, где у Гоголя отчаяние, грусть и одиночество, у Некрасова — воинственная клятва идти до конца и погибнуть не в изгнании, а в битве. В данном стихотворении это клятва абстрактного, «идеального» поэта. Через короткое время Некрасов решает дать ее от своего имени.

Стихотворение «Блажен незлобивый поэт…» было опубликовано в третьей книжке «Современника» за 1852 год,

вышедшей в начале марта, а 16 апреля за публикацию в «Московских ведомостях» запрещенной в Петербурге статьи, посвященной смерти Гоголя, был арестован Тургенев. Отсидев в полицейском участке, он в середине мая был отправлен в ссылку в родовое имение Спасское-Лутовиново, где находился до декабря 1853-го. Для Некрасова это значило не только удаление из Петербурга приятеля, с которым он только что перешел на «ты». Статья Тургенева, по его собственному признанию, была вдохновлена некрасовским стихотворением; отзвуки ее слышны, например, во фразе: «Да, пусть он покоится там [в Москве], в этом сердце России, которую он так глубоко знал и так любил, так горячо любил, что одни легкомысленные или близорукие люди не чувствуют присутствия этого любовного пламени в каждом им сказанном слове!» Получалось, что Тургенев принял на себя удар, предназначенный Некрасову, и будто бы сыграл роль того самого поэта-воина, бесстрашно идущего до конца. Возможно, руководствуясь чем-то вроде чувства зависти или своеобразного соперничества, Некрасов решился прямо принять на себя то, что он говорил о гоголевском писателе. Во всяком случае, именно в мае он начал писать стихотворение «Муза». Первый вариант он послал Тургеневу в Спасское в ноябре. Тургенев, видимо, не поняв сути некрасовского жеста, в ответном письме похвалил первые 12 строк за «пушкинскую фактуру» и поругал, по его мнению, риторический и несколько искусственный финал.

Стихотворение «Муза» строится на том же «гоголевском» противопоставлении, что и «Блажен незлобивый поэт…», но уже не двух поэтов, а двух Муз. Одна из них, «ласково поющая и прекрасная», имеет признаки античного божества и прямо соотносится с «незлобивым поэтом». Вторая, «печальная спутница печальных бедняков», «которой золото единственный кумир», соотносится с поэтом желчным, она страдающая и воинственная, погруженная в тину мелких и низменных забот, плачущая и грозящая. И эта Муза уже прямо названа *его* Музой. Знания, опыт, которые несла эта поэзия, стилистически и содержательно во многом напоминают картины, нарисованные в «Родине» и во «В неведомой глуши…»:

…тревожила младенческий мой сон
Разгульной песнею… Но тот же скорбный стон
Еще пронзительней звучал в разгуле шумном.

Всё слышалося в нем в смешении безумном:
Расчеты мелочной и грязной суеты

И юношеских лет прекрасные мечты,
Погибшая любовь, подавленные слезы,
Проклятья, жалобы, бессильные угрозы.

Эти узнаваемые картины усадебной юности мы видели в первых стихотворениях Некрасова. Но там не было Музы — очевидно потому, что сама эта жизнь была чужда поэзии. Теперь же виденные в детстве и юности помещичий разврат и жестокость не перестают быть тем, что изломало жизнь, наложило отпечаток на личность и судьбу некрасовского лирического героя, но одновременно порождают его «низкую» изломанную поэзию. Поэзия становится судьбой, и показавшиеся Тургеневу риторическими заключительные строки говорят и о тех же «гоголевских» сомнениях, попытках отречения («Покуда наконец обычной чередой / Я с нею не вступил в ожесточенный бой»), невозможности отказаться от своей поэзии как от своей судьбы («Но с детства прочного и кровного союза / Со мною разорвать не то-решилась Муза») и принятия ее «благословения» как своего призвания. Без этих последних строчек, хороши они или плохи, стихотворение осталось бы просто самоописанием, утратив силу и значение приносимой клятвы.

Некрасов увидел свою поэзию не как «занятие», но как призвание и ответственность. Конечно, это не изменило его жизнь, по-прежнему наполненную работой и «весельем». И в 1852 году «Современник» оставался застойным и в целом тусклым изданием: забыв обиды, в него вернулся из «Библиотеки для чтения» Дружинин и снова наполнил страницы некрасовского издания своими творениями, как обычно, соседствовавшими с произведениями Панаева, Авдеева, переводными романами. Одновременно журнал выполнял и предназначение находить новые таланты, давать им пропуск в литературу.

В начале июля Некрасов получил рукопись повести «Детство». Автор, подписавшийся Л. Н., судя по всему, начинающий литератор, приложил к ней письмо: «Милостивый государь! Моя просьба будет стоить Вам так мало труда, что, я уверен, — Вы не откажетесь исполнить ее. Просмотрите эту рукопись и, ежели она не годна к напечатанию, возвратите ее мне. В противном же случае оцените ее, вышлите мне то, что она стоит по Вашему мнению, и напечатайте в своем журнале». Далее шли слова, очень лестные для Некрасова: «Я убежден, что опытный и добросовестный редактор — в особенности в России — по своему положению постоянного посредника между сочинителями и читателями, всегда может вперед определить успех сочинения и

мнения о нем публики. Поэтому я с нетерпением ожидаю Вашего приговора. Он или поощрит меня к продолжению любимых занятий, или заставит сжечь всё начатое».

Рукопись Некрасову понравилась, но его одобрение не превосходило поначалу того, что он выражал по поводу дебютной повести Авдеева: «Она имеет в себе настолько интереса, что я ее напечатаю. Не зная продолжения, не могу сказать решительно, но мне кажется, что в авторе ее есть талант. <…> Прошу Вас прислать мне продолжение. И роман Ваш, и талант меня заинтересовали». Прочитав «Детство» второй раз, уже в корректуре, Некрасов высказался определеннее: «Эта повесть гораздо лучше, чем показалась мне с первого раза. Могу сказать положительно, что у автора есть талант». И всё-таки возгласа «новый Гоголь явился» (на наш сегодняшний взгляд, особенно уместного после смерти писателя) не последовало. Осознавая талант неизвестного молодого автора, ставя его несомненно выше Авдеева или Евгении Тур, Некрасов не увидел эпохального события в его очень камерном произведении, посвященном частной, в особенности внутренней жизни дворянского ребенка. Превосходя яркостью писания всех тогдашних авторов, за исключением, пожалуй, Тургенева и Писемского, повесть в общем вполне вписывалась в застойный ландшафт, сформировавшийся в это время в российской печати, а потому не вызвала у Некрасова восторга, сравнимого с испытанным им семь лет назад после прочтения «Бедных людей» Достоевского. В течение следующих двух лет он будет считать автора очень ценным сотрудником, с любовью относиться к его таланту, можно сказать, заботиться о его репутации, видеть именно потенциал, а не уже достигнутое свершение.

В любом случае приславший рукопись молодой офицер, граф Лев Николаевич Толстой, служивший в то время на Кавказе, является одним из самых значительных «открытий», сделанных «Современником» за всё время его существования. Живьем он объявится в редакции только в 1855 году, до этого времени дела с ним будут вестись путем переписки. Уже в самом начале сотрудничества в «Современнике» возникли трения: ободренный дебютант вскоре после публикации его повести в журнале сменил тон — заявил Некрасову неудовольствие из-за невыплаты ему гонорара за опубликованное «Детство» (таков был обычай во всех журналах — не платить за дебютное произведение, о чем Толстой не знал). Дилетантизм Толстого, удаленность его от профессиональной литературной сферы будут и дальше приводить к недоразумениям (например, плохо зная цензурные условия, он будет недоволен сделанными в его произведениях

купюрами), но Некрасов будет всегда стремиться их сгладить, относясь к автору очень бережно.

Другое приобретение журнала — внешне комически безобразный и скорее незаметный во всех других отношениях молодой разночинец Михаил Ларионович Михайлов, автор повести «Адам Адамыч», переводчик, поэт, ставший помощником Некрасова по журналу. Ему еще предстояло сыграть довольно заметную роль в «Современнике» и в общественной жизни России.

Журнал по-прежнему отнимал много сил, не только физических (здесь много черновой работы начали брать на себя Гаевский и Михайлов), но и моральных. Сам Некрасов характеризовал свое типичное настроение в письме Тургеневу: «…я на[хо]жусь почти постоянно в таком мрачном состоянии духа, что вряд ли мои письма доставят тебе удовольствие. Вот и теперь мне так и хочется прежде всего написать тебе, что я зол, что у меня в груди кипит черт знает что такое, а какое тебе дело до этого. Для полноты и ясности прибавлю, однако ж, что здоровье мое необыкновенно скверно».

Но время и силы тратились не только на журнальную работу. В том же письме Некрасов между делом упомянул о своих посещениях (видимо, постоянных) Английского клуба («В Английском клубе я вижусь с Алединским…»). Членом этого аристократического заведения он тогда еще не состоял (его приняли в 1854 году), но мог посещать его «по записи». Скорее всего, привел Некрасова в клуб М. Н. Лонгинов, бывший его членом с мая 1852 года, имевший там большой авторитет и в 1853 году даже участвовавший в составлении нового устава. Сама возможность бывать в Английском клубе говорит о повышении социального статуса Некрасова. Там собиралось, безусловно, самое аристократическое общество в России, существенно превосходя в этом отношении Московский Английский клуб, сатирически прославленный Грибоедовым. Несомненно, что к этому месту Некрасова притягивали карты — в «портретной» велась большая игра. Здесь поэт завел чрезвычайно статусные знакомства: с графом Александром Владимировичем Адлербергом, личным другом наследника престола, будущего императора Александра II; с Александром Агеевичем Абазой, впоследствии министром финансов, государственным контролером; позднее — с Николаем Карловичем Краббе, впоследствии управляющим Морским министерством и с многими другими лицами схожего положения при дворе и в правительстве.

Круг знакомств Некрасова по Английскому клубу включал самых разных персонажей. Эта сторона некрасовского

«окружения» трудно поддается изучению, поскольку многие высокопоставленные лица не стремились документировать и афишировать ни свое знакомство с издателем оппозиционного журнала, ни свои карточные похождения. В частности, о том, что Абаза был карточным партнером Некрасова, известно только по ироническим воспоминаниям самого поэта, выразившего ему (как и графу Адлербергу) благодарность за свои выигрыши. Тем не менее несомненно, что знакомства были обширными, иногда «неожиданными» и, возможно, не раз помогали Некрасову в трудные для журнала времена.

Постепенно игра из клуба перемещается на частные квартиры, в дома, где можно без помех ставить на кон безумные деньги. Видимо, с 1852 года карты начали превращаться для Некрасова в постоянный и, возможно, самый важный источник дохода. Как ни странно, источник довольно надежный. Некрасов предпочитал коммерческие игры вроде преферанса или виста, то есть лишь отчасти зависящие от случая, удачи и в значительной степени требовавшие для выигрыша расчета, логики (в отличие от игр азартных, подобных фараону, основанных исключительно на удаче). Некрасов быстро превратился в профессионального игрока, с замечательным знанием механизма игры, ее психологии, с железной системой, с чутьем, до какого предела можно доходить, когда и на какой сумме остановиться. Судя по всему, он обладал замечательным хладнокровием, абсолютной безжалостностью к противнику и, самое важное, страстным желанием выигрывать. Всё это превратило для него карточную игру в источник такого дохода, какого никогда не приносило ни одно из его изданий. Проигрыши ему Адлерберга, Абазы и Краббе, светлейшего князя Иоанна Григорьевича Багратион-Грузинского, видимо, доходили до сотен тысяч рублей. Конечно, и Некрасову наверняка случалось проигрывать, и немало, но всё-таки выигрывал он существенно чаще. При этом в самой страсти к игре и даже в том, что она стала почти профессией, в тогдашнем круге «Современника» никто не видел ничего дурного или специфического и тем более никакого противоречия с редакторской деятельностью и поэтическим творчеством.

Эпизодическим стало членство Некрасова в Обществе посещения бедных, в которое он вступил в этом году. В то время эта благотворительная организация, созданная в 1846 году по инициативе князя Владимира Федоровича Одоевского, была присоединена к Императорскому человеколюбивому обществу — официозной организации, которую возглавлял герцог Максимилиан Лейхтенбергский, муж великой княгини Марии, любимой дочери Николая I, и членами которой были крупные

чиновники и члены царской семьи. Членский взнос в Обществе посещения бедных составлял 14 рублей серебром. Его участники обязывались посещать бедные семьи, состоявшие под его покровительством. В Общество посещения бедных входили многие литераторы круга «Современника», в том числе Дружинин, Панаев, Тургенев, Фролов, Лонгинов; видимо, по рекомендации последнего Некрасов и вступил в него. О том, какие функции выполнял там Некрасов, сведений не сохранилось. В 1855 году оно прекратило существование. Возможно, его деятельность, к этому времени несколько деградировавшая, вызвала скептицизм Некрасова, отразившийся в написанном в конце года стихотворении «Филантроп», где сиятельный благотворитель (в котором добрейший князь Одоевский не без оснований заподозрил карикатуру на свою персону) не может отличить «голодного от пьяного».

В поэзии Некрасова в 1852 году продолжается затишье: кроме стихотворений «Блажен незлобивый поэт…» и «Муза», написаны альбомное стихотворение «За городом» и два любовных фрагмента: обращенный к Панаевой отрывок «О письма женщины, нам милой!» (вводящий новый мотив в этом цикле, когда, любя, уже предчувствуешь, что будет после расставания) и стихотворение «Застенчивость», в котором отношения с Панаевой отразились косвенно. Кроме них написаны своеобразные сатирические новеллы «Прекрасная партия» и «Филантроп», интересные прежде всего тем, как практически те же самые фельетонные средства, которые использовались в «Чиновнике» или «Говоруне», — просторечия, сопряжение высокого и бытового, игривые затейливые рифмы — теперь начинают служить глубокому и серьезному содержанию. Само возвращение к сатире, к социальной проблематике демонстрирует возвращенную после «Блажен незлобивый поэт…» смелость, вызывают ощущение постепенного возвращения голоса.

1853 год начался как обычно: в трудах, недовольстве собой, здоровьем, литературой. Однако Некрасов смог позволить себе провести вторую половину мая и почти всё лето в небольшом имении Алешунино, где с удовольствием охотился на птиц, стреляя «из отличного английского ружья («Пордэя»), за которое заплатил несметные суммы, выигранные, впрочем, в один вечер», как он сообщал Тургеневу, в том же письме рассказывая о своих «клубных подвигах». После Алешунина он ездил на охоту в Ярославскую губернию — видимо, в Грешнево. До этого он не позволял себе столь долгих отлучек; видимо, его помощники по изданию — Гаевский, Михаил Михайлов — вызывали у него достаточное доверие.

Впрочем, после возвращения в Петербург Некрасов снова начинает жаловаться на хандру и нездоровье. «…Мне редко удается писать к тебе — и это не потому, чтоб я был занят, а нахожусь почти постоянно в таком негодном духе, что самому скверно. Кажется, приближается для меня нехорошее время: с весны заболело горло, и до сей поры кашляю и хриплю — и нет перемены к лучшему, грудь болит постоянно и не на шутку; к этому, нервы мои ужасно раздражительны; каждая жилка танцует в моем теле, как будто у них вечный праздник, и мне от этого совсем не весело; каждая мелочь вырастает в моих глазах до трагедии, и вдобавок — стихи одолели — т. е. чуть ничего не болит и на душе спокойно, приходит Муза и выворачивает всё вверх дном; и добро бы с какой-нибудь пользой, а то без толку, — начинается волнение, скоро переходящее границы всякой умеренности, — и прежде чем успею овладеть мыслью, а тем паче хорошо выразить ее, катаюсь по дивану со спазмами в груди, пульс, виски, сердце бьют тревогу — и так, пока не угомонится сверлящая мысль», — пишет он Тургеневу.

Жизнь идет по-прежнему: продолжается регулярное «чернокнижие», вдохновляемое вернувшимся Дружининым. В журнале появляются новые сотрудники. Активное участие в «Современнике» принимает Константин Дмитриевич Ушинский, будущий знаменитый педагог-практик и теоретик педагогики, печатается Григорович, Дружинин снова становится «иногородним подписчиком». Толстой, по-прежнему издалека, присылает рассказ «Набег» и сердится, что его печатают с серьезными цензурными искажениями, а Некрасов убеждает его, что в тексте сохранилось много хорошего, внутренне несколько раздражаясь из-за неуступчивости молодого автора, его упорного нежелания понимать, в каких условиях приходится издавать журнал.

Однако одно изменение бросается в глаза: в первых же номерах «Современника» за 1853 год мы видим много стихов. Печатается Яков Петрович Полонский, появляются стихотворения Афанасия Афанасьевича Фета, Аполлона Николаевича Майкова, публикуются переводы из Байрона, Гёте, Гейне, Шиллера (этот наплыв поэзии продолжится и в следующем году, когда будут напечатаны стихотворения Тютчева, почти 20 стихотворений Фета, лучшие стихотворения Алексея Константиновича Толстого). Сам Некрасов публикует в «Современнике» больше стихов, чем практически за все предыдущие годы; правда, написаны они в 1852 году — ему по-прежнему «не до стихов», 1853 годом датированы только стихотворение «Памяти приятеля», навеянное воспоминанием о Белинском, и длинная стихотворная сатира

«Отрывки из путевых записок графа Гарайского». Некрасов охотно дает место в журнале и Фету, и Полонскому, и А. К. Толстому с их «шалями с каймою» и «колокольчиками» — и по их таланту, и по сочувствию к поэзии как таковой.

Этот неожиданный подъем интереса к лирике в обществе (в те же годы П. В. Анненков готовит к изданию сочинения Пушкина), длившийся до 1856 года, с одной стороны, явление вполне органичное для периода реакции и застоя. С другой стороны, можно видеть в таком потоке интимной лирики симптом какого-то предчувствия, смутного ощущения перемен. И эти перемены показались на горизонте уже в середине 1853 года.

Еще в конце 1852 года возникли разногласия между Россией и Францией по поводу христианских святынь на землях, находящихся под властью Турции. Луи Бонапарт, только что провозглашенный императором под именем Наполеона III, требовал привилегий для католиков в отношении доступа к ним. Россия выразила готовность отстаивать интересы православных в Турции и подчиненных ей землях. В феврале 1853-го с этой целью в Стамбул была направлена дипломатическая миссия под руководством князя А. С. Меншикова. Длившиеся до конца мая переговоры, в которые втянулись Франция, Великобритания и Австрия, завершились угрожающей российской нотой турецкому правительству. В свою очередь, европейские державы подписали меморандум, в котором обязались защитить Турцию в случае посягательств на ее суверенитет. Россия оказалась на грани войны не только с крайне слабой Турцией, но и с тремя сильнейшими европейскими державами. Поскольку нота не возымела желанного действия, Николай I принял решение занять Молдавию и Валахию — они находились в зоне влияния Турции, но не под ее властью, и там не было турецких войск. 14 июня 1853 года был обнародован манифест о введении войск в Дунайские княжества. К началу июля княжества были заняты русскими войсками под командованием князя Михаила Дмитриевича Горчакова.

Вероятно, поначалу эти события воспринимались Некрасовым и кругом «Современника» не без отчуждения, как всякое тогдашнее правительственное мероприятие: происходили они далеко, предмет спора — христианские святыни — совершенно не занимал прогрессивных людей в это время, к тому же Турция была заведомо слабым противником. Однако очень быстро дело начало приобретать драматический оборот. В конце июля по результатам Венской конференции представителей Франции, Великобритании, Пруссии и Австрии российскому императору была направлена нота, которая после поправок, сделанных по

требованию турецкого правительства, оказалась неприемлемой. В результате Венской конференции возник союз между Великобританией, Францией и Турцией, направленный на сдерживание притязаний России. Франко-английский флот вошел в Дарданеллы. Подкрепленная поддержкой великих держав, Оттоманская Порта 14 сентября 1853 года объявила войну Российской империи. Австрия и Пруссия, на союзнические отношения с которыми полагался Николай I, заявили о своем нейтралитете.

Передовые русские люди, в том числе Некрасов, испытывали в начале войны противоречивые чувства: «нравственную невозможность», с одной стороны, желать победы царю и его мертвому режиму в приближающемся военном конфликте, с другой — желать ему поражения, поскольку не было сомнений, что в таком случае жертвы принесет не Николай I с его министрами, а русские солдаты и офицеры, русский народ. Это противоречие усиливалось и пониманием неизбежности победы противников России. В любом случае Некрасову и его друзьям оставалось только следить за развитием событий.

Пока война велась только с Турцией, всё складывалось на первый взгляд благополучно. Собственно военные действия начались 23 октября 1853 года и ознаменовались рядом побед русских армии и флота, в том числе в произошедшем 18 ноября знаменитом Синопском морском сражении, в котором Черноморский флот под командованием вице-адмирала Павла Степановича Нахимова полностью уничтожил турецкую эскадру. Было одержано несколько сухопутных побед, показавших полное превосходство российской армии над турецкими войсками. Однако затем война стала принимать совершенно другой характер. В декабре 1853 года франко-британские корабли вошли в Черное море с целью оказания помощи Турции, а Вена и Берлин на предложения Петербурга о согласованных действиях ответили отказом. России предстояло в полном одиночестве воевать с соединенными силами европейских держав.

1854 год проходил целиком под знаком войны. Становилось всё тревожнее. 17 (29) января Франция предъявила России ультиматум, требуя вывести войска из Дунайских княжеств и начать переговоры с Турцией. 9 (21) февраля Россия объявила о разрыве дипломатических отношений *с* Англией и Францией. 15 (27) марта Великобритания и Франция объявили войну России. 30 марта (11 апреля) Россия ответила аналогичным заявлением. Боевые действия начались с бомбардировки Одессы, проведенной англо-французским флотом в апреле 1854 года. 2 (14) сентября 1854 года экспедиционный корпус членов антироссийской

коалиции высадился в Крыму. 8 (20) сентября состоялось сражение на реке Альма; русская армия, загораживавшая путь на Севастополь, отступила, что дало противнику возможность взять город в кольцо. 11 (23) сентября началась знаменитая оборона Севастополя, постепенно приобретавшая всё более драматический и совершенно безнадежный характер. Две предпринятые осенью попытки прорвать блокаду закончились неудачей: 13 (25) октября русские потерпели поражение под Балаклавой, 5 (17) ноября уступили в сражении под Инкерманом. Спасти Севастополь от сдачи могли теперь только мужество и стойкость его защитников.

Военные события заставили русское общество перейти от апатии и настороженности к глубокому сочувствию. Люди, не доверявшие официальным источникам информации, жадно ловили слухи, передавали рассказы очевидцев. Вместе с сообщениями о мужестве русских солдат, о храбрости и талантливых решениях полководцев В. А. Корнилова, П. С. Нахимова, об искусстве военного инженера Э. И. Тотлебена доходили вести о плохой организации, устаревшем вооружении, о практически полной неготовности к войне, о свирепствовавших в армии болезнях, вызванных дурной организацией снабжения и медицинского обслуживания, о воровстве, процветавшем на фронте и в тылу, вызывавшем нехватку самого необходимого.

Салтыков-Щедрин вспоминал: «Это было время глубокой тревоги. В первый раз, из кромешной тьмы, выдвинулось на свет Божий «свое» и вспугнуло не только инстинкт, но и умы. До тех пор это «свое» пряталось за целою сетью всевозможных формальностей, которые преднамеренно были комбинированы с таким расчетом, чтоб спрятать заправскую действительность. Теперь вся эта масса формальностей как-то разом оказалась прогнившею и истлела у всех на глазах. Из-за прорех и отребьев тления выступило наружу «свое», вопиющее, истекающее кровью. Вся Россия, из края в край, полна была стонами. Стонали русские солдатики и под Севастополем, и под Инкерманом, и под Альмою; стонали елабужские и курмышские ополченцы, меся босыми ногами грязь столбовых дорог; стонали русские деревни, провожая сыновей, мужей и братьев на смерть… Оставаться равнодушным к этим стонам, не почувствовать, что стонет «свое», родное, кровное, — было немыслимо».

Люди чувствовали, что истекающий кровью Севастополь боролся и не сдавался не благодаря, а вопреки российскому государственному устройству, сражался не за Николая I и монархию, а за честь России, за саму возможность ее будущего.

Некрасов, несомненно, испытывал те же чувства. Он так же напряженно следил за слухами, сообщал друзьям доходящие до

него клочки информации. Живя летом в Ораниенбауме, Некрасов и Панаевы вместе с другими дачниками ездили смотреть на англо-французский флот, подошедший к Кронштадту, и были, как и все, удручены и встревожены демонстрацией силы противника. В феврале 1853 года Некрасов от имени редакции «Современника» пожертвовал 200 рублей серебром в пользу российского флота (за что редакция удостоилась благодарности управляющего Морским министерством, великого князя Константина Николаевича).

Война коснулась и семьи Некрасова: в сражении при Инкермане муж его сестры, майор Генрих Станиславович Буткевич, был ранен штуцерной пулей и лишился ноги. Обстоятельства его ранения ярко иллюстрируют беспорядки во время Крымской кампании. Суздальский полк, в котором служил Буткевич, участвовал в наступлении на правый фланг английской армии в составе колонны генерал-лейтенанта Федора Ивановича Соймонова. В то время как первый эшелон истекал кровью в рукопашной схватке, Суздальский и Владимирский полки, бывшие во втором эшелоне, из-за отсутствия командования (Соймонов, единственный во всей колонне знакомый с общим планом наступления, был убит в самом начале сражения) до полудня простояли в лощине в резерве, и только в полдень полковник Дельвиг послал их на помощь сражающимся. Владимирский полк атаковал первую батарею неприятеля (атака была отбита англичанами). Суздальскому полку было приказано остановиться, затем он отступил на Инкерманские высоты. Фактически полк Буткевича почти не принимал участия в сражении, однако понес потери от штуцерного огня неприятеля: было ранено и убито 134 человека.

Гнев, жалость, надежды высказывались в письмах и частных разговорах. Выразить эти чувства публично было невозможно. И в 1854 году «Современник», с точки зрения внешнего наблюдателя, продолжает выглядеть тем же явлением застоя, практически игнорирующим трагические события, потрясавшие всё общество. Так, когда Россия вступила в войну с Европой, в февральском номере «Современника» были напечатаны десять стихотворений Фета, ставшего в это время его постоянным автором; в сентябрьском номере, когда пришло известие о поражении при Альме, в журнале печатаются подборка стихотворений А. К. Толстого о любви и природе (в частности, знаменитые «Колокольчики мои…») и повесть Тургенева, как будто в насмешку или с горькой иронией названная «Затишье». Таким образом, публика практически ничего не могла почерпнуть из журнала ни в смысле новостей, ни по части осмысления

происходивших событий. Связано это было с запретом всем негосударственным изданиям (за исключением тех, кому такое право было предоставлено лично государем) печатать политические новости, обзоры и аналитику. В 1854 году такой запрет оказался особенно болезненным: «Современник» (как, впрочем, и все остальные журналы) выглядел анахронизмом, чем-то совершенно второстепенным и ненужным для текущей жизни. Это болезненно переживалось Некрасовым и Панаевым, они дважды в течение года подавали прошение разрешить печатать в «Современнике» новости с мест сражений и оба раза получили отказ. Некрасов пытался как-то пробиваться через этот барьер, публиковал материалы о Турции, об истории отношений с нею России, находил темы, косвенно затрагивавшие текущие события. Но всё было тщетно — журнал выглядел ненужным и неинтересным. Это отразилось на его популярности и финансовом положении: подписка к весне резко сократилась, Некрасов сообщал друзьям, что потерял 600 подписчиков, что было очень болезненно.

Внешние события не особо отражаются на жизни «веселой компании» — скорее наоборот, на 1854 год приходится едва ли не пик «чернокнижия», сборищ, совместного сочинения непристойных и просто юмористических стихотворений. Основные члены кружка наконец собираются в Петербурге: освобожденный из ссылки Тургенев, занимающийся изданием Пушкина Анненков, постоянный «душа компании» Дружинин, Боткин, уезжающий в Москву Лонгинов. Некрасов предается этим удовольствиям, охотится — проводит лето в имениях Дружинина и Тургенева. Много играет в карты, о чем опять сообщает Тургеневу. Одновременно он продолжает жаловаться на здоровье (никак не проходит болезнь горла), на периодически накатывающую хандру и злобу. И в творческом отношении этот год небогат (по-прежнему «не до стихов»), однако очень важен — он становится своеобразным подготовительным периодом перед поэтическим взлетом 1855–1856 годов.

В письме Л. Н. Толстому по поводу рассказа «Записки маркера» Некрасов среди недостатков отметил: «…язык Вашего маркера не имеет ничего характерного — это есть рутинный язык, тысячу раз употреблявшийся в наших повестях, когда автор выводит лицо из простого звания». Несколько позднее он изменил оценку толстовского произведения. Однако, возможно, сама строгость, которую Некрасов проявил к молодому писателю, была вызвана его собственными раздумьями о том, как должна в художественном произведении звучать речь людей «простого звания». Результатом работы над таким языком стало

замечательное стихотворение «В деревне». Еще до этого язык простых людей звучал в стихотворениях Некрасова — это был язык крестьянина («В дороге», «Буря», «Вино»), мелкого чиновника или городского мещанина («Пьяница», «Филантроп»). Однако, возможно, с точки зрения самого Некрасова, он не использовал все возможности этого языка, ставшего только способом обозначения социального статуса персонажа, указания на специфику его положения и культурное отличие от представителей образованных сословий. Такие произведения всегда были сюжетные, в них простой человек сообщал печальную историю, которая имела социально-критический заряд; «душа простолюдина» всё-таки оставалась на втором плане. В стихотворении «В деревне» сюжет фактически отсутствует: автор подслушивает разговор двух старух. Одна из них рассказывает о смерти сына, рассказывает долго и с нагромождением подробностей, которые ничего не прибавляют к сюжету, но позволяют пристальнее вглядеться в убогий быт пожилой женщины, в ее жалкую жизнь и настоящее горе. Возникает и определенная глубина этого переживания: ей жалко сына и одновременно себя; собственно, психологический рисунок как раз и основан на том, что старуха не понимает, что вызывает ее страдания — чувство утраты единственного сына или голодная и холодная старость, на которую ее обрекла потеря кормильца. Нужно отметить, что лирический герой в этом стихотворении — не просто слушатель, праздный ездок или охотник, но именно поэт, приехавший в свое имение поработать и поохотиться. Эта на первый взгляд незначительная деталь тем не менее свидетельствует, что после шага, сделанного Некрасовым в стихотворении «Муза», поэзия действительно стала его жизнью.

Отсутствие ярко выраженной социально-обличительной «истории» объединяет «В деревне» с одним из самых знаменитых произведений Некрасова и, наверное, первым, ставшим бесспорной общенациональной классикой, — «Несжатой полосой». В первом стихотворении сын старухи умер, во втором — крестьянин не может сжать свою «полоску», потому что «червь ему бедное сердце сосет». Ни в том, ни в другом случае в самой истории нет никакой прямой несправедливости, обиды, причиненной помещиками или просто злыми людьми. И тут и там показано горе как бы в чистом виде, роком легшее на плечи крестьян. Кажется, в этом и заключается некрасовский «отклик» на текущие события: он говорит о народном горе, о народном страдании, о причинах которых прямо нельзя говорить. Некрасов оплакивает вместе с народом неожиданно свалившееся горе — смерть детей и кормильцев, остающиеся несжатыми по всему

народному миру «полоски».

Еще одно событие пока не представлялось судьбоносным и значительным: с самого начала года в журнале начал публиковать рецензии молодой человек, только в прошлом году приехавший с женой из Саратова и до «Современника» напечатавший несколько рецензий у Краевского, — Николай Гаврилович Чернышевский. Он был пунктуален, эрудирован, имел бойкое перо, но в первое время казался заурядным сотрудником из тех, которые всегда вербуются в журналы на отделы библиографии — читать поток печатной продукции и извлекать из него материал для небольших рецензий и заметок. В тот год никто из «грандов» «Современника», обладателей громких литературных имен, не обратил на него внимания. Некрасову же Чернышевский понравился и быстро получил от него предложение о постоянном и непременно «эксклюзивном» сотрудничестве. О их первом свидании Чернышевский оставил чрезвычайно ценные воспоминания, благодаря необычайной цепкости его памяти донесшие до нас много интереснейших подробностей. Вначале он, думая, что Панаев, значившийся на титульном листе ответственным редактором, является хозяином журнала, пообщался с ним, а потом встретился с подлинным редактором «Современника»:

«Через несколько времени, — через полчаса, быть может, — вошел в комнату мужчина, еще молодой, но будто дряхлый, опустившийся плечами. Он был в халате. Я понял, что это Некрасов (я знал, что он живет в одной квартире с Панаевым). Я тогда уж привык считать Некрасова великим поэтом и, как поэта, любить его. О том, что он человек больной, я не знал. Меня поразило его увидеть таким больным, хилым. Он, мимоходом, поклонившись мне в ответ на мой поклон, и оставляя после того меня без внимания, подошел к Панаеву и начал: «Панаев, я пришел»… спросить о какой-то рукописи или корректуре, прочел ли ее Панаев или что-то подобное, деловое; лишь послышались первые звуки его голоса: «Панаев…» Я был поражен и опечален еще больше первого впечатления, произведенного хилым видом вошедшего: голос его был слабый шепот, еле слышный мне, хоть я сидел в двух шагах от Панаева, подле которого он стал. — Переговорив о деле, по которому зашел к Панаеву, — это была минута или две, — он повернул — не к двери, а вдоль комнаты, не уйти, а ходить, начиная в то же время какой-то вопрос Панаеву о каком-то знакомом; что-то вроде того, видел ли вчера вечером Панаев этого человека и если видел, то о чем они потолковали; не слышал ли Панаев от этого знакомого каких-нибудь новостей. Кончив вопрос, он начал отдаляться от кресла Панаева. Панаев

отвечал на его вопрос: «Да. Но вот, прежде познакомься: это» — он назвал мою фамилию. Некрасов, шедший вдоль комнаты по направлению от нас, повернулся лицом ко мне, не останавливаясь; сказал своим шепотом «здравствуйте» и продолжал идти. Панаев начал рассказывать ему то, о чем был спрошен. Он ходил по комнате. Временами предлагал Панаеву новые вопросы, пользуясь для этого минутами, когда приближался к его креслу, и продолжал ходить по комнате. После впечатлений, произведенных на меня его хилым видом и слабостью его голоса, меня, разумеется, уже не поражало то, что ходит он медленными, слабыми шагами, опустившись всем станом, как дряхлый старик. — Это длилось четверть часа, быть может. В его вопросах не было ничего, относившегося ко мне. Спросив и дослушав обо всём, о чем хотел слышать, он, когда Панаев кончил последний ответ, молча пошел к двери, не подходя к ней, сделал шага два к той стороне — дальше двери, — где сидели Панаев и я, и приблизившись к моему креслу (против кресла Панаева) настолько, чтоб я мог ясно расслышать его шепот, сказал: «Пойдем ко мне». Я встал, пошел за ним. Прошедши дверь, он остановился; я понял: он поджидает, чтобы я поравнялся с ним; и поравнялся. И шли мы рядом. Но он молчал. Молча прошли мы в его кабинет, молча шли по кабинету, направляясь там к креслам. Подошедши рядом со мною к ним, он сказал: «Садитесь». Я сел. Он остался стоять перед креслами и сказал: «Зачем вы обратились к Панаеву, а не ко мне? Через это у вас пропало два дня. Он только вчера вечером, отдавая ваши рецензии, сказал мне, что вот есть молодой человек, быть может пригодный для сотрудничества. Вы, должно быть, не знали, что на деле редижируется журнал мною, а не им?» — «Да, я не знал». — «Он добрый человек, потому обращайтесь с ним, как следует с добрым человеком; не обижайте его; но дела с ним вы не будете иметь; вы будете иметь дело только со мною. — Вы, должно быть, не любите разговоров о том, что вы пишете, и вообще, о том, что относится к вам? Мне показалось, вы из тех людей, которые не любят этого». — «Да, я такой». — «Панаев говорил, вы беден, и говорил, вы в Петербурге уж несколько месяцев; как же это потеряли вы столько времени? Вам было надобно тотчас позаботиться приобрести работу в «Современнике». Вы, должно быть, не умеете устраивать свои дела?» — «Не умею». — «Жаль, что вы пропустили столько времени. Если бы вы познакомились со мною пораньше, хоть месяцем раньше, вам не пришлось бы нуждаться. Тогда у меня еще были деньги. Теперь нет. Последние свободные девятьсот рублей, оставшиеся у меня, я отдал две недели тому назад

***». — Он назвал фамилию сотрудника, которому отдал эти деньги. — «Он» — этот сотрудник — «мог бы подождать, он человек не бедный. Притом часть денег он взял вперед. Вы не можете ждать деньги за работу, вам надобно получать без промедления. Потому я буду давать вам на каждый месяц лишь столько работы, сколько наберется у меня денег для вас. Это будет немного. Впрочем, до времени подписки недалеко. Тогда будете работать для «Современника», сколько будете успевать. — Пойдем ходить по комнате». — Я встал, и мы пошли ходить по комнате. <…> Он говорил мне о денежном положении «Современника»; само собою разумеется, чистейшую правду, безо всякой утрировки. (Я в довольно скором времени стал сам знать денежные дела журнала и тогда мог судить, верное ли понятие давал мне о них Некрасов в этом разговоре.) Существенные черты тогдашнего положения «Современника» были: он обременен большими долгами за прежние годы издания. (Не умею теперь с точностью припомнить, какой цифры достигали они тогда, около конца осени 1853 [г.]; быть может, не очень ошибаюсь, думая, будто мне помнится, что сумма долгов за прежние годы была около 25 000.) Расходы по изданию едва покрываются с году на год подпискою; да и то лишь при помощи кредита: те из расходов, которые имеют коммерческий характер, производятся в долг, с уплатою из подписки следующего года; главный кредитор — Прац (хозяин типографии, в которой печатался тогда «Современник»). Он человек с хорошим состоянием, много денег лежит у него в запасе, вне оборотов; потому он охотно терпит отсрочку уплаты долгов за прежние годы с году на год и отсрочку уплат за каждый текущий год до новой подписки. И он не алчный человек, не ростовщик; проценты берет не грабительские. Но цены работ в его типографии много выше, чем в других; это очень убыточно. Он берет дороже других типографщиков не понапрасну: работа у него исправнее и изящнее. Но эти преимущества работы важны лишь для печатания изящных, роскошных изданий, например, книг с хорошими рисунками и на дорогой бумаге. А в журнале, печатающемся торопливо, на обыкновенной бумаге, разница мало заметна и не важна для публики. Потому печатание журнала у Праца имеет результатом совершенно лишний расход в несколько тысяч рублей. (Если не ошибаюсь, тысячи 4 рублей в год.) Следовало бы перенести печатание журнала в другую, менее дорогую типографию. Но до сих пор не было возможности сделать этого, потому что журнал связан с типографиею Праца долгами ее хозяину. — И так далее, и так далее, с этою же точностью вел Некрасов подробный рассказ и обо всех других сторонах денежного положения журнала.

Вполне ознакомив меня с денежными делами «Современника», он перешел к рассказу о своих денежных отношениях к журналу. Хозяин и по совету и по деловому расчету не он один; Панаев имеет на журнал равные с ним денежные права. А Панаеву нечем жить, кроме получения денег из кассы «Современника». Он легкомысленный ветреник, любит сорить деньгами. — «Я держу его в руках; много растратить нельзя ему: я смотрю за ним строго. Но за всякою мелочью не усмотришь; кое-что он успевает захватывать из кассы без моего позволения; это он таскает из кассы на свои легкомысленные удовольствия. А надобно же нам с ним и жить прилично: беллетристы любят хорошие обеды; любят, чтобы вообще было им приволье и комфорт в квартире редактора. Без того они отстанут от сотрудничества. Поддерживать приятельство с ними стоит очень дорого, потому что для этого надо жить довольно широко; но это расход, необходимый для поддержания журнала», — и так далее обо всём, относящемся к личным расходам Панаева и его самого, и обо всём, тому подобном. — «Сам я не в тягость кассе журнала. Когда у меня нет своих денег, я беру деньги из нее или занимаю, делая заем иногда, как заем журнала у книгопродавцев, в магазинах которых его конторы; в особенности у Базунова» (контора «Современника» и в Москве была тогда при магазине Базунова); «вообще, я расходую и деньги подписки и займы журнала, как хочу, на свои надобности. Но у меня бывают временами свои деньги; я из них употребляю на расходы журнала, сколько считаю возможным, а свои заимствования из его кассы уплачиваю всегда все. Не скажу вам, что вовсе не беру никакой доли из его доходов в вознаграждение себе за редакторский труд. Но думаю, что это меньше, чем те деньги, которые расходую на журнальные надобности из моих собственных денег. Видите ли, я играю в карты; веду большую игру. В коммерческие игры я играю очень хорошо, так что вообще остаюсь в выигрыше. И пока играю только в коммерческие игры, у меня увеличиваются деньги. В это время я и употребляю много на надобности журнала. Но не могу долго выдержать рассудительности в игре; следовало бы играть постоянно только в коммерческие игры; и у меня теперь были б уж очень порядочные деньги. Но как наберется у меня столько, чтоб можно было начать играть в банк, не могу удержаться: бросаю коммерческие игры и начинаю играть в банк. Это несколько раз в год. Каждый раз проигрываю всё, с чем начал игру. Остаюсь ни с чем и принужден брать деньги из кассы журнала или у его кредиторов, чтоб опять поправиться». (После, когда возобновлял он разговор о том, что как начнет играть в банк, непременно проигрывается, я стал объяснять ему, почему

это неизбежно должно всегда бывать так: он иногда понтировал; а по условиям игры в банк понтер, в общей сложности длинного ряда ставок, необходимо проигрывает. Он не подозревал, что это так по самым условиям игры, воображал, подобно почти всем игрокам, что произвольность определения величины ставок дает понтеру преимущества, более чем уравновешивающие те шансы выгоды, которые в пользу банкира. Он только дивился, что он, понтер, всегда остается проигравшимся, и лишь смутно мечтал, что хорошо бы ему приобрести возможность держать банк, потому что банкир, по какому-то странному ходу оборотов игры, вообще, должно быть, больше выигрывает, чем проигрывает.) Он продолжал говорить, объясняя мне, какие расчеты и надежды можно иметь в денежном отношении на «Современник» и на него, и заключил свое всестороннее, точное объяснение всего выводом совета мне:

«Вы видите, в каком положении наши дела. Они очень плохи; и нет вероятности надеяться, чтоб они улучшились. Время становится год от году тяжелее для литературы, и подписка на журнал не может расти при таком состоянии литературы. А без увеличения подписки «Современник» не может долго удержаться; наши долги в эти годы хоть не быстро, но росли. Чем это кончится? Падением журнала. И кем держится пока журнал? Только мною. А вы видите, каков я. Могу ли я прожить долго? Панаев говорил, вы уж работаете для Краевского. Он враг нам, т. е. мне. Панаева он понимает правильно и потому не имеет вражды к нему. Когда он увидит, что вы полезный сотрудник, он не потерпит, чтобы вы работали для нас и для него вместе. Он потребует, чтобы вы сделали выбор между ним и нами. Он человек в денежном отношении надежный. Держитесь его. Но пока можно, вы должны работать и для меня. Это надобно и для того, чтобы Краевский стал дорожить вами. Он руководится в своих мнениях о писателях моими мнениями. Когда он увидит, что я считаю вас полезным сотрудником, он станет дорожить вашим сотрудничеством. Когда он потребует выбора, вы сделаете выбор, как найдете лучшим для вас. А пока я буду — я уж говорил — до новой подписки буду давать вам на каждый месяц столько работы, сколько будет у меня денег дать вам. Начнется подписка, вы будете писать для меня столько, сколько будете успевать писать». — После этого он повел разговор о том, какой состав будет иметь книжка «Современника» на следующий месяц, и [стал] соображать, какую работу и сколько работы для этой книжки даст он мне.

Таково было начало моего знакомства с Некрасовым, и таков был первый его разговор со мною. <…> Когда я пришел к

Некрасову и сказал, что остался при своем решении и отказался от сотрудничества Краевскому, он отвечал: «Ну, когда дело сделано, то я скажу вам, что, быть может, вы и не будете иметь причины раскаиваться. Действительно, денежное положение мое плохо, но всё-таки я думаю, что иметь дело со мною лучше, нежели с Краевским».

В этом обширном фрагменте едва ли не впервые изображается черта характера Некрасова, о которой впоследствии будут говорить и многие другие мемуаристы, — его склонность к неожиданной откровенности: в первом же разговоре с до того неизвестным ему человеком поэт мог рассказать о самых интимных и сомнительных сторонах своей жизни. Поэтому не следует, видимо, считать его откровенность в данном случае проявлением какого-то исключительного благоволения к Чернышевскому. Некрасов оценил качества молодого человека, но вряд ли в тот момент увидел в нем будущую звезду, а скорее рассматривал его как замену или подспорье Гаевскому и Михайлову, как деятельного и толкового постоянного сотрудника, которому можно будет поручать техническую работу по журналу, в том числе во время своего отсутствия. Чернышевский начал регулярно печататься в «Современнике» и уже в первый год своего сотрудничества с журналом привел на такую же мелкую библиографическую работу своего двоюродного брата и первого единомышленника — недавнего студента Санкт-Петербургского университета Александра Николаевича Пыпина. Что эти люди будут значить в истории журнала, предвидеть, конечно, никто не мог.

ИСКУССТВО И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Восемнадцатого февраля 1855 года скончался Николай I. Закончилось ставшее ненавистным царствование, напоследок продемонстрировав скрывавшуюся за его фасадом полную деградацию практически всех устоев, на которых покоился николаевский «порядок». Новому царю Александру II досталось тяжелейшее наследство, в том числе продолжающаяся Крымская война. До августа 1855 года тянулась эта бойня, как ее назвал сам молодой император, в самом начале царствования выразивший желание ее остановить. После поражения на реке Черной 4 (16) августа обнаружилась полная бессмысленность продолжения сопротивления, и 25-го числа Севастополь был сдан. Война, однако, продолжалась до 18 (30) марта 1856 года, когда был подписан унизительный, но одновременно спасительный для России Парижский мирный договор.

На новое царствование возлагались огромные надежды, и они начали оправдываться. Среди первых шагов Александра II было удаление от власти ненавистного всему российскому прогрессивному обществу графа Петра Андреевича Клейнмихеля, главноуправляющего путей сообщения и публичных зданий, любимца и правой руки Николая I, превратившегося в своеобразный символ его режима. Были отменены квоты на прием студентов в университеты. Либерализация сказалась и на литературе: государь лично разрешил печатать ряд сочинений, ранее находившихся под запретом, в том числе произведения Гоголя. Были устранены некоторые наиболее одиозные цензоры. И последствия стали ощутимы незамедлительно. Новое время сказалось и на «Современнике» — в июне император позволил перепечатывать официальные военные известия. Общество оживало, ощущало себя так, как будто сбросило огромный груз, постепенно начинало заново обретать способность мыслить об общественных интересах.

Для Некрасова-редактора это означало завершение эпохи выживания. Чувствовалось, что вскоре можно будет перестать заниматься «проведением времени», заботиться исключительно о сохранении журнала до лучших времен. Возникло ощущение, что «лучшие времена» наставали. Казалось, «Современник» вместе со всей русской литературой мог возвращаться к подлинным целям существования. Однако вопрос, какими должны быть эти цели в условиях наступающей относительной свободы печати и общественной мысли в целом, пока не имел для Некрасова однозначного ответа. «Современник» стал своеобразной

площадкой споров о том, какую роль должна играть словесность в наступавшую эпоху преобразований. Споры оказались острыми и болезненными и уже к середине года привели к кризису, своеобразному расколу в устоявшемся круге журнала.

Наиболее чутким к произошедшим изменениям в обществе оказался молодой сотрудник Чернышевский, выдвинувший свое представление о них в диссертации «Эстетические отношения искусства к действительности», диспут по которой («защита», как сказали бы сейчас) прошел 10 мая 1855 года в Санкт-Петербургском университете и вызвал шумный резонанс. Центральная идея работы заключалась в том, что, поскольку искусство есть подражание действительности, а подражание всегда ниже оригинала, то искусство всегда ниже самой жизни. Жизнь всегда прекраснее искусства. Таким образом, искусство переставало обладать некоей привилегией создания особенных эстетических ценностей, которых нет в жизни: «Совершенство формы (единство идеи и формы) не составляет характеристической черты искусства в эстетическом смысле слова (изящных искусств); прекрасное как единство идеи и образа, или как полное осуществление идеи, есть цель стремления искусства в обширнейшем смысле слова или «уменья», цель всякой практической деятельности человека». Поэтому искусство не должно выделяться как специфическое явление со своими особыми, не связанными с жизнью целью и средствами: «Искусство только напоминает нам своими воспроизведениями о том, что интересно для нас в жизни, и старается до некоторой степени познакомить нас с теми интересными сторонами жизни, которых не имели мы случая испытать или наблюдать в действительности». Искусство, таким образом, предстает подчиненным задачам самой жизни: «Воспроизведение жизни — общий, характеристический признак искусства, составляющий сущность его; часто произведения искусства имеют и другое значение — объяснение жизни; часто имеют они и значение приговора о явлениях жизни».

Эти тезисы, повторенные в «Современнике» в рецензии, написанной Чернышевским на самого себя и тем самым как бы превратившиеся в выражение мнения всей редакции, вызвали, можно сказать, яростную, гневную реакцию у большинства членов «веселой компании». Особенно был раздражен Тургенев. «Я прочел его отвратительную книгу (имеется в виду диссертация Чернышевского. — *М. М.),* эту поганую мертвечину, которую «Современник» не устыдился разбирать серьезно… *Raca! Raca! Raca!* Вы знаете, что ужаснее этого еврейского проклятия нет ничего на свете?[25]» — писал он Дружинину и Григоровичу 10

июля 1855 года. Дружинин прямо заявлял о вредности такого направления для журнала и литературы вообще. Григорович сочинил целую повесть, в которой карикатурно вывел Чернышевского, и опубликовал ее в «Библиотеке для чтения». Чернышевский за глаза заслужил у них прозвание «клоповоняющий господин». В следующем году к хору хулителей присоединились Толстой и Боткин, в 1855 году занимавший промежуточную позицию.

Это возмущение вскоре привело к открытой полемике и к разрыву, ставшим едва ли не основным содержанием литературно-журнальной жизни второй половины 1850-х годов. Противники Чернышевского во главе с Дружининым, заявившим претензию на какое-то другое направление в литературе, выдвигали в противовес идее служения общественному благу идею чистого искусства, задачей которого объявлялось прежде всего создание эстетически совершенных произведений, воздействие на человека через созерцание им красоты. Художественность в первую очередь, все остальные задачи — во вторую. Эта полемика станет определяющей для развития русской литературы на несколько десятилетий, и роль Некрасова в ней будет очень значительна.

Причины, по которым идеи Чернышевского вызвали столь серьезное отторжение, сложны и достаточно разнообразны. Они имели и тактический характер (Дружинин, в частности, боялся, что слишком смелые взгляды вызовут новые гонения на литературу), и теоретический (идеи Чернышевского должны были казаться примитивными, философски крайне слабыми тому же Тургеневу, профессиональному философу, гегельянцу), и личностный (раздражали манеры Чернышевского и его внешний вид), и даже социальный (его откровенное плебейство и презрение к аристократическим удовольствиям раздражали «веселую компанию» и выдавали в нем чужака и потенциального врага). Некрасов, оказавшийся в эпицентре конфликта как издатель журнала, в котором возник раскол, был поставлен перед необходимостью сделать выбор. Несомненно, «веселая компания», в особенности Тургенев, по-человечески была ему ближе, чем Чернышевский, в котором он в некотором отношении тоже не мог не видеть «чужака» — не играющего в карты, не ездящего в оперу, презирающего «чернокнижие» во всех его проявлениях. Некрасов некоторое время наблюдал за ним, удивлялся его поступкам и реакциям, выходящим за пределы «приличного», принятого, нормального. Однако важно, что этим размышления Некрасова не ограничились.

Безусловно, Некрасов не стремился уловить философские

нюансы аргументации обеих сторон — они были для него маловажны. Его позиция в конфликте определялась его ролью издателя крупного журнала, то есть для него проблема была в выборе того направления, которое примет «Современник». Этот выбор, конечно, совершался на разных уровнях, включая и коммерческий: важно было определить, за кем будущая популярность, на чьей стороне окажутся в ближайшее время подписчики (и это было особенно актуально из-за тяжелого финансового положения журнала). И у Некрасова были причины полагать, что Чернышевский — критик более перспективный, более соответствующий настроениям общества, в пользу чего говорили даже сам его возраст, его пылкость и решительность в суждениях. Севастополь привел на арену общественной жизни новое поколение (представителем которого Некрасов видел того же Льва Толстого), устремленное к преобразованиям, поколение героическое уже по участию в благородной и кровопролитной войне («Вы молоды; идут какие-то перемены, которые — будем надеяться — кончатся добром, и, может быть, Вам предстоит широкое поприще»). У новых читателей диссертация Чернышевского вызвала огромный энтузиазм, и Некрасов хорошо это знал («Молодежь — мастерица трубить. С нее всё начинается!» — писал он Боткину по другому поводу.)

Но неправильно было бы считать, что Некрасов исходил исключительно из коммерческих соображений. Несомненно, его волновал вопрос, кто из спорщиков прав по сути — не в смысле логической убедительности, доказательности доводов, но в смысле соответствия принятой им от Белинского системе ценностей, в том числе касающихся роли и задач литературы. Белинский стоял у истоков «Современника», определил его направление и сам смысл его существования. Поэтому совершенно закономерно, что в момент, когда забрезжила возможность не просто выживать, сохранять журнал для будущего, но сделать более или менее свободный выбор, имя Белинского снова всплыло в сознании Некрасова.

Некрасов размышляет о том, чья позиция больше соответствовала общественной и литературной программе Белинского. И очевидно, что взгляды Чернышевского кажутся ему ближе и правильнее по сути, чем возражения его оппонентов. На кредо Дружинина, изложенное в переданном ему письме Боткину, Некрасов с редкими для него раздражением и откровенностью отвечает: «Любезный друг, прочел я, что пишет тебе Дружинин о Гоголе и его последователях, и нахожу, что Друж[инин] просто врет и врет безнадежно, так что и говорить с ним о подобных вещах бесполезно. <…> Мне кажется, в этом деле верна одна

только теория: люби истину бескорыстно и страстно, больше всего и, между прочим, больше самого себя, и служи ей, тогда всё выйдет ладно: станешь ли служить искусству — послужишь и обществу, и наоборот, станешь служить обществу — послужишь и искусству… Эту теорию оправдали многие великие мира сего и оправдывают лучшие теперешние писатели Англии и России». Защитником истины, которая выше всего, в том числе литературных теорий, предстает Белинский в тогда же написанной Некрасовым поэме: «…Мыслью новой, / Стремленьем к истине суровой / Горячий труд его дышал».

В том же духе писал Некрасов знакомому ему только заочно Толстому по поводу финала первого из его «Севастопольских рассказов»: «Это именно то, что нужно теперь русскому обществу: правда — правда, которой со смертию Гоголя так мало осталось в русской литературе. Вы правы, дорожа всего более этою стороною в Вашем даровании. Эта правда в том виде, в каком вносите Вы ее в нашу литературу, есть нечто у нас совершенно новое. Я не знаю писателя теперь, который бы так заставлял любить себя и так горячо себе сочувствовать, как тот, к которому пишу, и боюсь одного, чтобы время и гадость действительности, глухота и немота окружающего не сделали с Вами того, что с большою частью из нас: не убили в Вас энергии, без которой нет писателя, по крайней мере такого, какие теперь нужны России».

В общем, Некрасов предпочел Чернышевского Дружинину довольно легко. Чернышевский, по его собственным, отчасти ироническим воспоминаниям, писал аккуратнее и больше, так что Дружинину в «Современнике» просто не оставалось места. На самом же деле он достаточно быстро завоевал не только симпатию, но и доверие Некрасова-редактора. В сентябре того же года Некрасов писал Боткину, мягко упрекая Григоровича в слишком личностных нападках на Чернышевского: «…Я в сию минуту уже убежден в этом — Черныш[евский] честный и хороший человек. У меня на это есть факты. А что он пишет иногда глупости — кто же этого иногда не делает? Только его глупости виднее, ибо принадлежат к области критики».

Уже в середине 1855 года Дружинин перешел в журнал «Библиотека для чтения» и с 1856-го стал его редактором. С ним было проще, чем с другими авторами: очевидно, что и в личном плане между ним и Некрасовым никогда не было большой близости, и как литератор он, вопреки самомнению, не представлял для журнала и русской литературы в целом большой ценности, о чем Некрасов резко и откровенно написал в том же письме Боткину: «Дружинин поглядел бы прежде всего на себя. Что он произвел изрядного (в сфере *искусства)?* — «Полиньку

Сакс», но она именно хороша потому, что в ней есть то, чего нет в дальнейших его повестях. И кабы Дружинин продолжал идти по этой дороге, так, верно, был бы ближе даже и к искусству, о котором он так хлопочет». Однако с Тургеневым и Григоровичем, если не полностью принявшими сторону Дружинина, то как минимум занявшими позицию, враждебную Чернышевскому, дело обстояло не так просто. Они, в отличие от Дружинина, были настоящими писателями, несомненно, талантливыми и популярными, и «Современник» в них действительно нуждался (так, во всяком случае, представлялось тогда Некрасову). И с ними приходилось иметь дело, просто освободиться от них было нельзя — альтернативы им в литературе не существовало. Кажется, их неприятием Чернышевского и его программы Некрасов был искренне огорчен. Точка зрения авторов «Антона Горемыки» и «Записок охотника» должна была казаться ему тем более странной, что в тяжелое время они в своих произведениях поставили важные общественные вопросы — Тургенев даже поплатился арестом и ссылкой за «общественную опасность» «Записок охотника».

Неожиданной оказалась и позиция Толстого, который в конце ноября 1855 года наконец-то приехал в Петербург и которого давно с любопытством ожидал весь круг «Современника». Некрасов встретил его с энтузиазмом, не только как надежду русской литературы, но и как потенциального союзника. Он писал Боткину: «Не писал потому сначала, что хворал, а потом приехал Л. Н. Т., то есть Толстой, и отвлек меня. Что это за милый человек, а уж какой умница! И мне приятно сказать, что, явясь прямо с железной дороги к Тургеневу, он объявил, что желает еще видеть меня. И тот день мы провели вместе и уж наговорились! Милый, энергический, благородный юноша — сокол!., а может быть, и — орел. Он показался мне выше своих писаний, а уж и они хороши. Тебе он, верно, понравится. Приехал он только на месяц, но есть надежда удержать его здесь совсем. Некрасив, но приятнейшее лицо, энергическое, и в то же время мягкость и благодушие: глядит, как гладит. Мне он очень полюбился». Тем не менее и Толстой быстро встал на сторону противников Чернышевского, что Некрасова, безусловно, удивило.

Писателей, которые разделяли бы взгляды Чернышевского и при этом имели какое-то значение в литературе, не было. Поэтому, выдвигая Чернышевского как критика и теоретика, Некрасов одновременно пытался удерживать в «Современнике» лучших авторов, то есть выступать своего рода посредником, буфером между Чернышевским и его врагами в журнале, тем

более что сам критик дипломатическими способностями не обладал и иногда, не желая того, своим поведением вызывал обиду и раздражение у старых сотрудников. Раскол долго казался Некрасову недоразумением, во многом основанным не на реальных идеологических расхождениях, а на личной неприязни, поэтому не считал противоестественным соединение в одном журнале Чернышевского, Тургенева, Григоровича, Толстого и даже в какой-то момент Дружинина. Поэтому, постоянно поддерживая дружеские отношения с необходимыми ему литераторами, он одновременно в середине года, во-первых, практически полностью отдал на откуп Чернышевскому библиографический отдел, во-вторых, решительно изгоняя из отдела критического игривый дружининский дух, избавился от «фельетонной» литературной критики: сначала исчез «Иногородний подписчик», затем попрощался с читателями и «Новый поэт» (Панаев с декабря стал вести фельетонную колонку, посвященную городским новостям). Некрасов решил вернуться к «серьезным» полным обзорам литературы за месяц, а затем за год, однако, стремясь поддерживать в журнале внутренний баланс, не поручил такие обзоры Чернышевскому, а избрал другой вариант: с июля 1855 года стали ежемесячно появляться «Заметки о журналах», которые Некрасов взялся писать сам в соавторстве с Василием Петровичем Боткиным.

Почему именно Боткин, критик, ассоциирующийся обычно с крайней эстетической позицией, в недалеком будущем соавтор (вместе с Фетом) одной из самых враждебных Чернышевскому рецензий на «Что делать?», стал в это время определенной опорой для Некрасова, одним из его ближайших приятелей (в это время Некрасов звал его «Васенька»), оказавшим серьезную материальную поддержку журналу в трудный момент? Несколько месяцев они даже жили вместе на даче под Москвой и очень дружно работали. Всё это труднообъяснимо, если рассматривать ситуацию с точки зрения позднего Боткина, гурмана и эстета, погруженного в чувственные и эстетические наслаждения, превозносящего поэзию Фета и площадно ругающего Чернышевского. Между тем Боткин — фигура существенно более сложная, противоречивая и глубокая, чем Дружинин. В отличие от последнего, он был членом кружка Белинского самого раннего «призыва», познакомился с ним раньше Тургенева и тем более Дружинина, являлся любимым корреспондентом великого критика, ценившего в нем серьезного собеседника, живущего напряженной интеллектуальной жизнью, честно мыслящего, хотя и впадающего, по мнению Белинского, в излишества и крайности. Боткин в своих исканиях прошел разнообразные этапы: был

романтиком, крайним прагматиком, сторонником Фейербаха (едва ли не он и открыл для Белинского фейербаховскую философию), Конта, атеистом, познакомился с Марксом, переводил Энгельса, восхвалял великие принципы свободы, равенства и братства. Для такого человека появление Чернышевского с его радикализмом, преклонением перед Фейербахом не было очень «страшным» и не стало сразу предметом догматического отрицания. Боткин мыслил сложнее и интереснее Дружинина, не признавая идеи Чернышевского, но видя в них осмысленное основание, не дававшее от них отмахнуться (как это пытался сделать Тургенев). В этом смысле он был близок к Некрасову, видя реальную связь между идеями Чернышевского и поздними взглядами Белинского и его собственными конца 1840-х годов. Вероятно, готовность идти на союз с Некрасовым и Чернышевским подогревалась у Боткина некоторыми амбициями — представившейся возможностью занять важное место в одном из лучших русских журналов. Боткин в это время имел на Некрасова определенное влияние. Прежде всего, он познакомил поэта с трудами английского философа Томаса Карлейля, которые в это время переводил, и это знакомство сыграло важную роль в поэтическом самоопределении Некрасова.

Как бы то ни было, Некрасов сначала в соавторстве с Боткиным, затем самостоятельно на протяжении второй половины 1855 года написал четыре таких обозрения (за июль, сентябрь, октябрь и ноябрь), которые оказались чрезвычайно близки к идеям Чернышевского. В этих статьях устанавливалось общее направление «Современника» и не только высказывались оценки литературных произведений. Авторы стремились «сконструировать» сам дух редакции, создать желательную атмосферу. В первой же статье провозглашалась ориентация на молодежь с ее горячностью, «идеализмом», пусть опрометчивую, но чуждую филистерства, легкого и пошлого приятия действительности, как главного читателя русской литературы, которому современная беллетристика с ее «апатией» ничего не может дать. Именно опираясь на эту гипотетическую молодежь, соавторы призывали вернуть литературе «воспитательный характер», чтобы она снова могла «идти впереди общества».

Во многих строках видны отголоски учения Белинского о необходимости беллетристики: «Учите нас быть лучшими, чем мы есть; укореняйте в нас уважение к доброму и прекрасному, не потворствуйте вторгающейся в общество апатии к явлениям сомнительным или и вовсе презренным, но обнажайте и преследуйте подобные явления во имя правды, совести и

человеческого достоинства; растолковывайте нам наши обязанности человеческие и гражданские, — мы еще так смутно их понимаем; распространяйте в большинстве массу здравых, дельных и благородных понятий, — и вам будет прощен недостаток таланта». Интересно, что знаменитые слова принадлежат Боткину и сочувствие пушкинской «черни» тоже выражено им: «Нет науки для науки, нет искусства для искусства — все они существуют для общества, для облагорожения, для возвышения человека, для его обогащения знанием и материальными удобствами жизни; и, вопреки Пушкину, «чернь» всегда вправе сказать поэту и ученому:

Нет, если ты небес избранник,
Свой дар, божественный посланник,
Во благо нам употребляй…»

Этот цикл статей намного превосходит всё остальное, написанное Некрасовым в этом роде. Это была критика, намеренно не скрывающая своей тенденциозности, с самого начала провозгласившая свои идеалы и ценности и с их позиций готовая найти идейные недостатки даже у Диккенса в «Тяжелых временах», но одновременно толерантная к оппонентам, готовая хвалить и Григоровича за «Школу гостеприимства», и Дружинина за статьи о Пушкине и, упрекая Писемского за его концепцию, видеть в его статье о Гоголе много хорошего. Эта критика стремилась расстаться с прошлым, еще остававшимся в настоящем, но не переходила на личности и корила за подобное других. Авторы делали много очень интересных частных замечаний, например о Гоголе. При этом заметно их старание возродить традицию, говоря о литературе, вести разговор о жизни, для чего, например, использовались публикации старинных документов в «Москвитянине» или севастопольских дневников в «Отечественных записках». Словом, эта критика давала ощущение начала общего интереса и общих целей, она пронизана радостью, в ней отсутствует даже намек на ожесточение борьбы. Она смела, но не жестока и не агрессивна, чаще примирительна. Она сама осознавала себя молодой или как минимум отвечающей на запросы молодежи. Это ярко отразилось в начальных строках последней статьи за 1855 год, напечатанной в декабре: «Читатель, Вам, вероятно, часто случалось слышать, а может быть и самому говорить, что в наше время в самом воздухе есть что-то располагающее — как бы сказать? — к откровенности, к излияниям, к признаниям, — одним словом, к сознанию, с которым неразрывно связано стремление к усовершенствованию.

Благородная, великая черта времени! великая и высокоутешительная черта в народе, могучее доказательство здоровья и силы, залог прекрасного будущего!» Эта атмосфера порыва к будущему и дружелюбия, видимо, оказалась благоприятной для журнала, и равновесие удалось сохранить: в 1855 году, несмотря на усиление позиций Чернышевского, в «Современнике» эпизодически печатался Анненков, несколько раз выступил Дружинин, успехом пользовался боткинский перевод из Карлейля, Толстой опубликовал «Рубку леса» и первые два «Севастопольских рассказа», Гончаров — фрагменты путевых заметок и очерков, впоследствии вошедших в книгу «Фрегат «Паллада», выходили стихи Фета, Полонского, Майкова, самого Некрасова. Судя по всему, такая «цветущая сложность» и разнообразие оказались близки и интересны читающей публике, чьи запросы на тот момент удалось угадать. В ноябре в постскриптуме письма Боткину Некрасов сообщает: «Не сглазить бы, подписка повалила! И сколько новых, — понять не могу, что из этого выйдет».

Это предчувствие перемен, открывающегося поля деятельности омрачалось тремя некрологами. В конце апреля умер печатавшийся в «Современнике» сотрудник Грановского Николай Григорьевич Фролов, неплохой ученый и популяризатор науки. В августе в германском Эмсе, не выдержав борьбы со смертельной болезнью, застрелился Владимир Алексеевич Милютин. 4 октября в Москве скоропостижно скончался Тимофей Николаевич Грановский. Эти смерти вызвали искренний отклик Некрасова. В начинавшуюся эпоху не входили как раз те, кому наконец-то открывался простор для деятельности. Отношения с Грановским были прохладными, он давно ничего не печатал в «Современнике», но Некрасов переживал его смерть как утрату близкого человека. Он писал Боткину очень проникновенно, как будто развивая мысли, выраженные в стихотворении «Блажен незлобивый поэт…»: «Ни о ком я так не жалел после Б[елинского], даже о Гоголе, может быть, потому, что лично его не знал. <…> вот уж 4-й час сижу один — измаялся, думая, жалея, припоминая. К этой скорби примешивается другая — понятная. Нет! не живется у нас людям, которые всего нам нужнее! <…> В деятельности писателя не последнюю роль играет так называемое духовное сродство, которое существует между людьми, служащими одному делу, одним убеждениям. Иногда у изнемогающего духом писателя в минуты сомнения, борьбы с соблазном, в самых муках творчества встает в душе вопрос: да стоит ли мне истязать себя? Если и добьюсь чего-нибудь путного, кто оценит мой труд? Кто поймет, чего мне это

стоило? Кто будет ему сочувствовать? Так, по крайней мере, бывало со мной. <…> И в эти минуты к кому с любовью, с верой обращалась мысль моя? К тебе, к Тургеневу, к Грановскому. В эти же минуты я всегда глубже жалел Б[елинского] (человек никогда не может отделаться от самолюбия!)».

Сам Некрасов в это время как будто находится на развилке — в своих статьях он устремляется в будущее, при этом видит много причин присоединиться к Грановскому, Фролову и Милютину. Его болезнь в 1855 году усилилась и начала казаться ему смертельной. «Я болен — и безнадежно», — пишет Некрасов Толстому 17 января. В конце июня сообщает о том же Тургеневу: «Болезнь моя сделала заметные шаги вперед — я кашляю и бешусь, что у моей груди, как на смех, только и осталось силы для произведения этих противных звуков!» Дружинину 6 августа: «Сырость — враг мой, тотчас делаюсь болен, горло зудит, и во всех членах такое ощущение лихорадочного холоду, какое у здорового может быть только после пятичасового лежания нагишом на сырой земле в дурную погоду». Петербургский врач Шипулинский в конце августа диагностировал у Некрасова венерическую болезнь, не прибавив пациенту оптимизма. Конечно, поэт не терял надежды на выздоровление. В октябре он писал Боткину: «Кстати, горло у меня вовсе не болит, как у здорового, ранки в нем очень уменьшились, но не исчезли вовсе, — беда в том, что из 50-ти дней я только 25, и то в разбивку, мог принимать лекарство, поминутно портится желудок, — тощ я очень стал, но духом бодр…» В это время Некрасов будто бы находился между жизнью и смертью, размышлял о судьбе журнала, о будущем его и в целом русской литературы, о своем будущем как поэта и издателя и одновременно верил в неизбежность своей скорой смерти.

Так же к определенному рубежу подошли отношения Некрасова с Авдотьей Яковлевной Панаевой, очевидно, все эти годы непростые. В апреле после ссор с участием брата Некрасова Федора и брата Панаевой Аполлинария Яковлевича Брянского между квазисупругами происходит разрыв, воспринимавшийся ими как «окончательный». Некрасов уехал в Ярославль, Панаева осталась в Петербурге. Однако в середине апреля, узнав о болезни новорожденного сына, Некрасов возвратился в столицу. «Простившись с тобой, — писал Некрасов Тургеневу немного спустя, — я уехал — и скоро мне дали знать, что бедному мальчику худо. Я воротился… Бедный мальчик умер. Должно быть, от болезни, что ли, на меня это так подействовало, как я не ожидал. До сей поры не могу справиться с собой». Общее горе (видимо, это был уже второй умерший ребенок Некрасова и

Панаевой), однако, не привело к примирению. Некрасов снова уехал в Ярославль и затем 20 апреля в Грешнево. Там он впервые увидел восьмилетнюю единокровную сестру Лизавету, к которой с тех пор всегда испытывал теплые чувства и принимал участие в ее судьбе. В Грешневе Некрасов прожил до середины мая и, возможно, по просьбе Панаевой, приехал в Москву, где поселился в гостинице Шевалье. 21 мая туда же приехала Панаева. До июня они жили вместе в гостинице, но так и не помирились, и 13 июня Панаева вернулась в Петербург. 17 июня Некрасов поселился вместе с Боткиным на даче в Петровском парке под Москвой, получая на свои «жестокие» письма (которые до нас не дошли) ответы Авдотьи Яковлевны, полные упреков. Таким образом, ссора продолжалась в переписке. Однако в середине июля Панаева приехала в Петровский парк и поселилась на той же даче «наверху в двух прекрасных и свободных комнатах». Судя по всему, именно тогда состоялось примирение при посредничестве Боткина, который 5 августа сообщил Тургеневу: «Она очень хороша теперь с ним: внимательна и женственна, — насколько она может быть женственной. Впрочем, мы живем очень приятно». Видимо, когда 18 августа Некрасов возвращался в Петербург, он ехал вместе с Панаевой. Длившаяся четыре месяца «ссора» не привела к окончательному разрыву, однако и здесь было ощущение близящегося конца.

Рубежный во многих отношениях год породил новые черты в поэзии Некрасова, которая именно тогда вступила в период бурного роста: им было написано более тридцати стихотворений (столько же, сколько за пять предыдущих лет) и две поэмы: «В. Г. Белинский» и «Саша». Произведения, созданные в это время, объединяет то же ощущение рубежности, грани. Под влиянием смертей соратников и собственных предчувствий в центре поэзии Некрасова оказывается как раз образ того, кто эту грань не перейдет. Эта тема, изначально для Некрасова интимная, лирическая, расширилась до образа трагической судьбы больного поколения, пришедшего к порогу новой эпохи с иссякшими силами. В лирике это проявляется в размышлениях о болезни и смерти, в стихотворении «Я сегодня так грустно настроен…», где лирический герой, ощущая неминуемую кончину, всё-таки надеется встретить завтрашний луч солнца, уповает на пробуждение «мучительной» жажды жизни.

Тема рубежа, бессилия его перейти достигает своеобразного лирического обобщения в цикле «Последние элегии», начатом еще в 1853 году, но завершенном именно в это время. Здесь в условно-элегическом тоне рисуется образ лирического героя как путника, не имеющего сил идти дальше. В третьей элегии

усталость и смерть описываются на фоне жизни, движущейся вперед. Подобным же страдальцем предстает герой стихотворения «Еще скончался честный человек…», возможно, написанного на смерть Фролова, но, несомненно, имеющего тесную связь с самоощущением Некрасова.

От этих стихотворений идут две линии в поэзии Некрасова того периода. Первая ведет в еще более интимную лирику, в «панаевский цикл», где в стихах, датируемых 1855 годом, возникает мотив границы, к которой подошла любовь, ощущение исчерпанности любви, как бы переходящей в исчерпанность самой жизни. Так, в стихотворении «Давно — отвергнутый тобою…» лирический герой говорит, что забыт возлюбленной и испытывает притяжение волн, когда-то пугающих, а теперь влекущих. В стихотворении «Ты меня отослала далеко…» описывается розыгрыш, устроенный возлюбленной, подобный тому, что был в стихотворении «Так это шутка! милая моя…»; но теперь он заканчивается не примирением и радостью, а словами: «…поколеблена вера / В благородное сердце твое». Очевидно, что короткий текст именно для того и написан, чтобы высказать эти слова, в нем нет наслаждения самой любовной игрой обманов, ссор и примирений. Мотив закончившейся, но вызывающей ностальгическую грусть любви находит полное выражение в стихотворении «Где твое личико смуглое…».

Другая линия ведет к эпическим произведениям, в том числе на «народную» тему. Мотив рубежа, начала нового становится основой сатирического шедевра «Забытая деревня» (это стихотворение молва упорно считала аллегорией смерти Николая I и воцарения Александра II) и стихотворных новелл «Влас» и «Извозчик», где главные герои сталкиваются с соблазном, который одного из них приводит к смертному греху самоубийства, а другого — к праведной жизни.

Этот же мотив занимает важнейшее место в поэме «Саша», написанной под впечатлением от тогда же писавшейся Тургеневым повести «Рудин», за созданием которой Некрасов как близкий друг автора имел возможность наблюдать во второй половине 1855 года. В сюжете о «человеке сороковых годов», гегельянце, исполненном высоких чувств и стремлений, благородства и честности, но оказывающемся слабым и недееспособным в ситуации, когда требуется реальное действие, Некрасов увидел отголосок собственных ощущений рубежа и того, что далеко не все способны этот рубеж перейти. Отсюда не только некоторое упрощение образа центрального героя, Агарина, но и выдвижение на первый план девушки, воплощающей будущее, молодое начало (чего нет у Тургенева в образе Натальи

Ласунской). При этом Некрасов не останавливается на констатации того факта, что не все добрые и достойные люди станут деятелями открывающегося будущего, но ищет способы оправдания их существования перед лицом отрицающего их времени. Возникает образ павших безвестных тружеников, забытых, как Белинский из поэмы «В. Г. Белинский», или осмеиваемых, как многочисленные «педанты» и графоманы из тогда же написанного стихотворения «В больнице», однако способствующих чужому будущему, которое не могло бы осуществиться без их труда. Эту мысль можно видеть и в тургеневской повести, но у Некрасова в «Саше» она находит глубоко личное выражение в образе зерна, умирающего, чтобы дать пищу другим поколениям:

Но уже зреет на ниве поемной,
Что оросил он волною заемной,

Пышная жатва. Нетронутых сил
В Саше так много сосед пробудил…

Эх! говорю я хитро, непонятно!
Знайте и верьте, друзья: благодатна

Всякая буря душе молодой —
Зреет и крепнет душа под грозой.

Чем неутешнее дитятко ваше,
Тем встрепенется светлее и краше:

В добрую почву упало зерно —
Пышным плодом отродится оно!

В нескольких медитативных фрагментах на тему поэта и поэзии, написанных в том же году, Некрасов применяет этот образ умирающего зерна к собственному творчеству и своему наследию. Таковы стихотворения «Праздник жизни — молодости годы…», «Замолкни, Муза мести и печали…» и особенно «Безвестен я. Я вами не стяжал…». Перед лицом смерти Некрасов будто бы примеривает на себя судьбу, в которой он будет обречен на безвестность, забвение, ненужность. Он ставит себя в ряды тех, кто не может перейти рубеж, кто, как Рудин и Агарин или Владимир Милютин и Грановский, останется в прошлом. И оттуда, из некоего будущего, куда он уже не попадет, Некрасов дает себе оценку как автору умерших стихов («Но не льщусь, чтоб

в памяти народной / Уцелело что-нибудь из них…»), забытых, потому что они «суровы» и «неуклюжи», потому что в них нет «поэзии свободной». Но как в зерне, в них есть то, что превратится в будущие всходы: любовь и ненависть, живая кровь, «мстительное чувство», «проклятия», «труд и борьба». Эти медитации повторяют уже встречавшиеся и даже лексически сходные мотивы, но уже на пороге другой эпохи, о которой пока ничего не известно, выражают невозможность отречься от той поэзии, которую он создал. Невозможность отречения особенно сильно выражена в стихотворении «Замолкни, Муза мести и печали…» через сослагательное наклонение в строках последнего четверостишия: «Той бездны сам я не хотел бы видеть, / Которую ты можешь осветить…»

Однако прикованность к безднам, которые освещает его Муза, одновременно дает поэту надежду, что рубеж удастся перейти. Эта надежда проявляется в стихотворении «Русскому поэту», опубликованном в самом начале 1856 года и вскоре вошедшем в более известное стихотворение «Поэт и гражданин». Здесь можно видеть своего рода продолжение его критических статей, схожие мысли, выраженные уже в поэтической форме. Стихотворение соединяет важные мотивы из программных произведений «Муза» и «Блажен незлобивый поэт…» с мрачными медитациями 1855 года, однако добавляет к ним важные детали. Гражданин призывает поэта к тому, что всегда составляло основу творчества самого Некрасова. Поэт, в котором слова гражданина пробудили муки сожаления, признаётся, что раньше он был таким, каким хотел бы его видеть гражданин, но, столкнувшись с клеветой и поношением, предал свою Музу; начав писать стишки о ласке милой и красе небес, он тем самым убил свою поэзию, закрыл себе дорогу в будущее. Таким образом, поэзия самого Некрасова подспудно объявляется единственной по-настоящему необходимой в кризисное время. В стихотворении «Поэт и гражданин» Некрасов впервые решился на дидактику, поучение, обращенное к «городу и миру», ко всякому честному поэту, на определение задачи литературы как служения общественным интересам. Это выглядит как ответ критикам типа Дружинина, готовым в лучшем случае отвести такой «общественной» поэзии весьма скромное место в литературной иерархии, но, безусловно, говорит о росте самосознания Некрасова, о его новой уверенности в своей поэтической правоте, подкрепленной построениями Чернышевского и предполагаемым сочувствием молодого поколения таким идеям. Тем самым автор «Поэта и гражданина» фактически признаёт себя победителем, образцовым поэтом, в некотором отношении единственным правильным и

нужным, поэтом, которому принадлежит будущее именно потому, что он не отрекся от самого себя.

Ощущение того, что он состоялся как поэт, о котором можно судить ретроспективно, и одновременно как поэт, обращенный в будущее, интересный вступающему в жизнь поколению, привело Некрасова к решению опубликовать книгу своих стихотворений. Этот план возник, когда Некрасов находился в Москве и тесно общался с «москвичами». Взялся выпустить книгу Козьма Терентьевич Солдатёнков, предприниматель, издатель, близкий к Грановскому и его кругу, стремившийся печатать хорошую литературу, сочетая коммерческие интересы с задачами просвещения. Очевидно, совет опубликовать поэтический сборник Некрасова дал ему Грановский незадолго до смерти. Уже 11 июня поэт заключил с издателем договор, обязавшись к сентябрю представить рукопись с включением еще до тысячи строк, которые он обещал написать до сентября. За права на издание книги тиражом 2400 экземпляров, реализацию тиража и авторские права сроком на два года Солдатёнков уплатил Некрасову 1500 рублей серебром (впоследствии доплатил еще столько же). Практически тогда же Некрасов с Панаевой приступил к составлению этой книги, переписывая вместе с ней свои стихи в «Солдатёнковскую тетрадь», обдумывая композицию сборника, долженствовавшего представить его стихи новой и старой публике в концентрированном виде. Однако выполнение этой задачи затянулось до середины следующего года.

Открытое будущее не значило полного отбрасывания и забвения прошлого, сделанных ошибок, отягчающих совесть поступков. В прошлом Некрасова уже была неприятная история с Белинским. В 1855 году на поверхность вышла другая сомнительная история, навсегда связанная современниками с именем Некрасова.

В ноябре в Петербург из своего имения Акшино приехал Николай Платонович Огарев со своей гражданской женой Натальей Алексеевной Тучковой. Он собирался уехать за границу к Герцену, то есть фактически эмигрировать, но до этого намеревался разрешить одно дело. Боткин сообщал Некрасову 24 ноября: «Представь, я видел наконец Огарева! — он теперь в Петербурге. <…> Говорил он со мной о своем процессе; сильно нападает на Авдотью Яковлевну. Он придает какую-то особенную важность переписке ее с Марьей Львовной, которая находится у него. Впрочем, никаких решительных фактов он привести не мог». Это письмо, должно быть, произвело на Некрасова сильное и неприятное впечатление. Речь шла о намерении Огарева начать процесс против Панаевой и ее поверенного Николая Самойловича

Шаншиева по делу о присвоении ими значительных средств первой жены Огарева Марии Львовны, урожденной Рославлевой.

История об «огаревских деньгах» началась еще в 1847 году, когда Николай Платонович, расставаясь с первой супругой, обязался выделить деньги на ее содержание — ежегодно выплачивать значительные проценты по оформленным векселям. Тем не менее Мария Львовна по совету своей близкой подруги Панаевой, взявшей на себя роль ее наставницы в этом деле, потребовала от бывшего супруга выплаты ей всего капитала. Приходится признать, что именно Панаева заставляла подругу действовать крайне жестко, фактически преследуя бывшего мужа. После долгих споров и попыток договориться в 1851 году была заключена мировая, по которой Огаревым и помогавшими ему друзьями — Сатиным и Грановским — Марии Львовне было уплачено 50 тысяч рублей в виде имения и векселей, обеспеченных верными поручительствами. Имение перешло не прямо к ней, а к выступавшему ее посредником отставному штаб-ротмистру Шаншиеву. Купчая на имение была оформлена 31 января 1851 года, и более двух лет дело казалось завершенным. Однако после того как 28 марта 1853-го Мария Львовна скончалась в Париже, Огарев, ставший одним из ее наследников, обнаружил, что из всей выплаченной им суммы его бывшая жена получила только три тысячи рублей. Вопрос, куда делись остальные деньги, привел к разбору бумаг покойной и, в частности, ее переписки с Панаевой, чтение которой убедило Огарева, что имение было присвоено Шаншиевым и, очевидно, Панаевой.

Огарев пробыл в Петербурге и Москве четыре месяца и дело не начал, однако составил целый план его ведения, которое доверил друзьям. После отъезда Огаревых за границу дело против Панаевой и Шаншиева будет вести по доверенности Н. М. Сатин. Оно будет тянуться до 1861 года, когда по приговору суда будет заключена мировая и Некрасов заплатит за Панаеву 18 610 рублей за улаживание этой сделки. Сам факт, что деньги дал Некрасов (тому есть документальные подтверждения — часть суммы была взята из кассы «Современника», и эта выплата отразилась в конторской книге журнала), конечно, не может служить уликой против него; в конце концов не мог же он допустить, чтобы его гражданскую жену посадили в тюрьму за мошенничество. Однако уже в самом начале дела в сочувствовавшем Огареву московском кружке возникло убеждение, что за спиной Панаевой и Шаншиева стоял Некрасов. Так же, видимо, думал сам Николай Платонович. 25 марта 1856 года Боткин писал Некрасову: «Тут же Кетчер обвинил тебя в

огаревском деле, что по твоим советам поступала Авдотья Яковлевна и словом, что ты способен ко всякой низости и т. д.».

Несмотря на то что прямых доказательств участия Некрасова в этой афере нет, уверенность, что именно он был ее организатором, оказалась неколебимой у многих общих знакомых. Так, Герцен, узнавший о подробностях истории от присоединившегося к нему в Лондоне Огарева, до конца жизни оставался убежден, что Некрасов ограбил его ближайшего друга, отказывался иметь с ним дело, называя негодяем и мошенником (хотя и продолжал ценить его поэзию), и всегда был готов предать историю как можно более широкой огласке.

Несмотря на немалую литературу, посвященную этой истории, роль Некрасова до сих пор остается неясной: возможно, в утраченной переписке поэта с Панаевой и Марией Львовной и содержались какие-либо убедительные доказательства его участия в этом деле, однако они никогда не были оглашены и опубликованы. Аргументы же, строящиеся на том, что Панаева не могла устроить такую аферу, не убеждают. Панаева была женщина сильная и решительная, а Некрасов был не единственным мужчиной из ее окружения, к кому она могла обращаться за советом. В любом случае общественное мнение в значительной степени было против Некрасова, и эта история легла грузом именно на его репутацию.

ПЕРВЫЙ И ЕДИНСТВЕННЫЙ

1856 год укрепил надежды и усилил ожидания общества. 18(30) марта Парижским мирным договором была завершена Крымская война. Парижский мир выглядел унизительным, но вызвал всеобщую радость как прекративший бессмысленную бойню. Никакого милитаристского духа в обществе не ощущалось, мир был желанен любой ценой. Сразу после прошедшей 26 августа коронации Александр II указом даровал прощение «государственным преступникам» — декабристам и петрашевцам. Им с семействами было дозволено возвратиться из ссылки, но без права поселиться в Петербурге и Москве. Формулировка «прощение», конечно, отвергала саму возможность какого-либо признания царем справедливости дела «преступников» и тем более вины перед ними государства. В конце следующего лета было выпущено третье издание книги Модеста Андреевича Корфа «Восшествие на престол императора Николая 1-го», содержавшей официальную версию событий, где декабристы изображены государственными преступниками и вероломными злодеями.

И всё-таки правительство явно перестало считать выступивших с оружием декабристов и тем более безоружных петрашевцев смертельно опасными для него врагами. Заканчивалась николаевская паранойя, страх перед всяким собранием свободно мыслящих людей. Кроме того, молодой император недвусмысленно дал понять, что правительство берет на себя решение той задачи, за попытки взяться за которую его отец обрек на страдания и смерть благороднейших граждан России: широкие реформы всей государственной системы, в первую очередь отмену крепостного права.

Тридцатого марта, принимая в Москве представителей московского дворянства, Александр заявил: «…Существующий порядок владения душами не может оставаться неизменным. Лучше начать уничтожать крепостное право сверху, нежели дождаться того времени, когда оно начнет само собой уничтожаться снизу. Прошу вас, господа, обдумать, как бы привести всё это в исполнение. Передайте слова мои дворянам, для соображения». Эти публично прозвучавшие слова, выразившие безусловную волю государя к отмене позорного института, борьба за ликвидацию которого была делом чести всякого благородного человека, вызвали необыкновенное воодушевление. От неопределенных надежд общество переходило к обсуждению конкретных проблем, конкретных реформ,

общественная жизнь наполнялась реальным содержанием.

Изменение общественно-политического климата быстро сказалось на литературе. На глазах ослаблялся цензурный гнет, наиболее одиозные цензоры заменялись либеральными или хотя бы более или менее «рациональными». Казалось, появляется возможность печатать в журналах политические новости, и Некрасов и Панаев сразу подали прошение о предоставлении такого права «Современнику». То же делали в это время редакторы буквально всех русских журналов. Это означало победу направления Чернышевского как единственно возможного пути для русского журнала и русской литературы в целом — к сближению с обществом, с его насущными интересами. Публика не хотела подписываться на журналы, где в очередном номере вместо обсуждения острых и больных вопросов ей предлагали читать очередную повесть о том, как красавец-помещик или гуляка-гусар влюблялся в молодую помещицу и, преодолев многочисленные препятствия, вел ее к алтарю. Только появление на их страницах политики, новостей о мире и войне могло буквально спасти толстые журналы, стоявшие на грани разорения.

Внутренняя жизнь «Современника» в первой половине 1856 года в общем напоминала прежнюю. С одной стороны, сохранялось достигнутое равновесие: в библиографическом и критическом отделах господствовал Чернышевский, в беллетристике доминировали Тургенев, Дружинин, Григорович, присоединившийся к ним Толстой. С другой стороны, это равновесие становилось всё более хрупким из-за внутренней борьбы старых сотрудников против Чернышевского.

Еще в 1855 году во время пребывания Некрасова в старой столице «москвичи» уговаривали его удалить одиозного нового сотрудника. В апреле 1856-го круг старых авторов «Современника» составил настоящий заговор с целью переманить в журнал Аполлона Григорьева, сотрудника только что закрывшегося конкурировавшего издания — «Москвитянина». Боткин, сблизившийся с Григорьевым и лоббировавший его интересы, сообщил Некрасову, что Григорьев согласился перейти в «Современник» при условии удаления из него Чернышевского. Некрасов же не собирался кем-либо заменять Чернышевского. Скорее наоборот — влияние и значение последнего в журнале усилилось, с декабрьского номера он начал печатать свой знаменитый цикл статей «Очерки гоголевского периода русской литературы», в которых идеи, изложенные в его диссертации, из теоретического русла переводились в историко-литературное, вычерчивалась история русской литературы, представленная как

движение к усилению в ней общественно-полезного и одновременно критического содержания. Эти статьи благодаря их важному месту в «Современнике» выглядели как выражение программы всего журнала.

В этой борьбе по-разному принимали участие прежние и новые сотрудники. Круг журнала снова расширился: в январе к нему окончательно примкнул Афанасий Афанасьевич Фет, до этого появлявшийся эпизодически. Он прожил в Петербурге полгода и успел завоевать ироническую, но искреннюю симпатию всего круга и самого Некрасова, в том числе своими резкими эпатирующими высказываниями (24 мая Некрасов писал Тургеневу: «Фет еще выручает иногда бесконечным и пленительным враньем, к которому он так способен. Только не мешай ему, — такого наговорит, что любо слушать. <…> Если б Фет был немного меньше хорош и наивен, он бы меня бесил страшно»). Некрасов, безусловно, симпатизировал его поэзии, представлявшей собой полную противоположность его собственной, однако предполагать в нем какое-либо сочувствие взглядам Чернышевского не стоило. Но и в качестве союзника он не был особенно ценен — его творчество тогда (до публицистических времен) было вполне камерным и никак не могло повлиять на какую-либо программу.

Мелькнул в редакции очень заинтересовавший всех ее членов литературный дебютант, скандально известный процессом против него по делу жестокого убийства его содержанки-француженки Луизы Симон-Деманш Александр Васильевич Сухово-Кобылин, сочинивший только что поставленную комедию «Свадьба Кречинского». Пьеса была напечатана в «Современнике», но ее автор, аристократ до мозга костей, предпочел остаться в литературе и драматургии «дилетантом» в старинном смысле слова — человеком, посвящающим им свой досуг, не рассматривающим их как свое основное занятие и жизненное призвание.

Из писателей, недавно вошедших в круг «Современника», наибольшее огорчение Некрасова вызывал Толстой, представлявшийся ему, видимо, естественным союзником Чернышевского, однако оказавшийся носителем вызывающе консервативных взглядов, предпочитавший сблизиться с Дружининым и его «компанией» (но и их эпатировавший своими нападками, например, на Жорж Санд и Гегеля), включившийся в кампанию по высмеиванию «клоповоняющего господина». Впрочем, поначалу это казалось Некрасову просто проявлением молодой натуры, вследствие избытка молодых сил грубоватой и симпатичной, но подлежащей «обтесыванию», заслуживающей

снисхождения и даже отчасти восхищения: «Милый Толстой! Как журналист я ему обязан в последнее время самыми приятными минутами, да и человек он хороший, а блажь уходится».

Особенно странным было для Некрасова обнаружить именно в таком молодом человеке, каким был Толстой, позицию, противоречившую его собственным представлениям о новом поколении. Некрасова удивляла такая враждебность писателя, завершившего первый севастопольский рассказ гимном правде, к критику, провозглашавшему верность жизни высшей задачей искусства. В письмах Некрасов необычайно терпеливо увещевал Толстого: «Особенно мне досадно, что Вы так браните Чернышевского. Нельзя, чтоб все люди были созданы на нашу колодку. И коли в человеке есть что хорошее, то во имя этого хорошего не надо спешить произносить ему приговор за то, что в нем дурно или кажется дурным. Не надо также забывать, что он очень молод, моложе всех нас, кроме Вас разве. Вам теперь хорошо в деревне, и Вы не понимаете, зачем злиться; Вы говорите, что отношения к действительности должны быть здоровые, но забываете, что здоровые отношения могут быть только к здоровой действительности. Гнусно притворяться злым, но я стал бы на колени перед человеком, который лопнул бы от искренней злости, — у нас ли мало к ней поводов? И когда мы начнем больше злиться, тогда будем лучше, — т. е. больше будем любить — любить не себя, а свою родину». Уже из-за границы Некрасов обращался к нему с прямым призывом: «Я не шутил и не лгал, когда говорил когда-то, что люблю Вас, — а второе: я люблю еще в Вас великую надежду русской литературы, для которой Вы уже много сделали и для которой еще более сделаете, когда поймете, что в нашем отечестве роль писателя — есть прежде всего роль учителя и, по возможности, заступника за безгласных и приниженных». Толстой был непоколебим, как и всю последующую жизнь, следуя только своему неповторимому человеческому и художественному призванию.

Зато неожиданным союзником Некрасова стал Тургенев (во всяком случае, перестал быть откровенным врагом Чернышевского). Отрицая крайности позиции Чернышевского, он уже начал считать, что в ней есть жизнь и энергия. Этот поворот, пусть и с оговорками о «сухой душе», стал для Некрасова приятным сюрпризом после тех резкостей, которые Тургенев наговорил в адрес Чернышевского в прошлом году. Тем не менее в такой перемене была своя закономерность. Сыграли роль не только готовность молодого критика высоко оценивать его творчество (перед похвалами не устоял даже Толстой, после выхода знаменитой статьи Чернышевского о его произведениях

назвавший Чернышевского «милым»), но и присущее Тургеневу нежелание оставаться «в обозе», умение обновляться, идти вперед, совершенно отсутствовавшее, скажем, у Григоровича, Дружинина или Фета. Это умение сыграло тогда важную роль в его жизни и творчестве. С 1856 года у Тургенева начался новый расцвет, «романный» период, достигший кульминации в «Отцах и детях». Интерес к новому пересилил у Тургенева личную неприязнь к провозвестнику этого нового. Писатель готовился стать пусть не вождем и вдохновителем новой эпохи, но во всяком случае заинтересованным «хроникером», внимательным и сочувствующим зрителем. Всё это усилило сближение Некрасова с Тургеневым, возникшее после смерти Гоголя, породило ощущение не просто взаимной симпатии, но солидарности, уверенности в том, что оба идут одним путем.

Ценнейшим приобретением журнала в 1856 году стал покинувший потерпевший крушение «Москвитянин» Александр Николаевич Островский. Уже прославленный драматург, автор пользовавшихся громким успехом комедий «Свои люди — сочтемся», «Бедность не порок» заявил о желании стать постоянным автором «Современника». Являя собой редкий случай «перебежчика» из враждебного «почвеннического» лагеря, Островский был нейтрален к происходившим в журнале конфликтам, не стремился к программным высказываниям. Он рассматривал «Современник» лишь как площадку для печатания своих произведений, отчасти справедливо полагая, что для этого ему не нужно связывать себя какой-то четкой программой, «направлением». Некоторая опасность была в том, что, перейдя в лагерь «Современника», он сохранял привязанность к своим бывшим соратникам. Некрасов уже на начальном этапе сотрудничества с драматургом смог эту опасность предотвратить. «Явился Григорович. В числе разных сплетен он сообщил, что Островский будто ужасно сердит за резкое мнение о Филиппове. Напиши, в какой степени это справедливо. Однако если и так, то я всё-таки скажу, что «Современник» — по крайней мере пока я в нем — не будет холопом своих сотрудников, как бы они даровиты ни были. Начни вникать, кто кому друг, так зайдешь черт знает куды», — написал он Боткину 16 июня.

В целом, несмотря на конфликты и интриги, сотрясавшие «Современник», его внутреннюю конструкцию Некрасову удавалось сохранить на протяжении всего 1856 года. Несмотря на то что в библиографическом и критическом отделах царил Чернышевский, беллетристическая часть всецело принадлежала старым сотрудникам: там регулярно печатались Толстой, Тургенев, Григорович, Фет. Стремясь удержать это равновесие,

Некрасов первую половину года по-прежнему сам составлял обзоры литературы за предыдущий месяц, сохраняя в них тот же дух оптимизма, стараясь подчеркивать прежде всего достижения русской литературы за обозреваемый период. Эти выступления проникнуты теми же идеалами, но в них меньше деклараций; есть ощущение, что интерес к ним автора падает. После июня 1856 года Некрасов в составлении таких обзоров не участвовал.

Были, однако, у Некрасова и другие причины для беспокойства за положение «Современника» помимо грозящих разрушить его изнутри конфликтов и интриг. Наступающая либерализация общественной жизни принесла в литературу еще одно изменение. Если в последние годы николаевского царствования практически невозможно было начать издавать новый журнал, то теперь получить такое разрешение стало существенно проще. Этим сразу воспользовались многие амбициозные литераторы. Так, на смену закрывшемуся «Москвитянину» пришел начавший выходить с апреля 1856 года журнал «Русская беседа» Александра Ивановича Кошелева и Тертия Ивановича Филиппова. Самым же большим и важным событием стало издание с января того же года в Москве журнала «Русский вестник» под редакцией Михаила Никифоровича Каткова, в прошлом молодого друга Герцена, бывшего профессора Московского университета, человека ученого и яркого. Утверждавший себя как журнал либеральный, западнического направления, «Русский вестник» сразу вызвал огромный интерес, получив в первый год три тысячи подписчиков (такое количество «Современник» в эти времена набирал далеко не каждый год).

Некрасов в своих обзорах выражал благожелательное отношение к каждому вновь выходящему изданию, приветствуя саму возможность выхода новых журналов как проявление новой жизни литературы. «В последних книжках «Русского вестника» появилось несколько замечательных статей ученого содержания. Мы будем говорить о них в следующем месяце. Журнальная деятельность в Москве обещает и еще более оживиться изданием нового журнала «Русская беседа», предпринятым гг. Кошелевым и Филипповым. Мы можем ошибиться, но у нас есть твердое убеждение, что «Русской беседе» так или иначе суждено играть благородную и благотворную роль в русской литературе и вообще в развитии нашего общества» — так, несколько по-маниловски, Некрасов выражал радость в «Заметках о журналах за март 1856 года». Можно сказать, что ту же атмосферу одновременно творческого разнообразия и общности, которую Некрасов стремился создать в «Современнике», он хотел видеть и в отношениях между журналами.

Несмотря на такое внешне благостное приятие происходящего, Некрасов не мог не чувствовать тревогу: появление новых журналов означало усиление конкуренции на рынке серьезной журналистики. Ему было ясно, что это только начало процесса, что число желающих попробовать себя на этом поприще станет расти (так и будет: в 1858 году начнет выходить недолго проживший «Атеней», в 1859-м — знаменитое «Русское слово», постоянно будут появляться новые издания), к тому же к новичкам примыкают прежние «массовые» журналы, в том числе «Библиотека для чтения», в 1856 году перешедшая под редакцию Дружинина и окончательно превратившаяся в «серьезный» журнал. Нарушался существовавший баланс в поле серьезной периодики между одним «славянофильским» журналом («Москвитянином») и двумя «западническими» («Современником» и «Отечественными записками»). Казалось, что на новом витке повторялась ситуация с началом издания «Современника». И восприятие ее публикой тоже было схожим: выход «Русского вестника» (который теперь выступал в роли нового «Современника») сопровождался слухами о полном падении «Современника», предположениями о их несовместимости (о них Некрасова информировал москвич Боткин, Каткову очень симпатизировавший) и невозможности одновременного существования.

Реакция Некрасова была рефлекторной, отчасти «панической» и в результате ошибочной. Его стратегия очень напоминает ту, которую они с Белинским пытались осуществить в борьбе с «Отечественными записками»: закрепить за собой авторов, отняв их у конкурентов. Однако если в 1846–1847 годах Некрасов и Белинский рассчитывали на дружеские отношения в своем кругу, на симпатию западников к Белинскому и их же антипатию к Краевскому, то теперь ситуация изменилась и на что-то подобное надеяться не приходилось. Некрасов для старых и новых сотрудников «Современника» не был и не мог быть таким же объектом безусловного восхищения и поклонения, как Белинский. Поэтому в начале февраля Некрасов предложил четверым наиболее значимым для журнала литераторам — Григоровичу, Тургеневу, Толстому и Островскому — заключить соглашение, по которому они обязались в течение четырех лет печатать свои произведения исключительно в «Современнике», а взамен не только получали плату за свои произведения, но и дивиденды от издания журнала. Несмотря на то что все приглашенные подписали договор, вызвавший страх и возмущение конкурентов (о чем опять же сообщал Некрасову Боткин), соглашение ни к каким особенно значимым последствиям не привело. Участники

(за исключением Толстого) либо постоянно нарушали договор или стремились обойти его, либо просто писали и печатали в «Современнике» мало, так что соглашение уже к 1858 году потеряло всякий смысл.

Но и от этого не случилось никакой катастрофы: оказалось, что, как и в 1847 году, в середине 1850-х на литературном поле вполне хватало места нескольким идейно близким журналам и успех «Русского вестника» (как и открытие других серьезных изданий) совершенно не повлиял на положение «Современника». Сама атмосфера свободы стимулировала к усложнению взглядов, уточнению принципов и соответственно внутренней дифференциации, формированию небольших активных групп внутри более широких идеологических течений. Конкуренция серьезных либеральных, консервативных, радикальных, славянофильских изданий — одна из важнейших тенденций наступающей эпохи, которую Некрасов в тот момент не смог разглядеть. Тем не менее процесс начался: внутри редакций журналов он вел к унификации, к избавлению от несогласных, к превращению сотрудников в коллектив единомышленников, в конечном счете к трансформации журналов в «боевые органы». В отношениях между журналами процесс вел, наоборот, к всё более острому противостоянию, журналистика постепенно трансформировалась в «поле битвы» «боевых дружин». Так что радость Некрасова по поводу «цветущей сложности» в «Современнике» и в российской журналистике в целом была преждевременной.

Успех ждал его в другой области. Важнейшим событием года стал выход сборника «Стихотворения Н. Некрасова». После проволочек (на определенном этапе возникла мысль отдать права на издание книги Боткину) рукопись всё-таки была передана Солдатёнкову, и в мае получено цензурное разрешение. В книгу вошло подавляющее большинство опубликованных к этому времени стихотворений, несколько лежавших «в столе» и несколько написанных специально для нее, а также поэма «Саша».

В середине пятидесятых годов вышли книги Тютчева, Фета, Полонского, Огарева, Майкова, Плещеева — несомненно, лучших поэтов-современников. И все они пользовались успехом — завершался короткий и нетипичный для второй половины XIX века период всплеска интереса публики к лирической поэзии. «Стихотворения Н. Некрасова» вполне представляли его творчество и резко отличались от всех остальных поэтических сборников, выпущенных в это время (можно видеть определенную близость только с книгой Огарева, но видна она только историкам литературы, современникам же бросались в глаза

различия).

Некрасов представал перед читателями как состоявшийся поэт, однако его стремление к чему-то большему делало его книгу не просто оригинальной, но совершенно особенной, соответствующей новой эпохе. Казалось, что в «Стихотворениях Н. Некрасова» есть всё, чтобы она стала любимой книгой для нового поколения читателей: страстная ненависть к действительности и общественные идеалы, которые были знаменем эпохи. Однако было еще кое-что в наступающем времени, чему некрасовская поэзия не соответствовала. Это была эпоха, когда появилась возможность не просто вести разговоры, проклинать и провозглашать идеалы, но и вести реальную деятельность, направленную на преобразование существующих порядков. Казалось, ценность поступка намного выше ценности даже совершеннейших произведений искусства. Отношение общества к тому же Толстому показывало, что перед севастопольскими подвигами бледнели всяческие художественные достижения, за них прощались любые некорректные высказывания. Книге Некрасова не хватало созидательной энергии.

Именно в период подготовки к печати своей первой «настоящей» книги Некрасов начал задумываться о возможности какого-то иного соотношения жизни и литературы, не ограничивающейся отражением действительности и ее критикой с точки зрения высоких общественных идеалов, но самой принимающей участие в изменении жизни, становившейся своего рода поступком, аналогом созидательной деятельности. Возможно, поначалу литературной формой, удобной для соединения поэзии и жизни, Некрасову показалась автобиография. Он посоветовался с Тургеневым и получил его одобрение. Можно предположить, что автобиография, опубликованная в книге или отдельно, должна была дополнить поэзию рассказом о той действительности, с которой приходилось бороться автору, и тем самым представить создание стихов своеобразным подвигом.

Однако замысел написать автобиографию отпал. Внимание Некрасова привлекла книга Карлейля «О почитании героев», большие фрагменты из которой Боткин переводил во время их совместного проживания на даче; они были напечатаны в «Современнике», вызвав, как писал сам Некрасов, большой энтузиазм, прежде всего у молодых читателей. Карлейль не только стремился воскресить культ героического начала в современном мире (поэтому его идеи оказались созвучны настроениям именно русской молодежи, стремящейся к активной

и самоотверженной работе), но и представлял некоторых писателей героями. Таковыми оказывались, например, Данте и, что более важно, Роберт Бёрнс. Героизм Бёрнса, по Карлейлю, заключался в его способности противостоять бездушному веку с помощью раскрытия собственной души, с помощью бесконечной и неколебимой веры: «Отличительную особенность Бёрнса как великого человека… составляет его искренность, искренность как в поэзии, так и в жизни. В песне, которую он поет, нет фантастических вымыслов; она касается всеми осязаемых, реальных предметов; главное достоинство этой песни, как и всех его произведений, как и его жизни вообще — истина. Жизнь Бёрнса мы можем охарактеризовать как воплощение великой трагической искренности». Поэт, становящийся героем, потому что вопреки всему был искренен в своих стихах, «переносил изо дня в день массу тяжелых страданий, вел борьбу, как незримый герой» — вот тот образ автора, который оказался привлекательным для Некрасова. И он решил начать свою книгу со специально написанного стихотворения «Поэт и гражданин», где не только варьируются уже встречавшиеся темы, но вводится мотив искренности как своего рода заслуги, в конечном счете как синоним храбрости: «Не повторю, что там я видел… / Клянусь, я честно ненавидел! / Клянусь, я искренно любил!» Эти искренние любовь и ненависть превращают стихи, художественные образы в своего рода поступки:

Без отвращенья, без боязни
Я шел в тюрьму и к месту казни,
В суды, в больницы я входил.

Здесь метафоры «шел» и «входил» приобретают почти буквальное значение: поэт как будто не «переносился воображением», не «изображал», а буквально шел в тюрьму, в больницу и на эшафот. Поэзия становилась подвигом, подобным подвигу гражданина. Автор как бы напоминал читателю, что писать те стихи, которые составляют основу книги, было «опасно», что само создание их было своего рода гражданским поступком. И потому публикация книги, куда собраны все стихотворения, в том числе подвергавшиеся цензурным гонениям, тоже представала решительным и дерзким, «опрометчивым» поступком: Некрасову явно нравилось спорить с приятелями, упрекавшими его в опрометчивости, нравилась атмосфера умеренной опасности, которая создалась вокруг книги (ее следующее издание было еще пять лет под запретом). Книга стихов не просто провозглашала когда-то опасные идеи и

ценности, но и напоминала, что именно эти стихи благодаря храбрости автора не позволили забыть эти ценности.

В продажу книга поступила 19 октября 1856 года. Ее успех у читателей был ошеломляющим: за месяц было распродано три тысячи экземпляров. Чернышевский сообщал Некрасову за границу 5 ноября: «Стихотворения Ваши, Николай Алексеевич, получены здесь (в Санкт-Петербурге. — *М. М.)* с неделю назад, — через два дня не осталось в книжных лавках ни одного экземпляра из 500, присланных в первом транспорте». Боткин писал Тургеневу 10 ноября: «Стихотворения Некрасова шибко идут, и в это короткое время книгопродавцы взяли у издателя до 1400 экземпляров. Не было примера со времен Пушкина, чтоб книжка стихотворений так сильно покупалась». 18 ноября Лонгинов известил Тургенева: «Стихотворения Некрасова возбуждают фурор». А. В. Никитенко 19 ноября в письме П. А. Плетневу жаловался: «Вышло собрание стихотворений Некрасова. Их разобрали в книжных лавках нарасхват, так что даже мне назначенный экземпляр чуть ли не продан книгопродавцем». В тот же день П. В. Анненков писал Тургеневу: «Стихотворений Некрасова успех колоссальный — экземпляры пропадают в лавках, как только появятся». Как обычно, когда спрос превысил предложение, появилась спекуляция. Известный актер Петр Андреевич Каратыгин писал приятелю 20 ноября: «Разнесся слух, будто второе издание запрещено, и теперь… остальные экземпляры вместо полутора рубля продают по 5 да по 6». Такой успех, конечно, и не снился ни одному автору поэтического сборника, вышедшего в пятидесятые годы. Он однозначно делал Некрасова самым популярным и любимым публикой поэтом.

Этот успех вынудил, наконец, и старый круг друзей (за исключением Герцена, который, признавая талант Некрасова, всё-таки был скуп на похвалы) признать в Некрасове первого и самого значительного поэта своего времени. Так, Лонгинов писал: «Едва ли это не самая многознаменательная книга нашего времени». Тургенев: «Что ни толкуй его противники — а популярнее его нет теперь у нас писателя — и поделом». Анненков самому Некрасову в письме от 25 июля 1856 года признавался: «Стихотворения Ваши я считаю единственными серьезными поэтическими произведениями нынешнего времени». Отклики прессы были разными, но во всех случаях отмечались самобытность таланта Некрасова, его первостепенное значение в русской литературе.

Сборник «Стихотворения Н. Некрасова». 1856 г.

Было, однако, нечто особенное в реакции публики на эту книгу, по сути, с самого начала делавшее не важными отклики «экспертов», знатоков. Если старшее поколение «Современника» признавало достоинства, авторитетно соглашалось, что это стихи большого поэта, то поколение молодое просто безоговорочно влюбилось в эту книгу и вместе с ней в автора. Если «неправильный», с точки зрения Некрасова, молодой человек

Толстой мог в глаза сказать о его стихах: «Первое [стихотворение] превосходно. Это самородок, и чудесный самородок, остальные *все,* по-моему, слабы и сделаны, по крайней мере, такое произвели на меня впечатление, в сравнении с первым», то «правильный» молодой человек Пыпин написал Чернышевскому 30 июня следующего года: «Когда увидишься с Некрасовым, передай ему мое глубокое почтение от моего лица и за многих других лиц. Поблагодари его за книжку стихотворений, доставляющую истинное наслаждение читателям. Здесь один господин чуть не отнял у меня его портрета. Представь, что здесь стихотворения Некрасова списываются целой книгой… и за переписку установлена уже известная, постоянная цена». Другой молодой человек, Чернышевский, уже становящийся вождем этого поколения, не просто хвалит Некрасова, не просто ставит высоко: «Вы одарены талантом первоклассным, вроде Пушкина, Лермонтова и Кольцова». А уже после выхода книги Чернышевский пишет: «Такого поэта, как Вы, у нас еще не было. Пушкин, Лермонтов, Кольцов как лирики не идут ни в какое сравнение с Вами»; «Надобно желать гораздо большего, надобно желать, чтобы мы были принуждены забыть для Вас о Пушкине, Лермонтове], Кольцове». И он объявляет Некрасова своего рода достоянием нового общества: «Вы теперь лучшая — можно сказать — единственная прекрасная — надежда нашей литературы». Не просто лучший (лучше Пушкина и Лермонтова), но единственный поэт! Чернышевскому вторит Пыпин: «Да! Теперь Некрасов единственный поэт, которого может слушать порядочная публика!» Единственный! Поэт, который на самом деле такой же молодой, как его читатели, даже если жалуется на усталость. Это единственный поэт, которого новая публика готова взять с собой в открывающееся будущее. «Помните, однако, что на Вас надеется каждый порядочный человек у нас в России», — уговаривает Некрасова Чернышевский.

Зачем поэту нужна критика, если у него есть такие читатели? Что значит мнение «экспертов», знатоков, если масса людей не просто получает удовольствие от его стихов, но начинает будто бы жить с ними, посвящает его творчество в достояние всякого порядочного человека? От своей второй книги Некрасов получил гораздо больше, чем когда-то надеялся получить от сборника «Мечты и звуки»: не признание «гением» собратьями-поэтами и не покровительство просвещенных меценатов, но преданность и любовь массы людей, для которых поэзия — не просто буквы на бумаге, но спутник в их деяниях, оракул, говорящий истину о мире и жизни. Некрасов «обошел» их всех — экспертов, ценителей изящного, либеральных литераторов, обретя свою

публику, которая и вознесла его на вершину, покоренную совсем немногими русскими поэтами.

Все эти новости Некрасов узнавал, уже находясь за границей, где его и настигла слава. Перед отъездом он выдал Чернышевскому своеобразный документ, в котором определялись его права и обязанности по изданию «Современника», делавший его почти полноправным редактором. При этом, конечно, Чернышевский должен был советоваться с Некрасовым по наиболее важным вопросам, но сам факт был очень значимым на фоне сохранявшегося в журнале противостояния. Очевидно, баланс начал нарушаться в пользу Чернышевского. Кроме того, собираясь за границу, Некрасов поручил финансовые и хозяйственные дела журнала двоюродному брату своего соредактора Ипполиту Александровичу Панаеву (правда, до 1860 года тот еще будет делить их с прежним распорядителем Вульфом), своему хорошему приятелю. Уезжая, поэт именно ему передал кассу «Современника».

Поездка планировалась давно. Некрасов ехал проконсультироваться с европейскими врачами. Были и другие цели, некоторые из них конкретные — к примеру, повидаться с Герценом и объясниться с ним по поводу огаревского дела (Герцен, несмотря на активное посредничество симпатичного ему Тургенева, встретиться отказался и слушать объяснения не захотел), другие менее определенные: посмотреть Европу, прогуляться (благо средства позволяли путешествовать с комфортом), в конечном счете отдохнуть от журнальной работы, конфликтов и в целом от бурной российской жизни. «Хорошо выскочить из своего муравейника и вдруг очутиться среди людей, которым до нас ровно никакого дела нет», — написал Некрасов Толстому в одном из первых писем из-за границы.

Выехал Некрасов 11 августа. Проехал Берлин, посетил Вену, где встретился с ожидавшей его Панаевой. В сентябре они приехали в Италию, немного пожили в Венеции, а 20 сентября (2 октября) прибыли в Рим, где задержались до начала следующего года. Немного попутешествовали по Италии, ездили во Флоренцию, Неаполь, посещали небольшие города. Некоторое время провели в Париже. Всего Некрасов пробыл за границей почти год, вернувшись в Россию в конце июня 1857-го.

Европа, в том числе Италия, не представлялась Некрасову «священной землей» — ни в эстетическом, ни в политическом смыслах. Он ехал не поклониться ее святыням, но «посмотреть», не рассчитывая испытать никаких восторгов. Суждения Некрасова об архитектуре, облике городов, в которых он бывал или жил, могут показаться достаточно сдержанными и часто

поверхностными: «Вена удивительно красива, великолепна и чиста»; «Какая прелесть Венеция! Кто ее не видал, тот ничего не видал. Описывать скучно и некогда…»

Он осматривал достопримечательности, выбирая часто весьма мрачные или необычные: «В Ферраре забрел я в клетку, где держали Тасса, и целый день потом было мне очень гадко. Вся стена исцарапана именами приходивших взглянуть на тюрьму Тасса (то-то много ему от этого радости!). Я не посмел нацарапать своего имени там, где, между прочим, прочел имя Байрона, а хотелось». Дружинину коротко изложил впечатления сразу от нескольких городов: «Венеция стоит того, что о ней писали разные великие и не великие люди. Волшебный город — ничего поэтичнее даже во сне не увидишь, наглотавшись хашишу! Флоренция также недурна. С Римом я еще мало знаком, но, право, шататься по Колизею в лунный вечер — дело недурное: этим я покуда занимаюсь в Риме, да еще хожу по вечерам в оперу».

Впрочем, Рим, в котором Некрасов прожил дольше всего, вызывал противоречивые чувства: «По наклонности к хандре и романтизму иногда раздражаюсь здесь от бесчисленных памятников человеческого безумия, которые вижу на каждом шагу. Тысячи тысяч раз поруганная, распятая добродетель (или найди лучше слово) и тысячи тысяч раз увенчанное зло — плохая порука, чтоб человек поумнел в будущем. Под этим впечатлением забрался я третьего дня на купол Св. Петра и плюнул оттуда на свет божий — это очень пошлый фарс — посмейся». Боткину позднее писал о намного более благоприятных впечатлениях: «Ноябрь был холоден, но весь декабрь стоит — чистое наше лето, даже дожди редки. Сборное место здесь Monte Pencio[26], гора в самом центре города — там я провожу большую часть дней от 12 до 4 часов, пилит музыка и бродит разноплеменная толпа. Рим я очень полюбил. Чувствую, когда уеду, буду часто вспоминать о нем с чувством изгнанника, думающего о родине. <…> Новые [люди?] — здесь гнусны, но кроме этого низкопоклонного поколения здесь есть другое, вечно живое, могучее и красноречивое в своей неподвижности и каменном бесчувствии. Это не значит, чтоб я очень полюбил статуи и картины, но дух того бога, которому все мы служим, — веет над этим городом; приди — и приобщись! Но как новейший Рим гадок, как и вся Италия — сказать не умею! Религиозное шарлатанство невероятно. На днях были здесь Рождественские торжества. Я был —

И очи потешил во храме Петра

Великой комедией Рима».

Что-то приводило в восторг, что-то отталкивало: «Все эти дни я смотрел разные религиозные дивы, подобных которым нигде нельзя увидать, кроме Рима. Сейчас воротился с самой эффектной церемонии. Папа с балкона благословлял народ и кидал буллы. Огромная площадь Св[ятого] Петра битком была набита народ[ом] и экипажами. Зрелище удивительно красивое — в размерах колоссальных. Сегодня вечером Св[ятой] Петр будет весь мгновенно освещен — пойду смотреть». Другие итальянские города вызывали меньше симпатии: «Чивитта-Веккии, гнусный приморский городишко в 50-ти милях от Рима»; «Ливорно такая дрянь, о которой не стоит говорить. Вообще Италия зимой, куда ни загляни — жалкая вещь…» В общем, особого восторга, упоения, эстетического наслаждения Некрасов не испытал — во всяком случае, не сообщил о подобных чувствах в письмах. Все эти «статуи и картины» не представляли для него трепетного интереса, свидание с ними ничего не перевернуло в его душе.

В том же духе Некрасов писал о пейзажах Италии: в значительной степени как выздоравливающий больной, для которого окружающая природа — это «климат», воздействующий на его организм: «Здесь воздух чудо — тепло, как летом, большую часть дней (кроме ноября, который был дурен и холоден), но вряд ли полезен мне римский воздух, — как подует широко, так от волнения грудь теснит. Говорят, это признак хороший в больном, но вообще я чувствую себя слабее, чем когда-либо». Иногда поэт был доволен открывающимися видами, порой они вызывали раздражение, но в любом случае и природа Италии (о Франции, Австрии и Германии в этом отношении он практически ничего не писал) не стала для него эстетическим открытием, не пробудила его творческой мысли.

То, что Европа его не тронула ни природой, ни культурой (не говоря уже о политической жизни), в самом начале путешествия Некрасов объяснил слишком поздним приездом: «Да, хорошо было бы попасть сюда, когда впечатления были живы и сильны и ничто не засоряло души, мешая им ложиться. Я думаю так, что Рим есть единственная школа, куда бы должно посылать людей в первой молодости, — в ком есть что-нибудь непошлое, в том оно разовьется здесь самым благодатным образом, и он навсегда унесет отсюда душевное изящество, а это человеку понужней цинизма и растления, которыми дарит нас щедро родная наша обстановка. — Но мне, но людям, подобным мне, я думаю, лучше

вовсе не ездить сюда. Смотришь на отличное небо — и злишься, что столько лет кис в болоте, — и так далее до бесконечности. Возврат к впечатлениям моего детства стал здесь моим кошмаром, — верю теперь, что на чужбине живее видишь родину, только от этого не слаще и злости не меньше. Всё дико устроилось в русской жизни, даже манера уезжать за границу, износивши душу и тело… Зачем я сюда приехал?»

Можно видеть в этом признании Некрасова объяснение им своей неспособности встать на сторону «чистого искусства», проповедуемого Дружининым и его сторонниками («нет в тебе поэзии свободной»). Он как будто завидует людям, подобным Боткину или Тургеневу. В его душе никогда не было тех крыльев, которые позволяли другим, пребывая в николаевской России, подниматься над этой действительностью, переноситься в прекрасный мир искусства, высоких философских абстракций. Рим, Италия заставили Некрасова острее почувствовать «приземлен-ность» свою и своего творчества и одновременно острее ощутить ее как свой удел.

Заграничная поездка принесла изменения в личную жизнь. Практически всё время за границей Некрасов провел вместе с Панаевой: она отправилась раньше, в Вене они встретились и до конца поездки почти не расставались. Кризис в их отношениях миновал, сменившись почти идиллией. При этом, однако, у Некрасова возникло ощущение какой-то ретроспективное™ отношений после разрыва, после смерти любви, основанных уже не на страсти, а на привычке и воспоминаниях о том, как хорошо им было вместе. Некрасов много и откровенно пишет об этом наиболее близким друзьям, прежде всего Тургеневу, чей любовный опыт был схож с некрасовским (во всяком случае, был не менее запутанным и странным), и Боткину, ставшему, отчасти поневоле, свидетелем и участником семейных ссор и примирений.

В самом начале жизни в Риме Некрасов в письмах Тургеневу рисует достаточно идиллическую картину отношений, превратившихся в почти «приятельские»: «А[вдотья] Я[ковлевна] теперь здорова, а когда она здорова, тогда трудно приискать лучшего товарища для беспечной бродячей жизни. Я не думал и не ожидал, чтоб кто-нибудь мог мне так обрадоваться, как обрадовал я эту женщину своим появлением. Должно быть, ей было очень тут солоно, или она точно меня любит больше, чем я думал. Она теперь поет и подпрыгивает, как птица, и мне весело видеть на этом лице выражение постоянного довольства — выражение, которого я очень давно на нем не видал. Всё это наскучит ли мне или нет, и скоро ли — не знаю, но покуда ничего

— живется». Однако чуть позднее уже с Боткиным он делится своим разочарованием: «Сказать тебе по секрету — но чур по секрету! — я, кажется, сделал глупость, воротившись к… Нет, раз погасшая сигара — не вкусна, закуренная снова!.. Сознаваясь в этом, я делаю бессовестную вещь: если б ты видел, как воскресла бедная женщина, — одного этого другому, кажется, было бы достаточно, чтоб быть довольным, но никакие хронические жертвы не в моем характере. Впрочем, совестно даже и сказать, чтоб это была жертва, — нет, она мне необходима столько же, сколько… и не нужна… Вот тебе и выбирай, что хочешь. Блажен, кто забывать умеет, блажен, кто покидать умеет — и назад не оглядывается… Но сердце мое очень оглядчиво, черт бы его побрал! Да и жаль мне ее, бедную…»

Видимо, теперь уже у Некрасова возникала мысль о разрыве и бегстве от возлюбленной, которая не реализовалась исключительно из-за привычки. «Я очень обрадовал А[вдотью] Як[овлевну], которая, кажется, догадалась, что я имел мысль от нее удрать. Нет, сердцу нельзя и не должно воевать против женщины, с которой столько изжито, особенно когда она, бедная, говорит пардон. Я по крайней мере не умею и впредь от таких поползновений отказываюсь. И не из чего и не для чего! Что мне делать из себя, куда, кому я нужен? Хорошо и то, что хоть для нее нужен. Да, начинать снова жить — поздно, но жить мне еще можно — вот на чем я остановился», — писал Некрасов Тургеневу 17 февраля (1 марта) 1857 года, возвратившись к Панаевой в Рим из Парижа, где встречался с Тургеневым и Толстым. Эти слова во многом находятся в противоречии с несомненной устремленностью Некрасова в будущее, свидетельствуя скорее о том, что он как будто уговаривает себя. Ясно, что, если человек хочет жить, если еще надеется на будущее, такие отношения есть предвестие расставания, затянувшегося благодаря «оглядчивости» сердца, свидетельство тлеющей симпатии, страха остаться одному, разрушить сложившийся быт.

Всё-таки заграничная поездка была для Некрасова прежде всего отдыхом. Теперь, когда корректуры «Современника» читал Чернышевский, а за финансами журнала следил Ипполит Панаев, у Некрасова появилось время на длинные письма, адресованные тем, с кем ему хотелось иметь тесные отношения: Тургеневу, Боткину, Толстому. Эти письма не только длинные, но и необычайно рефлексивные. У их отправителя есть время подумать о себе, заглянуть в свои чувства, проанализировать свой характер.

Особенно интересны в этом отношении письма Толстому. Письма Тургеневу и Боткину — это письма друзьям, почти

ровесникам; в них много искренне сказанного, но много и остающегося между строк, поскольку они и так хорошо его знают. С Толстым же Некрасов продолжает общаться как с человеком, который его знает плохо, но которому он хотел бы показать себя, к которому хотел бы стать ближе. В соединении с желанием хотя бы в некоторой степени «воспитать» начинающего, но, несомненно, талантливого молодого писателя это приводит к очень редким у Некрасова признаниям и попыткам рассказать о собственном характере и вместе с ним о себе как литераторе. Защищая перед Толстым свою поэзию, Некрасов едва ли не единственный раз с уровня, так сказать, идеологического — убежденности, что такая литература единственно честная и нужная, — переходит на уровень психологический и рассуждает о том, почему ему близки именно такие убеждения и такая литература: «Вы грустны, у Вас, кажется, хандра. Хандра и грусть у человека в Вашем положении, мне кажется, может быть только, когда у него нет цели в жизни. Ближайшая цель, труд, у Вас есть, но цель труда? Хорошо ли, искренно ли, сердечно ли (а не умозрительно только, не головою) убеждены Вы, что цель и смысл жизни — любовь? (в широком смысле). Без нее нет ключа ни к собственному существованию, ни к существованию] других, и ею только объясняется, что самоубийства не сделались ежедневным явлением. По мере того как живешь — умнеешь, светлеешь и охлаждаешься, мысль о бесцельности жизни начинает томить, тут делаешь посылку к другим — и они, вероятно (т. е. люди в настоящем смысле), чувствуют то же — жаль становится их — и вот является любовь. Человек брошен в жизнь загадкой для самого себя, каждый день его приближает к уничтожению — страшного и обидного в этом много! На этом одном можно с ума сойти. Но вот Вы замечаете, что другому (или другим) нужны Вы — и жизнь вдруг получает смысл, и человек уже не чувствует той сиротливости, обидной своей ненужности, и так круговая порука. Всё это я выразил очень плохо и мелко — что-то не пишется, но авось Вы ухватите зерно. Человек создан быть опорой другому, потому что ему самому нужна опора. Рассматривайте себя как единицу — и Вы придете в отчаяние. Вот основание хандры в порядочном человеке — думайте, что и с другими происходит то же самое, и спешите им на помощь».

Любовь к ближнему и желание помочь ему как единственный способ преодолеть заброшенность и тоску являются истоком «общественного» характера поэзии Некрасова. Уже тогда он ощущал то, что станет одним из важнейших стимулов жизни и деятельности революционеров-шестидесятников, а затем народников, таких как Чернышевский, Добролюбов, Писарев:

желание жертвовать собой для другого как способ собственного спасения. В «Поэте и гражданине» звучит призыв:

Иди в огонь за честь отчизны,
За убежденье, за любовь…
Иди и гибни безупречно.
Умрешь не даром: дело прочно,
Когда под ним струится кровь…

Некрасов написал эти строки намного раньше, чем те, к кому они обращены, пошли умирать «за убежденье, за любовь».

Состояние покоя, отсутствие необходимости читать корректуры вместе с известиями о небывалом успехе его стихотворного сборника приводят Некрасова к мысли взяться за большое произведение, «опус магнум», который должен был упрочить его положение в литературе. В ноябре (отложив практически все остальные дела) и декабре в Риме он увлеченно пишет большую поэму «Несчастные». Видимо, ее тема была навеяна полученным из России сообщением об амнистии декабристам и петрашевцам. Поэма представляет собой рассказ преступника, вернувшегося из Сибири. Центральный образ второй части «Несчастных» — «интеллигентный» каторжник по прозвищу Крот, просвещающий преступников, пробуждающий в них добрые и благородные чувства, — до сих пор вызывает споры о его прототипе. В нем много черт, напоминающих Белинского, и он, несомненно, навеян воспоминаниями о великом критике. Достоевский, однако, утверждал в воспоминаниях о Некрасове, что тот говорил ему, что, когда писал «Несчастных», думал о нем. Поэтому вопрос, кто же такой столь волновавший автора Крот, остается открытым. Некрасов вложил в «Несчастных» почти весь свой жизненный опыт (исключая только журнальную работу и поэзию): детство в усадьбе с отцом-крепостником и страдающей матерью, ранняя юность в провинциальном городе, молодость в Петербурге, любовь и ревность, поучения Белинского о роли Петра I в истории Российского государства, размышления о крестьянстве, русские пейзажи… В результате поэма получилась очень «пестрой» и потому «экспериментальной», в ней соединены прозаические описания, может быть, больше нигде у Некрасова так далеко не заходившие (самое удачное место — картина провинциального города с гусями, переходящими дорогу и разгоняемыми проезжающей почтовой тройкой), с фрагментами, проникнутыми высоким идейным и поэтическим пафосом.

По тому, что Некрасов стремился еще в рукописи ознакомить с поэмой близких приятелей — Тургенева и Боткина, чьим

мнением дорожил, чьему литературному вкусу доверял, как доверял их суждениям и советам, касающимся его личной жизни, видно, какие инвестиции делал он в это произведение. Некрасов даже писал им, что решительно связывает с успехом или неудачей поэмы решение, продолжать ли ему занятие литературой.

«Несчастные» не относятся к удачам Некрасова и сейчас читаются редко. В поэме ощущается сильная, чрезмерная «литературность». Рассказчика на каторгу приводит вполне мелодраматическое убийство жены из ревности, Крот столь же мелодраматическим возгласом «Нет в вас Бога!» пробуждает совесть в отпетых преступниках. Это редкий у Некрасова случай, когда исходная идея оказалась искусственной и не смогла организовать разнородный материал. Но эта неудача (к слову сказать, отнюдь не для всех очевидная) совершенно не помешала дальнейшей поэтической деятельности автора (его обещания друзьям в случае фиаско задуматься над завершением литературной карьеры нужно признать своего рода кокетством) и никак не сказалась на его творческой репутации. Фактически само стремление Некрасова написать «большую поэму» на этом этапе его литературной биографии оказалось ошибочным, хотя опыт и был полезным.

Значительно более удачным и своевременным оказался замысел другой — лирической — поэмы «Тишина», начатой тоже за границей (возможно, тогда еще не предполагалось, что это будет целая поэма — в начале 1857 года была написана только одна часть, ставшая в окончательном тексте третьей), а законченной уже по возвращении в Россию. Если в «Несчастных» автор как будто пытался подвести итог творчеству, суммировать его, то «Тишина» открывала новые возможности некрасовской поэзии. Некрасов делился с Толстым: «…Вот какая пришла мне мысль. Рутина лицемерия и рутина иронии губят в нас простоту и откровенность. Вам, верно, случалось, говоря или пиша, беспрестанно думать: не смеется ли слушатель? Так что ж? Надо давать пинка этой мысли каждый раз, как она явится. Всё это мелочное самолюбие. Ну, если и посмеются, если даже заподозрят в лицемерии, в фразе, экая беда! Мы создаем себе какой-то призрак — страшилище, который безотчетно мешает нам быть самими собою, убивает нашу моральную свободу».

О какой откровенности идет речь? Очевидно, что и раньше стихотворения Некрасова были искренни и даже превосходили искренностью произведения других поэтов. Речь идет о новом понимании искренности. Что является мерилом откровенности? Чаще всего — способность признаваться в дурном. В этом смысле

искренни «Родина», «Я за то глубоко презираю себя…», «Подражание Лермонтову». В письме Толстому откровенность понимается по-другому, по-новому, как смелость признаваться в добрых и высоких порывах и поступках, даже если эти порывы наивны и в глазах умудренных опытом людей могут выглядеть комично. В духе этой «новой» искренности и написана «Тишина»[27].

Это поэма о Крымской войне и обороне Севастополя — событиях, вызвавших сердечное сочувствие Некрасова. Но хотя в поэме присутствуют и беглые зарисовки сражений, главная ее тема — завершение войны, наступление мира (именно такое значение имеет в первую очередь название произведения), возвращение домой русских солдат — они совершили героическое дело и теперь могут отдохнуть. К центральной эпической теме присоединяется лирическая — сам автор, лирический герой, возвращается в Россию из-за границы, из шума европейской жизни в русскую деревенскую тишину. Государственные события переживаются как частные, глубоко личные. Это позволяет Некрасову создать произведение национального масштаба, с подсветкой болезненно актуальной эпической темы лирическим началом, собственным искренним чувством.

Это обращение к общенациональной проблематике, пожалуй, впервые позволяет Некрасову выйти за пределы своей системы ценностей, показать иные ценности, не совпадающие с его собственными, не как предмет сатирического отрицания, но как объект сочувствия. Речь идет о христианских ценностях. В поэме «Тишина» в некрасовской поэзии впервые появляется образ храма как воплощения веры. Это, конечно, сельский храм, воплощающий религиозность народную, «низовую», простую:

Храм божий на горе мелькнул
И детски чистым чувством веры
Внезапно на душу пахнул.
Нет отрицанья, нет сомненья,
И шепчет голос неземной:
Лови минуту умиленья,
Войди с открытой головой!
Как ни тепло чужое море,
Как ни красна чужая даль,
Не ей поправить наше горе,
Размыкать русскую печаль!
Храм воздыханья, храм печали —
Убогий храм земли твоей:

Тяжеле стонов не слыхали
Ни римский Петр, ни Колизей!
Сюда народ, тобой любимый,
Своей тоски неодолимой
Святое бремя приносил —
И облегченный уходил!
Войди! Христос наложит руки
И снимет волею святой
С души оковы, с сердца муки
И язвы с совести больной…

Я внял… я детски умилился…
И долго я рыдал и бился
О плиты старые челом,
Чтобы простил, чтоб заступился,
Чтоб осенил меня крестом
Бог угнетенных, Бог скорбящих,
Бог поколений, предстоящих
Пред этим скудным алтарем!

Чувство умиления недаром названо «детским» — оно уже прожито и в некотором смысле «несерьезно», но одновременно и очень симпатично в своей чистоте и наивности. В этом случае к народу нельзя относиться всерьез, как к взрослому. Соответственно религиозность предстает способом народа-ребенка излить свои страдания, свои горести.

Тот Бог, к которому сам Некрасов готов прийти, — специфический Бог угнетенных, скорбящих, воплощение скорби и страданий и надежды на избавление от них. Приобщаясь к этому народному Христу, лирический герой «Тишины» приобщается в первую очередь к страдающему народу. И всё-таки нигде так близко, как здесь, Некрасов не подходил к христианству как минимум в духе Достоевского: сама ассоциация подлинной веры с детством и народом очень близка, например, к концепции, развернутой в «Преступлении и наказании». Это даже вызвало у Герцена подозрение в ренегатстве («магдалинстве», по его словечку) или резком изменении позиции. Однако внимательному читателю видно, что этот мотив в «Тишине» не превращается, как у Достоевского, в концепцию спасения, а остается аффектом, душевным порывом, одним из способов переживания страданий. Поэма не останавливается на Христе как своем апофеозе. Центральный мотив — возвращение из «шума» в «тишину» — всё время обогащается, представая как возвращение

с войны в мирную жизнь, с чужбины на родину, из места, где убивают, в места, где врачуют. В результате Некрасову удается ввести в поэму не только героическое и патриотическое содержание, но и политическое через противопоставление тишины как покоя и отдыха и тишины как сна. Тишина, охватившая Русь, — это не застой, в который снова готова погрузиться Россия, но время для того, чтобы оправиться от шока, вглядеться в открывшуюся «правду», для размышления над тем, что с ней произошло и куда двигаться дальше. Россия в «тишине» думает думу и набирается сил для движения вперед (легко читалось «для реформ»).

Сам поэт в это время как будто, наоборот, отдыхает от России. Но российская жизнь по-прежнему занимает его. До него доходят новости о политических событиях на родине: коронации, амнистии, создании секретного комитета «по устройству быта помещичьих крестьян», освобождении из крепости революционера Михаила Бакунина и т. д. Некрасов продолжает активно участвовать в издании журнала, получает новости от Чернышевского и Панаева, дает им инструкции, в письмах просит друзей писать для «Современника» и т. д. До него доходят известия об успехе его книги, доходят и сообщения о буре, поднятой перепечаткой Чернышевским в «Современнике» нескольких стихотворений из сборника.

Опрометчивый поступок Чернышевского вызвал запрет на несколько лет переиздания «Стихотворений Н. Некрасова», сгустил тучи над журналом, вызвал гнев испуганных литераторов (Боткина, Дружинина), сделал невозможными подробные критические отзывы о книге (так, по цензурным причинам не вышла в свет статья Дружинина). Некрасов выразил серьезное неудовольствие и даже негодование по поводу поступка Чернышевского, но после выражения последним понимания своей ошибки оказался склонен его «простить» за любовь к журналу. Он недвусмысленно встал на защиту Чернышевского. «…Я был, — писал он Толстому в марте — апреле 1857 года из Рима, — серьезно обижен тем несомненным фактом, что все мои литературные друзья в деле о моей книге приняли сторону сильного, обвиняя меня в мальчишестве. Ах, любезный друг! Не мальчишество на этом свете только лежание на пуховике, набитом ассигнациями, накраденными собственной или отцовской рукой». Это обвинение «литературных друзей» было ему даже приятно, поскольку доказывало его собственную «молодость», и он как будто признал себя отчасти «сообщником» Чернышевского.

Кое с кем из «литературных друзей» Некрасов виделся за

границей — в Риме у него некоторое время жил Фет, в Париже он встречался с Тургеневым и Толстым. В Париж по вызову друзей к нему приезжал Боткин, уговаривать лечить горло, состояние которого внезапно ухудшилось.

Некоторые новости, однако, до Некрасова не доходили. Он практически ничего не знал про ту кампанию, которую в начале 1857 года против него и Чернышевского затеял Дружинин, побуждая авторов и постоянных сотрудников «Современника» выступить согласованно против ненавистного парвеню, а также печататься в «Библиотеке для чтения», редактором которой он был, то есть нарушить «обязательное соглашение». При этом Дружинин то использовал запретные приемы, то проявлял необычайную слепоту. Так, 26 января 1857 года он писал Тургеневу: «Не возлагайте надежд на возвращение Некрасова, скажу вам более — это отсутствие полезно. Мы с вами, сидя в центре литературного] круга и зная хорошие стороны Некрасова], не могли бы представить себе, насколько он *ненавидим* всей юной и образованной частью писателей, тем кругом, на котором всё держится. Эти истории недоплаченных денег, невежливых приемов, затерянных рукописей, не совсем чистых счетов сделали и то, что в некотором отношении даже Андрей (Краевский. — *М. М.)* стоит его выше. Дай Бог, чтобы путешествие его освежило и заставило взглянуть на себя, при его огромном уме и еще свежей частичке сердца оно может статься». Неизвестно, на какую информацию опирается Дружинин и каких молодых писателей имеет в виду — или просто инсинуирует; в любом случае его аргументы крайне некорректны и утверждения противоречат множеству других — о Некрасове как о редакторе Божьей милостью, очень внимательном именно к молодым литераторам. Скорее всего, о столь враждебных выходках Некрасову не сообщали, и он был уверен, что созданный им баланс в журнале сохраняется, в то время как «обязательное соглашение» распадалось, фактически так и не начавшись.

Скорее всего, Некрасов не обратил внимания на то, что в его отсутствие в журнале опубликовал небольшие критические статьи привлеченный Чернышевским начинающий литератор Николай Александрович Добролюбов: таких молодых рецензентов текущей беллетристики и научной продукции из числа студентов всегда много при журналах. Чернышевский же не сообщал ничего об экстраординарном впечатлении, произведенном на него этим молодым человеком, о том, какое будущее в журнале уже тогда видел для него.

ТРУДНЫЙ ВЫБОР

Некрасов возвратился в Петербург 28 июня 1857 года и, повидавшись с Иваном Панаевым и Вульфом (Ипполита Панаева в это время не было в городе), поселился вместе с Панаевыми на даче близ Петергофа. Вернувшись из яркой Италии в серую Россию, Некрасов всё-таки испытывал теплые чувства. «Серо, серо! глупо, дико, глухо — и почти безнадежно! И всё-таки я должен сознаться, что сердце у меня билось как-то особенно при виде «родных полей» и русского мужика», — написал он Тургеневу по приезде. В том же письме Некрасов отправил приятелю сложенные под этим впечатлением стихи, представляющие собой своего рода квинтэссенцию поэмы «Тишина», работу над которой он завершил в Петергофе:

В столицах шум — гремят витии,
Бичуя рабство, зло и ложь,
А там, во глубине России,
Что там? Бог знает… не поймешь!
Над всей равниной беспредельной
Стоит такая тишина,
Как будто впала в сон смертельный
Давно дремавшая страна.
Лишь ветер не дает покою
Вершинам придорожных ив,
И выгибаются дугою,
Целуясь с матерью-землею,
Колосья бесконечных нив…

Некрасов не упустил случая показать неприглядность действительности в «чернокнижном» стихотворении, отправленном Лонгинову:

Наконец из Кенигсберга
Я приблизился к стране,
Где не любят Гутенберга
И находят вкус в говне.
Выпил русского настою,
Услыхал «ебёна мать»,
И пошли передо мною
Рожи русские плясать.

Словом, впечатления Некрасова после долгого отсутствия на родине были противоречивыми. Возвращение принесло временную дезорганизацию в личную жизнь: идиллические отношения с Панаевой сменились скандалами и ссорами, в которых приятели Некрасова склонны были обвинять его «подругу». Кроме того, произошла размолвка с ближайшим приятелем — Тургеневым, причиной которой стали необдуманные слова Некрасова в письмах Герцену. Впрочем, и тот и другой конфликты удалось быстро уладить: Тургенев принял объяснения Некрасова, отношения с Панаевой вернулись в спокойное состояние «после любви», достигнутое во время пребывания за границей.

В любом случае Россия была единственно возможной средой существования Некрасова — только здесь у него были интересы и «дела». И сразу по приезде Некрасов погрузился в российскую литературную жизнь, от которой, несмотря на постоянный контакт с Чернышевским, всё-таки несколько отвык.

Эта жизнь представлялась ему идущей по тому направлению, которое он сам отстаивал и которое считал на данный момент единственно верным, и это его радовало. «Вся литература и публика за нею (сколько мог я заметить по Вульфу и Панаеву) круто повернула в сторону затрагивания общ[ественных] вопросов и т[ому] под[обного]. На Панаеве это можно видеть очень ясно — в каждом его суждении так и видишь, под каким ветром эта голова стояла целый год», — сообщал Некрасов о своих впечатлениях в длинном и подробном письме Тургеневу, остававшемуся за границей.

Одновременно, по его мнению, это движение сталкивается с традиционными препятствиями. Благоволение правительства к литературе не вызывает у Некрасова доверия: «Но, собственно, всё то же идет в отношении цензуры и даже начало несколько поворачивать вспять. Уже задерживаются статьи — за мрачное впечатление и т. п., то есть произвол личности опять входит в свои права». Сам поворот литературы к общественной проблематике принимает мелочные формы: «В литературе движение самое слабое. Все новооткрытые таланты, о которых доходили до тебя слухи, — сущий пуф. Эти Водовозовы и проч, едва умеют писать по-русски. Гений эпохи — Щедрин — туповатый, грубый и страшно зазнавшийся господин. Публика в нем видит нечто повыше Гоголя! Противно раскрывать журналы — всё доносы на квартальных да на исправников, — однообразно и бездарно! В «Русск[ом] вест[нике]», впрочем, появилась большая повесть Печерского «Старые годы» — тоже таланта немного, но интерес сильный и смелость небывалая».

Выразил Некрасов недовольство и тем, как велся журнал в его отсутствие: «Чернышевский малый дельный и полезный, но крайне односторонний, — что-то вроде если не ненависти, то презрения питает он к легкой литературе и успел в течение года наложить на журнал печать однообразия и односторонности. Бездна выходит книг, книжонок, новых журналов, спекулирующих на публику, — обо всём этом не говорится в журнале ни слова! Не думаю, чтоб это было хорошо. Ведь публика едва ли много поумнела со времен Бел[инского], который умел ее учить и вразумлять по поводу пустой брошюры. И много таких упущений, об-мертвивших журнал». Это суждение Некрасова оказалось ошибочным. Его представление, что журнал живет прежде всего легкой литературой и беллетристикой, что публика требует в первую очередь ее, скоро было опровергнуто ходом жизни: именно Чернышевский курсом на «серьезность» отвечал потребностям нового читателя. Подписка на «Современник» увеличивалась, отказ от «легкости» привлек новых читателей.

Завершив поэму «Тишина», Некрасов в августе приезжает в Петербург и поселяется на Литейном проспекте в доме, принадлежавшем Краевскому. После европейской идиллии и экзотики начинается российская рутина. Некрасов «спит и играет», ездит на охоту, встречается с приятелями. Тургенев по-прежнему находится за границей, зато в октябре происходит, наконец, сближение с Толстым, который часто в это время бывает на Литейном. Не вмешиваясь в деятельность Чернышевского по части критики и библиографии, Некрасов принимает на себя беллетристический отдел. Продолжая верить, что без качественной беллетристики журнал не может существовать, он старается сохранить конструкцию «Современника»: посылает «циркулярное письмо» участникам «обязательного соглашения», пишет им личные послания, упрекая за бездеятельность, прося дать что-нибудь в журнал. И хотя дело выглядит всё более безнадежным и даже бесполезным, Некрасову еще удается в анонсе об издании «Современника» в 1858 году заявить, что «обязательное соглашение» остается в силе.

Если с журналом дела обстояли более или менее благополучно, то еще один издательский проект Некрасова, возникший почти сразу после его возвращения в Россию, закончился обидной и болезненной неудачей, еще раз показавшей ему, что прошлое не исчезло, не поглощено настоящим и ничто не забыто. Появившаяся возможность печатно упоминать о Белинском привела Некрасова к мысли издать коллективный сборник в пользу вдовы и дочери великого критика. Он сделал Марии Васильевне соответствующее предложение и неожиданно

получил отказ: «…прошу Вас не беспокоить себя никакими хлопотами ради дочери Белинского, которая, пока я жива, имеет необходимое», — тем более унизительный, что сам Некрасов был уверен в ее согласии и еще до получения от нее ответа начал обсуждать замысел с Тургеневым и другими литераторами. Отказ вдовы Белинского от явно выгодного для нее предприятия был сделан под влиянием «москвичей», опекавших ее все годы после смерти мужа. Некрасов считал, что те внушили Марии Васильевне недоверие к его финансовой чистоплотности (сыграли свою роль истории с Белинским и с изданием «Стихотворений» 1856 года), и предложил установить независимый «контроль» над всеми делами по изданию, проча на роль контролеров Тургенева и Анненкова, однако изменения ее позиции не добился. Возможно, дело здесь было не столько в недоверии, сколько в нежелании «москвичей», чтобы Некрасов ассоциировался с Белинским, своеобразной мести ему, стремлении отнять у Некрасова право на память о великом критике, право упоминаться рядом с человеком, которого он когда-то, по их твердому убеждению, ограбил. (В 1860 году Мария Васильевна приняла стипендию от только что созданного Литературного фонда. Очевидно, в деньгах она нуждалась, но получить их из рук Некрасова или при его посредничестве не пожелала.)

Несмотря на то что первой реакцией вернувшегося Некрасова на деятельность Чернышевского было недовольство, он быстро переменил мнение о работе сотрудника и в конечном счете о нем самом. Во второй половине 1857 года произошло личное, человеческое сближение Некрасова с Чернышевским, которое сильно запоздало в сравнении со сближением деловым. О том, что оно случилось именно тогда, говорит относящееся к этому времени «игривое» стихотворение, записанное Некрасовым в альбом жены Чернышевского Ольги Сократовны, урожденной Васильевой:

Знаком с Вами будучи лично,
Я рад Вам всегда угождать.
Но в старости — вряд ли прилично
В альбомы писать.
Ах, младость! Ты — счастье, ты — радость,
С тобой и любовь и стихи!
А старость — ужасная гадость!
Хи-хи!

Таким образом, это были уже во многом «домашние» отношения, приятельство семьями. Причины, по которым личное

сближение стало происходить так поздно (и, видимо, так и не дошло до того уровня близости, какой был у Некрасова с Тургеневым или Боткиным), разнообразны. Прежде всего, Чернышевский по вкусам, привычкам, бытовому поведению был существенно дальше от Некрасова, чем его прежние «литературные друзья» — Тургенев, Боткин или даже Дружинин. Разночинец с университетским образованием и теоретическими интересами, идеолог и мыслитель, очень кабинетный человек, Чернышевский не мог и не собирался разделять многие увлечения Некрасова. Он совершенно не интересовался охотой (Некрасов не мог обсуждать с ним стати охотничьей собаки, как делал, например, в письме Тургеневу), не любил балет, оперу, не имел вкуса к дорогим яствам и винам (утверждал, что больше всего любит гречневую кашу, которую ему подавали на некрасовских обедах, тогда как другие гости наслаждались необычными и изысканными блюдами), не имел тяги к картам, не ездил к «девам». Он не имел светских манер, не мог поддерживать легкую беседу, был слишком серьезен, шутил неуклюже. Это видно и по воспоминаниям о нем, и по знаменитому его роману «Что делать?». К тому же он был, как бы сказали сейчас, трудоголиком (даже большим, чем сам Некрасов), не любил праздного препровождения времени. Словом, человек слишком серьезный по меркам всё же отчасти аристократического круга прежних друзей Некрасова. Всё это делало его во многом чужим для Некрасова. Сама искренность и пылкость похвал, расточаемых Чернышевским в письмах за границу ему и его стихам, выглядела в глазах Некрасова слишком экспансивной, плебейской (тот даже обещал показать Тургеневу те глупости, которые пишет ему его заместитель). Словом, они были очень разные люди с разной социальной психологией, и это делало близость между ними труднодостижимой.

Были, однако, и сближающие факторы — прежде всего, взгляды на литературу и общество. Кроме того, после долгого общения с Чернышевским Некрасов увидел в нем хорошего человека, искреннего и глубокого. Простота и прямота в отношениях, к которой всегда стремился Чернышевский, тоже импонировали Некрасову и смягчали различия: всегда можно было объясниться в случае недоразумения или недопонимания (с тем же Тургеневым сделать это было сложнее). Видимо, большую роль сыграла позиция, занятая Чернышевским по отношению к союзу Некрасова с Панаевой и к самой Авдотье Яковлевне, — позиция безграничного уважения, сочувствия и абсолютного приятия. Некрасов ценил Чернышевского как сотрудника не только трудолюбивого, яркого и знающего дело, но и лояльного

«Современнику», то есть любящего сам журнал, решившего связать с ним свою жизнь и карьеру, не временного работника, как, например, Гаевский. Это означало, что Некрасов мог доверить Чернышевскому свое издание: он сделает журнал передовым и интересным для публики и не погубит его неосторожным поступком (в этом Некрасова убедило раскаяние Чернышевского после истории с перепечаткой в журнале стихотворений из сборника).

Таким образом, возвращение Некрасова из-за границы привело не к устранению Чернышевского из «Современника» (впрочем, его противники на это, верно, уже не надеялись), а к росту доверия редактора к сотруднику, в том числе и в вопросе выбора новых участников журнала. В конце 1857 года Чернышевский наконец представил Некрасову Добролюбова в качестве постоянного сотрудника и члена редакции и, получив одобрение, фактически передал ему отдел библиографии и критики, намереваясь посвятить себя философским, общественно-политическим и экономическим вопросам, к которым чувствовал больше влечения.

Уже к концу года этот отдел практически полностью перешел под контроль Добролюбова. Талант нового сотрудника и его огромную пользу для журнала Некрасов признал быстро и безоговорочно. В декабре 1857 года он писал Тургеневу: «Читай в «Совр[еменнике]» «Критику», «Библ[иографию]», «Совр[еменное] обозр[ение]», ты там найдешь местами страницы умные и даже блестящие: они принадлежат Добролюбову, человек очень даровитый». С этим молодым человеком у Некрасова сложились более теплые и близкие отношения, чем с Чернышевским. Несомненно, здесь пропасть в отношении жизненных интересов и бытовых предпочтений была не меньшей, однако Добролюбов имел более тонкую, более изящную натуру, чем Чернышевский, и это привлекало Некрасова. Между поэтом и молодым критиком существовала психологическая близость.

Возможно, отчасти дело было в том, что Добролюбов имел больше эстетических наклонностей, чем Чернышевский, больше любил художественную литературу как таковую. Некрасов искренне полюбил его и за несомненное дарование критика, и за суровую, но одновременно юношескую и пылкую натуру. Письма Некрасова Добролюбову по приятельской искренности почти сравнялись с письмами Тургеневу. Добролюбов по желанию Некрасова быстро стал новым жильцом в квартире на Литейном, в то время как Чернышевский, человек семейный, только приходил работать за своей конторкой в некрасовском кабинете, собственно, и представлявшем собой редакционное помещение

«Современника». Чернышевский вспоминал: «По выходе из Педагогического института Добролюбов поселился на квартире сырой и производившей неприятное впечатление своими мрачными стенами, штукатурка которых была старая, полуобвалившаяся, потускнелая, загрязненная. Меблировка (от хозяев) была очень скудная и дрянная, так что первая комната, служившая приемной, представляла вид амбара, почти пустого. Мне не раз и не два случалось бывать у Добролюбова, но из моих посещений не выходило, разумеется, никакого результата для улучшения его житейской обстановки. Как только вздумалось Некрасову побывать у него, она изменилась. Некрасов проехал от него прямо ко мне и начал разговор прямо словами: «Я сейчас был у Добролюбова, я не воображал, как он живет. Так жить нельзя. Надобно приискать ему другую квартиру». За этим началом следовало продолжение, переполненное упреками мне за мою беззаботность о Добролюбове: «Положим, вы сами не умеете ни за что взяться, но хоть сказали бы вы мне». Особенно много огорчала Некрасова сырость квартиры Добролюбова. Он говорил, что при слабости здоровья Добролюбов может сильно пострадать, если останется в такой обстановке».

Согласно мемуаристу, поэт не стал откладывать в долгий ящик решение проблемы и сразу принялся за улучшение быта ценного сотрудника: «Вернувшись домой, Некрасов тотчас же поручил брату (Федору Алексеевичу) разыскивать квартиру для Добролюбова. Дал такое же поручение и своему слуге Василию. Когда я зашел к Некрасову, часа через два, через три после того, как он был у меня, он говорил уже о том, что затруднений с устройством сносной жизни для Добролюбова будет гораздо больше, нежели я могу воображать. Приискать порядочную квартиру и меблировать ее, разумеется, нетрудно, но это еще ничего не значит. Надобно устроить, чтобы у него и обед был хороший. Как быть с этим? Обедать каждый день в ресторане — это скучно, да и некогда Добролюбову. Надобно приискать какого-нибудь добросовестного слугу, умеющего хорошо готовить. Это нелегко. Но как-нибудь устроится и это. Я ушел. Когда пришел к Некрасову на следующий день утром, услышал от него, что дело уладилось удобнее, чем можно было надеяться».

Критик превратился в кого-то вроде еще одного некрасовского домочадца, своеобразного члена семьи: «Панаев и Некрасов жили тогда уже на той квартире в доме Краевского, которую продолжали занимать столько лет потом. По черной лестнице этой квартиры, в том же этаже, было помещение из двух комнат с передней. Не умею теперь припомнить, были ли жильцы в этой небольшой квартире или она стояла пустая. Но, так или

иначе, она была в запущенном состоянии. Слуга Некрасова, поискавши квартир по городу, вспомнил об этой и сказал Некрасову. Ее тотчас же начали поправлять (если были на ней жильцы, то, разумеется, люди очень небогатые, и с радостью передали Некрасову квартиру, получив от него вознаграждение за согласие переселиться из нее. Кажется, именно так и было: квартира была куплена у прежних владельцев), и дня через два или три Некрасов уже мог переселить туда Добролюбова. Поселившись тут, Добролюбов не имел своего собственного обеда: он обедал у Панаевых, вместе с которыми обедал Некрасов. А в те дни, когда Некрасов обедал особо от Панаевых на своей половине, Добролюбов обедал, как ему когда лучше нравилось, или с Некрасовым, или с Панаевым. Изредка ему случалась надобность обедать на своей квартире. Это бывало, например, когда у него гостил кто-нибудь из его приятелей, служивших в провинции и приезжавших побывать в Петербурге, если этому приятелю не хотелось обедать у Панаевых; или когда Добролюбову был недосуг оторваться надолго от работы на время обеда (обед у Панаевых был, разумеется, неторопливый; по окончании его обедавшие пили чай и долго оставались вместе). В таких случаях Добролюбову приносили обед от Панаевых. Пил чай вечером он очень часто на своей квартире или потому, что не хотел отрываться от работы, или потому, что у него был кто-нибудь. Но утром он обыкновенно приходил пить чай к Некрасову и, если имел досуг, оставался тут и завтракать.

Вообще он проводил в комнатах Некрасова очень много времени, утром почти каждый день и вечером часто. Тут они вместе читали рукописи, просматривали корректуры, говорили о делах журнала; так что довольно большую долю своей работы по редижированию журнала Добролюбов исполнял в комнатах Некрасова».

Так же, как и в Чернышевском, в Добролюбове Некрасов чувствовал и высоко ценил лояльность журналу и быстро стал ему доверять. Это не значило, что он полностью отдал какие-то части журнала на откуп своим сотрудникам. По свидетельству мемуаристов, Некрасов продолжал внимательно следить за всем, что печаталось в «Современнике», и журнал до конца оставался «его» изданием. Но он доверял их оценкам, особенно в тех случаях, когда чувствовал себя некомпетентным (прежде всего, когда дело касалось философских или научных трудов), их видению будущего журнала, его направления.

Влияние новых сотрудников на редакционную политику «Современника» становится решающим в конце 1857-го — начале 1858 года. По предложению Чернышевского структура журнала

была радикально изменена: вместо прежних пяти отделов («Словесность», «Науки и художества», «Критика», «Библиография» и «Смесь») теперь были два: «1. Словесность, науки и художества» и «2. Критика и библиография» (и в качестве непронумерованного дополнения — «Смесь»; с сентября в предвкушении разрешения печатать политические известия ее заменили на «Современные заметки», значительно увеличенные в размере). Такая рубрикация, в которой объединялись сочинения художественные, публицистические и научные, отражала тогдашнее представление о литературе как общественном явлении, о задачах литературы по отражению общественной проблематики. Кроме того, в июне 1858 года появляется постоянное приложение «Устройство быта помещичьих крестьян», в котором печатаются максимально «цензурные» материалы по наиболее животрепещущему вопросу русской жизни. В начале 1859 года, когда становится, наконец, возможным публиковать политические новости, в «Современнике» остаются два отдела: «1. Словесность, науки и художества» и «2. Современное обозрение». С самого начала 1858 года исчезает отдел «Моды», который заполняли супруги Панаевы. В 1859 году появляется «Свисток» — придуманное Добролюбовым сатирическое приложение, в котором участвует и Некрасов.

Всё это — проявление установки на «серьезность» (едва ли не единственная более или менее легкомысленная рубрика осталась в ведении И. И. Панаева, который писал о петербургских событиях и развлечениях) и одновременно следствие изменения самого понятия литературы: на место литературы как изящной словесности приходило существенно более широкое понятие, включавшее в себя не только беллетристику, но и критику и ученые сочинения. Чтобы быть литератором, теперь не обязательно было писать стихи или художественную прозу; критик и публицист, пишущий статьи по вопросам общественной важности, становится не менее, а может быть и более значимой фигурой, чем романист или поэт. Поэтому меняется и место Чернышевского и Добролюбова — и не только в журнале, но и в литературе.

На протяжении 1857–1859 годов за литературной критикой в «Современнике» наблюдает Добролюбов, Чернышевский выступает с публикациями по крестьянскому вопросу, печатает статьи политэкономического, исторического, публицистического содержания, то есть перемещается в первый отдел, фактически становится не просто ведущим критиком, но ведущим литератором. В свою очередь, статус Добролюбова уже не сильно уступает статусу, например, Тургенева.

Это меняет отношение Некрасова к Тургеневу и другим литераторам. Если раньше ему казалось, что для журнала прежде всего необходимы качественная беллетристика и громкие имена писателей, то теперь становится более важным направление «Современника». Соответственно у Некрасова исчезает страх возможной потери какой-либо писательской знаменитости, он смиряется с тем, что нужно «отпустить на волю» своих «литературных приятелей». В феврале 1858 года Некрасов сам разослал подписантам «обязательного соглашения» письмо с предложением расторгнуть его, которое было с готовностью принято ими. Это не означало, что они совершенно порывали с «Современником» и самим Некрасовым. И Островский, и Толстой, и Тургенев, и Григорович продолжали периодически печататься в журнале, но рассматривать их как исключительно «своих» авторов его редактор больше не мог. Никто из них не хотел прямо ассоциироваться с журналом, воспринимавшимся как орган, возглавляемый Чернышевским и Добролюбовым, хотя и не видел причин вовсе не печататься в нем.

Конечно, тем самым беллетристический отдел «Современника» был ослаблен. В 1858 и 1859 годах в нем были напечатаны только два произведения Тургенева (соответственно «Ася» и «Дворянское гнездо»), одна пьеса Островского («Не сошлись характерами!»); Толстой опубликовал одну, едва ли не самую неудачную свою повесть «Альберт»; ничего не дал обычно плодовитый Григорович. Беллетристику в «Современник» поставляли преимущественно второ- и третьеразрядные авторы вроде Евгения Карновича, Ильи Селиванова или Павла Мельникова-Печерского. Не удалось сотрудничество в 1859 году с Достоевским, вернувшимся из ссылки и готовым предложить журналу свои новые произведения. Встреча старых знакомых, по воспоминаниям Достоевского, была очень теплой: страдания, перенесенные когда-то открытым им писателем, вызывали сочувствие Некрасова, который в 1848 году сумел избежать серьезных неприятностей. Переговоры, однако, закончились безрезультатно, и повесть «Село Степанчиково и его обитатели» в «Современник» не попала.

Единственным незаурядным талантом среди новых писателей обладал Николай Васильевич Успенский, с 1857 года печатавший в «Современнике» свои «очерки народного быта», произведшие сильное впечатление свежим взглядом на народ — юмористическим и безжалостным, одновременно гротескным и реалистическим. В вышедшем из среды мелкого сельского духовенства разночинце Чернышевский и Некрасов увидели надежду русской литературы, писателя, которому суждено

сказать о народе новое слово. Надежда не оправдалась, но произведения Успенского стали ярким литературным событием.

В любом случае удельный вес хотя бы мало-мальски значительных литературных произведений в «Современнике» катастрофически понизился. Некрасов, тем не менее, перестал жаловаться на качество текстов. Наоборот, в письме от 20 сентября 1858 года он вполне серьезно сообщал Тургеневу: «Журнал наш идет относительно подписки отлично — во весь год подписка продолжалась, и мы теперь имеем до 4700 подп[исчиков]. Думаю, что много в этом «Современник» обязан Чернышевскому. <…> Последними книжками «С[овременника]», 9 и 10, надеюсь, ты будешь доволен». Между тем в упомянутых книжках нет ни одного первоклассного художественного произведения. Дело уже не в них, любовь читателей завоевывает не беллетристика. Правда, в «Современнике» публикуется много стихов: Фет, у которого брали уже не всё, что он предлагал (не приняли, например, переводы из Гейне), Полонский, Щербина, Плещеев. Стихи (кроме некрасовских) рассматриваются как маловажная часть журнала, за них мало платят и почти не обращают на них внимания.

Превращение к 1858 году «Современника» в журнал Чернышевского и Добролюбова с ведома и согласия Некрасова неизбежно повлекло за собой не только ослабление или прекращение сотрудничества, но и завершение личных отношений с прежними приятелями. Если раньше они могли разделять Некрасова и Чернышевского, бороться с Чернышевским за влияние на Некрасова, то теперь враждебность к ведущему сотруднику журнала логично переносилась и на его редактора. К каким-то серьезным скандалам это не приводило, не было и демонстративных разрывов (во всяком случае, о них ничего не известно), просто отношения постепенно сходили на нет. В 1858 году прекратилась переписка Некрасова с Боткиным и Анненковым, в 1859-м — с Толстым. Обиженный на насмешливую рецензию на свои переводы, прекращает отношения с журналом и самим Некрасовым Фет. В ряды противников «Современника» неожиданно влился Герцен, в 1859 году опубликовавший в уже очень популярном в России «Колоколе» статью «Very dangerous!!!»[28], направленную против Чернышевского.

Дольше всех сохранялись у Некрасова отношения с Тургеневым — отчасти из-за того, что дружба с ним была теснее, чем, например, с Боткиным, и одновременно «легче», чем с Толстым, то есть не слишком зависела от сходства или различия мировоззрений, отчасти из-за легкомыслия Тургенева или, скорее, его писательской открытости и любопытства — для него

Чернышевский и Добролюбов являлись не только носителями чуждых и даже враждебных взглядов и принципов, но и интересными объектами наблюдения, были воплощением объективных общественных процессов, с которыми приходилось считаться (в этом отношении Тургеневу было легче, чем «принципиальным» Дружинину, Григоровичу, Толстому и Фету, понять всецело отдавшегося этим тенденциям Некрасова). К тому же и Чернышевский, и Добролюбов ценили Тургенева как писателя, чьи произведения желанны в журнале, и потому к идейной чуждости не прибавлялась личная неприязнь.

Тургенева многое раздражало в поведении Чернышевского и Добролюбова, но многие их «неловкие» поступки он до поры был склонен прощать, не считать прямо оскорбительными.

Это был непростой для Некрасова психологический процесс — отпадение старых связей, старого круга (почти со всеми, кроме разве Фета и Толстого, который вообще собрался уходить из литературы). Со всеми сохранялись деловые отношения, особенно с учетом того, что смертельно больной Дружинин вынужденно оставил редакцию «Библиотеки для чтения» (его сменил Писемский). Но дружеская атмосфера ушла безвозвратно, и ни Чернышевский, ни Добролюбов не могли полностью компенсировать Некрасову прежний круг общения. Но какой-либо идейный компромисс и, соответственно, возвращение к прошлому были невозможны — редактор «Современника» смотрел в будущее, и это будущее воплощали новые люди. У Некрасова к тому же был своего рода резерв: рядом с ним была семья Панаевых. С двоюродными братьями Ивана Ивановича Ипполитом и Валерианом Александровичами давно сложились дружеские отношения (Ипполит в 1860 году единолично возглавит контору «Современника» и будет вести все финансовые дела журнала до его закрытия), как и с их друзьями и коллегами Матвеем Авелевичем Тамазовым и Матвеем Степановичем Лалаевым.

Немало места в его жизни начинали занимать семейные дела. Прежде всего много внимания требовал непутевый брат Константин, вышедший в отставку, не дослужившись даже до первого офицерского чина, и оказавшийся совершенно без средств, проживая фактически на иждивении отца, не горевшего желанием осыпать его золотом. В 1857 году он к тому же против воли отца женился на мещанке Ольге Федотовне Яхонтовой, совершенной бесприданнице. По просьбе отца и самого непутевого брата Некрасов безрезультатно хлопотал о возвращении его на военную службу. По его совету Константин поступил на должность писца в Ярославское дворянское собрание, но и на статской службе продвинулся только до чина

губернского секретаря. Он много пил, делал долги, постоянно просил деньги у Николая Алексеевича и регулярно получал от него помощь. Покровительствовал Некрасов и младшему брату Федору. Почти с самого начала издания «Современника» тот заведовал конторой журнала. Но, видимо, ему не удалось найти общий язык с компанией литераторов, и в середине 1850-х годов его сменил Вульф (потом, как мы помним, делами станет заниматься Ипполит Панаев). Во второй половине 1850-х Федор Алексеевич завел собственное «дело» — перепродавал в Ригу курьерских лошадей, которых поставлял ему отец. Приходилось материально помогать и сестре. Вместе с ней Некрасов в 1860 году заказал и установил памятник на могиле матери в селе Абакумцеве.

Продолжала существовать в его жизни Авдотья Яковлевна Панаева, по-прежнему производившая впечатление на окружающих и заставлявшая их завидовать ее «счастливому обладателю». Одним из таких «впечатленных» оказался знаменитый Александр Дюма-отец, в июле 1858 года побывавший в гостях на даче в Петергофе, которую Некрасов снова снимал вместе с Панаевыми, и восхитившийся не только предложенной простоквашей, но и самой хозяйкой дома.

В это рубежное, решающее время Некрасов сохранил способность поэтически эволюционировать, двигаться дальше и именно так, чтобы оставаться современным поэтом, стоящим на уровне новых запросов публики, чувствующим ритм жизни, ее фундаментально меняющуюся картину. 1858 и 1859 годы — не самые «урожайные» в творчестве Некрасова, тем не менее в это время он создал ряд произведений, демонстрирующих живое начало его поэзии, его способность открывать в своем таланте новые грани. Такой новой гранью стала злободневность, понимаемая уже не как проповедование ценностей, борьба с пороками и стремление к общественным идеалам, а в буквальном смысле, в каком злободневна газетная заметка, посвященная произошедшему вчера событию.

Поначалу Некрасов отрицательно отнесся к потоку злободневной «обличительной» литературы и к его новому «родоначальнику» — Салтыкову-Щедрину, с «Губернских очерков» которого эта литература, как традиционно считается, в России и началась. Без большого энтузиазма относились к «обличительству» и молодые вожди «Современника», видевшие в таких «доносах на квартальных» нечто слишком мелочное, не задевающее подлинные мишени — само устройство общества — и даже несправедливо оскорбляющее людей, которые этим строем нравственно и психологически искалечены. Такая литература

пародировалась в «Свистке», который отчасти и был затеян для противостояния ей. Тем не менее в «Современнике» вполне активно печатались произведения в духе Щедрина (а с 1858 года — и его самого), поскольку запрос на них существовал в публике и в конечном счете они приносили пользу. Некрасов же увидел в этом запросе на злободневность, «газетную» актуальность проявление смены жизненного ритма общества, ускорения и уплотнения времени. В период реакции и застоя время течет медленно, повседневность заполнена пустяками, настоящие события случаются редко. В ситуации общественного подъема даже мелкие происшествия становятся значимы как часть большой работы и настоящей общественной жизни, подготовки реального дела. Поэтому хроника текущей жизни переставала быть просто описанием «петербургских развлечений» и отдыха на петергофских дачах или констатацией ужаса повседневной жизни, но могла стать «серьезной» сводкой событий, глубоких изменений в обществе.

Этот интерес Некрасова к злободневности проявляется в замысле цикла «номерных сатир», оставшегося незавершенным и распавшегося на несколько произведений, первое из которых — своеобразная поэма «О погоде», законченная только в 1865 году, в которой он создает новый тип стихотворного фельетона, напоминающий его цикл «На улице». Лирический герой не просто бродит по городу и замечает разные происшествия, иронически отстраняясь от них, — он судит, гневается, делает выводы. Мелкие события, которые составляют содержание этих «фельетонов», вымышлены, но типичны. Возникавшее ощущение газетного репортажа — следствие стилистического приема, основанного на имитации разговорного языка, и свободной композиции, сцепления нескольких сценок, объединенных только смежностью мест, где они происходят. По тем же принципам построено и стихотворение «Убогая и нарядная», представлявшееся современникам Некрасова едва ли не вершиной его сатирического творчества, исполненная, по мнению критиков «Северной пчелы» и «Русского инвалида», силы и беспощадности, достойных «нового Ювенала».

Такой же фельетон нового типа лежит и в основе одного из самых знаменитых и самых любимых современниками стихотворений Некрасова «Размышления у парадного подъезда» с образом «русского мужика», стонущего во всех «обителях» родной земли. Это стихотворение генетически связано с циклом «На улице» и без большого напряжения может быть увидено в составе поэмы «О погоде». «Размышления…» тоже начинаются как подсмотренная сценка, эпизод, от изображения которого автор

переходит к широкому обобщающему, панорамному взгляду на жизнь народа. По утверждению Панаевой, сценка, которая описана в стихотворении, произошла на самом деле (Некрасов якобы наблюдал ее из окна своей квартиры в час тяжелой хандры), тем не менее легко видеть в сюжете стихотворения намеренно прозрачное иносказание: эти пришедшие к какому-то крупному чиновнику (современники склонны были видеть в нем тогдашнего министра государственных имуществ Михаила Николаевича Муравьева-«вешателя») мужики символизируют народ, обратившийся к власти за помощью. Отмена крепостного права в это время превратилась из идеального стремления, обязательного для всякого порядочного человека, в реальную текущую практическую задачу, о которой можно говорить в деталях (и прогрессивные публицисты на страницах разнообразных изданий уже рассуждали и спорили о конкретных условиях будущего освобождения).

Именно этот подтекст заставил Герцена, обычно не публиковавшего в «Колоколе» художественную словесность, сделать для «Размышлений…» исключение. Редакторов заграничной и очень в то время популярной газеты, тайно перевозившейся в Россию и жадно читавшейся всеми слоями образованного общества, возможно, привлекла еще одна сторона его содержания. Как и в «Нравственном человеке» или «Современной оде», в «Размышлениях…» присутствует образ крупного чиновника, представителя социальных верхов, описание которого пронизано едкой иронией. Но здесь появляется нечто совершенно новое — призыв к этому человеку измениться, сделать добро пришедшим к нему людям, в которых его «спасение». Этот призыв, обращенный к правительству, еще не встречался в поэзии Некрасова. Зато подобные призывы постоянно печатались в «Колоколе», и некрасовский текст соответствовал общему тону газеты, звучал в унисон со статьями Герцена и Огарева. Это прямое обращение к власти — следствие редчайшей в истории России ситуации, когда казалось, что власть действительно готовит те преобразования, которых требовало общество, и в этом смысле наконец-то действует заодно с его наиболее прогрессивной частью. Казалось, что к власти и вправду можно обратиться и она готова услышать. Такое обращение и создает Некрасов в «Размышлениях…», не стесняясь ни чрезмерного дидактизма, ни слишком прозрачной аллегории — художественные нюансы бледнели перед возможностью что-то реально изменить, к чему-то побудить власть имущих.

Дидактизм достигает апогея в стихотворении «Песня Еремушке» 1859 года, обращенном к ребенку (прозрачное

иносказание заставляет читать «к молодому поколению»). И здесь поучение вызвано реальностью, действительной готовностью молодых людей своей жизнью утверждать те ценности, которые Некрасов унаследовал от Белинского. В стихотворении они указаны прямо: «Братством, Равенством, Свободою / Называются они» (по цензурным причинам строку пришлось поменять). «Песню Еремушке», выглядящую для современного читателя чрезмерно риторичной и прямолинейной, Добролюбов рекомендовал читать и заучивать как катехизис молодого поколения. «Милейший! Выучи наизусть и вели всем, кого знаешь, выучить «Песню Еремушке» Некрасова, — писал он своему товарищу по Главному педагогическому институту Ивану Ивановичу Бордюгову. — Помни и люби эти стихи: они дидактичны, если хочешь, но идут прямо к молодому сердцу, не совсем еще погрязшему в тине пошлости. Боже мой! Сколько великолепнейших вещей мог бы написать Некрасов, если бы его не давила цензура!..» Стихи Некрасова в это время злободневны в высшем смысле — они как будто становятся участниками общественной жизни, трудной работы по отмене крепостного права, по преобразованию государственных институтов на новых, справедливых основаниях.

В следующем году Некрасов делает шаги к тому, чтобы лично принять участие в этой работе. Российское общество после правления Николая I наконец почувствовало, что существует, и вновь открыло для себя возможность делать что-то полезное для страны и ее будущего. Первой его целью становится, естественно, благотворительность. В начале 1860 года Некрасов впервые выступал с публичными чтениями на вечерах в пользу только что (в конце 1859-го) созданного по инициативе Дружинина и в значительной степени благодаря его энергичной пропаганде Литературного фонда (официальное название — «Общество для пособия нуждающимся литераторам и ученым»). Создание этого специфически литераторского благотворительного общества было очень сочувственно встречено практически всеми, кому была близка литература, независимо от политических взглядов. Некрасов стал членом фонда со времени его основания и до конца жизни будет по возможности активно участвовать в его работе — входить в его комитет, выполнять поручения: посещать литераторов, обратившихся за помощью, составлять рекомендации, ходатайствовать за обратившихся к нему писателей и журналистов, ссужать их деньгами еще до того, как примет решение комитет фонда. В январе и феврале 1860 года было устроено три чтения в пользу фонда, в которых наряду с другими литераторами участвовал Некрасов. Его выступления

имели успех, подтвердивший его популярность. Публика теперь желала знать любимого поэта в лицо, и в 42-м номере «Северной пчелы» от 23 февраля было помещено объявление о продаже портрета Некрасова.

Другой целью общественного внимания было народное образование. Эта проблема стала особенно актуальной в свете предстоящего освобождения крестьян. Образованным, прогрессивно мыслящим людям казалось необходимым не только освободить народ от крепостного рабства, но и дать ему возможность сознательно и ответственно включиться в жизнь государства. Это вызвало большое количество изданий для народа — как периодических, так и отдельных книг — и привело к созданию в 1860 году благотворительных общественных организаций, видевших своей задачей распространение в народе грамотности, первоначальных знаний и издание полезных книг. Таковыми были созданный летом Совет уполномоченных частных бесплатных воскресных школ и учрежденный 1 декабря Санкт-Петербургский комитет грамотности при Императорском Вольном экономическом обществе. Некрасов не участвовал в этих обществах, однако их целям, несомненно, сочувствовал. Членом обеих организаций был его хороший знакомый — издатель журнальчика для солдат «Солдатская беседа» (к которому позднее прибавился аналогичный, но предназначенный уже для более широких народных масс — «Народная беседа»), автор популярных книжек для солдат и простонародья Александр Фомич Погосский — с одной стороны, энтузиаст дела народного просвещения, стремившийся издавать книжки для народа, дававшие ему первоначальные знания о природе, полезные советы по хозяйству, гигиене, по возможности избавленные от всякого обязательного мракобесия, с другой — достаточно успешный предприниматель среднего масштаба, имевший от своих многочисленных изданий неплохой доход.

Из разговоров с Погосским Некрасов вынес уверенность, что у хорошей, качественной народной литературы есть перспективы на рынке, что благотворительные организации готовы оказать поддержку честным просветительским изданиям в их борьбе с до сих пор господствовавшей там дешевой низкопробной развлекательной литературой, конкурировать с которой без какой-либо государственной или общественной поддержки было немыслимо. И Некрасов решил принять участие в благом деле в качестве издателя литературы для народа. В середине 1860 года он задумал выпустить дешевую серию книжек по три копейки за штуку, по цвету обложки получивших название «красные книжки». Первым в этой серии предполагалось издать сборник,

включавший несколько его собственных стихотворений и народный рассказ Погосского «Бобыль Наум-Сорокодум» (в результате эта книжка вышла второй). Реализацию проекта Погосский и Некрасов решили отложить до времени, когда просветительские общества наберут силу.

Несмотря на распространенную точку зрения, что проект «красных книжек» был чисто благотворительным, он имел и коммерческую составляющую, хотя на сверхприбыли Некрасов не рассчитывал. В любом случае в замысле Некрасова присутствовало стремление выполнять новую важную миссию, общественный долг. Это был посильный ответ поэта на всё громче звучавшие требования реального действия для изменения существующего положения вещей и осуществления общественных идеалов. Одновременно это был, видимо, предел, до которого поэт мог дойти на этом пути (в этом же ряду стоит устройство сельской школы, которому Некрасов отдал немало сил и средств).

1860 год подвел черту под остатками привязанности, сохранявшимися между Некрасовым и его прежними «литературными друзьями». Дольше всех державшийся Тургенев в начале года разорвал отношения с «Современником» и его редактором. Непосредственным поводом для этого послужила статья Добролюбова, известная современному читателю под названием «Когда же придет настоящий день?» (в «Современнике» статья не имела названия), посвященная опубликованному в «Русском вестнике» роману «Накануне». Тургенев, которого, видимо, сам Некрасов ознакомил с текстом рецензии в корректуре, потребовал не допустить статью до печати. После того как статья (с цензурными искажениями и, возможно, некоторыми переделками, призванными смягчить какие-то обидные для писателя пассажи) была всё-таки опубликована в мартовском номере «Современника», Тургенев «официально» и публично прервал связь с журналом и лично Некрасовым.

Исследователи до сих пор не могут прийти к единому мнению, что в добролюбовской рецензии показалось Тургеневу настолько обидным, что заставило его сделать столь резкий и необратимый шаг, и сходятся на том, что рецензия была только предлогом для назревшего разрыва. Еще в 1859 году Тургенев позволял себе за глаза крайне резко высказываться о Некрасове (в письме Фету от 1 августа он называл прежнего приятеля «злобно зевающим барином, сидящим в грязи»). Причины этого изменения отношения в значительной степени лежат в психологической плоскости, в раздражении не столько от самого Некрасова, сколько от его «окружения» — Чернышевского и Добролюбова, непочтительных, смотревших на маститого

писателя без всякого пиетета. Представляется, что и сама дружба между Некрасовым и Тургеневым была чем-то искусственным, между ними не было настоящей близости, в особенности со стороны Тургенева, не способного на подлинную привязанность. Выдвигалась причина и более низкого характера — недовольство предполагаемой нечистоплотностью Некрасова как редактора и издателя.

И всё-таки не случайно, что именно эта статья Добролюбова стала предлогом для разрыва. Критик в ней вполне воздал должное не только таланту Тургеневу, но и его чуткости к общественным интересам. При этом Добролюбов считал высшим достижением писателя изображение людей, подобных герою одноименного тургеневского романа Рудину, — пропагандистов, «лишних» людей, красиво говоривших о ценностях, но не способных действовать. В главном герое «Накануне» Инсарове Добролюбов увидел неудачную попытку Тургенева показать человека действия: герой оказался бледен, неясен, идеалы, которые заставляли его не говорить, а действовать, оставались читателю непонятны. И в этом смысле Тургенев, почувствовав запрос общества, оказался не в состоянии его выполнить — очевидно потому, что этот тип был ему чужд и идеологически, и «художественно». Так почти неприкрыто Добролюбов намекал, что сам писатель не способен соответствовать требованиям новой эпохи.

Соображения Добролюбова нельзя не признать очень проницательными. Тургенев и сам понимал, что не может быть среди этих новых людей действия. Он мог за ними наблюдать, более или менее объективно изображать (как позже сделает это в образе Базарова), но не мог и, очевидно, не хотел быть для них «своим». И шаг Тургенева по отречению от всякого сотрудничества с «Современником» был не просто разрывом с Некрасовым, но реализацией решения покинуть этот лагерь. В октябре 1860 года в «Колоколе» вышла статья Герцена «Лишние люди и желчевики», где старый товарищ брал под защиту «людей сороковых годов», и Тургенев солидаризировался с ним, признавая себя человеком «старым» и «лишним» (в письме Герцену он отчасти иронически благодарил его за заступничество «за нас лишних»). Разрыв Тургенева и Некрасова — не просто расхождение приятелей. Это развилка, от которой один (Некрасов) двинулся дальше, тяжело, жалуясь и мучаясь, но вперед и в конечном счете в бой (сам, видимо, не отдавая себе отчет, что впереди именно бои, а не просто дорога); второй (Тургенев) решил остаться в арьергарде или даже в обозе и оттуда созерцать будущие сражения. Некрасову было тяжело, он не хотел

терять эти отношения, Тургенев занимал в его жизни большое место, привязанность к нему была чем-то подобным привязанности к Панаевой. До весны 1861 года Некрасов иногда писал бывшему приятелю, будто отказываясь признать свершившийся факт. И всё-таки в самом разрыве и уходе Тургенева большая часть ответственности лежит на Некрасове, шедшем своим путем и не собиравшемся сходить с него в угоду человеческой привязанности.

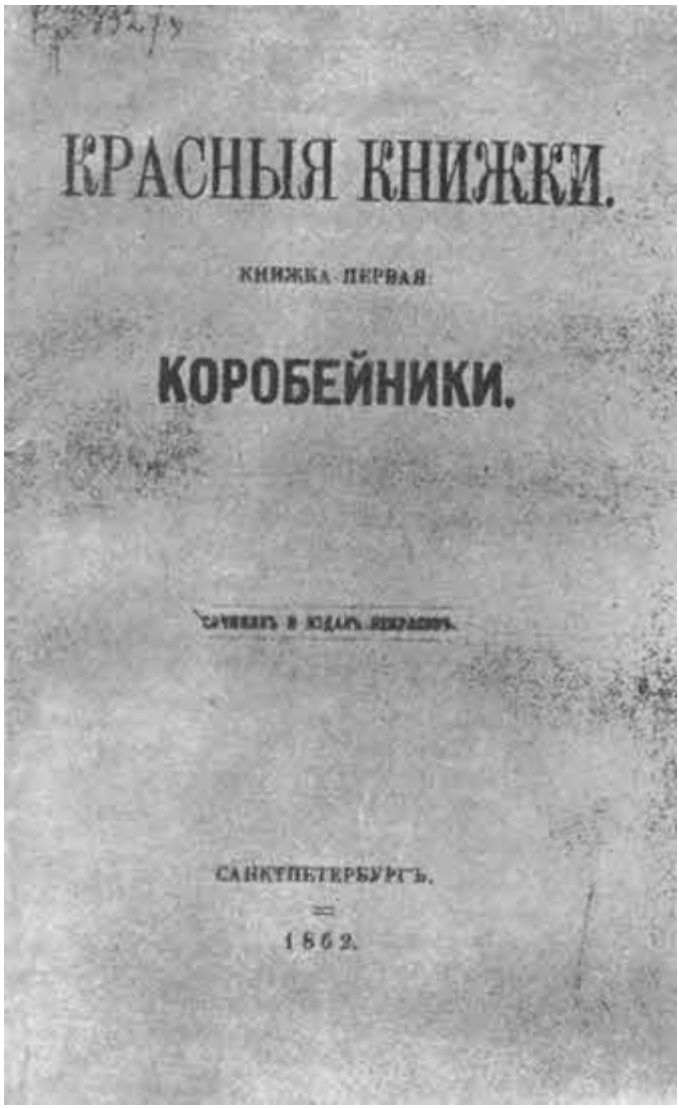
Неизвестно, насколько прекращение дружбы с Тургеневым компенсировалось для Некрасова дальнейшим сближением с Добролюбовым. Уже очень больной, критик в 1860 году продолжал много работать для журнала. Некрасов в письмах настоятельно рекомендовал ему лечиться, не думать о деньгах, которыми редактор всегда готов был снабдить ценного сотрудника. По их переписке хорошо видно щепетильное, даже болезненное отношение «новых людей» к долгам, их нежелание материально зависеть от кого бы то ни было; Некрасов, ссужая Добролюбова деньгами, старался быть максимально деликатным, не вызвать у умирающего подозрения, что его «жалеют» или оказывают благодеяние. Так, в конце декабря 1860 года он писал за границу, куда Добролюбов отправился в безнадежной попытке излечиться от туберкулеза:

«Вы не унывайте и в 1861 году опять рассчитывайте добрать от 5 до 6 т[ысяч]. (Уверен, что если столько не будет нужно, то Вы меньшим удовольствуетесь.) Пишите теперь о деньгах Вашим сестрам — их могу выдать. А то при внезапной уплате 12 т[ысяч] в ноябре обеднял было. Знаете, я думаю, по возвращении Вашем Вам нужно будет взять на себя собственно редакцию «Современника]». Чернышев[ский] к этому не способен, я располагаю большую часть года жить в деревне. Писания Вам будет поменьше, а хлопот побольше. Газету бы точно необходимо основать, но издыхать из-за этого тоже нет резону. Вам важны еще два-три года: надо их прожить без натуги, а там уж не умрете. Если приедете к лету, то еще будет время, впрочем, выхлопотать и приготовиться к 1862 году».

В свою очередь, Добролюбов, подобно Чернышевскому, называет его лучшим и фактически единственным настоящим и по-настоящему современным поэтом, и выходит это у него даже теплее, чем у его товарища. Показательно, что Добролюбов сравнивает Некрасова не с поэтами и приводит ему в качестве образца для подражания не Гёте или Пушкина, а руководителя борьбы за объединение Италии Джузеппе Гарибальди. Критик, мечтая и даже отчасти намекая на приближение эпохи не слов, а дела (в его письмах Добролюбова отчетливо слышны те же

надежды на приход «настоящего дня», что и в статье о романе «Накануне»), очевидно, «берет с собой» в эту эпоху Некрасова.

Чернышевский и Добролюбов приводят в журнал всё новых сотрудников. С 1858 года в «Современнике» начинают появляться статьи по общественным вопросам яркого публициста Григория Захаровича Елисеева, приглашенного Чернышевским, в 1860-м к нему присоединяется Юлий Галактионович Жуковский, креатура Добролюбова, молодой журналист, писавший прежде всего на юридические и экономические темы, чьи статьи впоследствии вызовут большой шум и навлекут на «Современник» «роковые» гонения.


КРАСНЫЯ КНИЖКИ.

КНИЖКА ПЕРВАЯ

КОРОБЕЙНИКИ.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

1862.

Первая «красная книжка», изданная Некрасовым, с поэмой «Коробейники». 1862 г.

Окончательно войдя в «ближний круг» Некрасова, Чернышевский и Добролюбов стали поверенными в его личных делах, свидетелями и советчиками в его отношениях с Панаевой, перешедших в то время в новое качество. Если раньше это была связь «после любви», державшаяся на «памятливости», на привычке, то теперь и эта стадия оказалась пройдена. В жизни Некрасова появилась другая женщина. Не то чтобы их не бывало раньше. Короткие и легкие увлечения скорее всего были характерны для жизни Некрасова, особенно в период «веселой компании». Однако в этот раз во время отсутствия Панаевой (летом 1860 года она жила за границей) случайная связь перешла во что-то более серьезное. 23 июня 1860 года Некрасов написал Добролюбову из Петербурга: «Я сижу один в городе, даже отправил Оскарку (собака Некрасова породы пойнтер. — *М. М.)* в Москву (а сам и застрял в Петер[бурге]), так вот без друга-то моего поневоле находят этакие мысли, да и посоветоваться-то не с кем. Вероятно, от этих сомнений я так расстроился, что грудь побаливает опять. Ангела я себе приискал, надо Вам добавить. Чудо! Я не шутя влюблен». Более того, поэт сообщил о своем романе Панаевой, очевидно, желая окончательно порвать с ней.

Некрасов увозит своего «ангела» в Грешнево. Почти через месяц он подводит итоги опять же в письме Добролюбову (от 18 июля): «Что бы Вам написать? Да хорошего немного. Старый я дурак, возмечтал о каком-то сердечном обновлении. И точно четыре дня у меня малиновки пели на душе. Право! как было хорошо. То-то бы так осталось — да не осталось. Во 1-х, девушка хоть не ангел или ангел падший — да, к несчастию моему, оказалась порядочной женщиной — вот и беда! Еще и жертва тут подвернулась, в ее положении не пустая — польстилась на мои сладкие речи — а я куда как был красноречив! — она бросила человека, который ее обеспечивал (дуре-то всего 19[-й] год — это так скоро свертелось, что я и не ожидал, а то бы, я думаю, сам отговорил ее). Ну а теперь уже бродит мысль, зачем я всё это затеял? Только и отрады, что деньгами, авось, развяжусь. Зачем я сижу теперь в Москве, как думаете? Был я с моим ангелом в деревне и весело охотился, да простудился, а у меня во рту сделалось нечто прегнусное — жар, слюна лезет, как из сапатой лошади, боль. Черт знает что это. Боюсь, не отрыжка ли опять старого? Так как я много съел меркурию, то, говорят, это он теперь гуляет. И я лечусь, а ангел кротко и любовно скучает около меня — жарища при этом страшная, ни пить, ни есть —

ничего и не думай, выходить тоже нельзя. Ну что тут хорошего? Согласитесь, не стоит и поздравлять с ангелом! Право, не знаю, чье положение лучше. Впрочем, одному хуже. Самый, так сказать, неважный ангел за границей очень много значит, и я приписываю большую часть Вашей хандры одиночеству. Знаете ли, очень может быть, что я к Вам приеду — куда только ангела деть, да возьму с собою. — Напишите мне что-нибудь об Ав[дотье] Як[овлевне]. Вы, верно, ее скоро встретите; если она огорчена, то утешьте ее как-нибудь: надо Вам сказать, что я ей кратко, но прямо написал о своих новых отношениях. Ведь надо ж было! — хоть эти новые отношения едва ли прочны».

До середины сентября поэт и его пассия жили в Грешневе и Ярославле. В сентябре Некрасов писал сестре: «Меня ты дома не застанешь — я уеду, извини, на охоту, — но застанешь очень скромную и добрую девушку по имени Ксению Павловну, которую ты приласкай. Я приеду к вечеру». После этого каких-либо упоминаний об «ангеле» в письмах Некрасова не встречается.

Кто была эта девушка, как произошли знакомство и расставание с ней, исследователям до сих пор не удавалось установить. Между тем в конторских книгах «Современника» имеются записи о том, что начиная с 1862 года до сентября 1865-го из кассы журнала регулярно выдавались деньги, примерно 350 рублей в год, некоей госпоже Ксении Ефимовой. Ей же полагался бесплатный экземпляр «Современника». В распоряжении, сделанном Некрасовым 1 июля 1862 года (после приостановки журнала), госпожа Ефимова фигурирует среди получателей «пенсиона». Никаких дополнительных сведений о ней в конторских книгах не содержится. В петербургской адресной книге за 1867 год (к сожалению, они в XIX веке выходили нерегулярно) значится только одна Ксения Ефимова, которая может быть соотнесена с интересующей нас женщиной (правда, ее отчество не Павловна, а Ивановна; впрочем, такие справочники часто неточны в подобных деталях), проживавшая по адресу: Офицерская улица, дом 32, квартира 3, по роду занятий «хористка». Эта профессия вполне соответствует роли кратковременной любовницы, которую девушка сыграла в жизни Некрасова. Можно осторожно предположить, что это и есть до сих пор остававшаяся загадочной мимолетная возлюбленная Некрасова. И видимо, решилось дело всё-таки с помощью денег, которые Некрасов выплачивал ей, скорее всего, до того момента, как она нашла мужа или какой-то другой источник достатка.

Несмотря на этот роман, Некрасов не порвал с Панаевой. Когда Авдотья Яковлевна вернулась из-за границы, отношения были восстановлены. Теперь они держались уже даже не на

воспоминаниях, а на какой-то злости, собственно, превратившись в отношения за гранью разрыва, за гранью расставания. Некрасов писал Добролюбову: «Я очень чувствителен. Она не жалела меня любящего и умирающего, а мне ее жаль (а почем я, дурак, знаю — может быть — и вероятно — она приняла мое известие спокойно и только позлилась!). Я уж четвертый год всё решаюсь, а сознание, что не должно нам вместе жить, когда тянет меня к другим женщинам, во мне постоянно говорило. Не желал бы, однако, да и не могу стать вовсе ей чуждым. Странное дело! Без сомненья, наиболее зла сделала мне эта женщина, а я только минутами на нее могу сердиться. Нет злости серьезной, нет даже спокойного презрения. Это, что ли, любовь? Черт бы ее взял! Когда ж она умрет! Я начинаю злиться. Сколько у меня было души, страсти, характера и нравственной силы — всё этой женщине я отдал, всё она взяла, не поняв (в пору по крайней мере), что таких вещей даром не берут, — вот теперь и черт знает к чему всё пришло. Ну, да будет».

В поэтическом отношении 1860 год не был особенно урожайным. Тем не менее в нем можно видеть новый этап некрасовского творчества, открытие новых поэтических горизонтов. Главное в написанных тогда стихах — предчувствие грядущей реформы, коренных изменений национальной и народной жизни. Особенно интересен своеобразный эксперимент по созданию «крестьянского» эквивалента циклу «О погоде», то, что можно назвать «деревенским фельетоном»: стихотворения «Знахарка» и «Деревенские новости». Народная жизнь приравнивается к жизни образованных сословий — в том смысле, что перестает быть неподвижной (как в «Тишине»), в ней начинает что-то *происходить,* народ как будто готовится вступить в историческое существование. В сущности, о чем может быть эта хроника — интересные персонажи, несчастные случаи, неурожаи, пожары, о которых рассказывают крестьяне. Всё это события бытовые и мелкие, но они уже именно события — «новости». Деревенская крестьянская жизнь начала меняться, двигаться к освобождению — тому главному событию, которое еще не произошло, но вот-вот произойдет. О нем ходят слухи среди крестьян, и лирический герой с таким же нетерпением, как мужички, ожидает его и как будто причастен к делу освобождения народа. Сам герой называет мужиков своими «приятелями». Это продиктовано задачами повествования, которое, несмотря на иногда трагические события, описанные в нем, должно быть «легким», фельетонным. Одновременно рисуется образ самого лирического героя — не «барина», а, можно сказать, друга народа, одного из его освободителей.

Большое стихотворение «На Волге» (оно создавалось как часть незавершенной большой поэмы «Рыцарь на час», а в качестве самостоятельного произведения было опубликовано в «Современнике» в январе 1861 года) примыкает к сельским фельетонам именно этим образом лирического героя как друга народа, готового бороться за его освобождение. Здесь снова появляются картины детства, проведенного в поместье, со многими деталями, напоминающими самые ранние инвективы в адрес «барской» жизни. Изображая крепостничество со всеми его атрибутами и добавляя к ним недавно найденный образ бурлаков, воплощающий народное страдание, Некрасов исключает два характерных мотива, важных в «Родине» и во «В неведомой глуши…» — мотивы покаяния и рокового воздействия на лирического героя среды, окружавшей его в детстве. В стихотворении «На Волге» герой никогда не «бывал помещиком». Наоборот, ужасная обстановка усадьбы так повлияла на него, что он превратился в ее врага и давал страстные детские клятвы, подобные знаменитой «аннибаловой клятве» Тургенева:

О, горько, горько я рыдал,
Когда в то утро я стоял
На берегу родной реки, —
И в первый раз ее назвал
Рекою рабства и тоски!..

Что я в ту пору замышлял,
Созвав товарищей-детей,
Какие клятвы я давал —
Пускай умрет в душе моей,
Чтоб кто-нибудь не осмеял!

Герой проиграл в борьбе, судьба снова сделала его «рабом», но всё-таки его дальнейшая жизнь тоже была борьбой. Так менялся облик поэта, встраиваясь в новое время, когда перестали пользоваться уважением люди «изломанные» и стали цениться люди страстные, готовые к борьбе, если и терпящие поражение, то не в борьбе с собственной рефлексией и слабостью, как Рудин, а в столкновении с непреодолимыми препятствиями, как Инсаров. Одновременно с изменением образа своего детства и своего собственного Некрасов начинает перестраивать и свою символическую «поэтическую географию». Волга становится его «колыбелью» не только потому, что является свидетельницей страданий бурлаков и всего народа, но и потому, что она — «великая русская река». В преддверии колоссальной перестройки

всей русской жизни, которая будет совершаться, как он верит, общими усилиями всей нации, Некрасов, продолжая линию, начатую в «Огороднике» и «Тишине», хочет, чтобы его воспринимали не как оппозиционного, но как национального поэта.

СВОБОДА

Девятнадцатого февраля 1861 года Александр II подписал манифест «О Всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей», обессмертивший его имя в истории России. И восторг значительной части образованной публики (выраженный в том числе Герценом в «Колоколе») был неподдельным. А. В. Никитенко, чей отец был крепостным, записал в дневнике 6 марта, на следующий день после обнародования манифеста:

«Великий день: манифест о свободе крестьян. Мне принесли его около полудня. С невыразимо отрадным чувством прочел я этот драгоценный акт, важнее которого вряд ли что есть в тысячелетней истории русского народа. Я прочел его вслух жене моей, детям и одной нашей приятельнице в кабинете перед портретом Александра II, на который мы все взглянули с глубоким благоговением и благодарностью. Моему десятилетнему сыну я старался объяснить, как можно понятнее, сущность манифеста и велел затвердить ему навеки в своем сердце 5 марта и имя Александра II Освободителя.

Я не мог усидеть дома. Мне захотелось выйти побродить по улицам и, так сказать, слиться с обновленным народом. На перекрестках наклеены были объявления от генерал-губернатора, и возле каждого толпились кучки народа: один читал, другие слушали. Везде встречались лица довольные, но спокойные. В разных местах читали манифест. До слуха беспрестанно долетали слова: «указ о вольности», «свобода». Один, читая объявление и дочитав до места, где говорится, что два года дворовые должны еще оставаться в повиновении у господ, с негодованием воскликнул: «Черт дери эту бумагу! Два года — как бы не так, стану я повиноваться!» Другие молчали».

Как показывает запись Никитенко, манифест произвел на общество неоднозначное впечатление. Наибольшее недовольство вызвало не введение двухлетнего переходного периода, но решение земельного вопроса: крестьяне должны были выкупать свой надел у своих бывших хозяев после подписания «уставных грамот». Таким образом, обсуждавшиеся всю вторую половину 1850-х годов в правительстве и обществе спорные вопросы — надо ли освобождать крестьян с землей или без земли, должна ли быть предоставлена помещикам компенсация за отбираемую у них землю — были решены, хотя и не без компромисса, в пользу помещиков. Теряя крепостных, они получали компенсацию в виде платы за землю, переходившую к крестьянам.

Такое решение вызвало негодование и разочарование в наиболее радикально настроенной части общества, к которой, несомненно, принадлежал практически весь новый круг «Современника». И Чернышевский, и Добролюбов, и молодые люди, приведенные ими в журнал (к которым в этом году присоединился Максим Алексеевич Антонович, выпускник Санкт-Петербургской духовной академии, протеже Добролюбова, учеником которого он себя считал), восприняли царский манифест, можно сказать, с презрением. Несправедливое, по их мнению, решение земельного вопроса окончательно убедило молодых радикалов в неспособности или нежелании правительства поступать с народом справедливо, с подлинной заботой об интересах крестьян и брать решение этих вопросов в свои руки.

Подобные взгляды разделяли члены редакции нового единомышленника и одновременно конкурента «Современника» — журнала «Русское слово», основанного в 1859 году графом Григорием Александровичем Кушелёвым-Безбородко, но в середине 1860-го перешедшего под редакцию бывшего семинариста, литературного предпринимателя с социалистическими взглядами Григория Евлампиевича Благосветлова и под его управлением превратившегося в орган будущих «нигилистов». Это было наиболее радикальное печатное издание в России, предоставлявшее свои страницы для дерзких высказываний таких революционно настроенных критиков и публицистов, как Николай Васильевич Шелгунов, Варфоломей Александрович Зайцев, Николай Васильевич Соколов. Сотрудником «Русского слова» стал Дмитрий Иванович Писарев, один из самых ярких и популярных критиков и публицистов за всю историю русской литературы XIX века.

Негодование и надежда на возможность решения земельного вопроса вопреки правительству подогревались тем, что само крестьянство казалось обиженным манифестом. Весной 1861 года по стране прокатилась волна крестьянских бунтов, самым известным из которых стало восстание с центром в селе Бездна Спасского уезда Казанской губернии, где крестьянин Антон Петров открыл в Манифесте «подлинную волю» и убеждал односельчан и жителей соседних деревень не подчиняться дворянам и властям, скрывающим правду о царской милости. Безоружные крестьяне, отказавшиеся расходиться и выдать зачинщиков, были разогнаны шестью ружейными залпами карательного отряда свитского генерал-майора графа Антона Степановича Апраксина, при этом было убито около полусотни и ранено 77 человек, а Антон Петров, вышедший, держа царский

манифест над головой, схвачен и после короткого суда расстрелян. Были и другие крестьянские бунты, сообщения о которых вызывали негодование против правительства и сочувствие к жертвам, чьи требования представлялись справедливыми, а кровь — невинной. Крестьянские волнения вели за собой студенческие — осенью они прошли в Санкт-Петербургском, Московском и Казанском университетах, приведя к временному закрытию первого из них.

Веря в силу этого общественного подъема, сотрудники «Современника», его постоянные авторы приступили к подпольной работе, имевшей целью побуждение народа к массовым вступлениям и в конечном счете не только справедливое решение земельного вопроса, но и установление социального строя, соответствующего идеалам равенства и справедливости. Основным средством осуществления этих задач стали прокламации, изготовление которых началось сразу после (а возможно, и до) объявления царского манифеста, которые сочинили и напечатали сотрудники журнала — Чернышевский, Михайлов, Владимир Александрович Обручев. Вскоре была создана и подпольная революционная организация «Земля и воля», идейным вдохновителем которой был Чернышевский. Ближайший сотрудник Некрасова, один из руководителей его журнала стал духовным вождем довольно значительного количества молодых людей, идейно подготовленных им и его единомышленниками к вступлению в беспощадную борьбу с правительством (среди них, судя по всему, было немало офицеров, в том числе гвардейских, что придавало этому невидимому и разрозненному «фронту» вполне реальную силу). Так правительство, как ему казалось, предоставившее российскому обществу обширное поле для проведения в жизнь реформ через институт мировых посредников (и такая работа действительно началась и привлекла большое количество образованных людей, считавших своим гражданским долгом вступить в ряды мировых посредников), посеяло бурю, создало возможности для нелегальной деятельности.

Как отнесся к правительственному манифесту Некрасов? Имеется свидетельство Чернышевского, посетившего поэта «в тот день, когда было обнародовано решение дела»: «…я вхожу утром в спальную Некрасова. Он, по обыкновению, пил чай в постели. Он был, разумеется, еще один; кроме меня редко кто приходил так (по его распределению времени) рано. Для того я и приходил в это время, чтобы не было мешающих говорить о журнальных делах. — Итак, я вхожу. Он лежит на подушке головой, забыв о чае, который стоит на столике подле него. Руки лежат вдоль тела.

В правой руке тот печатный лист, на котором обнародовано решение крестьянского дела. На лице выражение печали. Глаза потуплены в грудь. При моем входе он встрепенулся, поднялся на постели, стискивая лист, бывший у него в руке, и с волнением проговорил: «Так вот что такое эта «воля». Вот что такое она!» — Он продолжал говорить в таком тоне минуты две. Когда он остановился перевести дух, я сказал: «А вы чего же ждали? Давно было ясно, что будет именно это». — «Нет, этого я не ожидал», — отвечал он и стал говорить, что, разумеется, ничего особенного он не ждал, но такое решение дела далеко превзошло его предположения».

Видимо, в целом этот рассказ достоверен и Некрасов был на стороне народа. Каких-либо оснований сочувствовать помещикам и радоваться сохранению хотя бы части их имущества у него не было. Однако разделял ли Некрасов взгляды своих молодых сотрудников во всей полноте, в том числе их предельный радикализм и бескомпромиссное отрицание правительственной и вообще всякой легальной деятельности?

Некрасов доверял Чернышевскому-теоретику и мыслителю, фактически отдав ему на откуп все публикации научного и философского характера, о чем свидетельствует, в частности, Антонович, познакомившийся с Некрасовым весной 1861 года: «Перейдя к деловому разговору, он стал говорить о том, что о моих серьезных статьях он судить не может, но что Чернышевский их одобряет и он с ним согласен…» Однако считать, что у Некрасова с его сотрудниками было полное совпадение взглядов, не приходится.

Чернышевский очень точно определил степень своего воздействия на Некрасова: «Мнение, несколько раз встречавшееся мне в печати, будто бы я имел влияние на образ мыслей Некрасова, совершенно ошибочно. Правда, у меня было по некоторым отделам знания больше сведений, нежели у него; и по многим вопросам у меня были мысли более определенные, нежели у него. Но если он раньше знакомства со мною не приобрел сведений и не дошел до решений, какие мог бы получить от меня, то лишь потому, что для него как для поэта они были не нужны; это были сведения и решения более специальные, нежели какие нужны для поэта и удобны для передачи в поэтических произведениях. <…> Те сведения, которые мог бы получать от меня Некрасов, были непригодны для поэзии. А он был поэт, и мила ему была только поэтическая часть его литературной деятельности. То, что нужно было знать ему как поэту, он знал до знакомства со мною, отчасти не хуже, отчасти лучше меня. Но в числе тех мыслей, которые мог он слышать от

меня и которых не имел до знакомства со мною, находились и широкие, способные или быть предметами поэтической разработки, или по крайней мере давать окраску поэтическим произведениям? — Были». Таким образом, Чернышевский в своей обычной уклончивой манере утверждает, что Некрасов был его единомышленником в целом, в базовых фундаментальных принципах, но не в деталях специального характера, и это единомыслие было вызвано не «влиянием» Чернышевского, а согласием с ним Некрасова, имевшего собственные твердые взгляды. Полное единомыслие между редактором и его сотрудниками и не было обязательно для успеха журнала, Некрасов пропускал мимо ушей многое и не соглашался (но не обязательно спорил) со многими конкретными идеями Чернышевского и Добролюбова, однако не считал расхождения принципиальными.

Можно предположить, что, соглашаясь с Чернышевским в том, что манифест чудовищно несправедлив, Некрасов не сходился с ним в отношении перспектив, открывающихся благодаря крестьянской реформе. Так, в мае 1861 года в самом последнем письме Тургеневу, от которого он никак не мог «отлепиться душой», Некрасов замечал: «У нас теперь время любопытное — но самое дело и вся судьба его впереди». Стихотворение «Свобода», написанное в том же году, звучит очень оптимистично:

Родина-мать! по равнинам твоим
Я не езжал еще с чувством таким!

Вижу дитя на руках у родимой,
Сердце волнуется думой любимой:

В добрую пору дитя родилось,
Милостив Бог! не узнаешь ты слёз!

С детства никем не запуган, свободен,
Выберешь дело, к которому годен;
Хочешь — останешься век мужиком,
Сможешь — под небо взовьешься орлом!

В этих фантазиях много ошибок:
Ум человеческий тонок и гибок,
Знаю, на место сетей крепостных
Люди придумали много иных,

Так!., но распутать их легче народу.
Муза! с надеждой приветствуй свободу!

Поэт понимал, что сам манифест решил далеко не все проблемы и впереди долгий путь, на котором народ обретет свое счастье, но первый шаг на этом пути всё-таки сделан. Некрасов не мог легко отказаться и от сложившихся у него в предыдущие годы представлений, что правительство ведет работу в том же направлении, что и лучшие люди, либеральная общественность. Поэтому он не разделял уверенности Чернышевского и Добролюбова в том, что революция или восстание являются единственно возможным способом преобразования России, установления справедливого строя, близкого к идеалам Белинского. (Сама по себе мысль о революции и даже о революционном терроре как средстве достижения всеобщего счастья не должна была ужасать ученика позднего Белинского, любившего человечество «по-маратовски» и считавшего, что гильотина — очень хорошая вещь. «Я всё думал, что понимаю революцию, — вздор — только начинаю понимать. Лучшего люди ничего не сделают», — писал «неистовый Виссарион» Боткину.)

Тем не менее Некрасов не испытал в это время такой же ярости и гнева, как его все остальные члены его редакции. Он считал, что возможна и другая деятельность. В этом году Некрасов создал в Абакульцеве школу для крестьянских детей, после отсрочки начал издавать народные «красные книжки», стал членом комитета Литературного фонда, принял участие в создании знаменитого Шахматного клуба, в апреле 1861 года выступил на вечере в пользу бедных студентов в зале Санкт-Петербургского университета. Некрасов готов был действовать совсем в другом роде, чем его молодые товарищи.

Ощущение участия в общественной жизни страны усилилось после долгожданного разрешения на публикацию второго издания «Стихотворений», которое вскоре вышло в двух томах (в его основе было издание 1856 года, дополненное произведениями, написанными позднее, в том числе поэмами). По позднейшему утверждению Некрасова, важную роль тут сыграл его партнер по картам, член Комитета по делам книгопечатания граф Александр Владимирович Адлерберг. Второе издание, хотя и не имело сенсационного успеха первого, продавалось, по свидетельству современников, очень хорошо, подтверждая статус Некрасова как первого современного поэта, у которого теперь даже на горизонте не было конкурентов — ни одна поэтическая книга в это время не имела сравнимого успеха.

Этим воодушевленным отношением Некрасова к происходящему обусловлен творческий подъем. В начале июня поэт отправился охотиться в Грешнево. По дороге он побывал в Москве, где встретился с Островским и сделал знаменитые фотографии в ателье Тулинова. В родовое имение он прибыл около 20 июня. Сохранилось колоритное описание таких визитов поэта в родные места, сделанное его сестрой. Оно имеет обобщающий характер, но по некоторым деталям можно предположить, что Анна Алексеевна вспоминает именно это лето:

«Если брат извещал о дне приезда, отец высылал в Ярославль тарантас, чаще же брат нанимал вольных лошадей или просто телегу в одну лошадь.

Задолго до приезда брата в доме поднималась суматоха.

Домоправительница Аграфена Федоровна с утра звенела ключами, вытаскивала из сундуков разные ненужные вещи — «может, понадобится», чистила мелом серебро, перестанавливала мебель, вообще выказывала большое усердие. Охотничьи собаки получали свободный доступ в комнаты, забирались под шумок на запрещенный диван и только вскидывали глазами, когда домоправительница торопливо проходила мимо них. Отец принимал самое деятельное участие в снаряжении разных охотничьих принадлежностей; несколько дворовых мальчишек сносили в столовую ружья, пороховницы, патронташи и проч. Всё это раскидывалось на большом обеденном столе; выдвигался ящик с отвертками всех величин, и начиналась разборка ружей по частям. Отец был весел, шутил с мальчиками и только изредка направлял их действия легким трясением за волосы. При таких охотничьих приготовлениях к приезду брата присутствовал обыкновенно немолодой уже мужик, известный в окрестности охотник Ефим Орловский (из деревни Орлово), за которым посылался нарочный с наказом явиться немедленно: «Н[иколай] Алексеевич] ждет». Как теперь вижу всю эту картину: отец в красной фланелевой куртке (обыкновенный его костюм в деревне, даже летом) сидит за столом, вокруг него мальчики усердно чистят и смазывают прованским маслом разные части ружей. На конце стола графинчик водки и кусок черного хлеба. В дверях из прихожей в столовую стоит охотник Ефим Орловский с сыном Кузяхой, подростком, тоже охотником, который уже успел отстрелить себе палец. Время от времени отец, обращаясь к одному из мальчиков, говорит коротко: «Поднеси». Мальчик наливает рюмку водки и подносит Ефиму. Разговор, между прочим, идет в таком роде:

— Ну, так как же, — говорит отец, — в какие места полагаешь двинуться с Ник[олаем] Алексеевичем?

— А поначалу, Алексей Сергеевич, Ярмольцыно обкружим, а потом, известно, к нам на озеро: уток теперь у нас, так даже пестрит на воде!

— А сам много бил?

— Зачем бить, как можно: мы для Ник[олая] Алексеевича бережем. Да у меня и ружьишко-то не стреляет, совсем расстроилось. Вот хочу попросить у Ник[олая] Алексеевича].

Отец улыбается.

— Попросить можно. Ну, а Тихменева водил на озеро? (Тихменев помещик-сосед, тоже охотник.)

Ефим, переминаясь:

— Раз как-то приезжал, да ведь какой он охотник — садит зря, да в пустое место, ему бы только стрелять: не лучше моего Кузяхи».

По приезде Некрасов некоторое время не мог оторваться от привезенных с собой дел: прочел несколько присланных в редакцию рукописей, ответил на письма оставшегося в Петербурге Чернышевского.

«Поработав несколько дней, — продолжает рассказ А. А. Буткевич, — брат начинал собираться. Это значило: подавали к крыльцу простую телегу, которую брали для еды, людей, ружей и собак. Затем вечером или рано утром, на другой день брат отправлялся сам в легком экипаже с любимой собакой, редко с товарищем — товарища в охоте брать не любил. Он пропадал по несколько дней, иногда неделю и более. По рассказам происходило вот что: в разных пунктах охоты у него были уже знакомцы — мужики-охотники; он до каждого доезжал и охотился в его местности. Поезд, сперва из двух троек, доходил до пяти, брались почтовые лошади, ибо брат набирал своих провожатых [и] уже не отпускал их до известного пункта. По окончании утренней охоты выбиралось удобное место, брат со всей компанией завтракал, говорил сам мало или дремал. Затем компания, которая получала немало водки и сколько угодно мяса, была разговорчива — брат слушал или нет. Это его дело».

В середине июля, то есть примерно через месяц после приезда, Некрасов начал записывать «грешневские» произведения. Первым стало стихотворение, получившее впоследствии название «Крестьянские дети» (первоначально называлось «Детская комедия»), датированное 14 июля. Тем же числом помечено стихотворение «Ты, как поденщик, выходил…». Текст «Похорон» датирован 22–23 июля, а «Сторона наша убогая…» (в печати названное «Дума») написано уже 14 августа. Увенчала это лето поэма «Коробейники», работа над которой, судя по датам, началась 14 августа и завершилась 25-го числа.

«Крестьянские дети», безусловно, по смыслу продолжают «Деревенские новости» и «Знахарку» — это «деревенский фельетон», основанный на «случае», позволяющем сделать глубокие обобщения, напоминающие «О погоде» или «Размышления у парадного подъезда», но отличающийся от них в целом счастливой, безоблачной картиной. Однако Некрасов не может остаться беззаботным и веселым. Современный читатель, еще в детстве твердивший наизусть фрагмент о «мужичке с ноготок», редко обращает внимание на то, что в стихотворении этот кажущийся «юмористическим» эпизод, собственно, призван проиллюстрировать тяготы трудовой жизни, выпадающие крестьянину с раннего детства. Зрелище ребенка, ведущего под уздцы лошадку, везущую «хвороста воз», неожиданно внушает лирическому герою тяжелые мысли:

Но мальчик был мальчик живой, настоящий,
И дровни, и хворост, и легонький конь,
И снег, до окошек деревни лежащий,
И зимнего солнца холодный огонь —
Всё, всё настоящее русское было,
С клеймом нелюдимой, мертвящей зимы,
Что русской душе так мучительно мило,
Что русские мысли вселяет в умы,
Те честные мысли, которым нет воли,
Которым нет смерти — дави не дави,
В которых так много и злобы и боли,
В которых так много любви!

Что это за мысли, что в них специфически «русского», автором намеренно оставлено неясным. Некрасов не хочет создавать чрезмерно безоблачную и благостную картину; умиляясь деткам, он не забывает о тяготах жизни народа («мерещится мне всюду драма»).

Стихотворение «Похороны», одно из наиболее загадочных у Некрасова, примыкает к линии «Огородника» и «Тишины», отчасти доводя наметившиеся в них тенденции до кульминации, до высшего воплощения. Впервые рассказ ведется не от лица конкретного (пусть и «типичного») представителя народа (как, например, в «Деревенских новостях», «В дороге» или «Огороднике»), но как бы от имени мира — общины, населения целой деревни. Этот народный мир обладает духовной силой, превосходящей силу любого конкретного индивида. Стихотворение рассказывает о парадоксальном посмертном приобщении интеллигентного человека, охотника,

симпатизировавшего народу, к народному миру. В поэме «Тишина» лирический герой приобщался к народному миру через вернувшуюся к нему благодаря детским воспоминаниям способность припадать к бедным алтарям и просить прощения и заступничества у Бога там же, где к нему обращается со своей скорбью народ. И в «Похоронах» подлинная, простая православная вера объединяет крестьян «небогатого села» с несчастным самоубийцей. Это вера, в которой любовь и жалость выше церковных правил и ритуалов. Только в этом случае народ сам принимает в свое лоно образованного человека, прощает ему самоубийство и все другие его грехи, превращает его погребение, которое лекарь, представитель власти, обозначает словом «закопать», в настоящий похоронный обряд.

Особое место среди произведений, написанных в грешневское лето, заняла поэма «Коробейники», которую Некрасов сочинял, может быть, впервые ориентируясь не только на образованного, но и на народного читателя. Поэма была опубликована сначала в «Современнике», а затем в первой «красной книжке». Она действительно будто бы сделана по образцу популярных книжек для народа — с незамысловатым, но увлекательным сюжетом, простым юмором, простыми чувствами персонажей, фольклором; в ней упомянуто много реалий народного быта. При публикации «Коробейников» в «Современнике» Некрасов даже сделал примечания, разъясняющие некоторые слова и выражения, непонятные городскому читателю, тогда как в «красной книжке» таких примечаний нет.

Поэма, интересная и забавная для «простолюдина», ставила перед образованным читателем серьезные злободневные вопросы. Это произведение тоже примыкает к «деревенским фельетонам», и «новостей» здесь немало. Однако в центре ее — не созревающий для участия в исторической жизни, а уже вступивший в нее народ. В «Коробейниках» впервые в некрасовской поэзии человек из народа говорит не только о своей тяжелой доле или (счастливой либо несчастной) любви, о своих отношениях с барином, но и о политике и жизни государства: Тихоныч высказывается о Крымской войне, переводя разговор в апокалиптический план, он осуждает помещиков не за произвол и жестокость, а за то, что они ведут себя «непатриотично», бросая свои имения и проживая за границей, тратя там деньги и подкармливая не своих «торгашей», а чужих. В этом смысле в «Коробейниках» Некрасовым сделана первая попытка увидеть народ как историческую силу, стремящуюся выступить полноправным судьей в военных и политических вопросах. Народ, по Некрасову, умен и по-настоящему заинтересован в

государственных делах. Необходимо сделать его видение основательным и серьезным, основанным не на предрассудках, но на знаниях. И поэма, доступная крестьянам по очень дешевой цене (три копейки), специально указанной на обложке, чтобы офени и другие продавцы не имели возможности повышать ее, должна была стать личным вкладом поэта в дело народного просвещения.

В «грешневское лето» начинается завершающий этап формирования того образа «народного поэта», каким Некрасов видится современному читателю. Именно в 1861 году народ становится центральной темой некрасовского творчества — не только объектом жалости и заботы, но и источником вечной духовной силы и одновременно участником истории, возможным вершителем судьбы страны. Реформа, при всей ее несправедливости, понятной Некрасову, всё-таки была, с его точки зрения, благотворной, поскольку давала народу шанс проявить те огромные нравственные и интеллектуальные силы, которые в нем заложены, а кропотливая работа по просвещению народа — продуктивной, имеющей значение для будущего. Сотрудники «Современника» думали иначе, предпочитая просвещению прямую агитацию, призывы к немедленному бунту.

Вернулся в Петербург Некрасов после 7 сентября и сразу столкнулся с совсем другой деятельностью. Творческое грешневское лето сменилось мрачной и драматичной осенью, опять стало не до стихов. 14 сентября Михаил Михайлов был арестован и посажен в Петропавловскую крепость за составление прокламации «К молодому поколению» (на следствии он взял всю вину на себя, выгородив своего соучастника Н. В. Шелгунова). Этот арест был первым, и литературная общественность, только-только создавшая Литературный фонд и пока не осознавшая серьезности происходящего, обратилась к министру народного просвещения Евфимию Васильевичу Путятину с петицией в защиту Михайлова. Подписал ее и Некрасов. События, однако, продолжали развиваться, и 4 октября был взят под стражу и заключен в Петропавловскую крепость еще один постоянный автор журнала, друг Добролюбова и Чернышевского В. А. Обручев (прототип Рахметова в романе Чернышевского «Что делать?») — также за составление прокламаций, своего рода подпольной газеты «Великорусе», в участии в издании которой современные исследователи подозревают Чернышевского. Некрасов в это время был на охоте со своими великосветскими приятелями и карточными партнерами. Только возвратившись, он узнал о новом ударе. 23 ноября Михайлов был приговорен к шести годам каторги. 14 декабря над ним была публично совершена

гражданская казнь, после чего с ним повидались близкие, в том числе Некрасов. Обручев 27 февраля 1862 года был приговорен к пяти годам каторги и бессрочному поселению в Сибири.

Знал ли об этой, подпольной, стороне деятельности своих сотрудников Некрасов? Никаких документов и свидетельств об этом не сохранилось, Чернышевский не обмолвился ни единым словом. Можно уверенно говорить, что арест Михайлова был для поэта совершенной неожиданностью и казался ему (как и другим литераторам, подписавшим петицию об освобождении «государственного преступника») недоразумением, ошибкой. Дальнейший ход событий эти иллюзии развеял — в редакции «Современника» трудился настоящий «заговорщик». В случае с Обручевым сомнений в справедливости обвинений у Некрасова уже не было, но и предвидеть его арест Некрасов скорее всего не мог. Практически нет сомнений, что ни Чернышевский, ни другие сотрудники, авторы и друзья не ставили поэта в известность о своих заговорщицких планах и деятельности (хотя наверняка были намеки, скажем, на то, что их сотрудничество с «Современником» может внезапно прекратиться). Конечно, подозрения у Некрасова были, и касались они не только Чернышевского и Добролюбова, но и сотрудников, приведенных ими в журнал; все они действительно были вовлечены в широко понимаемый «заговор» или, во всяком случае, готовы принять в нем участие; некоторые из них вскоре отправились на каторгу, а Сигизмунд Сераковский, ставший через два года одним из вождей Польского восстания 1863 года, повешен.

Подозрение, что члены редакции его журнала, в том числе ближайшие, — подпольщики и опасные «государственные преступники», укрепившееся после ареста Обручева, несомненно, заставило Некрасова задуматься о своей позиции по отношению к ним и вообще о своих планах. Прежде всего, сама деятельность подпольщиков не вызывала у Некрасова никакого морального отторжения (во всяком случае, оно никак не проявлялось). Нет доказательств и того, что он считал ее бесполезной или неэффективной. Скорее наоборот, Некрасов видел в ней смысл; другое дело — считал ли ее единственно возможной. В этом, скорее всего, у него не было убежденности, и он долго оставался уверен, что и легальная общественная деятельность в союзе с либеральной частью правительства может быть полезна стране и народу. При этом практически не подлежит сомнению, что сам он никогда не издавал ничего подпольного, вообще не принимал участия ни в чем по-настоящему запретном, кроме, конечно, давно ставшей привычной и бывшей, за редкими исключениями, относительно безопасной борьбы с цензурой. Отчасти поэтому

храбрость радикальной революционной молодежи вызывала уважение и даже восхищение Некрасова — сам он был не готов жертвовать собой. Эта неготовность постепенно начинала осмысляться Некрасовым как «слабость».

Очевидно, однако, что само присутствие в редакции заговорщиков и потенциальных «государственных преступников» представляло угрозу для журнала. Примерно с 1859 года в верхах начали циркулировать разнообразные записки, «информирующие» правительство об опасности направления «Современника», о дурном влиянии, оказываемом журналом на молодежь, периодически приходили слухи о его закрытии, заставлявшие Некрасова и Панаева выяснять по своим светским и правительственным каналам, не будет ли сделано запрещение прямо во время подписной кампании. Во второй половине 1861-го было еще непонятно, во что выльется начинавшееся противостояние правительства и молодых радикалов. Опыт, однако, подсказывал Некрасову, что дело может зайти далеко и последствия для всех участников могут быть ужасные, напоминал о декабристах, петрашевцах, кружке Герцена и Огарева. Некрасов тем не менее решился сохранить то же направление журнала с теми же сотрудниками. Очевидно, он обеспечивал себе относительную безопасность, сознательно не интересуясь, что делали его сотрудники в свободное от журналистики время. Однако факты говорят сами за себя: Некрасов преодолел испуг (вспомним, что совсем недавно перепечатка его стихотворений в «Современнике» вызвала у него панику) и подтвердил свой выбор. Это был выбор не просто направления журнала и состава его редакции, но давно сделанный выбор своей поэзии и своей публики. Своего читателя Некрасову нельзя было оставить. Теперь читатель двинулся в направлении революционного радикализма, и Некрасов пошел вместе с ним. При этом, возможно, Некрасов не видел еще одну опасность, кроющуюся в том, что его молодые сотрудники пришли из совсем другого мира и что со следующим поколением ему невозможно будет дойти до той степени взаимопонимания, какая была у него с Чернышевским и Добролюбовым, которых ему суждено очень скоро потерять.

В начале августа 1861 года вернулся из-за границы Добролюбов. Тамошнее лечение ему совершенно не помогло, и он умирал. В двадцатых числах октября болезнь перешла в летальную стадию. Добролюбова перенесли на квартиру Некрасова, где его регулярно посещали доктор Шипулинский и Чернышевский. 17 ноября у себя на квартире в возрасте двадцати пяти лет Добролюбов скончался. Из средств «Современника» на

его похороны было выдано 175 рублей.

На похоронах, состоявшихся 20 ноября, Некрасов выступил с небольшой речью, известной по репортерской записи. Он сказал, что «с самой первой статьи его, проникнутой, как и все остальные, глубоким знанием и пониманием русской жизни и самым искренним сочувствием к настоящим и истинным потребностям общества, все, кто принадлежит к читающей и мыслящей части русской публики, увидели в Добролюбове мощного двигателя нашего умственного развития». Симптоматичны заключительные слова некрасовской речи (в передаче репортера «Русского слова»): «Меньше слов и больше дела» — было постоянным девизом его и предсмертным его завещанием своим близким собратам по труду. В Добролюбове во многом повторился Белинский, насколько это возможно было в четыре года: то же влияние на читающее общество, та же проницательность и сила в оценке явлений жизни, та же деятельность и та же чахотка».

Потеря Добролюбова была для Некрасова сильным ударом и вызвала второе за год (первое было написано на смерть Тараса Григорьевича Шевченко) некрологическое стихотворение «20 ноября 1861 года», в котором впервые появляется уже воплотившийся портрет «героя», чей предварительный эскиз был начертан в стихотворении «Поэт и гражданин». К Добролюбову Некрасов был сердечно привязан и его раннюю, хотя и предсказуемую смерть тяжело переживал. Авдотья Яковлевна взялась опекать младших братьев критика.

Смерть Добролюбова ослабила критический отдел «Современника», и статей, равных добролюбовским «Что такое обломовщина?» или «Темное царство», там больше не появлялось, поскольку людей, так же любивших литературу и способных внимательно отнестись к художественной форме, среди его единомышленников и последователей не было. Чернышевский, Елисеев, Пыпин, Жуковский и Антонович, составившие ядро журнала, существенно больше интересовались жизнью, а не подражанием ей в искусстве и использовали литературу исключительно в целях постановки общественно значимых вопросов или борьбы с политическими оппонентами.

Редакция сплачивалась, вступая во всё более резкую полемику с конкурентами и идеологическими и политическими противниками — «Русским вестником», «Отечественными записками», «Библиотекой для чтения». Публицистика и современная хроника имели всё больший вес от номера к номеру журнала. В знаменитом редакционном объявлении об издании «Современника» в 1862 году было заявлено о готовности обойтись

без замечательных беллетристических талантов. И если еще в начале 1861 года Некрасов просил Добролюбова не слишком задевать Тургенева, то в 1862-м в «Современнике» была напечатана крайне резкая и несправедливая рецензия Антоновича на роман «Отцы и дети», в котором, казалось редакции, в образе Базарова был карикатурно изображен только что скончавшийся Добролюбов. Некрасов ее одобрил или как минимум не возражал против ее публикации. Очевидно, что и он не чувствовал больше потребности в сохранении иллюзии связи с Тургеневым и не нуждался в его блестящем имени и талантливых произведениях.

Признавая правильность пути, по которому шел журнал, Некрасов всё-таки вряд ли мог победить в себе писателя, литератора, человека, любящего литературу. Поэтому для него наверняка было особенно приятно, что к критикам и публицистам, определявшим лицо «Современника», наконец стали прибавляться и беллетристы, разделявшие, судя по всему, их взгляды. Появилась надежда на новую плеяду писателей, шедшую на смену устаревшим Тургеневу и Григоровичу. К уже давно и регулярно печатавшему в «Современнике» «Очерки народного быта» Николаю Успенскому в 1860 году присоединился Григорий Николаевич Потанин, сибирский писатель, автор незавершенного романа «Крепостное право», на которого Некрасов возлагал определенные надежды. В 1861 году в журнале появляются повести «Мещанское счастье» и «Молотов» Николая Герасимовича Помяловского, а в следующем году печатаются его «Очерки бурсы». В начале 1862-го на страницах «Современника» выступает Василий Алексеевич Слепцов с «Письмами об Осташкове». С 1859 года периодически печатается в «Современнике» М. Е. Салтыков-Щедрин, которого Некрасов в свое время «просмотрел» сначала под влиянием Тургенева, а затем не очень благоволивших к «разоблачительной» литературе Добролюбова и Чернышевского (у Чернышевского позднее были особые причины не любить Салтыкова — из-за допущенной тем ошибки был вычислен и схвачен В. А. Обручев). Теперь намечается сближение Некрасова и Салтыкова, продолжавшего служить вице-губернатором в Твери.

Новые писатели, конечно, еще меньше годились в друзья Некрасова, чем новые сотрудники. Они имели совершенно плебейские привычки, страдали запоями и могли прогулять казенные деньги: только-только начавший печататься в «Современнике» Помяловский в письме от 19 марта 1862 года просил Некрасова спасти его от «позору», поскольку он «под пьяную руку пропил» 78 рублей кредитными билетами и шесть рублей серебром, принадлежавших воскресной школе, где

Помяловский работал в благотворительных целях. Это были люди, так и не выбившиеся из нужды, страдавшие от бедности и находившиеся в полной зависимости от литературных заработков, настоящие литературные «пролетарии» в тогдашнем смысле этого слова (то есть неимущие отщепенцы, не имеющие ничего и вынужденные за гроши продавать свою рабочую силу). Во всех них была изначальная обреченность, которую Некрасов сразу почувствовал. «Пришел ко мне некий бедный выгнанный из штатных смотрителей человек по фамилии Потанин и принес роман — он его писал десять лет и еще не кончил, думаю, что и никогда не кончит, так он любит свое детище и так сжился с ним…» — писал он Добролюбову 23 июня 1860 года. Эти молодые разночинцы, казалось бы, отлично начинали, приобретая имя, известность; но их пороки, врожденные или приобретенные благодаря «подлой», как выражался когда-то Дружинин, среде, в которой они выросли, поедали их изнутри, вели к саморазрушению. Первым пал жертвой своего собственного характера Николай Успенский.

Собственно, со скандала с ним и начался 1862 год, один из самых драматических и опасных в жизни Некрасова. На Николая Успенского в «Современнике» возлагались большие надежды. Некрасов высоко ценил его талант, Чернышевский увидел в его «очерках народного быта» «начало перемены» в изображении народа, а в самом авторе — потенциального главу новой литературной школы. Его старательно «выращивали» в «Современнике», Некрасов немало инвестировал в развитие подающего надежды таланта — издал за свой счет собрание его рассказов и очерков, отправил на свои средства за границу для расширения кругозора. Всё оказалось бесполезно. В Париже Успенский интересовался преимущественно кокотками и вином и вернулся в Россию, не сделав никаких успехов в интеллектуальном и нравственном развитии. В январе 1862 года он предъявил Некрасову необоснованные материальные претензии и, получив отказ, порвал с «Современником», превратившись в одного из самых недоброжелательных противников и журнала, и его издателя.

Некрасов, конечно, уже давно привык к регулярным спорам и неудовольствиям авторов, на что-то обиженных или считавших себя жертвами неправильных расчетов (среди них были и Тургенев, и Толстой, не говоря уже о Белинском), но впервые эти споры приняли столь площадной характер. Успенский так описывал Я. П. Полонскому объяснение с Некрасовым: «Наконец сегодня я его застал… Говорю ему: так и так, подавайте деньги. — «Я, говорит, ничего вам не должен, не приставайте». Я

стал горячиться — и что вы думаете! Некрасов взял заряженное ружье и поставил его около себя в уголок». Даже если Успенский и приврал ради литературного эффекта, сцена всё равно имела неслыханно «откровенный» характер. Этот эпизод, однако, не только обусловлен особенностями характера Николая Успенского, но и в чем-то типичен. Начиналась фактически новая эпоха в отношениях издателей и их «наемных рабочих», литературных «пролетариев». Сам Успенский впоследствии постоянно распространял совершенно беспочвенные слухи о недобросовестности Некрасова, опубликовал клеветнические воспоминания. Закат его жизни был ужасен: не способный справиться с обуревавшими его страстями и пороками, Николай Успенский постепенно спивался, опускался, утратил свое неординарное дарование и в конце концов покончил с собой, перерезав горло тупым перочинным ножом.

В 1862 году продолжилась череда потерь сотрудников «Современника» и близких людей. В ночь на 19 февраля скоропостижно скончался Иван Иванович Панаев. Смерть его не многое поменяла ни в личной жизни Некрасова, ни в журнале. Квазисупругам Некрасову и Авдотье Яковлевне он не мешал, живя обособленной личной жизнью, занимая в квартире на Литейном отдельную половину. Унаследованная им слабость к мотовству, легкомысленным тратам не сильно отягощала кассу журнала, хотя Некрасову и приходилось давать подробные инструкции Ипполиту Панаеву, как ограничивать его кузена в тратах. Если он и имел когда-то влияние на «Современник», то давно потерял его — и финансовое (все финансы перешли под полный контроль Некрасова и Ипполита Панаева), и литературное (отказавшись от фельетонов «Нового поэта», Панаев в последние годы вел только несколько легкомысленную «Хронику петербургской жизни», находившуюся в некотором диссонансе с общим серьезным направлением журнала — вероятно, по признаваемой им самим неспособности быть «идейным» журналистом). Тем не менее его место в журнале свято сохранялось, и на него не покушался ни один новый сотрудник. Незадолго до смерти Панаев начал печатать в «Современнике» очень ценные «Литературные воспоминания», фактически пробудившие у российской публики интерес к этому жанру.

Панаев был верным соратником, не отказался от журнала и от отношений с Некрасовым в трудные времена, и смерть его вызвала и у Некрасова, и у Панаевой искренние грусть и сожаление. Уход из жизни «официального супруга» Авдотьи Яковлевны не мог разрешить противоречий между фактически уже бывшими любовниками — о браке речи идти, конечно, не

могло.

На похороны Панаева было выделено 744 рубля из кассы журнала. Теплый некролог написал Чернышевский. Единственное затруднение, которое возникло у Некрасова, было связано с тем, что юридически Панаев до смерти оставался ответственным редактором и соиздателем «Современника». Но это удалось быстро исправить: официальная вдова Панаева передала Некрасову унаследованные ею права на издание. Правительство в этот момент не видело препятствий для утверждения Некрасова в должности нового ответственного редактора, и 21 марта 1862 года он стал единоличным редактором и издателем «Современника».

В политическом отношении 1862 год был еще более тревожным, чем предыдущий. Ближайшие сотрудники продолжали подпольную работу, приводившую к всё более явным результатам. Чернышевский в глазах правительства и части общества превратился в несомненного вождя всех заговорщиков, внушая обывателям почти мистический страх. Продолжали одна за другой появляться прокламации разных авторов, но всегда поджигательского содержания, возбуждая слухи и панику. 2 марта в зале собраний доходного дома титулярного советника Руадзе состоялся музыкально-литературный вечер в пользу Литературного фонда, закончившийся скандалом из-за крайне дерзкой речи профессора Платона Васильевича Павлова «Тысячелетие России» (на следующий день Павлов был арестован и сослан в Ветлугу). На этом вечере второй и последний раз в жизни перед публикой выступил Чернышевский — он говорил о Добролюбове. Решился на «выходку» и Некрасов, который прочел не только свое дидактическое стихотворение «Школьник», но и перевод стихотворения австрийца Морица Гартмана «Белое покрывало», сделанный государственным преступником Михайловым. Рискованным было и само содержание стихотворения, начинавшегося словами, легко ассоциировавшимися с участью его переводчика:

Позорной казни обреченный,
Лежит в цепях венгерский граф.
Своей отчизне угнетенной
Хотел помочь он: гордый нрав
В нем возмущался; меж рабами
Себя он чувствовал рабом —
И взят в борьбе с могучим злом,
И к петле присужден врагами…

Кульминацией событий стали пожары на Апраксином рынке, начавшиеся 24 мая и длившиеся до 2 июня. Совпавшие по времени с появлением одной из самых решительных и дерзких прокламаций под названием «Молодая Россия», они породили у петербургских обывателей уверенность, что являются делом рук поджигателей-революционеров и студентов, приведшую к панике и выплескам агрессии, нападениям толпы на молодых людей в студенческой форме. В воздухе витало ощущение хаоса и крушения всех устоев, хорошо переданное в романе Достоевского «Бесы». Страху и паранойе поддалось и правительство, предпринявшее наступление на тех, кого считало подрывными элементами, то есть прежде всего на общественные организации: был закрыт Шахматный клуб, запрещены воскресные школы. Твердую репутацию подрывного органа имел к тому времени «Современник», за ведущим сотрудником которого Чернышевским давно велось постоянное наблюдение, а в последние месяцы — фактически «охота». Выпуск «Современника», уже до этого получавшего предостережения, был приостановлен на восемь месяцев (что соответствовало недавно принятым нормам, позволявшим правительству принимать такие меры собственным решением). Пятый номер журнала успел выйти, поскольку на него решение, вступившее в силу 15 июня, не распространялось, а шестая книжка «Современника» за 1862 год уже не увидела свет.

В то время, когда на журнал Некрасова обрушились кары, его самого не было в Петербурге. В начале июня он приехал в недавно купленное им у князей Голицыных небольшое имение Карабиха, неподалеку от Ярославля и от Грешнева, где собирался провести всё лето. (В поезде из Петербурга в Москву он встретил Тургенева, с которым произошел вежливый и спокойный разговор — всё давно было кончено.) Замысел купить Карабиху, при том, что он вполне мог проводить любое время в Грешневе и других родовых имениях, возник у Некрасова еще в 1861 году. 16 апреля он исчерпывающе объяснил свое желание в письме отцу, видимо, узнавшему о его планах и предложившему быть у него постоянным гостем:

«Брат Федор говорил мне, что Вы готовы предоставить имение в наше распоряжение. В том-то и дело, что я избегаю всяких распоряжений. Вы знаете, что здесь жизнь моя идет не без тревоги; в деревне я ищу полной свободы и совершенной беспечности, при удобствах, устроенных по моему личному вкусу, хотя бы и с большими тратами. При этих условиях я располагаю из 12-ти месяцев от 6 до 7-ми жить в деревне — и частию заниматься. — Вот почему я ищу непременно усадьбу без

крестьян, без процессов и, если можно, без всяких хлопот, т[о] есть, если можно, готовую. На это я могу истратить от 15 до 20 тысяч сер[ебром] (можно и больше — если будет за что платить), и прошу Вас разузнавать в наших местах, а к 1-му мая мы будем в Ярославле, если не купим чего-нибудь подобного между Москвою и Петербургом.

Вы будете нашим первым и всегда желанным гостем, в этом Вы не можете сомневаться. Желание же мое иметь непременно собственную усадьбу выходит из естественной потребности устроить всё сообразно своим привычкам».

Процесс покупки, однако, затянулся, и только к лету 1862 года Некрасов смог наконец поселиться уже в своем, хотя и небольшом, но шикарном имении — с оранжереей, прудами, верхним и нижним парками, большим домом с двумя флигелями и ротондой. В этой усадьбе и застала его весть о приостановке «Современника». Хлопоты, последовавшие за этим событием, взял на себя Чернышевский, писавший Некрасову 19 июня о результатах своего визита к министру народного просвещения А. В. Головнину: министр не советовал рассчитывать на возможность издания журнала после завершения восьмимесячного срока приостановки. Чернышевский, в свою очередь, не рекомендовал Некрасову возвращаться в Петербург (возможно, не желая вмешивать его в дальнейшие события, которые, скорее всего, уже предвидел). Однако Некрасов приехал заниматься удовлетворением подписчиков — с ними нужно было рассчитаться за неполученные экземпляры; хлопотать в правительстве; решать вопрос с выплачивавшимися пенсионами, в том числе госпоже Ефимовой, младшим братьям Добролюбова и др. Словом, дел было много, и наверное, они отчасти заслоняли ужас произошедшего. Среди этих хлопот последовал новый удар — 7 июля был арестован Чернышевский и отправлен в Алексеевский равелин Петропавловской крепости. В тот же день был взят под стражу изредка печатавшийся в «Современнике» Николай Александрович Серно-Соловьевич. Казалось, история некрасовского журнала подошла к концу.

№ 158.

ДѢЛО

ОСОБЕННОЙ КАНЦЕЛЯРІИ

МИНИСТРА НАРОДНАГО ПРОСВѢЩЕНІЯ.

О прекращеніи на 8 мѣсяцевъ изданія журналовъ «Современника» и «Русское Слово»

Начато: 1862 года Іюня 15 дня.
Окончено: 1862 года Іюля 7 дня.

На 13 листахъ

Дело о приостановке Министерством народного просвещения выхода «Современника». 1862 г.

СРЕДИ «НОВЫХ ЛЮДЕЙ

После ареста Чернышевского Некрасов недолго оставался в Петербурге — в конце июля он снова уехал в Карабиху. Как всегда бывает в подобных случаях, пошли разнообразные слухи о его планах: говорили, что он больше не будет издавать журнал; что будет издавать, но уже в «охранительном» духе; что собирается заменить Чернышевского Степаном Степановичем Громекой — одиозным публицистом «Русского вестника». Сочувствие и сожаление высказывали многие, в том числе идейные противники Некрасова. Герцен через посредников предлагал начать издание «Современника» в Лондоне. Нетерпеливо ожидали какого-либо решения издателя сотрудники журнала, его «консистория», как он к тому времени стал их обобщенно называть (имея в виду, очевидно, не только их сословную принадлежность — почти все происходили из среды мелкого духовенства, но и способы, какими они решали проблемы). Оставшимся на свободе Елисееву, Антоновичу, Пыпину, Жуковскому поведение Некрасова казалось сомнительным, доходившие до них слухи заставляли подозревать патрона в трусости и ренегатстве. Г. З. Елисеев вспоминал: «Все друзья и враги интересовались знать, почему остановлен «Современник», и все приставали к Некрасову с этим вопросом; Некрасов всюду, куда являлся, чтобы отвязаться от вопрошающих, отвечал кратко: «да, я не знаю, за что остановили «Современник»; верно моя консистория там что-нибудь напутала». Когда слух этот дошел до нас с Максимом Алексеевичем Антоновичем, мы с ним очень этим обиделись, обиделись до того, что порешили не участвовать в «Современнике», если бы он и открылся».

Из этих очень щадящих Некрасова воспоминаний, написанных человеком, с которым Некрасова будут связывать еще более десяти лет совместной работы (более враждебно настроенный Антонович будет утверждать, что Некрасов даже говорил, что рад, что арестован Чернышевский, державший его в «ярме», и что теперь он будет издавать журнал в совершенно другом направлении), видно, что поэт стремился дистанцироваться от тех причин, по которым был закрыт «Современник», и отчасти переложить ответственность за печатавшуюся там «крамолу» на своих сотрудников. Не исключено, что он это делал по согласованию с Чернышевским, с которым в течение двух недель, предшествовавших аресту, виделся не менее восьми раз.

Вполне возможно, что такая интенсивность была связана исключительно с техническими делами по журналу, но,

возможно, не только с ними. Тот же Елисеев позднее признавал поведение Некрасова разумным и правильным и в конечном счете полезным для журнала. Во всяком случае, редактор взял своеобразную паузу — отправился обживать приобретенное имение, не сообщив о своих планах никому из самых близких сотрудников и знакомых, в том числе и Плетневу, договор с которым заканчивался как раз в 1862 году и который, встревоженный последним происшествием, в августе спрашивал Некрасова, будет ли он продлевать контракт и на каких условиях.

Елисеев и Антонович в своих предположениях и обидах были одновременно и правы, и не правы. Несомненно, что ни о каком ренегатстве и тем более прекращении издания «Современника» Некрасов даже не думал. Если произошедшая катастрофа и вызвала у него панику, то ненадолго. Некрасов собирался возобновить журнал при первой возможности, сразу после завершения срока приостановки, и вести его в том же направлении, в каком он шел при Чернышевском, благо последователи и ученики последнего оставались на свободе и были готовы взять на себя поддержание направления.

Однако для обиды на Некрасова Елисеев и Антонович имели серьезные причины. Ситуация, возникшая после приостановки «Современника», обнажила огромную социальную дистанцию между редактором и его молодыми сотрудниками. К 1862 году Некрасов, единомышленник Чернышевского, Антоновича и Пыпина, — уже совсем не то же, что каждый из них, не разночинец-литератор, лицо сомнительное и в общем незначительное. Некрасов — солидный владелец (на самом деле арендатор, но в любом случае лицо, за собственные деньги издающее журнал) популярного и, по мнению многих, доходного литературного предприятия. Он — поэт, модный в кругах высшего света после поэмы «Тишина» (читавшейся в лучших гостиных, как когда-то гордо сообщал Панаев, любивший бывать в них) и напечатанных в «Колоколе» «Размышлений у парадного подъезда»; его стихи читали и великая княгиня Елена Павловна, вдова великого князя Михаила Павловича, и родная сестра царя Ольга Николаевна, королева Вюртембергская. Он — известный всему Петербургу карточный игрок, охотник, член Английского клуба. Его партнерами по картам были личный друг государя, министр императорского двора граф Александр Владимирович Адлерберг и камергер Александр Агеевич Абаза, товарищами по охоте — граф Леонид Шереметев и управляющий Морским министерством Николай Карлович Краббе, клубным приятелем — Григорий Александрович Строганов, морганатический супруг младшей дочери Николая I великой княгини Марии Николаевны,

герцогини Лейхтенбергской. Дом Некрасова еще в 1850-е годы посещал будущий военный министр Дмитрий Алексеевич Милютин. Одним из его лечащих врачей будет лейб-медик Сергей Петрович Боткин — знаменитый хирург, брат прежнего приятеля Некрасова Василия Петровича Боткина.

И, что особенно важно в данном случае, «не тем же, что они» (Елисеев и Антонович), Некрасов был в глазах правительства и высшего общества. Это хорошо сформулировал Петр Александрович Валуев, министр внутренних дел, в чьи руки в это время переходили цензура и надзор за печатью, записавший в дневнике 27 июня 1862 года: «Вчера был у меня Некрасов по делу о «Современнике». Неприятная личность, но лично он не заговорщик, у него есть деньги». И сам Некрасов имел к правительству другое отношение, чем его «консистория». Последние события, конечно, отрезвили его и избавили от иллюзий о возможности полноценного сотрудничества между правительством и обществом; тем не менее правительство не было для него однородной враждебной и потенциально опасной силой. Оно и в самом деле не было однородным. Несмотря на усиление репрессивных тенденций в управлении печатью и страной в целом, в правительстве всегда сохранялись либеральные и даже «красные» элементы, сохраняли свои позиции братья Милютины, Головнин, великий князь Константин Николаевич. Тот же Валуев не был однозначным реакционером, стремясь выглядеть скорее просвещенным консерватором. Был сильный и опасный граф Муравьев, но силу имел и либеральнейший внук генералиссимуса, петербургский военный генерал-губернатор Александр Аркадьевич Суворов. Это, конечно, не означало, что кто-нибудь в правительстве мог одобрять цели и методы Чернышевского и Михайлова, но не всем в правительстве единомышленники Михайлова и Чернышевского должны были казаться опасными людьми. И в рядах высшей бюрократии было немало тех, кто считал, что и такая позиция может — естественно, под контролем — иметь место в общем «хоре» и что подрывная деятельность части этих людей еще не означает, что все, кто придерживается сходных взглядов, абсолютно вредны.

Некрасов, собираясь возобновить издание журнала, стремился занять позицию «владельца» журнала, чья «консистория» иногда «выходит из-под контроля», но сама по себе не настолько опасна, чтобы ее уничтожать. Его фигура «не-заговорщика» как бы сама по себе придавала его журналу вид не поджигательно-революционного, выходящего из легального поля (как его на время представила деятельность Михайлова, Обручева и Чернышевского), но всего лишь «оппозиционного» издания.

Министр Валуев не мог поверить, что человек, у которого есть деньги, финансирует заговорщиков и поджигателей. Поэтому нарочитое дистанцирование Некрасова от его «консистории» было в то время единственно правильной и спасительной для «Современника» позицией (схожей была позиция Благосветлова, издателя в еще большей степени радикального «Русского слова»). Да и сам Некрасов ощущал, что либеральный ресурс правительства себя не исчерпал, что власть не ассоциирует его журнал напрямую с подпольной деятельностью некоторых бывших членов его редакции и что препятствия к возобновлению выпуска «Современника» в том же виде можно будет преодолеть.

Видимо, руководствуясь примерно такими соображениями, 8 октября Некрасов вернулся из Карабихи в Петербург и начал энергичные хлопоты по возобновлению издания «Современника». Прежде всего нужно было собрать начинавшую разбегаться «консисторию» (несколько его сотрудников согласились в это время участвовать в другом издании). По дороге из Ярославля в Петербург остановившись в Москве, Некрасов провел переговоры с Антоновичем, а приехав в Северную столицу, беседовал с Елисеевым. Их реакция на его предложение стала для него неожиданностью. Некрасову пришлось уговаривать их и даже унижаться, поскольку в этот момент они как будто обрели нравственное превосходство и право морального суда над ним. Антонович вспоминал об этом эпизоде:

«В газетах появилось объявление о новой газете с именами Елисеева и моим. Это объявление очень смутило Некрасова, и по приезде в Петербург он тотчас же навел справку у одного общего знакомого, почему мы с Елисеевым вступили в новую газету и разве мы не желаем сотрудничать больше в «Современнике». <… > Некрасов пригласил меня к себе и разговор начал с того, что объявление об «Очерках» поразило его точно обухом по голове; затем он стал упрекать меня за то, что я мог поверить таким нелепым слухам о нем, тогда как мне более чем кому-либо другому должны были быть известны те чувства искреннего расположения и глубокого уважения, какие он питал к Добролюбову и Чернышевскому, так высоко поднявшим его журнал, и тогда как, с другой стороны, я должен знать и те чувства, которые питают к нему его бывшие приятели, которые готовы выдумать и распространять про него всякие нелепости, чтобы только отомстить ему за то, что он отверг их и стал на сторону тех людей, которые им антипатичны и т. д. Несколько раз и с особенной настойчивостью он уверял, что он твердо и бесповоротно решил продолжать «Современник» в прежнем направлении и, конечно, с прежними сотрудниками. Он говорил с

таким жаром и таким чувством, что я поверил искренности его слов…»

Похожий и столь же унизительный для Некрасова разговор произошел с Елисеевым, также «поверившим» ему и согласившимся продолжить сотрудничество в «Современнике». В редакции оставался Пыпин, не выражавший желания примкнуть к какому-либо другому изданию; кроме того, Некрасов привлек к постоянному сотрудничеству Салтыкова. Остаток года ушел на получение правительственного разрешения на возобновление журнала, переговоры с Плетневым (удалось убедить его снизить арендную плату) и формирование редакционного портфеля. Всё это, на удивление, оказалось сделать проще, чем уломать гордых и честных молодых сотрудников. К началу 1863 года всё было готово к «возрождению» «Современника».

Только одно событие на некоторое время отвлекло Некрасова от борьбы за его журнал. 30 ноября скончался Алексей Сергеевич. Некрасов узнал о том, что отец умирает, 26 ноября и сразу выехал в Ярославль. Приехали и другие дети, и отец скончался в окружении семьи. Алексей Сергеевич, в последние годы сильно волновавшийся о своем завещании, в результате так и не успел его нотариально заверить, но после смерти все имения были разделены между наследниками полюбовно, каких-либо трений между ними не возникло. Они были дружной семьей, возможные недоумения, если и были, остались в прошлом.

В отношении Некрасова к смерти отца не было ничего необычного. Это была печаль взрослого, давно сформировавшегося самостоятельного человека по ушедшему старому родителю, тяжело болевшему. В последние годы они довольно живо переписывались, отец постоянно жаловался на здоровье (его мучил геморрой), говорил о любви к детям, советовался по поводу затеваемых предприятий, хвастался удачной охотой, приглашал к себе. Сын отвечал почтительно и заинтересованно, давал советы. Алексей Сергеевич Некрасов был похоронен в семейном склепе в Абакумцеве, отдельно от своей жены.

Все эти хлопоты на сей раз не помешали творчеству. Период борьбы за возобновление журнала оказался очень плодотворным. Во второй половине 1862 года — начале 1863-го Некрасов создал целый ряд шедевров, вызвавших восхищение читателей и представляющих собой специфически некрасовский отклик на трагические события, потрясшие его «лагерь» в прошедшие два года.

В центре, конечно, находится стихотворение «Рыцарь на час», над которым Некрасов работал едва ли не с мая до конца 1862

года. Стихотворение, построенное на мотивах, найденных в «Тишине» и «На Волге», скрещенных с темами из полузабытой поэмы «Саша» и наверняка еще очень актуального «Поэта и гражданина», знало наизусть множество молодых людей. Каждое чтение его вслух заставляло рыдать даже таких несентиментальных людей, как Шелгунов и Глеб Успенский. Оно очень литературно и в этом смысле примыкает к череде элегий, «написанных во время бессонницы». Сам избранный Некрасовым жанр несет в себе очень устойчивый и узнаваемый набор мотивов. Ночная бессонница — это время подведения итогов, рефлексии, когда вспоминается забытое, то, что рассеивает день с его суетой и сиюминутной занятостью: постыдные грехи, неискупимые проступки, невозвратимые утраты. В это время человек остается наедине со своей совестью. Готовность поэта поделиться тем, что приходит к нему во время бессонницы, означает предел смелости, искренности и доверия к своему читателю.

В «Рыцаре на час» мало говорится о том, какие именно грехи тяготят лирического героя, употребляются лишь общие слова о падении, трясине и бездействии, протяжное звучание стиха заменяет подробности, а готовность быть искренним — саму искренность. Акцент здесь переносится на светлые воспоминания, на которые можно опереться в борьбе с муками совести. И здесь, как в «Тишине», появляется образ сельского храма — теперь это храм, у стен которого похоронена мать, героиня стихотворений «На Волге» и отчасти «Родины». К матери, воплощению любви и нравственной силы, лирический герой обращается с просьбой пробудить в нем мужество, поскольку именно любовь движет людьми, в стане которых он хотел бы найти свое место и вместе с которыми хотел бы погибнуть, героизм которых только оттеняется его признанием в собственной недееспособности.

Стихотворение звучит как привет и благословение погибающим борцам от того, кто остался «рыцарем на час». Некрасов находит свое место в разгорающейся схватке — «сочувствующего», но неспособного встать в ряды героев. Стихотворение воспевает людей, подобных Чернышевскому, Обручеву и Михайлову, с дистанции покаяния предстающих светлыми рыцарями и святыми подвижниками, которым самим каяться не в чем. Покаяние как будто рождает емкие и волнующие, оправдывающие и благословляющие их формулы: «… стан погибающих / За великое дело любви». Излюбленное оружие Некрасова — искренность и покаяние — в «Рыцаре на час» предстает во всей сокрушительной мощи, безотказно действуя на читателя, который видел себя и в тех, кто погибает, и в том, кто кается за несовершенное. Стихотворение было отдано супругам

Шелгу-новым, отправляющимся в Сибирь к Михайлову.

Своеобразной параллелью к «Рыцарю на час» является тогда же написанное стихотворение «Что думает старуха, когда ей не спится» — здесь тоже бессонница, пробуждающая совесть и покаяние. Но все грехи, в которых сама себе кается «старуха столетняя», не стоят выеденного яйца, только украшают ее, говорят о большой душевной чистоте и, в сущности, невинности. Стихотворение «В полном разгаре страда деревенская…» вводит образ крестьянской матери, пораженной горем и страданием, неспособной защитить ребенка. Но и этой женщине не в чем каяться. Виновна сама тяжесть и тупость народной жизни, превращающей материнство в боль, а не в радость. Эти стихотворения вполне в духе начавшегося поворота некрасовской лирики к народу как объекту чистой любви и любования его поразительным целомудрием и бесконечными духовными силами. Высшее выражение эта тенденция находит в шедевре «Зеленый шум». Стихотворение, выглядящее как подражание Кольцову, представляющее собой квинтэссенцию его языка, образов, интонаций, стиха, бесконечно превосходит самые лучшие кольцовские произведения. Здесь человек из народа становится вместилищем абсолютной любви, прощающей и терпящей.

В феврале 1863 года вышел сдвоенный номер «Современника». Его страницы украшали имена прежних сотрудников: Антоновича, Пыпина, Елисеева, Жуковского, что само по себе опровергало любые слухи и предположения о ренегатстве Некрасова. Журнал, потерявший важнейших сотрудников, сохранил прежнее направление. Замечательным нововведением стало ежемесячное сатирическое обозрение «Наша общественная жизнь», печатавшееся вошедшим в состав редакции Салтыковым-Щедриным, уже имевшим громкое литературное имя, чье разящее остроумие прибавляло популярности журналу.

Несомненно, однако, что возобновленный «Современник» был уже в значительной степени не тем журналом, каким его делали Чернышевский и Добролюбов. Прежде всего в худшую сторону изменились отношения внутри редакции. Молодые разночинцы, приведенные Чернышевским и Добролюбовым, не испытывали к Некрасову особенной симпатии, не ценили его поэзию так же высоко, скептически относились к его нравственному облику, ощущая свое моральное превосходство. В отличие от Чернышевского и Добролюбова, его «барские» привычки и вкусы не просто были им чужды, но служили признаком его несоответствия образу настоящего деятеля. Ни Антонович, ни Елисеев, ни Жуковский не чувствовали себя обязанными

Некрасову. Как показали дальнейшие события, они имели несколько завышенную самооценку, считая себя едва ли не более важными фигурами для журнала, чем сам его редактор. Теплых отношений с Некрасовым у них быть не могло, да они в духе своего «реализма» и не считали таковые необходимыми для совместной работы. Некрасов был для Антоновича, Жуковского, Елисеева и Пыпина просто хозяином предприятия, где они работали. Это приводило к тем же последствиям, что и на обычном предприятии: недоверию, подозрениям, что их труд не оценивается достойно. Если же прибавить сюда их социалистические убеждения, то можно было ожидать «бунт» против такого устройства предприятия. И для самого Некрасова Антонович или Пыпин оставались людьми чуждыми, несмотря на то, что в разговорах с ними он мог пускаться в откровенности — такова была его своеобразная манера. Всё-таки Некрасов стремился видеть в своей «консистории» не просто работников, которых он нанял за определенную плату, но и «товарищей по журналу», как он выразился позднее, описывая свои отношения с Антоновичем.

Конечно, у Некрасова были основания подозревать новых членов редакции в той же нелегальной деятельности, какую вел Чернышевский — но, видимо, с этим он смирился и научился не замечать, тем более что сами они наверняка еще меньше хотели ставить редактора в известность о своих «других» делах.

Другая опасность исходила не столько от неуважения или отчуждения новых сотрудников от редактора, сколько от сочетания молодости, самоуверенности и отсутствия лояльности к журналу. У них не было готовности воздерживаться от чрезмерно резкого высказывания, чтобы сохранить журнал, не было терпения, в высшей степени присущего самому Некрасову, не было присущего Добролюбову и Чернышевскому стратегического мышления. Антонович и Жуковский могли поставить свое самовыражение выше интересов журнала, в какой-то момент пожертвовать ими ради яркого высказывания. Особенно это было опасно в новых условиях: министр внутренних дел Валуев, отобравший цензуру у Министерства народного просвещения и переподчинивший ее своему ведомству, взял очевидный курс на замену предварительной цензуры карательной. Это заставляло Некрасова, с одной стороны, зорче присматривать за «Современником» и за тем, что в нем печатается, с другой — больше дистанцироваться от содержания его собственного журнала. Антонович вспоминал, что в его время Некрасов прочитывал корректуры полностью, во времена Чернышевского контроль его за журналом был слабее. В

довершение всего в новой редакции сошлись люди, не симпатизировавшие друг другу, с тяжелыми и нетерпимыми характерами. Нередко случались конфликты между Салтыковым и Антоновичем, видимо, вынуждавшие Некрасова (особенно часто во второй половине 1863 года) выступать посредником между враждующими сторонами.

Было еще одно обстоятельство, не только осложнившее существование «Современника», но и изменившее облик российской журналистики. 2 января 1863 года с одновременного нападения на несколько российских воинских частей началось восстание в Польше, имевшее совершенно другой характер, чем восстание тридцатилетней давности, в подавлении которого участвовал шурин Некрасова Генрих Станиславович Буткевич. Это уже не была война регулярных армий — к этому времени все военные институты в Царстве Польском были уничтожены. Война приняла партизанский характер и охватила не только находившиеся под властью России польские территории, но и часть современной Украины, Белоруссии и Прибалтики. Несмотря на неравенство сил, борьба, которую вели с российскими войсками разрозненные повстанческие группы, оказалась затяжной (разгромить их удалось только к середине 1864 года) и даже вызвала у российского правительства панические настроения. Первым последствием, конечно, был всегда опасный для оппозиционной прессы неизбежный крен «вправо» — в правительстве и при дворе серьезно усилилась партия графа М. Н. Муравьева (которого можно считать личным врагом Некрасова, никогда не разделявшим журнал и его редактора), ставшего фактическим диктатором северо-западных губерний и безжалостно подавлявшего восстание. Для «Современника» это было опасно вдвойне, поскольку еще до восстания намерения польских революционеров вызывали сочувствие у редакции журнала. Один из вождей восстания, повешенный Муравьевым Сигизмунд Сераковский, был участником «Современника», учеником и поклонником Чернышевского, хорошим знакомым Некрасова. По польскому вопросу «Современник» был вынужден отмалчиваться.

Польское восстание и борьба с ним принесли «Современнику», может быть, более серьезную опасность не со стороны правительства, а со стороны общества. Выступление поляков вызвало в российском обществе враждебность, прилив имперских чувств. Эта волна массового патриотизма определенного сорта в 1863 году получила своего выразителя и вождя — им стал неожиданно превратившийся в фигуру всероссийского масштаба Михаил Никифорович Катков, редактор

и издатель «Русского вестника», еще с 1862 года взявший в аренду газету «Московские ведомости».

Молодой друг Белинского и Герцена, англоман, человек либеральных убеждений, стремившийся издавать журнал в «центристском» духе, Катков в это время переходит на крайне консервативные позиции. Поток вышедших из-под его пера газетных передовиц, гневно бичующих Герцена, нигилистов и поляков, отстаивающих имперские ценности, был с большим сочувствием встречен публикой. Катковские статьи сейчас выглядят демагогическими, представляют собой истерический поток, наполненный идеологическими словами, однако в то время Катков производил впечатление пламенного трибуна. Оказывая огромное влияние на своих читателей (он, в частности, породил целую антипольскую паранойю, превратив поляков в обывательском сознании во что-то вроде масонов — вечных заговорщиков, тайных и могущественных врагов России, опутавших ее сетями заговоров и стоящих за всяким эксцессом), редактор «Русского вестника» и публицист «Московских ведомостей» проповедовал ненависть к полякам и любовь к «традиционным» принципам. Получив огромное влияние, в том числе на правительство (крупнейшие реакционеры нового призыва — печально знаменитый министр народного просвещения, граф Дмитрий Андреевич Толстой и не менее известный обер-прокурор Святейшего синода Константин Петрович Победоносцев — до некоторой степени выросли в его «школе»), он сохранял независимое положение, отказываясь от любых государственных должностей, субсидий, мог пойти на конфликт с правительством, если оно казалось ему слишком либеральным. Его конфликт с министром внутренних дел Валуевым, который его терпеть не мог, чуть не привел к закрытию «Московских ведомостей», однако закончился победой публициста — государь лично разрешил ему продолжать выпускать газету. И никакие попытки представить его платным агентом правительства, по аналогии с издателем «Северной пчелы» Фаддеем Булгариным, не удавались. Видимо, для самого правительства это было совершенной неожиданностью — на фоне катковских изданий особенно жалко выглядели попытки Валуева издавать официальную газету для пропаганды правительственного курса — «Северную почту», редактором которой некоторое время выступал Иван Александрович Гончаров.

Это, пожалуй, было ошеломляюще новым — с Катковым в российскую жизнь и общественную мысль вошел пламенный и совершенно не официозный консерватизм, консерватизм «по

искреннему убеждению», а не по долгу службы и не за материальный интерес, приобрел свой голос. Катков сделал позицию «просвещенного консерватизма» достаточно респектабельной, возможной для человека мыслящего, принимающего монархические имперские ценности, но не желающего обрести репутацию продажного агента правительства. Для такого человека невозможен был бы союз с Булгариным, а союз с Катковым возможен — достаточно вспомнить Достоевского, который придет к Каткову после разорения, Лескова после «катастрофы» с романом «Некуда», Тургенева в разгар его раздражения против нигилистов.

Для «Современника» и «Русского слова» появление Каткова означало не просто обретение нового опасного врага. Они не могли по-прежнему ощущать себя единственно бескорыстной, незаинтересованной стороной в спорах о будущем народа и государства. В новом составе редакции «Современника», пожалуй, только Салтыков-Щедрин и по интеллекту, и по страстности был сопоставим с Катковым. Конкуренция с «Русским вестником», полемика прямая и неявная станет для «Современника» повседневностью. Всё дальнейшее существование некрасовских журналов будет проходить под знаком этой борьбы. В 1863 году «Современник» последовательно проводил свою линию, например, опубликовав роман еще находившегося в Петропавловской крепости Чернышевского «Что делать?», ставший своего рода библией для «новых людей», его главных героев.

Известен анекдот, связанный с этим романом. Некрасов, ехавший на извозчике, обронил где-то рукопись первой главы. Редакция «Современника» дала объявление с просьбой к нашедшему рукопись вернуть ее за умеренное вознаграждение. Подобравший рукопись прохожий объявился, и русская литература не осталась без своего шедевра. Роман был напечатан практически без цензурных изъятий, и только после выхода последней главы правительство спохватилось — произведение Чернышевского было запрещено и в легальной печати не издавалось в России до 1905 года.

В конце этого года завершаются отношения Некрасова и Панаевой. Авдотья Яковлевна продолжала жить или появляться в квартире Некрасова еще до конца ноября 1864 года (до этого времени она получала деньги от журнала «на дрова в квартиру редактора»), однако уже годом ранее в сердце Некрасова ее полностью сменяет уже совершенно «официальная» любовница, французская актриса санкт-петербургского Михайловского театра Селина Лефрен. В данном случае отношения носили «деловой»

характер. С одной стороны, можно назвать Лефрен профессиональной содержанкой (она оставила во Франции ребенка, приехала в Россию на заработки и, несомненно, рассматривала отношения с Некрасовым как один из способов накопить на достойную жизнь); с другой стороны, это будет несправедливо. Деньги в данном случае не отменяли человеческих отношений — без большого «сердца», но теплых и лишенных драматизма. Некрасов получил возможность отдохнуть от слишком тяжелой и сильно затянувшейся любовной драмы. Наиболее подробный портрет Селины приводится в недавно опубликованных мемуарах единокровной сестры поэта Елизаветы, которая в это время часто бывала в квартире на Литейном:

«Это была особа лет за тридцать, не особенно красивая, но эффектная. Она много занималась музыкой, брала уроки пения. Самым большим удовольствием для нее были опера и французский театр… Комнаты свои она устроила очень оригинально. В большой комнате были поставлены в 4-х углах огромные елки, доходящие до потолка. Посередине комнаты стоял стол, на котором помещались клетки с различными птицами, которые утром выпускались и свободно летали по деревьям, а вечером садились в клетки. Тут же стоял рояль, на котором она играла и пела. Из картин, висевших в этой комнате, я помню очень хороший портрет Гейне, а в кабинете брата единственным украшением стен был оригинал известной картины «Пушкин в селе Михайловском»… Она была очень интеллигентна, любила музыку, училась пению и играла на фортепиано…»

Мемуаристка несколько раз обращает внимание на манеру Селины одеваться: «М-Пе Лефрен была нельзя сказать чтобы очень красива, но имела представительную фигуру, одевалась очень хорошо, с большим вкусом, всё, что на ней было, казалось очень богатым. <…> На… обедах она очень хорошо была одета и надевала большею частью платья, которые нравились Николаю Алексеевичу, оба из великолепного атласа, одно цвета таггоп (каштановое), а другое цвета saumon[29] или, как Николай Алексеевич называл, цвета du лососин». Всё-таки Селина сошлась с Некрасовым не только из-за денег, но и потому, что он нравился ей как мужчина, как добрый друг и покровитель. И Некрасова она привлекла не только внешностью и доступностью. Сохранились ее письма поэту, написанные уже после их расставания. Некрасов не знал французского языка, и Селина писала ему по-русски, как умела, изливая в письмах свою простую, но не лишенную прелести душу:

«Я очень часто пишу тебе, я бы и больше еще писала, если я бы уверена, что мои письма могут тебя интересовать. Но я далеко

не думаю этого, [поэтому] не могу писать ничего хорошо, потому не знаю.

Всё-таки я знаю, что тебе не неприятно получить от меня известие, потому (— всегда потому —) но что делать! — потому ты меня любишь — и тебя интересует знать, что делаю — так я понимаю, но как письмо — плохой. <…> Если правду сказать, есть много вещей, которые мне нравятся в Петербурге я только тогда себя считаю у себя и, мой друг, первое для меня иметь друга, я понимаю здесь как всё пустое кругом. И что необходимо на свете иметь настоящего друга, который не смотрит, если у вас недостатки, и каждый терпит все ваши капризы. Нет на свете ни одного мужчины, который тебя стоит, — вот мой опинион[30], но жаль, что ты как [меня] я нервозъ это все от этого идет, разные пустяки, из которых состоит жизнь, одним словом».

Содержание французской актрисы выглядело со стороны признаком богатства, повышало статус. Возможно, это осознавал и Некрасов и стремился таким образом добавить еще один штрих к своей респектабельности. Семья Некрасова, близкие ему люди и сотрудники, в том числе пришедшие после Чернышевского и Добролюбова, замену Панаевой на Лефрен равноценной не считали. Они с симпатией относились к Панаевой и поэтому были склонны воспринимать ее «преемниц» скорее враждебно. Добролюбов и Чернышевский отрицательно отнеслись к «ангелу» (Ефимовой?); Жуковский и Антонович подчеркнуто симпатизировали Авдотье Яковлевне и считали поведение Некрасова по отношению к ней оскорбительным, неуважительным, подчеркивающим его низкий нравственный облик (продолжая жить в одном доме с Панаевой, он открыто сожительствовал с французской актрисой, очевидно, вульгарной). За Панаевой на всю жизнь сохранился ореол развитой эмансипированной женщины, в глазах общих знакомых стоявшей нравственно выше того мужчины, которому она стала подругой.

Некрасов подвел своеобразный итог отношениям с Панаевой в стихотворении, напечатанном только за год до своей смерти и получившем тогда название «Слезы и нервы», но написанном в 1863 или 1864 году. Это одно из его поразительных любовных произведений. Поразительно оно в том числе и тем, что совершенно не выглядит как любовное. Это скорее «семейное» стихотворение, описывающее тяжелую рутину совместной жизни, в котором героиня предстает манипулятором, используя женскую слабость как сильнейшее оружие, чтобы держать лирического героя в своеобразном «рабстве», вызывать его ревность и раскаяние. В стихотворение попадают немыслимые в любовной поэзии бытовые подробности вроде покупки нового платья,

флакона одеколона, притворных обмороков. О возлюбленной говорится как о «бывшей», исчезнувшей, ушедшей, чтобы практиковать эти инструменты на ком-то другом, что могло бы выглядеть своего рода сведением счетов, если бы в конце автор не признавался, что его любовь не прошла. Признание превращает духи, платья и истерики в атрибуты любви, а не просто сожительства, совместного быта. Своеобразный сюжет стихотворения напоминает самые первые стихи «панаевского цикла»: ссора завершается не просто примирением, но признанием того, что она — часть любви, усиливающая прелесть примирения. В стихотворении «Слезы и нервы» подробности, которые лирический герой вспоминает как будто для того, чтобы окончательно убить любовь, только свидетельствуют о невозможности сделать это.

Ссоры и примирения, французские модные лавки и флаконы с одеколоном, любовь Некрасова и Панаевой в стихах обрели бессмертие. В реальности дело закончилось отступным в 50 тысяч рублей, которые Некрасов выдал Панаевой векселями А. А. Абазы. Через два года после окончательного разъезда Авдотья Яковлевна официально выйдет замуж за Аполлона Филипповича Головачева, секретаря редакции «Современника», родит от него дочь. В конце жизни, сильно нуждаясь в деньгах, она напишет мемуары о своей жизни, знакомых литераторах, «Современнике» и Некрасове.

Кроме «Слез и нервов», в 1863 году было написано «народное» стихотворение «Кумушки», напечатанное в «Солдатской беседе» и «Народной беседе» Погосского. Оно, скорее всего, было написано специально для первых номеров журналов, по заказу издателя — центральной темой обоих номеров было бережное отношение к детям — один из постоянных предметов проповеди Погосского.

Лирика, созданная в этом году, необычно мрачна, содержит первые признаки разочарования результатами произошедшего в России исторического сдвига. Это видно в новой стилизации под народную песню (подобной «Огороднику» или «Буре») — пронизанном горькой иронией «Калистрате». Своеобразной парой к написанному в предыдущем году светлому «Зеленому шуму» стало более мрачное стихотворение «Надрывается сердце от муки…»: оно начинается с описания звуков топора, барабанов и цепей, после чего появляется образ весны с тем же зеленым шумом. Но если в первом случае зеленый шум оказывает облегчающее воздействие на душу, весна учит любить и прощать, то во втором лирический герой получает не любовь, а только заглушение злобы и покой. Более горько звучит стихотворение «Благодарение Господу Богу…», в котором трудно не видеть

отклик на репрессии и первые жертвы, принесенные молодыми борцами. Обращение «брат» к «удаляемому с поста опасного» ранее уже использовалось в посвящении Михаилу Михайлову к стихотворению «Рыцарь на час». Поэт стремится увидеть в этих юношах братьев. В чем это братство? Очевидно, в тех идеях, за которые они гибнут и которые Некрасов утверждает в своих стихах.

Тогда же написанное стихотворение «Пожарище» показывает, что Некрасова продолжал интересовать открытый им для себя в «Деревенских новостях» жанр «сельского фельетона», обзора деревенской жизни. Это следствие понимания новой роли народа в жизни страны. Теперь, когда главное, судьбоносное событие произошло на «освобожденной Руси православной», каковы его последствия? Судя по стихотворению, они неутешительны: всюду бедность и упадок, а пожары — единственное сельское «развлеченье». Крестьяне в «Пожарище» сравниваются с червями, копошащимися на трупе — это одно из самых жестоких сравнений в некрасовской поэзии, в которой жестоких картин немало. В конечном счете вся деревенская помещичья пореформенная Россия уподобляется здесь сдохшей лошади, гниющему трупу.

К тому же жанру, безусловно, относится и жалобная «Орина, мать солдатская». Это тоже сценка, описание разговора, за которым стоит постановка актуальной проблемы. В данном случае имеются в виду рекрутчина, телесные наказания, существование которых превращало многих честных офицеров в революционеров или сочувствующих революционерам. Военная реформа была одной из наиболее назревших, и на нее с самого начала шестидесятых годов взяло курс либеральное Военное министерство, которое с 1861 года возглавил знакомый Некрасова и Чернышевского Дмитрий Алексеевич Милютин. Стихотворение прежде всего содержит скрытый призыв отменить рекрутчину, но за душераздирающей историей несчастного солдата, умершего дома от того, что делали с ним в армии, встает и другая тема — уже доминирующая в некрасовской поэзии тема огромной силы народного духа, народа как носителя высших нравственных ценностей. Отношения между Ори-ной и ее сыном — безграничная любовь. Сын жалеет мать, остающуюся в одиночестве. Орина, в отличие от старухи из стихотворения «В деревне», жалеет не себя, а сына, при этом она поразительно сдержанна в своем горе и мужественна, она не жалуется, а рассказывает. Но означают ли это мужество и нравственная красота, которые «мать солдатская» обретает в своих страданиях, что сами страдания можно признать чем-то «естественным» и

даже полезным для народа? Этот вопрос находит ответ в еще одном произведении, завершенном в том же году.

Поэма «Мороз, Красный нос» была, видимо, начата еще в конце 1862 года, во время пребывания Некрасова в Грешневе возле умирающего отца. Она создавалась частями, ее замысел постепенно укрупнялся: сначала была написана короткая первая главка, затем — часть «Смерть крестьянина» (первоначально «Смерть Прокла») и, наконец, последняя часть, давшая название всей поэме. Возможно, этот сложный процесс создания обусловил ощущение экспериментального характера поэмы при кажущейся простоте сюжета: крестьянин-отходник простудился и умер, несмотря на попытки его вылечить; его молодая вдова, оставив сирот у стариков, едет в лес нарубить дров и замерзает. При этом композиция поэмы выглядит почти избыточно сложной, первая часть изобилует инверсиями, тон рассказа меняется на всём его протяжении.

«Мороз…», в отличие от «Коробейников», в большей степени поэма не *для* народа, а *о* народе. В ней важную роль играет голос самого автора и одновременно лирического героя, звучащий в посвящении и в нескольких лирических отступлениях. Здесь не какой-то безличный человек из народа, но, несомненно, сам автор рассказывает историю, случившуюся в крестьянской семье, рассказывает, очевидно, потому, что она отвечает его собственным настроениям. Изначальный импульс очевиден — ему самому плохо, он раздружился с Музой, чувствует, что «пора умирать», и ищет у народа способ преодоления нравственных страданий.

«Мороз…» — это новая попытка Некрасова ответить на вопрос, что народ может дать интеллигенту, чему научить (вопрос, что интеллигент может дать народу, уже обсуждался, и ответы не вызывали сомнений: очень много, от просвещения и знания до собственной крови, пролитой в борьбе за народную свободу). Тем самым в поэме продолжается начатый в «Огороднике» и «Тишине» поиск того, что объединяет интеллигента и человека из народа, скорее всего, вызванный размышлениями Некрасова над почвеннической идеологией, активно выдвигаемой в это время Достоевским (и симптоматично, что большие фрагменты поэмы были напечатаны в журнале братьев Достоевских «Время»). В отличие от «Тишины», в «Морозе…» нет упрощенного представления о том, что какой-то вид христианства изначально одинаково близок крестьянину и образованному человеку и потому естественно обеспечивает почву для их объединения (как это представлялось Достоевскому). В «Морозе…» показано, что народное сознание

включает в себя как христианское (важное место в поэме занимают образы монастыря, богомолья), так и в широком смысле «языческое» — точнее, «природное», «естественное» — начало. Одного детского религиозного экстаза мало, чтобы слиться с народом. Между народным сознанием и сознанием лирического героя, образованного человека, существует непреодолимый барьер. Если весна ведет лирического героя «Надрывается сердце от муки…» и героя «Зеленого шума» в одинаковом направлении, то зима ведет героиню «Мороза, Красного носа» и автора поэмы в разные стороны: Дарья в своем «заколдованном сне» видит картину, в которой ее муж жив и дети счастливы; автор же видит только, как она умирает.

Противопоставление двух взглядов — изнутри и снаружи народного мира — позволяет Некрасову выразить одну из самых глубоких мыслей в его поэзии: даже если мы, интеллигенты, понимаем и принимаем то, что народ, страдая, находит утешение в религии или фольклорных фантазиях, мы всё-таки не можем не видеть самих страданий и не можем с ними смириться, а потому и нас самих не лечит эта способность народа переносить страдания, превращать их в свою высокую нравственную силу. Подобным образом знаменитый герой Достоевского Иван Карамазов утверждал, что даже если мать замученного ребенка простит мучителя, то сам он простить не сможет. Лирический герой любуется народным миром и народным сознанием, но не может приобщиться к нему, потому что страдание и смерть, при всём его желании, чтобы было как-то иначе, остаются страданиями и смертью. Единственный выход для него — тот, который Некрасов когда-то описывал в письме Толстому: идти бороться, идти избавлять своего ближнего от страданий, чтобы самому избавиться от страха собственного уничтожения, тоски от чувства одиночества, брошенности.

КАПИТАЛИСТ

1864 год принес России новые перемены. В январе было объявлено начало земской, а в ноябре — судебной реформы. Они были менее интересны Некрасову, нежели отмена крепостного права, но сами по себе внушали сдержанный оптимизм, создавали ощущение, что правительство, несмотря на гонения на прессу и репрессии в отношении своих противников, всё-таки остается «реформаторским», не утратило желания улучшать жизнь страны. Ощущение продолжающегося общественного и политического «движения» всегда действовало на Некрасова благотворно.

В течение первой половины года в столицу постоянно доходили известия и слухи о зверствах карателей в Северо-Западном крае. Однако после подавления восстания Муравьев был практически отправлен в почетную отставку, влияние его «партии» на царя и правительство оказалось кратковременным.

Этот год ознаменовался новыми потерями. 19 января скончался Дружинин. Некрасов присутствовал на его похоронах и на поминках, устроенных Литературным фондом, окруженный бывшими приятелями и бывшими сотрудниками: Тургеневым, Анненковым, Боткиным, Никитенко. Поэт написал некролог, в котором искренне отдавал должное покойному, когда-то наполнявшему страницы «Современника» статьями и повестями «ни о чем», позволявшими журналу выживать в ожидании лучших времен: «…Начало и продолжение деятельности Дружинина как раз совпало с тем временем, когда министром народного просвещения (к ведомству которого тогда принадлежала литература) был князь П. А. Ширинский-Шихматов, председателем цензуры — переведенный из Казани граф М. Н. Мусин-Пушкин, а влиятельнейшими цензорами — А. И. Фрейганг и А. Л. Крылов, конечно, памятные деятелям той эпохи. Но Дружинин и тут нашелся. Он обладал, между прочим, удивительною силою воли и замечательным характером. Услыхав о затруднении к появлению в свет статьи, только что оконченной, он тотчас же принимался писать другую. Если и эту постигала та же участь, он, не разгибая спины, начинал и оканчивал третью. Кто помнит блеск, живость, занимательность тогдашних фельетонов Дружинина, которые во всей журналистике того времени одни только носили на себе печать жизни, тот согласится, что такой человек в данное время редакции журнала мог бы ломаться сколько душе его угодно. Дружинин был выше этого ломанья… Это был характер прямой и серьезный».

Случившаяся 25 сентября кончина Аполлона Григорьева

тронула Некрасова, может быть, не меньше, чем смерть Дружинина. Они не были ни единомышленниками, ни приятелями, но поэт не мог не помнить, что Григорьев был едва ли не первым «серьезным» критиком, высоко оценившим его стихи, «признавшим» его поэзию и постоянно сердечно откликавшимся на его публикации.

Шестого февраля Чернышевский был приговорен к четырнадцати годам каторжных работ с последующим бессрочным поселением в Сибири. До утверждения приговора государем (впоследствии сократившим срок каторги до семи лет) Чернышевский оставался в Секретном доме Алексеевского равелина Петропавловской крепости. Некрасов, как и сам узник, скорее всего, считал его приговоренным заранее. Тем не менее жестокость приговора наверняка поразила редактора «Современника». Некрасов не присутствовал на процедуре «гражданской казни» 19 мая, когда над стоявшим на эшафоте на коленях с табличкой «государственный преступник» Чернышевским сломали шпагу и многочисленные зрители провожали бывшего сотрудника «Современника» как мученика свободы, навсегда покидавшего политику, общественную жизнь и литературу, но навсегда остававшегося кумиром и идеалом молодежи.

Днем ранее Некрасов отправился в заграничную поездку с Селиной Лефрен, сестрой и братом Константином, которого окончательно взял под свою опеку. Поэт пробыл за границей с конца мая до начала июля, а по возвращении в Петербург почти сразу отправился в Карабиху, где жил до середины октября (потому и не был на похоронах Григорьева). Видимо, никаких целей, кроме отдыха, у него не было, и его заграничный вояж воспринимался недоброжелателями как путешествие праздного богача с любовницей и челядью. Боткин писал Тургеневу из Берлина: «Некрасов путешествует набобом с сестрой и любовницей-француженкой, которая ни слова не знает по-русски. Феоктистов заставал его за французскими диалогами и именно за учением наизусть глагола aimer[31]». Герцен в ноябре сообщал Огареву из Парижа: «Некрасов был здесь несколько месяцев назад — он бросал деньги, как следует разбогатевшему сукину сыну; возит с собой француженку (Панаеву он, говорят, оставил), брата и пр.».

Некрасов, таким образом, выглядел разбогатевшим сукиным сыном, набобом. Между тем конторские книги «Современника», которые на протяжении семи лет педантично вел Ипполит Панаев, показывают, что именно в этом году журнал понес огромные убытки. Дело было в том, что долги журналу

Добролюбова, Чернышевского, Панаева и самого Некрасова были наконец записаны в графу расхода. В результате образовался колоссальный дефицит: 19 643 рубля 37 копеек. В 1865 году дефицит увеличился до 23 307 рублей 43 копеек.

До этого журнал был на первый взгляд прибыльным предприятием (например, по конторским книгам в конце 1861 года капитал составил 17 618 рублей 13 копеек, в конце 1862-го остался прежним, в конце 1863 года составлял ту же сумму), однако внимательный анализ бухгалтерии легко обнаруживает, что прибыльность и стабильность были иллюзорными. При рассмотрении состава приходных и расходных статей «успешных» лет видно, что основными активами в это время (за исключением реальных денег, находящихся в кассе) являлись долги журналу, прежде всего долги его сотрудников. Их доля в активах «Современника» огромна. В 1860 году долги только ведущих сотрудников — Добролюбова (2005 рублей), Чернышевского (7098 рублей 4 копейки), Панаева (15 503 рубля 75 копеек) — составляли в совокупности 24 606 рублей 79 копеек. Сам Некрасов был должен журналу 15 338 рублей 94 копейки. Очевидно, что получить эти долги было маловероятно (не говоря уже о том, что долг самого Некрасова своему журналу является своего рода условностью). В руководствах по бухгалтерии обычно для таких долгов рекомендовали выделять особые счета. Ипполит Панаев этого не делал, и эти долги фигурировали в книгах как реальные суммы. При этом на самом журнале были долги, которые нельзя было не выплачивать: типографии и за бумагу, в общей сложности на 9306 рублей 97 копеек, а также по векселям на 6076 рублей 25 копеек. Таким образом, актив в значительной степени состоял из долгов с сомнительной перспективой возврата, пассив — практически полностью из долгов, платить которые было необходимо. Реальный бюджетный дефицит журнала равнялся 26 624 рублям 73 копейкам. Ситуация была даже хуже, чем в 1865 году.

Такое положение сохранилась и в следующем, выглядевшем особенно финансово успешным 1861 году. Опять актив включал заведомо невозвратные долги сотрудников: Добролюбов остался должен (несмотря на списанный огромный дивиденд) 2005 рублей 29 копеек, И. И. Панаев — 22 559 рублей 7 копеек, Чернышевский — 7098 рублей, Некрасов — те же 15 338 рублей 94 копейки; при этом долг типографии составлял 5089 рублей 61 копейку, за бумагу — 5543 рубля 48 копеек, а по векселям — 9590 рублей 72 копейки). То есть совокупный долг самым важным кредиторам увеличился почти на десять тысяч рублей, при этом долги сотрудников, ставшие уже не просто сомнительными, а

безнадежными (за смертью двоих из них), выросли больше чем на четыре тысячи. Скрытый дефицит, таким образом, увеличился до 29 052 рублей 63 копеек. Подобная ситуация была и в два последующих относительно благополучных года. В это время в конторских книгах в актив писались не просто «плохие» долги, но долги уже покойных или находившихся в заключении сотрудников. Более того, эти долги продолжали накапливаться (Добролюбова — за счет его братьев, Чернышевского — за счет его супруги, Панаева — за счет его матери). Принятое в 1864 году Ипполитом Панаевым решение наконец-то переписать долги Добролюбова, Чернышевского и Панаева в пассив в качестве потерянных сумм только вывело наружу до тех пор скрытую убыточность предприятия. Списание долгов умершим или находящимся в заключении сотрудникам являлось не благотворительным актом, а естественным шагом, сделанным для выяснения подлинного финансового положения.

Итак, журнал Некрасова был на протяжении всего того периода, который можно проследить благодаря конторским книгам Ипполита Панаева (с 1860 по 1865 год), убыточным, и получаемый доход никогда не покрывал реальные расходы. И это в годы, когда подписка была самой большой (около шести с половиной тысяч экземпляров)! Делали его убыточным не какие-то объективные причины или внешние обстоятельства (он вполне мог приносить стабильную прибыль даже в моменты, когда такие обстоятельства появлялись, как это было в 1862 и 1865 годах), а нерасчетливая финансовая политика самого владельца. Вместо того чтобы постепенно расплачиваться с долгами, он практиковал выдачу сомнительных с экономической точки зрения кредитов. Из кассы журнала постоянно выдавались деньги сотрудникам и авторам вперед, в счет будущих гонораров или просто так. Ни на одной статье расхода Некрасов не экономил — ни на бумаге, ни на типографии, ни на метранпаже и корректоре, не говоря уже об авторских гонорарах. Нельзя сказать, что он был безумно расточительным, но и расчетливым его тоже не назовешь.

То, что предприятие нерентабельно, не всегда означает, что его владелец человек бедный. Некрасов действительно брал из кассы журнала столько денег, сколько хотел, к тому же получал гонорары за свои произведения. Его долг собственному журналу можно в принципе считать той прибылью, которую Некрасов в результате от него получил. Но сумма, которая в таком случае получается, — 15 тысяч рублей, то есть примерно 2200 рублей в год — ничтожная и совершенно не соотносимая с его расходами; она никак не могла обеспечивать тот образ жизни, который он вел. Возможно, на первых порах журнал действительно «кормил»

Некрасова, но очевидно, что в 1860-е годы он издавал «Современник» «для своего удовольствия», не рассчитывая на него как на источник больших доходов. Видимо, источник, позволявший в том числе делать солидные вклады в кассу журнала, был другой.

Легче всего предположить (не имея оснований утверждать что-то другое), что таким источником была карточная игра. В конце 1863 года и после окончательного расставания с Панаевой в 1864-м страсть Некрасова к картам приняла угрожающие размеры. Он и сам в немногочисленных письмах тех лет жаловался, что заигрался и что игра не дает ему возможности заниматься делами, он вынужден просить прощения за это и у Островского, и у своего приятеля Михаила Сергеевича Волконского, сына декабриста. Карты, а не журнал, его кормили и подпитывали его издательскую деятельность. Точнее, в какой-то момент (предположительно в конце 1850-х годов) карточные выигрыши позволили Некрасову перестать относиться к журналу как к источнику дохода, средству существования и продолжать издавать его исключительно «по страсти», для удовольствия, для реализации своих идеалов, рассматривать издательскую деятельность как общественную миссию, свидетельство респектабельности и положения в обществе.

В 1864 году проблемы у «Современника» были не только по финансовой части. Журнал вел в это время весьма бранчливую полемику и с такими враждебными изданиями, как «Русский вестник» и «Время», и с идейно близким «Русским словом». Эту полемику, получившую от Достоевского меткое название «раскол в нигилистах», начал в «Русском слове» Варфоломей Зайцев, в январе резко ответивший на замечания Салтыкова о романе «Что делать?», на что Салтыков не менее резко возразил. «Русское слово» ставило под сомнение, что под влиянием Салтыкова новая редакция «Современника» сохраняет приверженность взглядам Чернышевского и Добролюбова. После ухода из журнала Салтыкова полемику продолжил Антонович, всегда отличавшийся грубостью, оскорбительным тоном и мелкой придирчивостью. При его участии спор превратился в перебранку. Правда, публицисты «Русского слова» не смешивали Некрасова и его «консисторию». Писарев подчеркнуто высоко ценил некрасовскую поэзию, как будто перехватив в этом смысле пальму первенства у редакции «Современника» и оказавшись в этом смысле наследником Добролюбова и Чернышевского. В 1861 году в статье «Писемский, Тургенев и Гончаров» Писарев признавался: «Некрасова как поэта я уважаю за его горячее сочувствие к страданиям простого человека, за честное слово, которое он

всегда готов замолвить за бедняка и угнетенного. Кто способен написать стихотворения «Филантроп»… «Еду ли ночью по улице темной»… — тот может быть уверен, что его знает и любит живая Россия».

Некрасов находился «над схваткой» и никоим образом не стремился в нее ввязаться. Видимо, разногласия между журналами не казались ему по-настоящему важными. Тем не менее эта довольно базарная распря людей, которых Некрасов хотел видеть рыцарями без страха и упрека, ссора, выставляющая их в комически-неприглядном свете перед публикой, уже перевоспитанной Катковым и Достоевским, должна была раздражать, поскольку вредила репутации его журнала. Однако он ничего не предпринял для прекращения полемики, которая тянулась до начала 1865 года.

Быстро возникли и распри внутри редакции. Изначально заложенный конфликт прорвался наружу, возможность для мирного сосуществования Антоновича и Салтыкова была быстро исчерпана. В ноябре Салтыков «официально» заявил, что просит больше не считать его частью редакции журнала, в котором он теперь намерен участвовать только в качестве автора. Некрасов, «принявший отставку» ценного сотрудника без возражений и уговоров, не столько был на стороне Антоновича и Пыпина, сколько подчинился естественному ходу событий. В любом случае уход Салтыкова был огромной потерей для «Современника». Но одновременно были и приобретения — в этом году в журнале начали печататься народные очерки Александра Ивановича Левитова, наиболее лиричного из новой плеяды беллетристов, а также знаменитый «этнографический очерк» Федора Михайловича Решетникова «Подлиповцы».

К сожалению, новые авторы были в личном плане столь же «ненадежными», как Николай Успенский и Помяловский. Решетников постоянно донимал Некрасова просьбами о деньгах, жалобами на трудное положение, а в дневнике записывал, как обижает его редактор «Современника», какой он бездушный эксплуататор: «Некрасов приехал барином и обошелся не очень ласково. <…> Он думал, что я хожу к нему просить денег. Когда я ему сказал, что я бы с августа месяца мог прочитать весь роман и переписать его, он сказал, что ему слушать меня некогда, а ему нужно читать писарский почерк. Некрасов в отношении ко мне сделался всё равно что директор департамента к помощнику столоначальника». Как Помяловский и Успенский, Левитов и Решетников были склонны к алкоголизму (последний в своем дневнике оставил художественное описание симптомов белой горячки) и только поверхностный взгляд мог в них увидеть

будущее русской литературы. Впереди у них были быстрое оскудение таланта и ранняя смерть. Это чувствовалось с самого начала, и никаких иллюзий Некрасов на их счет не испытывал. Салтыков, конечно, был существенно более надежной опорой русской литературы. Его место в редакции «Современника» занял Ю. Г. Жуковский.

Стихов в 1864 году Некрасовым было написано немного. Два стихотворения посвящены становящейся для него традиционной теме возвращения из-за границы. Наиболее интересно «Начало поэмы». Само название стихотворения выглядит загадочно, поскольку никакую поэму Некрасов писать не предполагал. В этом стихотворении поэт продолжает эксперимент, начатый в «Морозе, Красном носе». Лирический герой — петербургский поэт, очевидно, картежник и человек из высшего общества, при этом любящий сельскую, народную Россию. Возвращаясь на родину, он, с одной стороны, видит ее красоту и погружается в тишину, с другой — не может перестать быть самим собой, поэтому снопы на поле вызывают у него ассоциации с грудами золота на зеленом сукне карточного стола, а на возу чудятся «барыня в широком кринолине» и «столичный франт со стеклышком в глазу». Это похоже не только на центральную идею «Мороза…», но и выглядит своеобразной само-пародией на поэму «Тишина», иронией над собственной наивной верой в то, что единение с народом может быть так легко достигнуто.

«Начало поэмы» — не более чем изящная виньетка, автоэпиграмма на чрезвычайно серьезную тему. Существенно более важное место среди некрасовских текстов занимает написанное тогда же стихотворение «Памяти Добролюбова». Здесь образ героя, революционера, который только намечался в «Поэте и гражданине» и «Рыцаре на час», доведен до канонических черт, а его свершения приобретают просто-таки космические масштабы. Это суровый человек, пренебрегающий радостями жизни, в том числе сексуальными, всю энергию направляющий на служение Отчизне:

Сознательно мирские наслажденья
Ты отвергал, ты чистоту хранил,
Ты жажде сердца не дал утоленья;
Как женщину, ты Родину любил.

Высшее служение Родине для этого человека заключается в смерти: «Учил ты жить для славы, для свободы, / Но более учил ты умирать». По своему учению поступает и Добролюбов — он гибнет: «Но слишком рано твой ударил час / И вещее перо из рук

упало». Умирая, он возвращается в ту землю, которая его породила:

Плачь, русская земля, но и гордись —
С тех пор, как ты стоишь под небесами,

Такого сына не рождала ты
И в недра не брала свои обратно…

В результате его смерть позволяет земле по-прежнему плодоносить:

Природа-мать! когда б таких людей
Ты иногда не посылала миру,
Заглохла б нива жизни…

В этих строках образ героя приобретает почти мифологические черты бога или героя, приносящего собственные плоть и кровь в жертву ради спасения мира и людей, ради того, чтобы земля продолжала плодоносить, во искупление грехов бесчисленных поколений, ее населявших. Риторическая сила «Памяти Добролюбова» огромна, а созданный иконографический образ — невероятно притягателен для тех, кто посвящал свою жизнь революционной деятельности: это стихотворение будут вспоминать террористы перед покушением и в тюрьме перед казнью, цитировать наизусть народовольцы, отправляющиеся на каторгу.

Люди титанического склада, подобные идеализированному Некрасовым Добролюбову, люди действия «высоко возносятся» над простыми смертными, и поэту даже не приходит в голову равнять себя с ними. Они гибнут «безупречно» за народ, идут помочь таким, как Орина или ее несчастный сын. Но откуда они узнают, что кто-то нуждается в помощи? Об этом ведь не информируют газеты. Кто будет слушать слова крестьянки («Мало слов, а горя реченька») и сделает их страстным призывом ко всем, в ком еще не умерло чувство «чести»? И здесь поэт обретает смысл существования и свое место.

Об этом — начатая, возможно, существенно раньше, но завершенная в том же году «Железная дорога». Ее знаменитый эпиграф, являющийся своеобразной «пятой главкой», ставит вопрос, на который первый ответ дает генерал: «Ваня *(в кучерском армячке)*. Папаша! кто строил эту дорогу? Папаша *(в пальто на красной подкладке)*. Граф Петр Андреевич Клейнмихель,

душенька! *Разговор в вагоне».* Генерал называет имя человека, который руководил постройкой дороги. Тот для него и есть ее «строитель». Автор утверждает, что и этой железной дорогой, и всеми остальными благами цивилизации и культуры (в том числе пресловутым Колизеем и собором Святого Стефана) мы обязаны народу. Как говорит Ваня:

…тысяч пять мужиков,
Русских племен и пород представители
Вдруг появились — и он мне сказал:
«Вот они — нашей дороги строители!..»

Народ достоин не презрения, выражаемого генералом вслед за пушкинским Поэтом, героем пародируемого здесь стихотворения «Поэт и толпа» («варвары, дикое скопище пьяниц»), но великой любви и уважения. В «Железной дороге» уважения к себе требует сам народ. Погибшие крестьяне обращаются к тем, кто ездит по построенной ими дороге:

Братья! Вы наши плоды пожинаете!
Нам же в земле истлевать суждено…
Всё ли нас, бедных, добром поминаете
Или забыли давно?

Мужикам, уже мертвым, почему-то важно, чтобы их поминали добром и были благодарны за их труд. Как будто забвение для них — это вторая смерть. Ответом на их призыв помнить их, а не графа Клейнмихеля, собственно, и является сама «Железная дорога». Некрасов использует свое искусство слова, чтобы вывести из забвения подлинных строителей, напомнить людям, умеющим читать, чем куплены их благополучие и праздность, сколько их «братьев» погибло, было замучено, чтобы они могли предаваться празднику жизни. Некрасов как бы «дает народу слово», в его поэзии народ может говорить. Поэт даже приходит на помощь народу: он как будто «редактирует» речь мужиков, помогает им высказать то, что они хотят, лучше, чем они могут (о чем не сказали крестьяне из «Размышлений у парадного подъезда», бурлаки из «На Волге»): «Всё претерпели мы, божии ратники, / Мирные дети труда». Поэт тем самым становится соратником героя-революционера, отдавая народу самое дорогое — свою поэзию. «Железная дорога» — это поэтический манифест Некрасова, подводящий итог всей его поэзии, заново определяющий ее как своеобразную форму служения народу.

В 1864 году мировая общественность праздновала трехсотлетие со дня рождения Шекспира. Некрасов задумал осуществить (совместно с имевшим уже опыт издания Шиллера Николаем Васильевичем Гербелем) издание полного собрания пьес великого драматурга. Этим проектом Некрасов усиленно занимался несколько лет начиная с 1865 года: собирал уже сделанные переводы, проводил переговоры с переводчиками или их наследниками, иногда конфликтуя со своим партнером, позволившим себе выпустить первый том без согласования с ним. В письме Гербелю Некрасов предстает вежливым, но одновременно жестким и требовательным бизнесменом.

1865 год принес новый юбилей — столетие со дня смерти Михаила Васильевича Ломоносова, превратившийся в официозное мероприятие. Некрасов отнесся к нему существенно холоднее — лишь подписался на торжественный обед на 550 персон, состоявшийся 7 апреля в зале Санкт-Петербургского дворянского собрания, но не явился на него.

В этом году история «Современника» вступила в заключительную стадию. Отчуждение между издателем и его сотрудниками Антоновичем, Елисеевым, Жуковским, Пыпиным достигло апогея. Восприятие ими Некрасова как хозяина, а себя как наемных работников привело к попытке «захвата» журнала. Отчасти неожиданно, отчасти предсказуемо сам Некрасов оказался в роли «капиталиста», против которого подняли бунт его «рабочие». Началом «переворота» стала затеянная сотрудниками «Современника», постоянно подозревавшими своего патрона в нечистоплотности, ревизия бухгалтерских книг журнала.

Эта история сохранилась в воспоминаниях двух затеявших дело «бунтарей». Елисеев описывал ее так: «И вот мы, честные люди, по инициативе нашего политэконома, решились заставить Некрасова именно сделаться таким же честным человеком, как и мы. Один раз, когда Некрасов стал жаловаться на бедность доходов журнала, на недостаточность денег и на наши возражения предложил нам проверить его конторские книги, то мы, о срам, вызвались идти и делать самоличную поверку… И вот гурьбой все мы, сотрудники «Современника» — я, Ю. Г. Жуковский, М. А. Антонович, В. А. Слепцов, А. Ф. Головачев — отправились к Панаеву. Не помню, был ли на ревизии А. Н. Пыпин. Панаев принял нас очень любезно, раскрыл все книги и стал давать объяснения по своим бухгалтерским счетам. Мы, не знакомые с бухгалтерским счетоводством, шутили, спорили, смеялись над теми qui pro quo[32], которые получались в наших понятиях по объяснениям Панаева к терминам бухгалтерии».

Антонович вспоминает тот же эпизод несколько по-другому: «В данном случае Некрасов ни слова не говорил о бедности доходов и значительных дефицитах, а так просто, среди другого разговора, как будто мимоходом, сказал, что у «Современника» много должников, что вот посмотрите сами составленный Панаевым список должников, и больше ни слова. В это время у него были Елисеев, Жуковский и я. Елисеев взял список и, не взглянув на него, положил в карман, и разговор продолжался прежний, как ни в чем не бывало. Затем мы отправились к Елисееву для рассмотрения полученного от Некрасова документа. Взглянув на документ, Елисеев страшно расхохотался и едва мог выговорить: «Да это вовсе не отчет, который я предполагал и который можно было проверять. А список должников журнала, и во главе их — вы», — сказал Елисеев, обращаясь ко мне. Это был лист бумаги, исписанный крупным писарским почерком и имевший такое заглавие: «Редакции должны к 1-му генваря 1865 года…» Между прочим, Елисеев, полушутя, полусерьезно, сказал: «А знаете что, возьмем эти долги на себя, уплатим их Некрасову, но условием, чтобы он передал нам весь журнал». Это замечание Елисеева послужило переходом и поводом к серьезным обсуждениям о денежной стороне журнала. Елисеев и Жуковский, вооружившись карандашами, стали проектировать сметы издания журнала, составлять баланс, высчитывать возможные прибыли и убытки, и несколько листов исписали цифрами и выкладками. Эти листы, так же как и список должников, каким-то образом сохранились у меня до сих пор. Дальнейшее обсуждение предполагалось у меня, поэтому и документы были вручены мне. Но это обсуждение не состоялось. Мы не придали значения этой истории, отвлекли от нее наше внимание и скоро совсем ее забыли».

Оба мемуариста искажают суть происходившего. О том, что сотрудники действовали совершенно серьезно и вправду собирались произвести переворот в «Современнике», чтобы издавать его «артельно», на справедливых, с их точки зрения, основаниях, свидетельствует письмо Антоновича и Елисеева И. А. Панаеву, написанное в конце января 1866 года: «Николай Алексеевич письменно согласился отдать «Современник» в аренду постоянным сотрудникам журнала в лице г. Антоновича. Для заключения подробных условий необходимо рассмотреть счета и книги по изданию журнала, преимущественно за истекший и текущий годы. Посему сотрудники «Современника» поручили нам просить Вас помочь им в этом деле и показать счета и книги, для рассмотрения которых они согласились собраться к Вам в воскресенье, то есть 31 января».

Всерьез отнесся к предложению своих сотрудников и Некрасов. В конце сентября — начале октября 1865 года он набросал проект возможной передачи журнала в аренду: «Я готов передать «Современник» с арендною платою по 9 т[ысяч] руб. сер[ебром] в год, с тем что арендатор берет на себя долг журнала, а я устраняюсь от личного участия как по редакции, так и по изданию журнала. Через десять лет арендатор освобождается от всякой платы мне и издает журнал исключительно] в свою пользу. Кроме означен[ных] 9 т[ысяч] арендатор должен принять на себя обязательство по контракту с г. Плетневым, т. е. просто контракт будет переведен на арендатора, который обяжется мне выплачивать г. Плетневу ежегодно 3 т[ысячи] руб. с[еребром]. При заключении условия арендатор принимает дела, книги и суммы журнала в том виде, в каком они ныне находятся. Всё, что есть в журнале за кем-либо, с того дня получается им, равно и долг журнала, цифра коего обсуждена будет совмест[но], уже падает на него. Об этом и вообще о перемене в хозяйств[енной] и редакцион[ной] части журнала должно быть по заключении условия объявлено. Доля ответственности за дальнейшие судьбы журнала, как денежная, так и всякая другая, уже падала бы на новых его хозяев. Подробности этого условия определим, когда всё пойдет на лад». Что заставило Некрасова составить такой документ, допускающий саму эту возможность (пусть и на условиях, которые даже при самом беглом рассмотрении выглядят чрезвычайно тяжелыми и невыгодными для «арендаторов» и как будто рассчитаны на их отказ), точно сказать нельзя. Возможно, положение, в котором оказался в это время журнал, заставляло его смириться с невозможностью его издавать.

Чтобы не сложилось представление о какой-то особенной корысти Антоновича или Елисеева, напомним, что такие «перевороты» были тогда типичными для радикальной прессы. Практически в то же время аналогичный план «захвата» журнала возникает у ведущих сотрудников «Русского слова». Критик Н. В. Шелгунов вспоминал: «В зиму 1865/66 года жил я уже в Вологодской губернии и получил от Зайцева приглашение вступить в коалицию против Благосветлова. Предполагалось совершить coup d'etat[33] и устранить Благосветлова (не помню, от главенства или совсем от журнала). Зайцев уже списался с Писаревым, находившимся в заключении, и получил его согласие. Мне казалось, что, заняв втроем место Благосветлова, мы всё-таки не разрешили бы общего вопроса, — кто-нибудь оказался бы четвертым, то есть вне нас троих; кроме того, мне не думалось, чтобы в том положении, в котором мы все тогда находились

(один только Зайцев был на свободе), было возможно ведение журнала, и в этом смысле я ответил Зайцеву. Характерно, что к этому же времени относится и намерение сотрудников «Современника» свершить нечто подобное с Некрасовым».

В случае «Русского слова» дело закончилось опубликованной в журнале пустой декларацией: «Во имя общественной пользы, экономической правды и достоинства самой журналистики, которая должна быть не только свободной, но и честной, объявляется: 1) издатель не считает подписной суммы своей собственностью; 2) подписная сумма не должна расходоваться произвольно; 3) издатель, как поверенный подписчиков, есть главноуправляющий конторой журнала; он обязан давать в известные сроки полный отчет во всех расходах по изданию; 4) отчеты эти должны печататься в самом журнале за подписью издателя. На этих началах, которые мы признаем справедливыми и полезными, будет издаваться «Русское слово». В «Современнике» дело не дошло даже до публичных заявлений. А в скором времени всем сотрудникам (как работникам, так и их «хозяевам») «Современника» и «Русского слова» стало совсем не до «переворотов» и «артельных» изданий. Все эти заговоры и внутренние и внешние конфликты были крайне несвоевременны, попытка дележа доходов была предпринята тогда, когда уже было ясно, что вскоре делить будет нечего.

После долгого обсуждения в разных комитетах и комиссиях (так всё делалось в александровское время) наконец грянула цензурная реформа. 6 апреля 1865 года был издан указ, вступавший в действие 1 сентября, о переходе всех желающих изданий с предварительной цензуры на карательную. Традиционно и отчасти справедливо такой вид цензуры считается более прогрессивным: издатель и редактор печатают всё, что считают нужным; в случае же нарушения той или иной публикацией каких-либо законов дело решается в суде, в котором издатель может отстаивать свою правоту. Это означает практическую отмену цензуры.

В России, однако, часто бывает, что начальство, предоставляя подданным какой-то новый вид свободы, обставляет ее таким количеством ограничений и дополнительных требований и угроз, что прежняя несвобода начинает казаться потерянным раем. Так произошло и с цензурной реформой. Во-первых, несмотря на то что переход на карательную цензуру объявлялся делом добровольным, практически всем изданиям закулисно настоятельно рекомендовалось подать прошение об этом. Во-вторых, от изданий всё равно требовалось предоставлять все материалы на предварительное прочтение в управление по делам

печати. В-третьих, наряду с возможным судебным преследованием и последующим штрафом или тюремным заключением, которое могло инициировать исключительно правительство, оно же имело возможность объявлять предостережение за «вредное направление» того или иного материала. Третье предостережение означало автоматическую приостановку издания на полгода или — по специальному решению — его закрытие. Отмена цензуры оборачивалась фактически двойной цензурой с двойной системой наказаний.

Перспектива такой свободы совершенно не манила, но делать было нечего. 15 сентября Некрасов и Пыпин, ставший ответственным редактором журнала, подали прошение в Главное управление по делам печати о разрешении издавать «Современник» по новым правилам. 21 сентября такое разрешение было дано. После этого, как пишут в романах, события начали развиваться стремительно. Уже 11 ноября «Современнику» было вынесено первое предостережение за «оскорбления начала брачного союза» в статье Пыпина «Новые времена», «прямое оспаривание начал собственности», «возбуждение вражды к высшим сословиям» в статье Жуковского «Записки современника» и «возбуждение общественного недоверия к закону о печати 6 апреля» в статье Антоновича «Надежды и опасения», а также в целом за вредное направление журнала. 4 декабря за «неумолкающее, настойчивое проповедование ложных идей и постоянную грубейшую клевету как на правительственные учреждения, так и на сословия и частные лица», в том числе проявившиеся в стихотворении «Железная дорога», «Современник» получил второе предостережение.

Положение журнала сделалось совершенно отчаянным. Перед началом нового года, во время подписной кампании, «Современник» оказался на грани полугодичной приостановки или закрытия, поскольку в запасе у него было только одно предостережение. Это сразу сказалось на подписке и поставило перед Некрасовым задачи, возможно, превышающие его возможности. Видимо, в сложившейся ситуации не действовали правительственные связи — никто не мог повлиять на непреклонного доктринера Валуева, почему-то настойчиво ведшего «Современник» к закрытию. С декабря 1865 года издание журнала фактически превратилось для редактора в отчаянную борьбу за выживание.

Некрасов пытался договориться с Плетневым о снижении (точнее, об отказе от предусмотренного контрактом повышения) арендной платы, становившейся непосильной. В длинном письме

владельцу прав на журнал слышно отчаяние, у Некрасова очень редкое: «Петр Александрович! Прошу Вас принять во внимание следующие обстоятельства. Панаев умер, оставив долгу на своей половине «Современника» до 17 т[ысяч] р[ублей] сер[ебром]. Два сотрудника — один смертью, другой ссылкою лишены были возможности возместить своею работою значительную сумму, которую редакция выдала им вперед; для погашения этих-то долгов издавал я «Современник» в последние годы; сверх того, после Панаева остались мать, старуха 75 лет, без куска хлеба; сын 4 лет — тоже; после Чернышевского — жена и двое малолетних детей; после Добролюбова — двое малолетних братьев; всем этим лицам дается кусок хлеба, а иным и средства к воспитанию из средств «Современника», который с каждым годом приносит менее. Чтобы выдавать Вам полную ренту, я должен сжимать этих бедных людей, долг тоже почти не убывает. Неужели Вы будете меня теснить и мои вышеизложенные просьбы, вполне законные и умеренные, не получат ответа утвердительного? Уже более двенадцати лет книги «Современника» ведутся на строго коммерческом основании, не мною, а лицом, Вам известным, имеющим доверенность от меня и имевшим ее от Панаева; по этим книгам можно проследить и доказать (ибо на всякий грош, выданный из редакции и конторы, сохраняются расписки), что всё сказанное мною здесь о положении «Современника» и о моей роли в нем справедливо; я ничем лично тут не пользуюсь, а, напротив, теряю мое время и труд. Моя цель — избавить «Современник» от долга и поддержать, покуда возможно, бедных сирот, завещанных «Современнику» людьми, бывшими ему полезными. Не становитесь мне поперек дороги в этой цели. Это будет дело, недостойное Вас. Было время, «Современник» давал нам средства жить и давал Вам доход, который в сложности за пятнадцать лет составляет сумму, превосходящую 10 т[ысяч] рублей серебром. — Теперь, по крайней мере при моем участии, дело это долго идти не будет. Чтоб покрыть долг, мне нужно два или три года, и тогда я оставлю это дело, т. е. передам «Современник» Вам или кому Вы назначите. Теперь же, повторяю, не тесните меня или не вынуждайте к крайним мерам».

Не менее отчаянно писал Некрасов начальнику Главного управления по делам печати при Министерстве внутренних дел Михаилу Павловичу Щербинину, от которого пытался добиться хоть какой-то ясности: «Существование журнала с двумя предостережениями немыслимо, подобно существованию человека с пораженными легкими. Чтоб выиграть несколько дней жизни, эти люди, выходя на воздух, надевают на рот особенный снаряд, который и мешает дыханию и вместе с тем, как думают,

способствует продолжению его. «Современник» отныне должен являться в публику в подобном снаряде. Как будет ему дышаться, какова будет его речь, — об этом бесполезно говорить. Величайшим для меня счастием было бы закрыть журнал теперь же, не подвергаясь неприятности присутствовать при медленной агонии журнала, на который потратил я лучшие мои силы, работая над ним в первое десятилетие почти один. Но ликвидировать дело, длившееся 20 лет, — внезапно, в один месяц, при тех затратах, которые сделаны мною на следующий год, и при… некоторых других обстоятельствах, о которых по краткости сей записки считаю неудобным говорить, слишком убыточно и тяжело. На ликвидацию мне необходим следующий год, который во всяком случае будет последним годом существования «Современника» под моею редакциею. <…> В этих обстоятельствах прибегаю к Вашему превосходительству с покорнейшею просьбою дать мне некоторую гарантию, что изложенный мною план ликвидации журнала может быть доведен мною до конца, заявляя с своей стороны полную готовность подчиниться тем условиям, в которые для этой цели Ваше превосходительство найдете нужным поставить мой журнал. Почту себя много обязанным, если XI книжка «Современника», составленная до получения второго предостережения, будет предварительно пересмотрена; охотно исключу статьи, на которые мне будет указано. Равным образом и на будущее время готов буду, по представлении книги в комитет, вместо положенных двух дней медлить выпуском ее в свет неделю и более, лишь бы уберечься предостережения». Письмо показывает тактику, к которой пытался прибегнуть Некрасов, чтобы сохранить «Современник»: он приводил разумные аргументы, старался вызвать сочувствие, обещал исправиться, выражал отчаяние от непонимания, чего хочет от него цензура. При этом загнанный в угол, унижающийся перед ничтожным чиновником, имя которого всеми забыто, Некрасов остается поэтом, находя яркое сравнение журнала с человеком с больными легкими.

Как чуть позднее сам Некрасов писал Островскому, в декабре в редакции «Современника» велись разговоры о ликвидации журнала. Тем не менее какие-то если не гарантии, то во всяком случае уклончивые устные обещания или увещевания (вроде «не стоит, милейший, так убиваться») Некрасов получил, поскольку всё-таки не прекратил выпуск журнала и не предпринял никаких экстраординарных мер для его изменения.

Герцен в начале февраля 1866 года писал в «Колоколе»: «Издатель «Современника» после двух предостережений просил у Валуева поставить «Современник» снова под цензуру. Валуев

отказал, ссылаясь на то, что переход «Современника», «этого свободолюбивого журнала», под цензурное положение будет равносилен прямому, фактическому заявлению, что новое, бесцензурное положение русской журналистики хуже старого, бесцензурного. Впрочем, не исполняя просьбы Некрасова, Валуев утешил «Современник» следующего рода советом: «Продолжайте ваше издание на том же положении, а я *даю слово* не давать третьего предупреждения и не закрывать журнала… если только редакция «Современника» согласится представлять статьи *на мое предварительное рассмотрение…»».* Как почти всегда, источник осведомленности Герцена неизвестен, но очень возможно, что в этом бестактном и потенциально опасном для Некрасова утверждении есть большая доля правды. На решение продолжать выглядящее безнадежным дело повлияли и финансовые обстоятельства — к декабрю были уже получены значительные подписные суммы. Возможно, вопреки всему Некрасов скрепя сердце решил продолжить журнал, будучи не в силах собственноручно уничтожить дело своей жизни. Желание прекратить «Современник» было только тактическим приемом (в духе «сам закрою, дайте только сделать это, не разорившись окончательно, зачем еще меня наказывать?»).

В этом году произошло крушение, хотя и не столь громкое и заметное, еще одного некрасовского «проекта» — Карабихи. Небольшое, но весьма фешенебельное имение Некрасов покупал для того, чтобы иметь место, где он чувствовал бы себя полным хозяином, принимал гостей, был окружен приятными ему людьми. При этом он одновременно не хотел заниматься хозяйством, а желал иметь что-то вроде дачи, куда можно приезжать на лето или ненадолго в другое время года на охоту, на отдых, поработать, отвлечься от петербургской клубной и журнальной жизни. Такие идиллические планы означали, однако, что хозяйство должен вести кто-то другой, поскольку речь шла всё-таки об имении, требующем поддержания в течение всего года, а не о даче в современном смысле слова. Некрасов решил, что на роль управляющего лучше всего подойдет его самый младший брат, которому он давно покровительствовал. Теперь Федор Алексеевич поселился в Карабихе на положении полууправляющего-полухозяина. Младший Некрасов оказался вполне на своем месте: быстро отремонтировал большой дом и восточный флигель, привел в порядок другие обветшавшие строения, наладил работу винокуренного завода. Таким образом, он был полезен старшему брату, которого никак не стесняло его присутствие во время приездов в Карабиху в 1863 и 1864 годах. Однако в 1865-м всё изменилось. 18 февраля у Федора

Алексеевича, прошлой весной женившегося на Софье Ивановне Миллер, родился первенец Алексей (рождение его было радостно встречено Некрасовым в шумной компании. «Пьем и тебе советуем пить!» — писали веселые собутыльники счастливому отцу). При всей радости, которую вызвало появление на свет племянника, оно означало, что соседями Некрасова в Карабихе становится уже целая семья. И Некрасов перестал чувствовать себя в собственном имении как дома: теперь он был вынужден спрашивать мнение брата и его жены о гостях, которых хотел бы позвать (например, отказывается от намерения привезти с собой сестру Лизу, незаконную дочь их отца, присутствие которой могло оскорбить чувства Софьи Ивановны). В последующие годы Некрасов приезжал в Карабиху почти каждое лето, но уже в качестве «дорогого гостя», чьи привычки и вкусы свято блюдутся, но который не чувствует себя абсолютным хозяином. Те планы, которые он возлагал на это место, оказались утопией. В 1867 году он продал Карабиху брату с большой рассрочкой, становясь в имении гостем уже не только фактически, но и формально.

В творчестве перипетии года наиболее прямо отразились в сатирическом цикле «Песни о свободном слове», имеющем нечастый у Некрасова «герметичный» характер литературы о литературе. Цикл построен как своеобразный хор голосов, обсуждающих новые условия жизни прессы, в котором звучат мнения Наборщиков, Рассыльного, Поэта, Литераторов, Фельетонной букашки и Публики. Резюме содержится в стихотворении «Осторожность», метко характеризующем развивающийся у издателей страх перед любой сомнительной темой, а своеобразным эпилогом становится печально-юмористический текст «Пропала книга!» о сожжении по распоряжению суда книжки начинающего литератора Суворина «Всякие». Цикл, написанный в то время, когда автору было не до смеха, полон необычного для Некрасова комизма:

В Ледовитом океане
Лодка утлая плывет,
Молодой, пригожей Тане
Парень песенку поет:
«Мы пришли на остров дикой,
Где ни церкви, ни попов,
Зимовать в нужде великой
Здесь привычен зверолов;
Так с тобой, моей голубкой,
Неужли нам розно спать?
Буду я песцовой шубкой,

Буду лаской согревать!»
Хорошо поет, собака,
Убедительно поет!
Но ведь это против брака, —
Не нажить бы нам хлопот?
Оправдаться есть возможность,
Да не спросят — вот беда!
Осторожность! осторожность!
Осторожность, господа!..

Некрасов возобновляет работу над поэмой «О погоде». В этот год им создаются заключительные главы, также построенные как фельетон о петербургских новостях, при этом, с одной стороны, они более приближены к действительным новостям, с другой — более лиричны. В частности, именно в этих главах появляется необычайно поэтический портрет парадного Петербурга, по изящности формулировок в чем-то не уступающий пушкинским описаниям:

…Каждый шаг,
Каждый звук так отчетливо слышен,
Всё свежо, всё эффектно: зимой,
Словно весь посеребренный, пышен
Петербург самобытной красой!
По каналам, что летом зловонны,
Блещет лед, ожидая коньков,
Серебром отливают колонны,
Орнаменты ворот и мостов;
В серебре лошадиные гривы,
Шапки, бороды, брови людей,
И, как бабочек крылья, красивы
Ореолы вокруг фонарей!

Злоба дня всецело захватила Некрасова, но и из нее поэт стремился извлечь проникновенную лирику. Апофеозом его сатиры стал «Балет», написанный в том же году, объединивший две злободневные темы: одну — из жизни образованного общества (разорение дворянства), другую — из народной жизни (рекрутчина). Это попытка Некрасова создать «синтетическую», составную картину российской жизни, где равное внимание уделяется и высшему обществу, и крестьянству: одни ищут, где бы занять денег или взять напрокат драгоценности, которые можно надеть на блестящее представление в театре; другие

теряют кормильцев, отправляемых в армию на пятнадцатилетнюю муку. Образ балетного представления, на котором присутствует разоряющаяся знать, является символом ложного, фальшивого искусства, заслоняющего от власть имущих настоящие проблемы русского народа, проблемы страны. Апофеозом этой фальши становится воспроизведение в балете народного танца, пробуждающее у зрителей «патриотические» чувства:

Но явилась в рубахе крестьянской
Петипа — и театр застонал!
Вообще мы наклонны к искусству,
Мы его поощряем, но там,
Где есть пища народному чувству,
Торжество настоящее нам;
Неужели молчать славянину,
Неужели жалеть кулака,
Как Бернарди затянет «Лучину»,
Как пойдет Петипа трепака?..

Высшие классы отделены от народа, от крестьянства своего рода стеной, тем более непроницаемой, что на ней как будто нарисованы ложные подобия мужика, удобные для созерцания правящими классами, создаваемые артистами балета (как «кучерский» армячок, в который одет Ваня в «Железной дороге»). Подлинное искусство воплощает некрасовская Муза, которая не отворачивается от народного горя, не заменяет настоящих мужиков фальшивыми подделками под «народность».

РЕНЕГАТ

Начало 1866 года редакция «Современника» встретила в двойственном положении. С одной стороны, над журналом по-прежнему нависали два предостережения, с другой — Валуевым, видимо, были даны какие-то устные обещания, и Некрасов согласился (не исключено, что даже сам предложил) приносить новые книжки журнала на предварительный просмотр и согласование. Это сказалось прежде всего на оперативности, с которой выходили книжки «Современника». Сдвоенный номер 11/12 за 1865 год с сообщением о втором предостережении вышел только 17 января 1866-го. Первый номер 1866 года попал к подписчикам в конце февраля, второй — 1 марта, третий — 23 марта. Всё-таки была надежда, что «Современник», как писал Некрасов Островскому в конце января, «в наступившем году авось не умрет». При этом уровень журнала оставался высоким: там печатались Елисеев, Жуковский, Антонович, Решетников; подающий надежды молодой публицист Эрнест Карлович Ватсон писал про политику, фольклорист и этнограф Павел Иванович Якушкин (двоюродный брат декабриста Ивана Дмитриевича Якушкина и прототип Павлуши Веретенникова из поэмы «Кому на Руси жить хорошо») публиковал свои наблюдения над народной жизнью. Как обычно, прибыло пополнение: в февральском и мартовском номерах новый беллетристический талант Глеб Иванович Успенский поместил «Нравы Растеряевой улицы». Скромный «Петербургский листок» писал 6 марта: ««Современник» единственный журнал, который читается с любовью и вниманием».

Самое значительное из напечатанного в «Современнике» в 1866 году — пролог поэмы «Кому на Руси жить хорошо». Этот короткий текст, занявший в журнале меньше одиннадцати страниц, представлял собой завязку поэмы, в которой семеро мужиков решают ответить на вопрос, есть ли кто счастливый на Руси. Пролог отличался ясностью: описаны действующие лица, задан главный вопрос, намечены даже «кандидаты» в счастливые, названо волшебное средство — скатерть самобраная, задано общее стилистическое направление — стилизация под народную песню или былину. Современникам было трудно представить себе, что они прочли начало одной из самых сложных, противоречивых и в конечном счете загадочных поэм в русской литературе. Между тем противоречие было заложено уже в прологе, в самой простоте и четкости намеченного в нем плана, контрастировавшего со сложностью центрального вопроса: что

принесла народу реформа? Если по проблематике пролог поэмы близок к «Деревенским новостям», то по стилю — скорее ко второй, фольклорной части «Мороза, Красного носа» или к «Огороднику». И это тоже делает замысел внутренне противоречивым: как рассказать о народе как историческом деятеле на языке фольклора с его пришедшими из глубокой древности скатертью-самобранкой и птичками-пеночками? Такое сочетание реализма и сказочной, фольклорной фантастики почти не имело аналогов (разве что у Салтыкова-Щедрина). Впрочем, всё это было еще впереди — в 1866 году сил на продолжение не хватало — их отнимали вполне прагматические окололитературные вопросы.

В начале года Некрасов предпринимал шаги для сохранения журнала и старался дистанцироваться от «консистории». Боткин, казалось бы, давно прервавший отношения с Некрасовым, ставший на сторону «Русского вестника», в соавторстве с Фетом написавший крайне злобную статью о романе «Что делать?», 1 февраля неожиданно сообщил в письме своему соавтору: «Некрасов начал похаживать ко мне и протестует против гадких тенденций своего журнала». Скорее всего, Боткин был для Некрасова одним из каналов, по которым он старался сообщить «наверх» о своей лояльности, и нетождественности собственному журналу и о том, что, возможно, «Современник» скоро изменится — правительству надо только «потерпеть». Боткин не был растроган и обманут. «Я же, пользуясь своим знакомством с членами Совета по книгопечатанию, стараюсь поддержать их в их энергии», — сообщил он в том же письме. Некрасов заходил к нему и позже, в конце марта, и просидел три часа, снова выражая недовольство своей редакцией, и, кажется, в этот раз убедил собеседника в своей искренности.

Видимо, он предпринимал и другие шаги в том же направлении, о которых известно меньше. Во всяком случае, определенную бодрость духа он сохранял, о чем свидетельствует его участие в очередных литературных чтениях в пользу Литературного фонда, состоявшихся 18 марта в знаменитом театральном зале дома крупного промышленника и благотворителя Дмитрия Егоровича Бенардаки на Невском проспекте, где он читал «Песни о свободном слове». Кажется, впервые Некрасов выступал на публике не с трагическими или лирическими стихами, а с произведениями комическими, пусть и не без сарказма. По сообщению тогда еще дружественного критика Виктора Петровича Буренина, опубликованному в 78-м номере «Санкт-Петербургских новостей», «больше всего досталось рукоплесканий на долю г. Некрасова… Нужно отдать

справедливость г. Некрасову, что он очень чутко прислушивается к явлениям современной жизни и в своих сатирах весьма ловко отзывается на них. Читал г. Некрасов прекрасно, с тем тактом и уменьем ударять на выдающиеся строки стихов, которым обладают немногие из наших поэтов».

В целом редакторская жизнь Некрасова была хлопотной, но терпимой, и казалось, что в будущее можно смотреть не без уверенности. Как всегда в таких случаях, никто не мог предсказать надвигающуюся катастрофу. 4 апреля «в четвертом часу пополудни» студент Дмитрий Каракозов совершил покушение на Александра II, выходившего из Летнего сада после обычной ежедневной прогулки. Царь остался невредим, спасенный дворником Осипом Комиссаровым (во всяком случае, по официальной версии). Событие было ошеломляющее — из тех, что нарушают всякое равновесие из-за своего уникального, страшного и угрожающего характера. После краткого шока реакция общества и правительства развивалась в два этапа. Сначала был период «радости», сопровождавшийся ее массовыми проявлениями в виде молебнов, импровизированных оркестров, играющих на улицах «Боже, царя храни!», адресов государю и почестей его спасителю. Некрасов принимал в этом ликовании активное участие — и не факт, что неискренне. Он сочинил стихотворение «Осипу Комиссарову», подобное тем, которые в то время сочинялись и печатались во множестве, и декламировал его 9 апреля на обеде в честь Комиссарова в Санкт-Петербургском Английском клубе, принял участие в составлении и подписании «всеподданнейшего адреса» от комитета Литературного фонда. В этот момент он мог и не чувствовать особенной угрозы для себя и журнала.

После того как радость (лицемерная или искренняя) отчасти улеглась, начался второй этап — расследование. Характер, который оно должно было принять, во многом зависел от изначальной правительственной гипотезы о степени угрозы происшествия: это выходка безумца-одиночки или результат заговора той или иной степени разветвленности? Если в первом случае достаточно спокойного и нешумного расследования, то во втором, очевидно, требуются скорые и масштабные меры. Несмотря на то что всенародное ликование и радость по поводу спасения царя, казалось бы, подталкивали к первой гипотезе, Александр II под влиянием «катковской партии», выступавшей в прессе, и «муравьевской партии» при дворе и в правительстве склонился ко второй гипотезе: масштабного заговора, предположительно связанного с нигилистами, с одной стороны, и «польской интригой» — с другой. 7 апреля царь повелел создать

Следственную комиссию о покушении на жизнь его императорского величества 4 апреля 1866 года, возглавить которую поручил недавно получившему графский титул М. Н. Муравьеву.

Это был страшный удар, о котором Некрасов узнал, видимо, накануне. Для журнала, уже имевшего два предостережения, наступали последние времена. Некрасов понимал, что его не могли защитить никакие связи в правительстве, поскольку само правительство временно «капитулировало» перед Муравьевым, его возможные заступники лишились силы. Граф не скрывал своей ненависти к оппозиционной прессе и в частности к «Современнику» и, что было самым опасным, не делал, в отличие от Валуева, различия между издателем и его журналом. Для него некрасовская «респектабельность» ничего не значила и ничего не оправдывала. Муравьев начал с требования удалить либерального министра народного просвещения Головнина, которого ненавидел не меньше Чернышевского или Сераковского, способствовал отставке либерального санкт-петербургского военного генерал-губернатора Суворова и готов был расправляться с правительственными либералами не менее свирепо, чем с польскими мятежниками. Теперь Некрасову нужно было бояться не только за «Современник», но и за самого себя. Муравьев начал действовать, с одной стороны, весьма энергично, с другой — хаотично. Последовали многочисленные аресты, носившие бессистемный характер; были взяты под стражу люди из близкого окружения Некрасова, в том числе Г. З. Елисеев. По свидетельству его жены, пришедший на их квартиру Некрасов едва сам не подвергся аресту. Панику усиливала неопределенность полномочий комиссии; было ощущение, что Муравьеву дан полный карт-бланш на любые досудебные действия.

В этой ситуации Некрасов принял, наверное, одно из самых неудачных в жизни решений. За заслуги в борьбе с нигилизмом Муравьев был принят в почетные члены Санкт-Петербургского Английского клуба — редкая честь, которой до него удостоились очень немногие, в том числе светлейший князь фельдмаршал Михаил Илларионович Кутузов, князь фельдмаршал Александр Иванович Барятинский, граф и военный министр Алексей Андреевич Аракчеев, граф и министр иностранных дел Карл Васильевич Нессельроде. На торжественном обеде в честь нового почетного члена клуба, состоявшемся 16 апреля, Некрасов решил прочесть торжественное стихотворение («мадригал», как он называл его впоследствии) в честь триумфатора. Сам поэт впоследствии утверждал, что такой совет дал ему хороший

знакомый граф Григорий Александрович Строганов, бывший в то время старшиной клуба. Строганов будто бы сказал Некрасову, что Муравьеву «надоел Катков» и что вовремя написанное в его честь стихотворение может смягчить новоявленного диктатора. Как ни невероятно выглядит предположение, что одно стихотворение могло «смягчить» такого твердого и непреклонного человека, каким, несомненно, был Муравьев, Некрасову в тот момент паники оно показалось единственной соломинкой, за которую можно ухватиться.

Генерал Андрей Иванович Дельвиг, присутствовавший на чествовании, описал произошедшую там скандальную сцену и предшествовавшие ей обстоятельства: «Петербургский Английский клуб, которого большая часть членов враждебно относилась к Муравьеву во время его управления Северо-Западным краем, избрал его в почетные члены и дал в честь его обед по подписке, в которой я участвовал. Старшина клуба Г. А. Строганов произнес речь, в которой изъяснил, что все русские вполне надеются на то, что Муравьев своими действиями уничтожит всех злоумышленников. Говорили и другие и между прочими П. А. Валуев, несмотря на свою неприязнь к Муравьеву. Последний благодарил за оказанную ему честь, обещался исполнить выраженные ораторами надежды и кончил уверением, что для раскрытия всех злоумышленников употребит все свои силы, хотя бы для того надо было положить все свои кости. <…> После обеда, когда Муравьев сидел со мною и другими членами в галерее при входе в столовую залу, к нему подошел издатель журнала «Современник», известный поэт Некрасов, об убеждениях которого правительство имело очень дурное мнение. Некрасов сказал Муравьеву, что он написал к нему послание в стихах, и просил позволения его прочитать. По прочтении, он просил Муравьева о позволении напечатать это стихотворение. Муравьев отвечал, что, по его мнению, напечатание стихотворения было бы бесполезно, но так как оно составляет собственность Некрасова, то последний может располагать им по своему усмотрению. Эта крайне неуместная и неловкая выходка Некрасова очень не понравилась большей части членов клуба».

Стихотворение не сохранилось, автор никогда его не печатал. По воспоминаниям свидетелей, среди которых было немало корреспондентов разнообразных периодических изданий, в нем содержались обращения к Муравьеву, утверждения, что Россия бьет ему челом, и требования «виновных не щадить». Впрочем, и без этих свидетельств несложно предположить, что содержание «мадригала» было не менее унизительно, чем сам факт его произнесения. Газеты, моментально сообщившие своим

читателям о происшедшем, добавляли и другие не менее тягостно выглядевшие подробности. Катковские «Московские ведомости» уверяли, что во время речи самого Муравьева, который «указывал на вредные учения, распространяемые в обществе, на нигилизм, прививаемый к молодому поколению, г-н Некрасов, издатель «Современника», присутствовавший при этой беседе, повторял, обращаясь к графу: «Да, ваше сиятельство, нужно вырвать это зло с корнем». «Нельзя не порадоваться такому согласию между взглядами литературных деятелей и потребностями общества», — иронически констатировал анонимный корреспондент. Не исключено, конечно, что торжествующие противники отчасти добавляли свои фантазии — всё равно опровергать их было для Некрасова невозможно и бесполезно. Печатные нападения на Некрасова продолжались в течение всей второй половины 1866 года. Конечно, отметился и Герцен в «Колоколе», уже находившемся на грани закрытия из-за падения популярности, — выразил «не удивление» по поводу того, что Некрасов написал стихи в честь Комиссарова, но удивился тому, что, «забывая всякий стыд и приличие», он воспел палача. Другие авторы упражнялись в эпиграммах (особенно едкие писал Дмитрий Минаев в «Искре»), пародиях, саркастических инвективах.

Некрасов не только принял заметное участие в общем параде унижения (судя по утверждению Дельвига, Английский клуб тоже был унижен, оказав исключительные почести человеку, которого большинство его членов презирали и ненавидели), но и испытал горечь неудачи — реакция Муравьева не оставляла сомнений, что «смягчить» его не удалось. Оставалось ждать последствий. В конце жизни Некрасов утверждал, что едва ли не в тот же вечер написал стихотворение «Ликует враг, молчит в недоуменье…», отразившее его отчаяние. Это выглядит не очень правдоподобно (стихотворение было напечатано только в 1869 году, его рукопись не сохранилась); но даже если стихотворение было написано позже, когда первые бури в душе улеглись, оно всё равно отражает если не тогдашнее состояние поэта, то как минимум его восприятие своего поступка как неблаговидного. Очень значимо в его поздних воспоминаниях стремление сократить до минимума временной промежуток между чтением Муравьеву «мадригала» и созданием этого стихотворения: падение было кратким, осознание аморальности и непоправимости поступка — пришедшим практически в тот же момент и ставшим ошеломляюще мучительным.

«Муравьевская ода» занимает, конечно, особое место в жизни Некрасова и до сих пор оказывает огромное влияние на восприятие его как человека и поэта. В чем ее особенное

значение? Ведь Некрасову и ранее приходилось не раз идти на компромиссы. Немало его писем содержит свидетельства унижения перед разнообразным начальством. Были и слова, и поступки, вполне напоминавшие отречение от своей «консистории» и того направления, в котором она вела «Современник». Отличие в том, что в данном случае это был публичный и именно рассчитанный на публичность жест. Некрасов не в частной беседе или через посредников передал Муравьеву уверения о своей лояльности, но заявил о ней перед большим количеством равнодушных, злорадствующих, негодующих свидетелей. Эта публичность была, конечно, следствием того, что Некрасов не имел никаких собственных подходов к Муравьеву. Только прилюдная демонстрация лояльности, публичное дистанцирование от собственных сотрудников и направления собственного журнала могли, казалось Некрасову, принести положительный результат.

Риск при этом был огромен. И дело не только в том, что Муравьев мог остаться равнодушным, но и в том, что члены редакции могли обвинить Некрасова в предательстве и отречься от него. Это были существенно более, чем Чернышевский и Добролюбов, горячие и менее способные на компромисс люди, более склонные видеть в поступке Некрасова попытку спасения не журнала, а самого себя путем предательства идеалов и убеждений.

Встреча с молодыми соратниками была тяжелой. Наиболее лояльный из них, Елисеев, вспоминал, отчасти уже смягчая ситуацию пришедшей с возрастом иронией: «Нас эта история повергла в великое уныние. В первый редакционный обед мы явились в редакцию с мрачными лицами. Напрасно Некрасов хотел перед нами оправдаться, напрасно читал стихотворение, сказанное перед Муравьевым, указывая, что в нем нет противного нашей честности. Весь смысл стихотворения заключался, помнится, в том, что поэт, обратясь к Муравьеву, говорил: «разыщи виновников и казни их». Другого, конечно, и сказать было нельзя, уж если начал говорить приветствие следователю. Но нам претили и самая инициатива, и факт такого приветствия, вызванного, очевидно, трусостью». В реальности всё было, наверное, острее и болезненнее.

Для Некрасова была тяжела не столько непримиримая осуждающая позиция конкретно этих сотрудников, уже покушавшихся на его журнал, уже дававших ему понять, что моральный облик редактора «Современника» они оценивают невысоко. Намного больнее было ему ощутить утрату любви и доверия молодого поколения, публики, своего до того времени

безоговорочно преданного читателя. И действительно, с этого момента отношения Некрасова с читателями стали более сложными и не исправились окончательно даже после того, как история с «муравьевской одой» утихла. (По-настоящему она никогда не забудется, еще долго бывшие поклонники Некрасова будут писать ему гневные и разочарованные письма, а некоторые прогрессивно настроенные люди станут публично выражать презрение, не подавая ему руки.) С этим уже ничего нельзя было поделать. «Муравьевская ода» как бы переопределила личность Некрасова для многих его читателей, и с того момента все его привычки и привязанности, не соответствовавшие правилам жизни этих людей (любовь к картам, к роскоши, гурманство, светские знакомства, собственное имение и пр.), превратились в пороки, нравственные проступки, заняв место в общем портрете барина, шаткого в убеждениях или даже не имеющего их, но по каким-то причинам (скорее всего, корыстного характера) присоединившегося к движению молодежи.

Между тем комиссия Муравьева работала четыре месяца, до 21 августа 1866 года. Продолжались аресты и допросы и вступало в завершающую стадию наступление на оппозиционную печать. 22 апреля, меньше чем через неделю после злосчастного обеда в клубе, цензор Еленев на заседании Главного управления по делам печати доложил о статье Жуковского «Вопрос молодого поколения» как о предосудительной и заслуживающей кары. Такое же мнение выразил председатель Щербинин.

Апрельский номер «Современника» вышел 2 мая — в нем нет ни одного материала, написанного «консисторией». Возможно, как они сами утверждали, Некрасов отстранил их от работы; возможно также, что они бойкотировали издание. 4 мая был представлен в цензуру пятый номер (также без участия Антоновича, Жуковского и остальных), но он уже не вышел из печати. 12 мая издание было приостановлено в связи с третьим предостережением, а 28-го числа журнал был закрыт, как полагали современники, по личному требованию Муравьева. В тот же день было запрещено и «Русское слово». В это время Некрасов только приехал в Карабиху, куда собирался еще 19 мая, написав брату Федору: «Я так измучился с журналом, что желал бы в деревне отдохнуть в полнейшем спокойствии». Вероятно, об окончательном закрытии «Современника» он еще не знал и, уезжая, надеялся на возможность изменения решения. За него боролся его светский приятель и тайный покровитель в сфере цензуры граф Феофил Матвеевич Толстой, однако все усилия оказались тщетны — с Муравьевым бороться было невозможно. 1 июня А. Н. Пыпин получил официальное извещение о запрещении

«Современника», 3-го числа об этом было официально объявлено в правительственной газете «Северная почта». Только что приехавший в имение поэт снова отправился в Петербург.

Для Некрасова остаток года прошел в хлопотах по ликвидации журнала, осуществлявшейся под его руководством вторым помощником по ведению хозяйственных дел «Современника» Семеном Васильевичем Звонаревым, книгопродавцем, которому Некрасов помог начать собственное книгоиздательское дело, существенно более «темной» личностью, чем человек кристальной честности и замечательного благородства Ипполит Панаев (как показывают конторские книги «Современника», тот не раз в трудные для журнала времена вносил в его кассу личные деньги, о чем даже не упомянул в своих трогательных и апологетических по отношению к другу воспоминаниях). Распродавались оставшиеся номера журнала за разные годы, а также книжки, издававшиеся на средства «Современника», в том числе «Рассказы и очерки» Николая Успенского; из выручки от продажи уплачивались долги типографии и бумажной фабрике, оказывалась материальная помощь особо нуждающимся авторам и сотрудникам. Некрасов вел переговоры с вдовой только что скончавшегося Плетнева, унаследовавшей его права на «Современник», об уменьшении размера неустойки, полагающейся ей по договору в случае закрытия журнала по вине редакции (удалось снизить эту сумму с восьми до пяти тысяч рублей). Удовлетворяли подписчиков, недополучивших восемь номеров журнала, за которые они уже заплатили деньги, — в качестве компенсации им были предложены уже изданные Некрасовым и Гербелем первые два тома собрания пьес Шекспира (потребовали и получили их всего 140 подписчиков, остальные оказались готовы на жертвы; так, впрочем, было и с другими закрытыми по цензурным причинам журналами). Звонарев удовлетворенно писал Некрасову, что ни одного скандала с рассерженным подписчиком не случилось. Одновременно уже бывший редактор с помощью вдовы Плетнева пытался обходными путями добиться возможности возродить «Современник» под тем же или другим названием. Это ему не удалось.

В разгар этих хлопот закончила работу муравьевская комиссия. 2 августа в «Северной почте» были опубликованы результаты, оказавшиеся совершенно мизерными: никакого крупного заговора обнаружить не удалось, подавляющее большинство арестованных было просто отпущено по домам (в их числе Елисеев), к суду привлечено только 32 человека, из которых больше половины оправдано. Несколько человек

отправились в ссылку, среди них — известный публицист и будущий заграничный сотрудник Некрасова Петр Лаврович Лавров. Несостоявшийся цареубийца Каракозов был приговорен к смертной казни и повешен 3 сентября в Санкт-Петербурге на Смоленском поле при большом скоплении народа. Работа комиссии была прекращена 21 августа, а через восемь дней умер Муравьев.

Однако на судьбу «Современника» всё это уже не влияло — воскресить его было невозможно. Кроме того, последние номера журнала еще вызывали эхо репрессий — за статью «Вопрос молодого поколения» на повторном судебном разбирательстве (первое завершилось оправдательным приговором) Пыпин, разрешивший публикацию статьи, и ее автор Жуковский были приговорены к сторублевому штрафу и трехнедельному заключению на гауптвахте. Некрасов наказания избежал, поскольку в тот момент не был ответственным редактором «Современника», передав этот пост Пыпину (как говорили недоброжелатели, очень «предусмотрительно», подставив молодого сотрудника под ожидаемый удар). Тем не менее Некрасов в письме рекомендовал Пыпину на суде заявить о их общей ответственности за все публикации в журнале, чего тот не сделал.

Результаты 1866 года выглядели как совершенное моральное и материальное банкротство: Некрасов остался без журнала, с сильно испорченной репутацией среди «своих» и не изменившейся репутацией у правительства, не поверившего в его изменение, а потому перспективы его как издателя были крайне сомнительны. Своеобразный итог подвел бывший приятель Тургенев, спрашивавший Боткина в письме из Баден-Бадена от 24 декабря: «Видишь ли ты экс-журналиста, экс-поэта и присно-жулика Некрасова? — Превратился ли он окончательно в клубного честного шулера?» Дела обстояли, однако, не так уж плохо, как хотелось бы Тургеневу. Потеряв журнал, Некрасов остался состоятельным человеком, сохранил репутацию серьезного и умелого издателя, не утратил знакомства в придворных и правительственных кругах и связи в кругах издательских — с владельцами типографий, производителями бумаги, книготорговцами. После смерти страшного Муравьева в правительстве на время возобладала умеренная линия, несмотря на огромное влияние на царя консервативного шефа жандармов Петра Андреевича Шувалова. Любовь читателей к некрасовским стихам также не могла быть уничтожена одним проступком автора. И репутация Некрасова столь же зависела от его дальнейших действий, сколь от его прошлых поступков. Он жил

иногда напряженно, иногда разгульно; ему было всего 45 лет — возраст человека в расцвете сил. Некрасов, конечно, был расстроен, даже потрясен гибелью журнала, существовавшего два десятка лет; однако считать, что с карьерой издателя и литератора совершенно покончено, у него не было оснований. Это и показал следующий, 1867 год.

Начался он с последних боев вокруг уже ушедшего в прошлое «Современника» — торгов с вдовой Плетнева, стремившейся получить сполна компромиссные пять тысяч рублей неустойки (Некрасов пытался ограничиться четырьмя тысячами). Весной Некрасов, совсем недавно писавший Островскому, что устал «от литературы», стал задумываться, что будет делать дальше как издатель и литератор. О новом журнале речь идти пока не могла; видимо, и сам Некрасов был к этому не готов (в отличие от Благосветлова, ухитрившегося после закрытия «Русского слова» в том же 1866 году предпринять новое издание, не без дерзости названное «Дело»). Можно было выпускать книги. Судя по всему, одним из первых проектов, появившихся у Некрасова уже в марте, было издание книжки для детей совместно с А. Ф. Погосским, недавно вернувшимся из своей полуэмиграции (поляк по национальности, тот, видимо, близко к сердцу принял судьбу восставших соплеменников, продал свои народно-солдатские журнальчики своему сотруднику Василию Васильевичу Дерикеру и некоторое время провел за границей) и возобновившим печать популярных народных и солдатских книжек и альманахов. Для предполагаемого издания Некрасов написал в марте стихотворения «Пчелы» и «Генерал Топтыгин». Рынок детской литературы, в это время быстро растущий, был еще совершенно не освоен Некрасовым, между тем как его произведения к тому времени уже охотно включали в детские сборники и хрестоматии. Ситуация временного отсутствия постоянного журнального дела, очевидно, стимулировала Некрасова к каким-то переменам, экспериментам, и он попытался посмотреть на себя как на детского писателя и издателя детской литературы. Этот замысел был отложен, скорее всего, просто из-за нехватки текстов, и Некрасов вернулся к нему позже.

В конце марта 1867 года Некрасов в третий раз отправился за границу вместе с Селиной Лефрен, доктором Петром Ивановичем Сезеневским (сведений о нем разыскать не удалось) и сестрой Анной, посетил Всемирную парижскую выставку, а затем путешествовал по Италии. И в этот раз Некрасов не планировал встреч с друзьями. В Риме он случайно встретился с известным художником Валерием Ивановичем Якоби. Его жена, начинающая писательница и впоследствии издательница Александра

Николаевна сделала в своем дневнике несколько записей, запечатлевших Некрасова в это время:

«15 [мая 1867 года]… получила записочку от Солдатенкова, он рекомендует нам Некрасова… Вечером в Hotel d'Europe познакомились с Некрасовым»; «16 [мая]. Утром с своим доктором приехал Некрасов. Он несимпатичен, носит в себе печать какой-то внутренней тревоги»; «17 [мая]. Пошли завтракать с Некрасовым к Nassari; он не один: с ним приехали, кроме доктора, француженка, на которую он променял Панаеву, да его сестра Буткевич. После завтрака поехали в Ватикан; француженка коверкалась, насилу шла по лестнице, говоря, что не может ходить. В 6 часов поехали на Vill'y Panpholia (имеется в виду Villa Doria Pamphilj — дворцово-парковый ансамбль на западе исторической части Рима. — *М. М.),* Каждый раз, как я ее вижу, она всё более и более наводит на меня скуку. С Vill'bi Panpholia поехали обедать к Spilmann'y, оттуда меня с Володей (маленький сын Якоби. — *М. М.)* завезла домой m-me Буткевич. Некрасов подарил мне на память свое сочинение»; «18 [<мая]. Пошла утром к Некрасову, они все уехали с Валерием что-то осматривать, а я с француженкой поехала смотреть Villa Medici. Они меня уговаривали ехать с ними в Неаполь. <…> Я бы наверное уехала завтра с ними, если бы не задержал паспорт. Сегодня мы с ними простились»; «24 [мая]. Сегодня вечером вернулся из Неаполя Некрасов, прислал мне деревянный нож из Sorrento»; «25 [мая]. Некрасов, доктор и m-me Буткевич приехали ко мне; мне нездоровится, но так как они завтра едут, я решила выдти. Вместе с ними обедала. Вечером читала Некрасову свой рассказ, и он нашел его очень хорошо написанным, прочувствованным, но заметил один недостаток, что у меня старик и дочь его слишком много плачут и жалуются на свое горе, мало нося печали об общем деле. Я подарила Буткевич камею (голову медузы), она мне платье, цветы и пудру»; «26 [мая]. Была целый день с Некрасовыми, ездила вечером их проводить на железную дорогу, он обещал мне поместить мою работу, сам надарил много книг, обещал писать».

Видимо, отправляясь в эту заграничную поездку, Некрасов опять рассчитывал отдохнуть от литературы, но это было невозможно. «Поеду ли в Рим, не знаю — может быть, отправлю одних дам, а сам примусь за работу. Просто хочется работать, и каждый день просыпаюсь с каким-то чувством, похожим на сожаление 50-летней женщины о потере своей невинности», — писал он Льву Александровичу Еракову, сыну А. Н. Еракова, 11 (23) апреля из Ниццы.

В Париже и Флоренции Некрасов начал работу над большим

произведением — «лирической комедией» под названием «Медвежья охота». Скорее всего, это была пьеса для чтения, не предназначенная для постановки на сцене. Это произведение осталось незаконченным, хотя написано было немало. Сюжет только намечен: в провинциальный город приезжают богатые господа, чтобы в его окрестностях поохотиться на медведей. К одному из них приходит девушка, дочь актрисы, и просит помочь ей устроиться в театр: она мечтает связать свою жизнь со сценой, но мать препятствует ей. Девушка поет песню, поразив своим исполнением всех охотников. В комедии довольно много персонажей, некоторые произносят весьма обширные монологи.

Некрасов опубликовал только несколько фрагментов «Медвежьей охоты». В конце жизни в примечании к тексту он писал: «Несколько раз я принимался окончить эту пьесу, которой содержание само по себе интересно, и не мог — скука брала. Вообще свойство мое таково: как только сказал, что особенно занимало, что казалось важным и полезным, так и довольно, скучно досказывать басню. Если найду время, расскажу прозой с приведением отрывков». Очевидно, именно то, что было напечатано, он считал полезным и важным: диалог, рисующий современное общество и на его фоне портрет «человека сороковых годов» — не новый, восходящий к тургеневскому «Рудину» и к «Саше» самого Некрасова. Интересен в «лирической комедии» новый взгляд или, точнее, новая перспектива, в которой рассматривается этот тип. Поэма «Саша» писалась, когда Некрасов был устремлен в будущее, «обходил» споткнувшийся на пол пути, остававшийся в прошлом тип «лишнего человека» и был готов бросить на него прощальный сочувственный взгляд. Теперь будущее наступило, тип «лишнего человека» действительно остался в прошлом, оказался вытеснен типом деятельного борца, жертвовавшего жизнью или свободой ради идеалов и счастья народа (присутствующего в сценах как своеобразный фон, на котором развивается действие). Неожиданно Некрасов хочет устами персонажа по имени Миша (в котором неожиданно угадываются черты Лонгинова) защитить этих людей, отчасти потому, что сам он после своего «проступка» вдруг почувствовал риск остаться в прошлом и неожиданно ощутил близость к этим людям, подобным Рудину и Агарину. Оправдание «людей сороковых годов», которые уже не могут идти дальше или даже занимают по отношению к новому поколению враждебную позицию (как Тургенев), служит Некрасову для объяснения того положения, в котором он сам оказался после «му-равьевской оды». Прямое отношение к этому имеет знаменитый афористичный фрагмент:

Живут себе под старость припевая;
За то теперь клеймит их иногда
Предателями племя молодое;
Но я ему сказал бы: не забудь,
Кто выдержал то «время роковое,
Есть от чего тому и отдохнуть.
Бог на помочь! бросайся прямо в пламя
И погибай…
Но, кто твое держал когда-то знамя,
Тех не пятнай!
Не предали они — они устали
Свой крест нести,
Покинул их дух Гнева и Печали
На полпути…

Ключевой для всего фрагмента является антитеза «предали — устали». Говоря о «людях сороковых годов», Миша объясняет важнейшее для Некрасова различие между предательством и усталостью, слабостью. Не все, кто не смог идти дальше, предатели, и не всякое проявление слабости есть ренегатство. «Муравьевская ода» — не предательство, а проявление этой усталости. Как показывает «Медвежья охота», быть «человеком сороковых годов» не обязательно означает быть «устаревшим». Автор не только жалеет и оправдывает «лишних людей», но протягивает нить между ними и поколением нынешних бойцов, более бодрых, решительных, энергичных, самоотверженных, чем предшественники, носителей тех же ценностей, в которые он уверовал благодаря встрече с Белинским и наследниками которых считал Чернышевского и других современных кумиров. Подчеркивая ценностное единство между «лишними» и «новыми» людьми, Некрасов оспаривал необходимость требуемых новыми людьми цельности, единства моральных установок и жизненного поведения, отстаивал право — нет, не на предательство, а на слабость, вызванную усталостью.

Это право на слабость Некрасов отстаивает и в написанных в том же году отрывках «Зачем меня на части рвете…» и «Умру я скоро. Жалкое наследство…». Поэт признаёт свой проступок, но хочет остаться в той же «команде», превращая покаяние в торжественную клятву, обращаясь уже не к Белинскому или Кони, но прямо к Родине. Искренность этих стихов несомненна — речь в них идет о единственных признанных Некрасовым ценностях, еще в начале сороковых годов навсегда занявших в его душе и сознании место, предназначенное для веры. И это стремление

быть рядом с теми, кого Некрасов видел преемниками Белинского, нежелание остаться позади с усталыми «инвалидами» он начал демонстрировать на практике.

Оставив Лефрен за границей (на этом вполне прозаически закончился их роман, обошедшийся без драм), во второй половине июня Некрасов после «отдыха от литературы» на короткое время вернулся в Петербург с планом издания литературного сборника по образцу тех, с которых начиналась его карьера серьезного издателя. Едва ли не первым, кому он об этом сообщил, был Елисеев. С самого начала Некрасов рассчитывал опереться на те же литературные силы, с которыми имел дело в «Современнике».

Необычным было обращение к еще одному представителю «левого фронта», который до этого находился в достаточно резкой конфронтации с редакцией «Современника». Дмитрий Иванович Писарев к тому времени поссорился с Благосветловым и отказался участвовать в его новом журнале. 2 июля Некрасов сделал ему серьезное и выгодное предложение. На следующий день Писарев писал матери: «Ко мне неожиданно утром явился книгопродавец Звонарев и сообщил мне, что Некрасов желал бы повидаться со мною для переговоров о сборнике, который он намерен издать осенью. Если, дескать, вы желаете, Николай Алексеевич сами приедут к Вам, а если можно, то они просят пожаловать к ним сегодня утром. Я ответил, что пожалую, — и поехал. Прием был, разумеется, самый любезный. С первого взгляда Некрасов мне ужасно не понравился, мне показалось у него в лице что-то до крайности фальшивое. Но уже минут через пять свидания прелесть очень большого и деятельного ума выступила передо мною на первый план и совершенно изгладила собою первое неприятное впечатление. Было говорено достаточно — и о Сборнике, и предполагаемом журнале, и о литературе, и о современном положении дел». Некрасов предложил Писареву написать две-три статьи общим объемом десять листов на темы, которые он сам изберет. Писарев выбрал сочинения французского писателя Андре Лео, труды Дидро и только что вышедший, но уже получивший скандальную известность роман Тургенева «Дым». Некрасов пообещал заплатить 75 рублей за лист (больше, чем платил Благосвет-лов) и предложил аванс. Писарев предпочел другой способ предварительной оплаты — расписку на получение в любое время 200 рублей. Этот договор выглядел многообещающим. Некрасов снова, как когда-то Чернышевского, выбрал самого яркого критика и публициста, влюбленного в его стихи, при этом пренебрег перебранкой, омрачавшей последние годы «Современника», и оказался над мелочной схваткой. Он

воспользовался тем, что Писареву в тот момент было негде печататься.

Заручившись согласием Писарева и, возможно, кого-то еще, Некрасов в тот же день отправился в Карабиху. Туда на некоторое время приезжал погостить Островский с супругой, который также обещал дать материал для сборника. Как обычно, Некрасов в Карабихе отдыхал и охотился, но и продолжал двигать вперед издание сборника: согласились участвовать В. А. Слепцов и П. И. Якушкин, а от статьи Писарева о «Дыме» он отказался, сомневаясь, что сойдется с критиком в оценке политического содержания романа.

Некрасов не хотел допускать в редактируемом им издании чрезмерно резких нападок на Тургенева, прежде всего из опасения, что в такой критике заподозрят сведение счетов (чего совершенно не боялся Тургенев, сведший в «Дыме» личные счеты со многими знакомыми и приятелями).

Однако, судя по всему, уже во время пребывания в Ка-рабихе у Некрасова появился новый, более амбициозный, хотя и сложный для осуществления замысел. В двадцатых числах июля он получил письмо от своего старого конкурента Краевского с предложением возглавить отдел беллетристики в продолжавших существовать, но уже слабо интересовавших издателя «Отечественных записках». Некрасов ответил отказом:

«Я серьезно думал об Вашем предложении, Андрей Александрович, и дошел до заключения, что пользы Вашему журналу, по крайней мере продолжительной и существенной, не принесу, взяв на себя беллетристику.

Я внимательно перечел «От[ечественные] зап[иски]» последнего года и нашел, что беллетристика в них — при нынешнем состоянии литературы — вообще удовлетворительна. Всё, что можно было бы еще привлечь, сопряжено с затратами очень рискованными, потому что, как Вы сами знаете, упрочение и усиление журнального успеха зависит в наше время не от беллетристики.

Подробнее сообщу Вам мои мысли при свидании…»

Однако предложение Краевского навело Некрасова на мысль о возможности возродить «Современник» окольным путем, вернуться в журналистику и литературу через посредничество Краевского — в качестве редактора серьезного журнала того же направления. Его план чем-то напоминал замысел его сотрудников «захватить» чужой журнал, но имел более серьезную практическую основу. Как раньше Некрасов арендовал «Современник» у Плетнева, так теперь можно было попробовать арендовать «Отечественные записки» у Краевского. Очевидно, что

здесь был другой случай — Краевский был совершенно не похож на непрактичного Плетнева, а его журнал, в отличие от бледного плетневского «Современника», имел определенную репутацию (с точки зрения молодых радикалов, крайне сомнительную). Замысел таил в себе много сложностей, в том числе и явный репутационный риск (Некрасов, естественно, предвидел, что союз с одиозным Краевским вызовет на первых порах неодобрение сотрудников), однако был, несомненно, осуществим. Некоторой порукой тому был сам Краевский — прошедший огонь и воду, стоявший у истоков русской серьезной коммерческой журналистики, к тому времени сменивший в «Отечественных записках» уже несколько ведущих критиков, готовый удовольствоваться коммерческим успехом, отдав определение направления журнала в другие руки (естественно, подобно Плетневу, финансово обезопасив себя на случай, если новое направление приведет журнал к краху или закрытию). Словом, стоило попробовать. Чем больше Некрасов размышлял об этом деле, тем больше оно казалось ему реальным. В середине октября он вернулся в Петербург и начал серьезные переговоры по аренде «Отечественных записок».

Видимо, поначалу Некрасов надеялся, предоставив Краевскому определенный контроль над финансовой и материальной частью «Отечественных записок», отстранить его от контроля над содержанием журнала. Конечно, было бы желательно превратить его в совершенно нейтральную фигуру, получающую, подобно Плетневу, ежегодную ренту. С самого начала эта задача была в полном объеме неосуществима и из-за осторожности и определенной амбициозности Краевского, и из-за позиции властей, для которых Некрасов в качестве ответственного редактора был неприемлем. Приходилось искать компромисс.

Переговоры, проходившие до начала декабря, привели к следующей конструкции: «1. Некрасов с 1 января тысяча восемьсот шестьдесят восьмого года по первое января тысяча восемьсот семьдесят четвертого года принимает на себя исключительное заведование редакциею журнала «Отечественные записки» и становится гласно ответственным редактором этого журнала как перед правительством, так и перед публикой. <…> 2. Краевский, оставаясь собственником журнала «Отечественные записки», принимает на себя все обязанности издателя журнала, то есть всю хозяйственную часть издания…» При этом каждый партнер имел влияние на сферу ответственности другого: «Некрасов во всякое время может поверять приходо-расходные книги и счеты конторы «Отечественных записок» и, если заметит

какое-либо упущение, дает знать о том Краевскому, который обязан немедленно поправить замеченные упущения… предоставляя Некрасову полную свободу во всём, что касается собственно редакции журнала, Краевский как собственник сохраняет за собою право просматривать в корректурных листах все статьи, приготовленные к печати, и если заметит в них что-либо могущее вызвать преследование администрации, то имеет право печатание такой статьи приостановить, сообщив свои соображения Некрасову».

Особенно тщательно опытные журналисты оговорили опасные ситуации с возможными правительственными предостережениями и запретами: «Если Некрасов соображения Краевского в этом случае будет оспаривать, то Краевский до получения журналом первого предостережения обязан ему уступить, но если журнал получит первое предостережение, то спорные вопросы такового рода разрешаются третьим лицом, избранным по обоюдному их согласию при участии одного из членов Главного управления по делам печати, если к этому представится возможность. Если же, несмотря на эту предосторожность, журнал подвергнется и второму предостережению, тогда Некрасов от ответственной редакции журнала должен отказаться и журнал возвращается вновь под ответственную редакцию Краевского, а Некрасов, продолжая исполнять все остальные обязанности, принятые им на себя в первом пункте сего условия, должен уже безусловно подчиняться решению Краевского во всех тех случаях, где дело будет касаться ответственной редакции. Если в этом случае между Краевским и Некрасовым возникнут такие несогласия, при которых вести общее дело окажется невозможным, то Некрасов, буде пожелает, может оставить дело, но с тем, что контракт сей считать нарушенным, причем Краевский обязывается выдать Некрасову единовременно три тысячи рублей серебром».

Договор этот, подписанный сторонами 8 декабря, не был выполнен полностью по причинам, как тогда выражались, не зависящим от редакции. Главное — правительство не позволило сменить ответственного редактора: им и в дальнейшем будет формально считаться Краевский, хотя на самом деле «Отечественные записки» будут редактировать другие люди. Это было существенной проблемой: имя редактора в значительной степени определяет лицо журнала — во всяком случае поначалу, особенно для провинциального или далекого от нюансов литературной жизни читателя. Тем не менее на это нужно было пойти, если решиться издавать журнал. Некрасов справедливо рассудил, что репутацию новым «Отечественным запискам»

создаст не титульный лист, а имена сотрудников и публикуемые материалы.

Краевский, как видно из договора, в целом давал Некрасову карт-бланш на содержание, оставив себе роль наблюдателя и советчика, вроде внутреннего цензора. Правительство было в курсе того, что на самом деле будет представлять собой журнал, и не возражало. Таким образом, «Отечественные записки» становились журналом Некрасова. Это был потрясающий успех. Получив «готовый» журнал, Некрасов начал работу с чистого листа — стал формировать новую редакцию, подойдя к делу очень серьезно, чтобы в этот раз облегчить себе не только бремя финансово-хозяйственных забот, но и в целом ведение журнала.

Как уже говорилось, ни малейшего намерения сменить направление у Некрасова быть не могло, он хотел остаться в том же лагере. Однако, собираясь поднять то же знамя, он не считал необходимым автоматически сохранять лояльность конкретным «знаменосцам». Это проявилось уже в приглашении в журнал Писарева, которого он намеревался активно использовать, изначально игнорируя неприязнь к тому прежних сотрудников, ставя их перед фактом. Он заведомо пренебрег предпочтениями бывших сотрудников «Современника», пригласив Салтыкова-Щедрина фактически в качестве соредактора. Некрасов прямо писал Краевскому, что без Салтыкова «дело не может склеиться в том виде, как мы хотели».

В отношении же «последней версии» редакции «Современника» чувства Некрасова были сложнее. Видимо, больше всех его устраивал Елисеев, который меньше других участвовал в журнальных перебранках и своими материалами не заслужил ни одного правительственного предостережения. Он сразу же получил предложение поучаствовать в сборнике и, вероятно, тогда же — приглашение в журнал. Так же безоговорочно устраивал Некрасова Пыпин, тоже человек неконфликтный, хотя и навлекший на «Современник» предостережение. Сложнее дело обстояло с Антоновичем и Жуковским. Возможно, с точки зрения правительства они представляли наиболее опасную и наименее приемлемую часть редакции «Современника». Существует предположение, что разрешение участвовать в «Отечественных записках» было дано Некрасову только при условии, что он не возьмет с собой ни Антоновича, ни Жуковского. Судя по всему, для Некрасова, несмотря ни на что, было желательно участие в «Отечественных записках» двух наиболее строптивых его товарищей по «Современнику», и он решил отложить решение вопроса до того, как план нового издания станет реальностью.

Во второй половине октября 1868 года Некрасов собрал у себя тех, с кем хотел обсудить перспективы нового журнала. Присутствовали Елисеев, Салтыков, Писарев; Антонович в это время находился за границей, Жуковского и Пыпина Некрасов не пригласил. Елисеев так описывал реакцию участников «совета» на предложение Некрасова: «Внезапно высказанная комбинация о том, чтобы издавать прогрессивный журнал под ответственной редакцией Краевского, до того меня поразила, что я прямо и решительно сказал: «Это чистая нелепость. Это совсем невозможно». Вслед за мною и М. Е. Салтыков… энергически заявил: «Это в самом деле черт знает что. Надо бросить», взял шапку и хотел уйти. Но Некрасов удержал его и стал нам говорить, что напрасно мы горячимся, что он и сам не думает и не желает остаться под редакцией Краевского… «Из-за таких пустяков, не имеющих, собственно, никакого отношения к делу, может быть не начато, совсем брошено хорошее дело. Это, как хотите, господа, совсем не умно…». Были выдвинуты и другие аргументы, показавшиеся всем присутствующим резонными, и вопрос о их участии в «Отечественных записках» был решен.

Оставались еще Жуковский и Антонович с Пыпиным. С ними дело не заладилось. Причиной был настрой этих сотрудников, решивших действовать заодно. Эта «артель» по инициативе, надо думать, Жуковского и Антоновича намеревалась использовать ситуацию с «Отечественными записками» для очередной попытки установить справедливые отношения в литературно-издательском производстве. Жуковский на встрече с Некрасовым и Елисеевым в десятых числах ноября от лица своих товарищей потребовал от Некрасова разделения всех доходов от журнала между Некрасовым и тремя участниками «артели», а кроме того, предоставления им полноправного контроля над всем, что будет печататься в «Отечественных записках». Эти самонадеянные требования в данном случае исходили не из чувства справедливости, а из уверенности в своей необходимости для журнала, в том, что своей популярностью «Современник» был обязан их деятельности.

Некрасов, совершенно не готовый принять такие условия, отказался вести переговоры как с «артелью» в целом, так и с Антоновичем и Жуковским по отдельности, сделав последнее предложение Пыпину, очень просто объяснив ему свои резоны в письме от 20 ноября:

«Из разговора с Жуковским я убедился, что мы с ним сойтись не можем. Он хочет, между прочим, чтобы хозяйство было взято у Краевск[ого] и перешло к кому-нибудь из нас. Не знаю, согласился ли бы на это Кр[аевский], но я на это не согласен. Сам

я возиться со счетами и деньгами не имею охоты и Вас не считаю для этого достаточно практичным. — 8-мые доли, выговариваемые Жуковским в пользу свою и Вашу, тоже поведут к затруднению отчетности и к путанице, и, поразмыслив обстоятельно, я на них не могу согласиться. Во-1-х, потому, что желаю стоять в таком положении, чтобы не быть обязанным ни перед кем отчетностию и стесненным в распоряжениях цифрою, определенною на расходы по журналу (а Жуковский желает в этом отношении одинаковых прав со мною и имеет виды на какие-то сокращения расходов, по-моему, невозможные и могущие только испортить дело); а во-2-х, потому, что, согласившись на уступку этих 8-х долей Вам и ему, я должен был бы, по совести, представить такую же долю Елисееву, которого считаю в предполагаемом деле нужным и полезным не менее каждого из Вас, что он доказал многолетним участием в «Современнике», а тогда что же осталось бы мне? — Итак, этот вопрос покончен. Остается решить другой. Потрудитесь отвечать поскорее и решительно, согласны Вы или нет принять участие в редакции «От[ечественных] зап[исок]», если я буду их редактором, на условиях, подобных тем, которые Вы имели в «Современнике», с тою выгодою, что здесь Вы будете освобождены от роли ответствен[ного] редактора. — Этот ответ дайте не позже завтрашнего дня, ибо Кр[аевский] просит решения, да и мне это дело до смерти надоело».

Пыпин отказался, не решившись нарушить договоренности с другими членами «артели». Костяк новых «Отечественных записок» составили Писарев, Салтыков и Елисеев; двое последних стали соредакторами журнала.

На первый взгляд Некрасов поступил как настоящий «капиталист», то есть так, как и должны были ожидать от него «пролетарии»-сотрудники. Но, даже несмотря на его вполне жесткие и «материалистические» формулировки в письме Пыпину, мотивы его отказа от услуг Антновича и Жуковского не только эгоистические. Некрасов не просто не был материально заинтересован в дележе прибыли с членами редакции, а не считал такую конструкцию журнала разумной и справедливой. Именно в этом смысле нужно понимать его слова в письме Краевскому от 27 ноября 1867 года: «Почтенные мои сотоварищи — люди непрактичные и нерешительные. Мне уже надоело за ними ходить, и, поставив им свои решительные условия, я теперь не тронусь с места, пока они не дадут сами ответа. Надо подождать. А между тем я хотел бы видеть контракт Ваш с Д[удышкиным]». Практичный Краевский оказался в трудные минуты ближе и понятнее Некрасову, чем теоретики из прежней «консистории».

В самом конце ноября разрешение на издание в новом составе было дано (хотя и подтвержден запрет на смену ответственного редактора). В объявлении, напечатанном 9 декабря в № 340 газеты Краевского «Голос», сообщалось, что «Отечественные записки» будут ежемесячными (до этого они выходили дважды в месяц), и представлялся состав редакции и обещавших постоянное участие литераторов, повторявший (за исключением имен Антоновича и Жуковского) состав «Современника». Читателям были обещаны произведения Решетникова, Марко Вовчка, Салтыкова-Щедрина, Островского, Якушкина, Ивана Федоровича Горбунова, Елисеева, Николая Ивановича Костомарова (правда, по какой-то причине в списке авторов не было Писарева) и только что написанная «современная повесть» «Суд», созданная Некрасовым под впечатлением от процесса над Пыпиным и Жуковским. Это было еще одно «герметичное» произведение Некрасова, продолжающее короткую в его творчестве линию стихов о перипетиях литературной жизни.

ШТОРМЫ В ТИХОЙ ГАВАНИ

1868 год — первый год издания «Отечественных записок» новой редакцией — был в значительной степени посвящен Некрасовым устройству дел журнала. Прежде всего, устанавливался круг постоянных сотрудников. Формирование беллетристической части, судя по всему, Некрасов почти полностью взял на себя: он приводил писателей, регулярно печатавшихся в «Современнике» (Островского, Решетникова, Глеба Успенского, Марко Вовчка), привлекал подающих надежды беллетристов Филиппа Диомидовича Нефедова, Надежду Дмитриевну Хвощинскую (Зайончковскую), Дмитрия Константиновича Гирса, Даниила Лукича Мордовцева. Отдел «Внутреннее обозрение» поначалу лихорадило: взявшийся было за него В. А. Слепцов по непонятным причинам не пошел дальше второй книжки. Его сменил Салтыков, потом Леонтий Иванович Розанов. Наконец в роли фельетониста утвердился приглашенный Салтыковым Николай Александрович Демерт, ведший рубрику «Наши общественные дела» до своей смерти в 1876 году. Он не был глубоким мыслителем, но умел выбирать факты, давать меткие комментарии, обладал чувством комического, и читатели его ценили.

Критический отдел, естественно, был поручен Писареву, который успел написать несколько статей, однако многообещающий альянс не получил развития — 4 июля 1868 года Писарев утонул во время морских купаний в Рижском заливе. Некрасов в числе не менее трехсот человек присутствовал на его похоронах в Петербурге (критик был погребен на Литераторских мостках Волкова кладбища рядом с Белинским и Добролюбовым) и почтил его память стихотворением «Не рыдай так безумно над ним…», отправленным в письме гражданской жене Писарева Марии Александровне Маркович (Марко Вовчок), дополнившим коллективный образ самоотверженного революционера новыми чеканными формулами: «…кто ближнего любит / Больше собственной славы своей, / Тот и славу сознательно губит, / Если жертва спасает людей».

Место Писарева занял энергичный Салтыков-Шедрин, который 12 июня 1868 года, будучи в чине статского советника, вышел в отставку с должности председателя Рязанской казенной палаты (подведомственной Министерству финансов, которым руководил его лицейский приятель Михаил Христофорович Рейтерн) и переехал в Петербург, получив, наконец, возможность полностью отдаться литературному труду благодаря выгодным

условиям, предложенным ему Некрасовым.

Другим постоянным критиком «Отечественных записок» стал начинавший еще в «Современнике» Александр Михайлович Скабичевский, в это время, по его словам, из «постепеновца» превратившийся в «красного». Не обладая значительным талантом (он болезненно ощущал, как невысоко его оценивали сотрудники «Отечественных записок»), он тем не менее заполнил вакуум, образовавшийся в редакции в ожидании таланта, хотя бы приближающегося к писаревскому или добролюбовскому.

Публицистику взял на себя Елисеев. Много публиковался находившийся в ссылке в Вологодской губернии П. Л. Лавров (его статьи, как и статьи Писарева, печатались анонимно). В феврале 1870 года он эмигрировал, но его статьи еще появлялись в «Отечественных записках».

Обложка некрасовского журнала «Отечественные записки». Июнь 1868 г.

Обозрение европейской политической жизни было поручено открытому Ипполитом Панаевым французскому публицисту Шарлю Луи Шассену, проживавшему в Париже и посылавшему свои корреспонденции еще в «Современник».

В общем, состав авторов и редакции говорил сам за себя. Несмотря на то что очередная попытка сделать ответственным редактором Некрасова не удалась и на авантитуле по-прежнему

значился Краевский, опасения публики насчет направления журнала быстро рассеялись. Не испытывало иллюзий в этом отношении и правительство, которое уже весной 1868 года стало высказывать сомнения, что новая редакция стала благонадежной. Бдительный критик Илья Александрович Арсеньев в 44-м (апрельском) номере газеты «Библиографические заметки» констатировал, что новые «Отечественные записки» — это фактически тот же «Современник».

Видимо, некоторое время ушло на урегулирование споров между Некрасовым и Краевским в отношении содержания журнала. В начале года Краевский несколько раз пытался вмешаться в ведение журнала, приходилось считаться с его требованиями снять или серьезно изменить тот или иной материал. В результате был найден компромисс, и в дальнейшем участие Краевского не приносило журналу существенного вреда. Появились у «Отечественных записок» прикормленные цензоры и близкие к правительству люди, которые в определенные моменты могли оказать поддержку. Журнал стабильно наращивал обороты, обустраивался редакционный быт. При этом знаменитые редакционные обеды «Современника» в «Отечественных записках» не прижились.

Некрасов, хотя и говорил, что отвык от журнальной работы, скорее соскучился по ней и теперь с энтузиазмом занимался привычным делом: переговорами с авторами, улаживанием мелких конфликтов, спорами из-за гонораров, правкой корректур, борьбой с цензурой. Он совсем не жаловался на здоровье, много охотился, по-прежнему выигрывал в карты — и, наверное, был счастлив: он восстановил свою жизнь, вернул то, что было у него отобрано, им снова овладело настоящее любовное чувство, сильно отличавшееся от «делового» романа отношений с Селиной Лефрен.

Его новую избранницу звали Прасковья Николаевна Мейшен (в девичестве Максимова), она была «из простых», родом из Ярославля. К моменту знакомства с Некрасовым ей было около двадцати пяти лет. Она недавно овдовела — ее муж, «губернский механик», инженер-технолог Виктор Иванович Мейшен, скончался 12 марта 1867 года в возрасте сорока четырех лет, не оставив ей в наследство никакого капитала, кроме домика в Ярославле, который еще нужно было юридически оформить. Наиболее вероятная дата их знакомства — август 1868 года, когда поэт ненадолго приезжал в Карабиху и Ярославль. Что их свело, неизвестно; можно лишь предполагать, что супруг Прасковьи Николаевны в качестве специалиста по котлам мог оказывать какие-то услуги Федору Алексеевичу Некрасову при

строительстве винокуренного завода в Карабихе. Однако о том, какие чувства испытывал поэт в начале знакомства, свидетельства имеются. Единокровная сестра Некрасова Елизавета вспоминала:

«Николай Алексеевич пробыл некоторое время у нас в Ярославле. Как-то раз он захотел, чтобы я пошла с ним на бульвар на набережную Волги. Я заметила, что он был как-то взволнован, а когда мы увидели Волгу во всей ее красе, то брат воскликнул: «Хороша ты, Волга, да в карман ее не положишь!» Впоследствии я узнала, что брат увлекся одной молодой девушкой…»

Какое-то время Некрасов и Прасковья Николаевна провели в Ярославле, а в сентябре вместе приехали в Петербург, где прожили до начала весны 1869 года. Их связь не была тайной — Некрасов представлял ее приятелям, она выступала в роли «хозяйки дома». Судя по воспоминаниям Елизаветы Алексеевны, новый «предмет» Некрасова был полной противоположностью и Авдотьи Яковлевны, и Селины Лефрен: «Мейшен была очень мало образованна, а еще менее интеллигентна. Я никогда не видела, чтобы она что-нибудь читала и, вообще, интересовалась чем-либо, относящимся к литературе или общественным вопросам. Наружность ее была довольно интересна, особенно — большие черные глаза, но, в общем, при маленьком росте и безвкусных костюмах она не производила никакого впечатления. Прасковья Николаевна проводила время в чаепитии с вареньем, медом, пастилой и т. д. Этими яствами уставлено было целое окно. По воскресеньям она ходила со мной в Исаакиевский собор. Я не замечала, чтобы Николай Алексеевич особенно интересовался ее обществом».

Настоящей духовной близости между поэтом и его возлюбленной быть не могло. Судя по всему, она была простой мещанкой и не стремилась подняться до уровня человека, с которым ее связала судьба. Отношения быстро подошли к концу. Елизавета Алексеевна видела причину в самой Мейшен:

«Отношения их нарушались иногда небольшими неприятностями. Зимой П[расковья] Н[иколаевна] любила кататься на коньках и требовала, чтобы и я участвовала в этих поездках в Юсупов сад. Ездили мы туда на великолепных парных санях под голубою сеткой и обратили внимание одного господина, видно, богатого. П[расковья] Н[иколаевна] познакомилась с ним и постоянно с ним каталась на коньках. Я же, как неопытная в конькобежестве, каталась по льду на кресле с железными полозьями.

Впоследствии я узнала, что Мейшен выдавала себя за богатую ярославскую вдову-помещицу, а меня — за дочь богатых родителей, которые просили ее в Ярославле взять меня под свое

покровительство. Она иногда приглашала незнакомца в ложу. Один раз, едва он успел уйти из ложи, ссылаясь на то, что должен спешить на вечер, появился неожиданно брат. Он, видимо, был очень недоволен, хотя не сказал ничего. Кажется, и поездки на каток ему не очень нравились, и они прекратились.

Вскоре после этого Прасковья Николаевна стала жаловаться на скуку и — не знаю почему — захотела переехать на другую квартиру, куда действительно переехала, а именно на Бассейную улицу, где брат бывал».

Другая версия разрыва принадлежит менее осведомленной и враждебно настроенной к Некрасову Елизаветы Ивановны Жуковской, супруге бывшего сотрудника «Современника»:

«Он привез молодую красивую вдову из Ярославской губернии, где сошелся с ней… Одно время говорили, что он женится на ней, и он представил ее в качестве невесты в доме Гаевских. Однако прошло несколько месяцев, о свадьбе не было слышно. Покойный Салтыков как-то в разговоре с нами заметил: «Боюсь, что он с ней сделает какую-нибудь пакость; симпатичная женщина, только, кажется, уж больно простоватая; скоро ему надоест». И действительно, предсказания Салтыкова скоро оправдались. Однажды эта вдова явилась прощаться к Гаевским, причем со слезами рассказала, что Некрасов стал с ней грубее и холоднее: не упоминал более о свадьбе, а на днях, после того как у него произошла оргия, в которой принимали участие дамы полусвета и француженки из кафешантанов, когда она пришла с укорами и спросила: «При чем же тут я?» — он самым циничным образом ответил: «Чтобы со мною спать, когда мне этого захочется». — «Тогда я уеду». — «И с Богом: удивительно, как женщины не понимают, когда им пора удалиться». Она и уехала».

Жуковская, несомненно, сообщала эти сведения в сильном увлечении ненавистью к Некрасову, «обидевшему» ее супруга (и дружелюбные, и недоброжелательные мемуаристы сообщали о светской жизни Некрасова и его «излишествах», но только она рассказала об оргии в квартире на Литейном с участием «дам полусвета и француженок из кафешантанов»); ее воспоминания интересны прежде всего тем, до какого предела могли доходить слухи и вымыслы о развратной жизни поэта. Вопреки утверждениям Жуковской, разрыва между Некрасовым и Мейшен не произошло. Чувство Некрасова прошло само собой, постепенно, не оставив ни особенной горечи, ни злобы. Не оставило оно и следа в некрасовском творчестве. Как и Селина Лефрен, Прасковья Мейшен его музой не стала. Возможно, еще в 1870 году она приезжала к нему в Петербург. Сохранившиеся письма свидетельствуют, что Некрасов оказывал Прасковье

Николаевне материальную помощь даже после того, как в 1872 году она вторично вышла замуж за ярославского мещанина Николая Ивановича Волкова. В дальнейшем она показала себя женщиной прагматичной, но симпатичной и приятной в общении — была своего рода другом семьи Островских, часто гостила в их имении Щелыково.

К 1868 году сформировался ближний круг, с членами которого Некрасову было приятно разделять досуг, мало пересекавшийся с кругом авторов и постоянных сотрудников журнала, практически полностью состоявшим из разночинцев, не разделявших привычки и вкусы редактора. Из прежней «консистории» лишь Елисеев, одним из первых приглашенный в новую редакцию, регулярно участвовал в совместных обедах и других развлечениях и наиболее тепло относился к Некрасову, но оставался достаточно далек от него.

Существенно ближе оказался Салтыков. По меткому определению Петра Дмитриевича Боборыкина, он обладал легендарно суровым и сварливым характером настоящего «литературного Собакевича», периодически высказывался о Некрасове вполне нелицеприятно — видимо, не только заочно, но и в глаза. Несомненно, редактору «Отечественных записок» было иногда непросто общаться с ним. Однако Некрасов достаточно скоро разглядел за внешней «свирепостью» своего соредактора благородную и честную натуру и научился относиться снисходительно и отчасти с юмором к особенностям внешнего проявления этого благородства, ценить замечательный талант Салтыкова, его трудоспособность и ту же лояльность журналу, что когда-то отличала Добролюбова и Чернышевского. К тому же Салтыков был заядлый картежник и не раз составлял Некрасову компанию. Впрочем, видимо, и здесь он был тяжелым партнером (позднее Тургенев отказывался играть с Салтыковым, жалуясь, что очень уж сильно тот ругал его за каждую ошибку).

В основном же приятельский круг состоял не из литераторов. Одним из самых близких друзей Некрасова в это время стал инженер-путеец Александр Николаевич Браков, гражданский муж Анны Алексеевны Буткевич, у детей которого она в свое время была гувернанткой. Они в чем-то повторили треугольник Некрасова, Панаевой и Панаева: официальный супруг Анны Алексеевны Генрих Станиславович Буткевич, обладавший, несмотря на инвалидность, легким и отчасти даже легкомысленным характером, по-прежнему был своим в кругу друзей и родственников поэта, периодически гостил в Карабихе, стараясь, впрочем, не пересекаться там со своей женой. Письма Некрасова, адресованные Еракову, необычайно теплые и

одновременно легкие и шутливые, показывают, как легко было поэту с этим человеком. Такие отношения сохранились между ними до конца жизни Некрасова.

Одним из наиболее близких Некрасову людей, его постоянным собеседником и сотрапезником стал Василий Матвеевич Лазаревский, крупный цензурный чиновник и весьма незаурядная личность. Он разделял страсть Некрасова к охоте, но при этом имел ученую степень кандидата философии, интересовался диалектологией, изучал фольклор, этнографию, являлся автором «Полного малороссийского словаря», составил «Географический словарь», был сотрудником Владимира Ивановича Даля, работавшего над «Толковым словарем живого великорусского языка», написал несколько рассказов, повестей, романов, комедию, переводил Шекспира, Бомарше, французских новеллистов. Отношения с Лазаревским у Некрасова были, можно сказать, противоречивыми; впрочем, иными они и не могли быть у редактора оппозиционного журнала с членом Главного управления по делам печати, которому не раз приходилось участвовать в разборе дел, связанных с публикациями в «Отечественных записках». Лазаревский искренне любил Некрасова как поэта и как человека и, как мог, помогал ему, писал трогательные записки: «Христос с Вами, голубчик, обнимаю Вас, дорогой, хороший мой Николай Алексеевич. Целую ручки милых Ваших дам. Ваш весь В. Лазаревский»; «Постараюсь увидеть Кр[аевского] до отъезда. Да, не сладкие вещи, мой милый Николай Алексеевич, а нужно что-нибудь думать. Весь Ваш В. Лазаревский». Некрасов, в свою очередь, написал Лазаревскому массу записок, очень простых и фамильярных, с приглашениями на обед, ужин, охоту («Давно не видались. Не придете ли сегодня обедать в 5 ч[асов] к Огюсту — там увидите общих знакомых и поговорим» (10 сентября 1868 года); «Еду обедать к Еракову. Надеюсь, вечером там увидимся, а обратно двинемся по обыкновению вместе» (1868 год); «Уведомьте, отче, друже и брате, можете ли сегодня вечером в 8-мь прийти ко мне на полчаса, — нужно Елисееву и Салтыкову с Вами посоветоваться и мне отчасти» (15 сентября 1869 года); «Многомилейший Василий Матвеевич. У нас здесь (в Карабихе. — *М. М.)* отлично. Жаль, что Вы не можете приехать. Не попадете ли хотя на обратном пути, около 10-го—15 июля? Именно Вам как охотнику мог бы обещать здесь много удовольствия и удобства» (23 июня 1870 года). Не ограничиваясь светским общением, Некрасов мог интересоваться мнением приятеля о своих произведениях: «Я Вашему художественному чутью верю, и мне было приятно узнать Ваше мнение о моей новой поэме».

Конечно, неизбежна точка зрения, что Лазаревский был для Некрасова прежде всего цензором, которого он «прикармливал» и использовал для целей журнала, предлагая своего рода взятки. О чем-то подобном есть записи в очень подробном дневнике самого Лазаревского, который, конечно, это осознавал, но, видимо, готов был отнестись достаточно снисходительно: «17 декабря 1869. У Еракова мы играли с Салтыковым в пикет. Подле сидел Некрасов. Некрасов предложил мне ни с того, ни с сего:

— Хотите, Василий Матвеевич, я устрою у себя карточный вечер собственно для вас?

Я расхохотался:

— Что я за игрок!

— Ну, хотите играть со мной вообще в доле? Для чего и вручите мне 1000 рублей.

Я отвечал, что если он имеет в виду, чтобы я не был при этом в проигрыше, так я, разумеется, на это не согласен, рисковать же тысячью рублями не вправе и не могу. Он приставал ко мне раз пять-шесть с тем же предложением. Я отказал наотрез. Он затем уехал на игру.

— Что ему пришло в голову, — заметил я Салтыкову, — делать мне подобные предложения?

Замечательно, что Салтыков, вообще очень порядочный господин, заметил между прочим:

— Отчего это он мне никогда подобного не предложит. Я бы согласился».

Если у Некрасова было двойственное отношение к Лазаревскому, то со стороны Лазаревского наблюдалась настоящая влюбленность. Помощь он оказывал большую. Их дружеские отношения длились до сентября 1874 года и прервались под предлогом разногласий в охотничьих делах.

В число самых близких Некрасову людей входил Виктор Павлович Гаевский, в «застойные» пятидесятые годы помогавший издавать «Современник». В те времена он служил в Министерстве народного просвещения, но в 1862 году после доноса и обвинения в связях с Герценом был вынужден оставить пост. С 1866-го он был присяжным поверенным (адвокатом) Санкт-Петербургской судебной палаты, а позднее стал членом ее совета. В эпоху «Современника» Гаевский был полезен Некрасову своими связями — его отец был цензором, благодаря ему редакции удавалось заранее узнавать о планах страшного ведомства. В период «Отечественных записок» Гаевский снова сблизился с Некрасовым, постоянно участвовал в совместных обедах и ужинах. Он не только был приятным сотрапезником, но и оказывал юридические услуги, в частности, видимо, помог с

оформлением наследства Мейшен.

Наконец, еще одним постоянным участником совместных обедов и других развлечений был Алексей Михайлович Унковский, приятель Салтыкова. Юрист, известный деятель предреформенной эпохи, бесстрашный борец с чиновничьими злоупотреблениями, либеральный публицист, в октябре 1866 года он вступил в корпорацию санкт-петербургских присяжных поверенных. Унковский много занимался делами, имевшими общественный резонанс, всегда вставая на сторону общества против тех, кто покушался на его интересы. Некрасову он «достался» вместе с Салтыковым и заслужил его симпатию.

Таким образом, сложилась компания, чем-то напоминавшая ту, что образовалась вокруг «Современника» в «мрачное семилетие»: люди с либеральными благородными убеждениями, состоятельные, благожелательные, при этом не отказывавшие себе в небольших радостях жизни: они постоянно обедали и ужинали вместе, ходили на балет, посещали танцклассы, совершали прогулки в развлекательных садах, популярных тогда в столице. Всё это были люди умные, одаренные, достигшие успехов в своих областях, однако, видимо, не склонные к постоянной напряженной интеллектуальной жизни, как Белинский и его друзья, когда-то давшие Некрасову путевку в большую литературу и журналистику. Несомненно, они не любили долгие и горячие споры о Боге и социализме. В отличие от дружининской «веселой компании», между ними не было соперничества в литературной сфере, среди них не было столь же сложных и амбициозных личностей. Люди, окружавшие теперь Некрасова, по-настоящему его любили и в любой ситуации были готовы принять его сторону.

Единственным «слабым местом» Некрасова в 1868 году была поэзия. Критика, в том числе вполне дружественная или по крайней мере «нейтральная», неожиданно жестко отнеслась к его произведениям. Так, тот же Буренин, ранее вполне благосклонный к Некрасову, писал в «Санкт-Петербургских ведомостях»: ««Муза мести и печали», несмотря на некоторые отклонения и, так сказать, удивительные спотыкания на своем поэтическом поприще, доныне еще имеет в себе обаятельную силу, и на ее песнопения публика настраивается если не с жадностью, то с любопытством. В настоящее время любопытство публики к появившимся плодам вдохновения этой музы тем более было живо, что ее голоса не слышно было весьма долгое время… «муза мести и печали», к прискорбию всех ее многочисленных почитателей, обнаружила качества, доселе ей бывшие чуждыми, — вялость и пошловатость как стихов, так и мыслей…

Мы при всём нашем желании найти какое-либо серьезное сатирическое значение в «Притче о Киселе» доискаться его не могли… пьесы г. Некрасова не произвели никакого живого ощущения на нас, и их мелкость, вялость и пошловатость были замечены всеми, кто хотя немного обладает вкусом и пониманием поэзии. <…> Неужели автор «Коробейников» не имел в своем портфеле ничего более достойного своего таланта для возобновления поэтической деятельности после продолжительного перерыва?» В таком же духе писали и другие.

Некрасов уже давно стоял выше всякой критики, обычно к нему неблагосклонной, однако на этот раз, видимо, воспринимал ее достаточно серьезно. Теперь критика уже не отрицала некрасовскую поэзию как таковую, признавала его замечательным поэтом, но сравнивала нынешнего Некрасова с прежним — и не в пользу первого. Консервативный критик Николай Иванович Соловьев осмелился даже заявить в четвертом номере журнала «Всемирный труд»: «Г-н Некрасов, тот самый Некрасов, который волновал когда-то наши юношеские головы, является теперь каким-то литературным покойником».

Действительно, продукция, вышедшая из-под пера Некрасова в 1868 году, кажется либо мелковатой («Притча о «Киселе»), либо чисто литературной и к тому же неправдивой (критики, писавшие о вырезанной из первого номера «Отечественных записок» «современной повести» «Суд», в один голос утверждали, что Некрасов неточно описал гауптвахту), либо обращенной в прошлое, по большому счету никому уже не интересное («Медвежья охота»). Загадочное стихотворение «Выбор» о девушке, выбирающей способ самоубийства и беседующей по этому поводу со сказочными фольклорными персонажами, вызывающее у современных исследователей пристальный интерес как возможная аллегория состояния души самого Некрасова, не произвело впечатления оригинальности и подлинной народности и выглядело подражанием «Морозу, Красному носу». О работе над поэмой «Кому на Руси жить хорошо» критика не знала; ее пролог, уже довольно давно появившийся в печати, на первый взгляд не обещал ничего значительного, а лишь еще одну поэму из шести глав (по числу предполагаемых «счастливцев»).

Некрасов как будто утратил остроту зрения, связь с современностью, ту подлинную «злободневность», которая делала его первым и единственным поэтом для новых людей, по-настоящему в этом смысле новым поэтом, а не пародийным персонажем Панаева. Он как будто начал превращаться в поэта «старого», уже знакомого и явно малоинтересного не только критике, но и молодому поколению, которое история недавно

скончавшегося и крайне несимпатичного директора Императорских театров Сабурова, рассказанная эзоповым языком, легшая в основу «Притчи о «Киселе», так же мало волновала, как и ставшая сюжетной основой поэмы «Суд» история поэта и издателя, по решению суда проведшего несколько дней на гауптвахте. Возникает ощущение, что Некрасов, в предыдущем году погрузившись в борьбу за журнал, за возвращение в российский журнальный мир, отчасти утратил связь с жизнью, протекавшей за пределами литературы.

Воссоздание «Современника» в виде новых «Отечественных записок», с одной стороны, было огромной победой Некрасова, с другой — несло риск отстать от времени, воспроизвести нечто устаревшее, не отражающее современные веяния. Несмотря на то что со времени закрытия «Современника» до начала издания новых «Отечественных записок» прошло всего полтора года, многое изменилось. В том широком потоке, в русле которого находились некрасовские издания, возникло новое течение, пока еще в основном теоретическое, но постепенно захватывавшее умы радикально настроенной молодежи, которое позднее получило у историков название народничества. Одним из «столпов» его стал довольно много анонимно печатавшийся в новых «Отечественных записках» П. Л. Лавров, который, однако, свой наиболее важный труд «Исторические письма», ставший одной из «священных книг» народничества, публиковал на протяжении 1868–1869 годов в газете «Неделя». Затем к нему присоединились Петр Никитич Ткачев, Василий Васильевич Берви-Флеровский — автор книг «Положение рабочего класса в России» (1869) и «Азбука социальных наук» (1871).

Народническое учение во многом сохраняло преемственность по отношению к радикализму первой половины 1860-х годов, политическим, экономическим и философским взглядам Чернышевского, Добролюбова и Писарева, переакцентировав их и сформировав достаточно «каноническую» доктрину, в основу которой легло понятие «цена прогресса». О том, в чем заключается прогресс, шли теоретические споры между вождями народников, но все сходились на том, что ценой прогресса являются труд и страдания простого народа, а плоды его пожинает образованное меньшинство, которое тем самым имеет «долг перед народом» и должно стремиться вернуть его. В отношении самого народа новые интеллектуальные лидеры революционной молодежи сходились на выдвинутых еще в начале 1850-х годов Герценом идеях, что русский народ — природный социалист, а ячейкой социализма, существующей уже сейчас, является община. Необходимо укреплять общину, оберегать ее от

разрушения, приводящего к массовому обнищанию крестьянства и появлению пролетариата — неимущей части населения, лишенной земли и вынужденной, чтобы избежать голодной смерти, продавать свои рабочие руки капиталистам на фабриках и в кулацких хозяйствах. В конечном счете было бы хорошо подчинить весь государственный строй России общинным принципам.

Эти идеи, формировавшиеся в первые годы существования новых «Отечественных записок», вызывали разные отклики у членов редакции. Сочувственное, но одновременно и критическое отношение к народникам было у Салтыкова. Елисеев поддерживал наиболее умеренную часть народников и в результате стал инициатором приглашения в журнал в качестве постоянного сотрудника Николая Константиновича Михайловского, начинающего критика и публициста, чьи взгляды с самого начала приняли отчетливо народническую ориентацию. В 1868 году Михайловский публиковал в «Отечественных записках» только небольшие рецензии, а с февральского номера 1869-го там начинает печататься его большая программная статья «Что такое прогресс?», также вошедшая в «канон» основополагающих народнических трудов. Михайловский постепенно становился ведущим критиком журнала, новым Чернышевским в глазах молодых читателей. Судя по всему, Некрасов достаточно быстро оценил нового члена редакции. В июле 1869 года он писал Краевскому: «Есть у нас сотрудник Н. Михайловский; теперь ясно, что это самый даровитый человек из новых, и ему, без сомнения, предстоит хорошая будущность». Оценка выглядит более умеренной, чем та, которую дал своему протеже Елисеев, назвав его надеждой русской литературы; но в эти годы Некрасов вообще был скуп на комплименты литераторам. Именно Михайловский вместе с Щедриным и в меньшей степени Елисеевым будет определять лицо журнала все оставшиеся годы его существования.

Михайловский, воспитанный на идеях Чернышевского, пытавшийся создать переплетную мастерскую по образцу мастерской героини «Что делать?» Веры Павловны, аскет с нарочито простыми привычками, по-разночински щепетильный и усвоивший типичные для своего поколения требования соответствия слова и дела, принадлежал к тому же миру, что и бывшая и нынешняя некрасовские «консистории». Он признавался, что был страшно поражен и даже оскорблен «муравьевской одой» и потому неохотно пошел сотрудничать в некрасовское издание: «Мне, горячему почитателю поэта, самому случалось слышать злорадные возгласы: «Ну, что ваш Некрасов?

Хорош?!» Нехорош, конечно, но как же горько и обидно было признать это… Оскорбление, нанесенное моей юной душе Некрасовым, было слишком велико, и немудрено, что я упирался идти в «Отечественные записки». Отношения с ним не приняли такого характера, какой был у Некрасова с Чернышевским и тем более с Добролюбовым. Сам Михайловский признавал: «Странно сказать, но из всех трех стариков редакции я был, что называется, «знаком» только с Елисеевым, и это за всё время существования «Отечественных записок». Приходилось, разумеется, очень часто видаться и с Некрасовым, и с Салтыковым, но, за весьма редкими исключениями, это были свидания по делу. Склад жизни Некрасова так же резко отличался от склада жизни Салтыкова, как и сами они резко разнились друг от друга. Но для меня и с тем и с другим одинаково невозможны были товарищеские, приятельские отношения, внешним образом выражающиеся тем, что люди друг к другу ходят чайку попить, поболтать и т. п. <… > Без дела я бывал у Салтыкова только во время его болезни. Еще меньше житейских точек соприкосновения было у меня с Некрасовым, который жил барином, имел обширный круг разнообразных и нисколько для меня не занимательных знакомств, шибко играл в карты, устраивал себе грандиозные охотничьи предприятия, а я, не говоря о прочем, не беру карт в руки и терпеть не могу охоты. С Елисеевым же у меня было много общего в привычках и образе жизни, да и просто как-то по душе мы друг другу пришлись. <…> В начале семидесятых годов в Петербурге существовало какое-то гастрономическое общество. Оно устраивало обеды, куда знатоки гастрономического дела, люди, конечно, богатые и избалованные, а также известные столичные рестораторы поставляли — кто одно блюдо из своей кухни, кто другое, кто одно вино из своего погреба, кто другое. Всё это серьезнейшим образом смаковалось и сообща обсуживалось; ставились даже баллы за кушанья и вина. Бывал на этих обедах и Некрасов. И не только сам бывал, а и других тащил, между прочим, и меня, который, вероятно, по своему гастрономическому невежеству, не мог видеть в этом учреждении ничего, кроме до уродливости странной формы разврата. Когда я выразил Некрасову свое мнение на этот счет, он со мной согласился, но привел три резона, по которым он на эти обеды ходит: во-первых, там можно действительно вкусно поесть; во-вторых, литератору нужно знать и те сферы, в которых такими делами занимаются; в-третьих, это один из способов поддерживать знакомство с разными нужными людьми. В гастрономическое общество я не попал, но в балет меня однажды Некрасов затащил-таки, и это единственный раз в жизни, что я

был в балете. Боюсь, что читатель заподозрит меня по этому поводу в похвальбе тем, что французы называют pruderie[34]. Отнюдь нет, не в суровой добродетели тут дело, а просто в том, что условные, размеренные движения танцовщиц и танцовщиков показались мне некрасивыми и невыносимо скучными. Но речь не обо мне, а о Некрасове. Балет привлекал его теми же тремя сторонами: это красиво, это надо знать, это почва для сближения с нужными людьми. Если кто вздумает придраться к этому расположению аргументов, к тому, что на первом плане стоят вкусная еда и красота балета, то это будет тщетная придирка. Я отнюдь не уверен, что Некрасов располагал свои три резона именно в таком порядке. Он, впрочем, никогда не прикидывался презирающим «минутные блага жизни».

Видимо, и Некрасов обращался с Михайловским более сухо и деловито, чем в свое время с Чернышевским и даже Антоновичем. Судя по воспоминаниям нового сотрудника, это задевало и огорчало его:

«На беду, весной 1870 года мне понадобились экстренные средства на отправку одного близкого мне больного человека за границу. Я изложил Некрасову исключительность обстоятельств, но он очень сухо отказал в деньгах, указав на мой долг. Я понимал, что он прав, но всё-таки с горьким и обидным чувством вернулся домой, а тут еще надо было статью дописывать. Дописал, сдал в редакцию и уехал на несколько дней из Петербурга искать денег, потому что состоятельных знакомых у меня в Петербурге не было. Однако и поездка оказалась неудачною. Вернувшись и раздумывая, как быть, получаю от Некрасова пригласительную записку. Застаю его за корректурой моей статьи. Он заговорил со мной тем же сухим, деловым, сумрачным тоном, но уже другими словами: «Вы просили денег, сколько вам надо?» — «Столько-то». — «Так я вам дам записку в контору, вы нам человек нужный». Хотя слова эти выводили меня из трудного положения, в благополучном выходе из которого я уже отчаялся, они всё-таки оставили во мне тяжелое впечатление. Опять-таки Некрасов был несомненно прав: если б я не был нужен журналу, так незачем мне и льготы оказывать, а коли нужен, так надо обратить внимание. Но как-то уж очень это жестко и обнаженно вышло…»

Тем не менее Михайловский стал чрезвычайно высоко ценить Некрасова не только как редактора, но и как человека и в своих суждениях о нем приблизился к взгляду Чернышевского: «Некрасов был человек вполне убежденный, то есть искренно верил в справедливость тех принципов, которые исповедовал в своей поэтической и журнальной деятельности. Подробности

идей, развиваемых в его журналах, а иной раз даже самые идеи могли быть ему в том или другом случае чужды, вследствие пробелов в его образовании, которое он, рано брошенный в водоворот практической жизни, никогда не успел пополнить. Но не говоря уже о том, что в практических вопросах, обсуждавшихся в его журналах, он ориентировался превосходно, потому что знал науку жизни, редкий ум и редкое чутье делали его отнюдь не чужим и относительно чисто теоретических вопросов. Он и здесь понимал или чуял добро и зло с точки зрения своих общих убеждений, потому что сидели они в нем крепко».

Некрасов не стремился вникать в тонкости разногласий между разными ветвями народничества, но он увидел в народниках новое историческое воплощение тех же идей, в которые уверовал в юности, и поручил представителям этих новых «новых людей» и сочувствовавших им «просто новых» определение направления «Отечественных записок». Несомненно, Некрасову импонировала и идеализация народа, к которой постепенно пришли народники. Эта идеализация означала не столько утверждение полного отсутствия у народа каких-либо недостатков, сколько признание, что во всех этих недостатках (пьянстве, невежестве, грубости нравов и пр.) виноват не народ, по сути добрый и справедливый, а условия его жизни. Эта идеализация уже произошла в стихах Некрасова, подобных «Орине, матери солдатской», «Зеленому шуму», «Что думает старуха…» и «Железной дороге», которые оказались так же близки народникам, как революционерам-«шестидесятникам».

Год, когда «Отечественные записки» обрели собственную современную идейную платформу и место в народнических дискуссиях, снова оказался для Некрасова трудным. Прежние сотрудники «Современника» Антонович и Жуковский, с которыми не удалось договориться при формировании новой редакции «Отечественных записок», не собирались терять свое положение в российской журналистике. Не сумев устроить издание «Отечественных записок» на артельных началах, они возглавили научно-популярный журнал «Космос», издававшийся Леонидом Николаевичем Симоновым, где начали кампанию по «разоблачению» Некрасова как издателя, поэта и человека. После ряда статей в «Космосе» апофеозом этой кампании стала выпущенная Жуковским и Антоновичем в начале марта 1869 года брошюра «Материалы для характеристики современной русской литературы. Литературное объяснение с Н. А. Некрасовым»: авторы предавали гласности свои отношения с бывшим патроном, приписывая отказ принять их предложение о совместном владении журналом его кулаческим и спекулянтским чертам.

Некрасова обвиняли в том, что на протяжении всей своей издательско-редакторской деятельности он присваивал доходы, создаваемые не им, а его сотрудниками. К этому добавлялись обвинения в ренегатстве, в лицемерии, в переходе на сторону либеральной партии. Брошюра содержала уничижительный разбор некрасовского творчества, обнародовала частные разговоры и устные договоренности.

Реакция Некрасова на выступление его бывших «товарищей по журналу» была неоднозначной. Благодаря дружбе с Лазаревским, получившим брошюру на цензурирование, поэт ознакомился с ней еще в верстке и, поблагодарив, написал лаконично: «Кстати, я и прочел, и в ужас не пришел!» — то есть поначалу отнесся вполне хладнокровно. Однако реакция Некрасова на выход брошюры была, по воспоминаниям Михайловского, более острой: «…Придя в ближайший редакционный день в редакцию, я застал там переполох. Салтыков рвал и метал, направляя по адресу авторов брошюры совершенно нецензурные эпитеты. Елисеев сидел молча, поглаживая правою рукой левый ус (его обыкновенный жест в задумчивости), и думал, очевидно, невеселую думу. Я знаю теперь эту думу: он ничего подобного не ожидал, если не от г. Жуковского, то от г. Антоновича, и был тем более оскорблен в своих лучших чувствах, что имел о Некрасове свое особое мнение. Сам Некрасов произвел на меня истинно удручающее впечатление, и я, пользуясь тем, что не был еще тогда членом редакции и, значит, не обязан был сидеть в ней, скоро ушел. Тяжело было смотреть на этого человека. Он прямо-таки заболел, и, как теперь, вижу его вдруг осунувшуюся, точно постаревшую фигуру в халате. Но самое поразительное состояло в том, что он, как-то странно заикаясь и запинаясь, пробовал что-то объяснить, что-то возразить на обвинения брошюры и не мог: не то он признавал справедливость обвинений и каялся, не то имел многое возразить, но, по закоренелой привычке таить всё в себе, не умел».

Конечно, ни о каком раскаянии Некрасова речи быть не могло. Скорее он испытал обиду и отвращение. «Отечественные записки» ответили на брошюру двумя рецензиями. Салтыков едко спрашивал, почему, с точки зрения авторов, справедливо было бы делить доходы именно между ними и Некрасовым, а не, например, между Некрасовым и другими сотрудниками, чем вызвал ярость у Антоновича и Жуковского, грозивших разоблачить и самого Салтыкова, предав гласности его ошибку, приведшую к аресту Обручева. Елисеев несколько более снисходительно отнесся к бывшим коллегам. Согласившись, что

декларируемые артельные принципы являются идеалом отношений в журналах, он, однако, недоумевал, почему именно Некрасов должен был стать таким идеальным издателем, который отказался бы от своих доходов ради удовольствия ближнего.

Скандальная выходка бывших сотрудников Некрасова, произведенная, естественно, из благородных побуждений и заботы о «нравственном достоинстве русской литературы», не поколебала его репутацию. Даже у органов печати, враждебных «Отечественным запискам», вызывало удовольствие не столько разоблачение Некрасова, сколько сам скандал, представлявший ее авторов и весь лагерь «нигилистов» в крайне негативном свете. Дежурно высказались циничный Писемский и до конца несправедливый и пристрастный Герцен. В «Искре» анонимный автор фельетона «Господа, потише!» ехидно констатировал: «Гг. Антонович и Жуковский своею книжкою поставили себя в положение поврежденных, утративших способность говорить о чем бы то ни было, кроме как о скверненьких ранках, причиненных маленькими уколами их крошечному самолюбьицу». «Вечерняя газета» в фельетоне «Большие брани» писала: «Всякий мало-мальски порядочный человек видел в пасквиле гг. Антоновича и Жуковского самую оскорбительную непорядочность». Даже воронежская газета «Дон» сочла нужным осудить скандал, затеянный бывшими членами редакции «Современника». Николай Николаевич Страхов, в третьем номере славянофильского журнала «Заря» выразивший нечто вроде удовольствия от начавшегося конфликта, под влиянием резкой критики «Нового времени» был вынужден смягчить свою позицию и уже в девятом номере предлагал судить Некрасова по его стихам, а не по скандальным выходкам бывших сотрудников. Неизвестный Некрасову студент Иван Александрович Рождественский 19 апреля, через месяц после выхода в свет книжки Антоновича и Жуковского, в той же типографии напечатал за свой счет брошюру «Литературное падение гг. Антоновича и Жуковского. (Дополнение к Материалам для характеристики современной русской литературы)», где защищал Некрасова от нападок и, в свою очередь, нападал на его критиков за мелочные и несвоевременные обвинения, вредящие общему делу.

В общем, Антонович и Жуковский, выступая против Некрасова, переоценили и свой публицистический талант, и свое влияние, и свой авторитет, оказавшийся намного ниже авторитета любимого публикой поэта. Для публицистов, литературный стаж которых не исчислялся и десятью годами, а достижения в создании какого-либо печатного органа просто

отсутствовали, крайне самонадеянно было атаковать Некрасова, 20 лет тянувшего на себе оппозиционный журнал, в котором печатались Белинский, Чернышевский, Добролюбов, Тургенев, Гончаров, Толстой. (Неудивительно, что для Жуковского и Антоновича этот скандал обернулся концом литературной карьеры.)

Существенно сильнее задело Некрасова другое выступление, по времени почти совпавшее с выходом брошюры Антоновича и Жуковского. В четвертом номере журнала «Вестник Европы» были опубликованы «Воспоминания о Белинском» Тургенева, в которых предана гласности история с началом «Современника» и «отстранением» Белинского от доходов, при этом напечатаны те фрагменты адресованных автору писем, в которых критик очень резко высказывается о Некрасове. Эта болезненная история, ранее известная немногим, теперь стала достоянием широкой публики («Вестник Европы», который совсем недавно начал издавать Михаил Матвеевич Стасюлевич, к тому времени был уже очень популярен). Тургеневский мемуар не вызвал большого резонанса; тем не менее Некрасов был задет. Не чувствовавший никакой нужды «оправдываться» перед Жуковским и Антоновичем, в этом случае поэт четыре раза приступал к объяснению своих отношений с Белинским в письме Салтыкову, так и оставшемся неотправленным. Но и по этому поводу у Некрасова неожиданно нашлись заступники: в 187-м и 188-м номерах «Санкт-Петербургских новостей» было напечатано большое письмо Белинского Боткину, в котором великий критик высказывался об отношениях с Некрасовым скорее с благодарностью, защищая его от обвинений членов кружка. Антонович и Жуковский сочли необходимым ввязаться в мало их касающееся обсуждение — опубликовали в «Космосе» статью, в которой отказались «реабилитировать» Некрасова. Это было едва ли не последнее их выступление в печати: «Космос» разорился и закрылся, других изданий, готовых принять их в сотрудники, не нашлось.

Впрочем, все эти журнальные битвы проходили в отсутствие Некрасова. В начале апреля он снова надолго уехал за границу лечиться от расстройства нервов и болей в желудке. Он посетил сначала Берлин, затем Висбаден, Париж, Интерлакен, Соден, Киссинген, Париж, Дьеп, снова Париж. Сопровождали Некрасова доктор Сезеневский и сестра Анна Алексеевна Буткевич. Конечно, до него доходили известия о постепенно утихающем скандале — об этом, в частности, его подробно информировал Салтыков, надеясь, что Некрасов предложит какой-нибудь «план противодействия», и одновременно утверждая, что всё это «гнусные пустяки».

Лазаревский посылал трогательные письма, напоминающие те, что когда-то отправлял Некрасову за границу Чернышевский, хотя, конечно, существенно более сдержанные. В ответ на жалобу Некрасова на расстройство нервов Лазаревский писал: «Чуется мне, что Вам взаправду больно. Что тут миндальничать! У чуткого, искреннего сердца тревоги неисходные. Их не вынешь или многое вынешь с ними. По плечам и крест на человека. Тут и поминки прошлого, и великие чаяния идущего, а Вам есть на что оглянуться, есть во что заглядывать». Посылая брошюру Рождественского, Лазаревский снова ободрял приятеля: «Крепко обнимаю и целую Вас, милый Николай Алексеевич, и еще раз целую. Три пакета посылаю Вам. Долго думал над ними. Думалось так, что грешно преследовать Вас даже там дребеденью; думалось и то, что после олимпийского свинства Вам не неприятно будет услышать чистое молодое слово. Говорят, что эту брошюру печатали на студенческие гроши». Некрасов ответил: «Спасибо и за доброе слово, и за вырезки из брошюры. Она, видимо, умно и бойко написана, но мне не это важно, а то дорого, что я увидел, что у меня есть друзья». «Я потому и посылал Вам, дорогой Николай Алексеевич, вырезки, чтоб Вы видели, что у Вас много друзей, а друзья люди честные. Смятение вообще затихает. «Космос» (в прибавлении) еще ругнул недавно, толкуя про тургеневскую статью о Белинском», — тут же откликнулся Лазаревский.

Но жизнь не исчерпывалась скандалом с Антоновичем и Тургеневым. Некрасову писали сотрудники, требуя его советов и решений по делам «Отечественных записок». Елисеев просил прибавить оплату Михайловскому, и Некрасов тут же переадресовал его просьбу Краевскому. Другие сотрудники жаловались на Краевского, который не был столь же щедрым, как Некрасов, и постоянно напоминал авторам о их долгах журналу. В Париже Некрасов встретился с эмигрировавшим бывшим сотрудником «Русского слова» Варфоломеем Зайцевым и заказал ему статью о современной французской политике (Зайцев писал жене, что Некрасов «был очень любезен»).

Но в основном Некрасов за границей отдыхал и лечился: пил «воды». 17 (29) мая он писал Лазаревскому из швейцарского Интерлакена: «Живем мы в полной праздности и беспечности. Вчера влезали на какую-то вечернюю гору, откуда хороший вид (завтрак тоже там недурен), сегодня болят ноги, завтра полезем на другую. Правда, что шалберничать как-то совестно — это чувство меня всегда посещает в праздности, но зато здорово и спокойно. Петербургские дрязги и в голову не приходят. Писать еще не пробовал, да и не знаю, буду ли. Тревожить нервы —

жаль». Еще более «легкомысленно» звучит отправленное оттуда же письмо Еракову: «Затем всё у нас благополучно. Запонки, подозрение в похищении которых, признаемся, падало на многих, нашлись в грязном белье. — Открыто нами *два ангела,* один в Париже в Палерояльском театре, в пьесе «Гаво, Минар и К⁰», M-lle Block, молода, наивна и прелестна до совершенства, привезем карточку, 2-ая в Интерлакене, англичанка, поет, играет на пьяно и глядит, особенно левым глазом, очень ласково; лет 27-ми, белокура, красоты удивительной и ростом много выше Селины; между нашими дамами возник вопрос — не подкладная ли у нее грудь. Признаемся, нам ужасно желательно разрешить этот вопрос ясно до осязательности. Лазали вчера на гору — и сегодня болят ноги… Да! кстати об ангелах. Мы завтракали с Ледой — очень она мила и распределяла нам блюда и поцелуи с самой добросовестной правильностью. Однако тем дело и кончилось». Приходилось терпеть курортную скуку: «Сегодня 12-ый день, как мы пьем воду, скучаем, голодаем, вина не дают, досыта наесться не позволяют, да и нечем, подымают в 6 ч[асов] утра, укладывают спать в 9-ть».

В Париже Некрасов повидал Селину Лефрен, с которой, хоть и редко, продолжал переписываться. Судя по всему, они хорошо провели время. Об этом Некрасов 17 (29) июля писал сестре: «Попали в Париж в полдень, в четверг. Селину нашли в добром виде. Сегодня странствовали (в экипаже) с нею в Сен-Жермен, там обедали и возвратились довольно поздно, усталые. Едем отсюда в понедельник в Диепп».

В Дьепе, ближайшем к Парижу морском курорте, Некрасов впервые в жизни купался в море и пришел в восторг. Он писал Краевскому 28 июля (9 августа): «Я уже шесть раз купался в море, и, кажется, мне это не во вред. Но независимо от пользы скажу Вам, многоуважаемый Андрей Александрович, что это поистине великое наслаждение; самый акт погружения грешного тела в волны морские — невыразимо приятен, а последствия — крепчайший сон, гомерический аппетит, хорошее расположение духа, явное приращение физических сил, столь полезное во многих отношениях, — всё это такие вещи, ради которых стоит покинуть на месяц очаровательный Санкт-Петербург. Примите это к сведению. Я не преувеличиваю. И жить здесь довольно весело, да и Париж под боком *(3 1/2 часа).* Для меня море имеет еще ту особенность, что побуждает меня складывать гекзаметры, к которым я доныне не чувствовал ни малого влечения. Уж хорошо ли это — не знаю. Море будет виновато!» О том же он сообщил сестре из того же Дьепа: «Купанье в море мне решительно полезно, я здоров и недурно себя чувствую вообще. Надо тебе

сказать, что здесь постоянный ветер и холод, но это не беда — в море так и тянет человека; решительно это купанье — занятие богов». Однако вскоре после таких расслабленных и жизнерадостных писем Некрасов впервые за долгое время пожаловался Лазаревскому на посетившую его хандру (понятно, что, пока он вел борьбу за журнал, а затем обустраивал его, было не до хандры). Лазаревский неправильно связал это состояние с неприятностями из-за Антоновича и Тургенева.

В это время едва ли не впервые после переписки с Толстым в письмах Некрасова снова появляется рефлексия: не будучи занят срочными делами и творчеством, он решился поговорить о себе с настоящими друзьями, близкими и понимающими людьми. Так, в письме от 21 июня (3 июля) из Зодена в ответ на высказанное А. Н. Ераковым намерение выйти в отставку Некрасов дал совет, в котором явно отразился его собственный жизненный опыт: «Если в самом деле бросишь службу, то пиши свои записки, купно с исто-риею железных дорог в России — хорошая будет книга. — Насчет отставки скажу два слова: если здоровье требует Карлсбада — и другого средства нет, то, конечно, следует всё бросить; а то держись и крепись, покуда дела требуют служения, хотя бы индифферентного. Смеется тот, кто смеется последний… бывают такие обстоятельства, где нужно самолюбие свое до времени придержать на веревочке. Извини, если позволил себе коснуться этих дел. Вперед не буду, если не хочешь!» И после того, как Ераков написал ему о своем отвращении к службе, которая «не терпит ни правды, ни откровения, зато требует безграничного угождения начальству», Некрасов согласился: «Если нашел, что так лучше, то значит, нечего и говорить. Всё, что ты говоришь о службе, я хорошо понимаю, хотя и не служил, а может быть, оттого и не служил».

Неожиданно звучали размышления в письме Лазаревскому от 29 июля (10 августа) из Дьепа: «Если так пойдет, то в сердце моем поставлю памятник морю! Я к нему шел с боязнью — и надеждой! Мне уж лет пятнадцать все говорят: хорошо бы вам купаться в море, да вы вряд ли выдержите его! И теперь я особенно доволен, потому что я о себе был всегда такого мнения, что всё могу выдержать. Из сего можете усмотреть, как мало было у человека самолюбия, но надо быть самоуверенным до тупости, иначе ничего на этом свете не сделаешь. Я это сознаю теперь, когда начинаю терять это милое качество. Жаль, что нет у меня детей, я бы их так воспитал, что не испугались бы никакой стихии! Гордость и самоуверенность даже при глупости ничего, а при уме это прибавка трех четвертей силы. Русские люди до нищеты бедны этими качествами».

Возможно, что в поездке Некрасов пережил новую страсть. Подтверждение тому — отчасти загадочное и рефлективное письмо сестре Анне от 13 (26) августа из Дьепа, рисующее это чувство как бурное и неожиданно сильное, какое-то юношеское, которое, он считал, в его возрасте уже не пристало испытывать:

«Вся тварь разумная скучает, но хорошо, коли к скуке не примешивается еще разная дрянь. Человеку не легче, что он иногда сам себе создает беду и сознает свою глупость, — я отчасти находился в таком положении, а теперь, кажется, отошло или понемногу отходит. Я привык заставлять себя поступать по разуму, очень люблю свободу — всякую и в том числе сердечную, да горе в том, что по натуре я злосчастный Сердечкин. Прежде всё сходило с рук (и с сердца) как-то легче, а теперь трудновато приходится иной раз. Пора иная, старость подходит, надо брать предосторожности даже против самого себя, а то, пожалуй, так завязнешь, что не выскочишь.

В 1-х числах сентября н[ового] с[тиля] буду в России, что потом будет, хорошенько не знаю; я тебе напишу. В Ментоне понюхай, чем пахнет, а там увидим. Вот что, душа моя, я бы мог эту зиму просидеть в Ницце, есть очень хорошая сторона тут, но есть и дурная: ненавижу кабальное состояние, как бы оно приятно ни было. Ну и не знаю покуда, а как пробуду две-три недели в Петербурге, то увижу ясно и напишу тебе. Если удержусь, то и тебя буду звать в Петербург, поселись у меня, и, я думаю, проведем зиму недурно. Мне кажется, тебе надо приниматься за работу. Начинай переводить с французского для «От[ечественных] зап[исок]» — этой работы я могу тебе доставлять сколько угодно. Работа тем хороша, что оставляет человеку меньше времени возиться с собою. — За границей в бездействии, частию невольном, я дошел черт знает до чего, возясь с собою. Не умею говорить, пока не выживу какого-нибудь состояния и оно не станет для меня прошедшим, а со временем непременно расскажу тебе много достойного и смеху, и сокрушения».

Как видно из следующего письма, разум всё-таки взял верх над чувством: «Здоровье мое недурно, нервы немного крепче, хотя к расстройству их приняты были меры радикальные, как ты знаешь. Человеку на роду написано делать глупости, это несомненно; лишь бы полегче с рук сходило, но надо быть или более сильным, или более слабым, чем та фигура, которую я собою представляю, а то, право, тяжело иногда. Впрочем, всё это скоро сделается прошедшим. Так как мне в это время было иногда хорошо, то, значит, жаловаться не на что. Уехать теперь очень желаю, хотя не Петербург меня влечет, а шататься надоело,

да и глуповатое положение чаще и чаще напоминает себя с противной стороны». Исследователи традиционно полагают, что речь в этих письмах идет о Селине Лефрен, однако их тон и содержание не соответствуют ровному и спокойному характеру отношений между Некрасовым и его старой подругой. Скорее имело место какое-то случайное знакомство, едва не перешедшее опасную границу. Что это была за женщина, которая вызывала в Некрасове столь бурные чувства, неизвестно. По содержанию письма можно предположить только, что она была как-то связана с Ниццей.

Вернулся в Россию Некрасов в двадцатых числах августа и сразу погрузился в литературную жизнь. Как часто бывало, встреча с отечеством была шокирующей. Некрасов жаловался на Петербург — на «адские обеды», «петербургские мостовую и людей»; на Киссинген, который сыграл с ним злую шутку, не вылечив, но только избаловав; на боли в желудке, возможно, являвшиеся первыми предвестниками смертельной болезни. Но, как обычно, первый шок прошел, жизнь и самочувствие пришли в относительную норму. Возможно, зимой Некрасов снова ненадолго сошелся с Мейшен; точных сведений об этом нет, но есть смутные намеки в письме Некрасова сестре Анне о желании найти «друга» на зиму, который согревал бы его в петербургском холоде. В череде событий конца года можно выделить только одно — кончину 10 октября бывшего приятеля Василия Петровича Боткина. Некрасов присутствовал на выносе тела и панихиде и был приглашен на устроенный в память Боткина концерт, который этот тяжело умиравший эстет (он уже не мог есть, но всё равно получал изысканные обеды из Английского клуба) успел заказать накануне кончины. Конечно, никаких приятельских чувств к Боткину у Некрасова уже давно не было, и в тот же день он устроил собрание редакции «Отечественных записок», а потом обедал в постоянной компании.

В творческом отношении год оказался бесплодным — Некрасов действительно отдыхал от литературы. Только в начале года были напечатаны в «Отечественных записках» первые главы «Кому на Руси жить хорошо» — «Поп», «Сельская ярмонка» и «Пьяная ночь» — и пролог, уже публиковавшийся в «Современнике» три года назад: Некрасов решил напомнить его публике и создать ощущение единства всех частей. Фрагменты, получившие прохладные рецензии, были только началом огромного труда. Уже по этим главам можно видеть, как полотно поэмы расширялось, перерастая те, казалось бы, четкие сюжетные и композиционные рамки, которые задавал пролог. С одной стороны, в первой же главе появляется первый кандидат в

«счастливые» — поп. С другой — уже во второй главе странники, отправляясь на «сельскую ярмонку», отклоняются от намеченного маршрута, а вместе с ними и повествование сворачивает в сторону, избирает существенно более долгую и трудную дорогу к отодвигавшемуся финалу.

В ПЛЕНУ У ПРОШЛОГО

1870 год начался новым заочным конфликтом с Тургеневым, который никак не мог успокоиться и после нападок на Некрасова-человека решил обрушиться на его творчество и публично уничижительно высказался о некрасовской поэзии. Раньше она вызывала у Тургенева симпатию или как минимум интерес. Защищая от критики в «Отечественных записках» своего хорошего приятеля Я. П. Полонского, чьи стихи он высоко ценил, Тургенев счел нужным публично заявить в восьмом номере газеты «Санкт-Петербургские новости», что «любители русской словесности будут еще перечитывать лучшие стихотворения Полонского, когда самое имя г. Некрасова покроется забвением», поскольку в «белыми нитками сшитых, всякими пряностями приправленных, мучительно высиженных измышлениях «скорбной» музы г. Некрасова — ее-то, поэзии-то, и нет ни гроша». Тем самым Тургенев присоединился к чрезвычайно широкому кругу «экспертов», не любивших творчество Некрасова, до которых поэту давно уже не было никакого дела. Нет смысла обсуждать мотивы, по которым Некрасов стал одной из мишеней «бывшего литератора», объявившего «поход» против новой России. Удивительно, что эта выходка вызвала отповедь самого «обиженного» Полонского. В частном письме непрошеному заступнику Полонский выразил сомнение в корректности такого выступления с учетом широко известных неприязненных личных отношений двух литераторов, которое может быть воспринято как сведение счетов. В письме Некрасову Полонский, посылая ему только что вышедший трехтомник своих стихотворений, также выразил огорчение по поводу «несправедливости», допущенной Тургеневым. Тургенев оказался в странном положении, но убеждал приятеля не бояться, что о нем плохо подумают: Некрасов «всегда думает скверное — такова уж его натура».

В январе в Париже скончался Герцен — еще один бывший знакомый и единомышленник, когда-то одним из первых в кругу Белинского признавший стихи Некрасова и в отличие от Тургенева никогда не отрицавший их высоких поэтических достоинств. До конца жизни, также постепенно превращаясь в «бывшего» литератора и публициста, он продолжал в частных письмах и разговорах обличать Некрасова, радоваться любым задевающим его публикациям и компрометирующим его слухам, так и не простив ему «огаревского дела», будучи безоговорочно уверен во вдохновляющем участии Некрасова в нем. В России смерть его не вызвала широкого резонанса — «Колокол» давно не

выходил. Некрасов, по предположению Корнея Ивановича Чуковского, откликнулся на смерть властителя дум нескольких поколений русских людей в стихотворении «Сыны «народного бича»…:

Сыны «народного бича»,
С тех пор как мы себя сознали,
Жизнь как изгнанники влача,
По свету долго мы блуждали;
Не раз горючею слезой
И потом оросив дорогу,
На рубеже земли родной
Мы робко становили ногу;
Уж виден был домашний кров,
Мы сладкий отдых предвкушали,
Но снова нас грехи отцов
От милых мест нещадно гнали,
И зарыдав, мы дале шли
В пыли, в крови; скитались годы
И дань посильную несли
С надеждой на алтарь свободы.
И вот настал желанный час,
Свободу громко возвестивший,
И показалось нам, что с нас
Проклятье снял народ оживший;
И мы на родину пришли,
Где был весь род наш ненавидим,
Но там всё то же мы нашли —
Как прежде, мрак и голод видим.
Смутясь, потупили мы взор —
«Нет! час не пробил примиренья!» —
И снова бродим мы с тех пор
Без родины и без прощенья!..

Возможно, это стихотворение проясняет, как ощущал Некрасов редкий в кругу его знакомых феномен русского эмигранта и что для него значило умереть, как Герцен, на чужбине. Сам Некрасов, конечно, никогда об эмиграции не помышлял.

В остальном жизнь текла монотонно. Некрасов описывал Лазаревскому свой образ жизни исчерпывающей формулой: «… утром газеты и корректуры, после обеда сон, вечером клуб». К ней нужно прибавить только охоту, которая по-прежнему была его страстью. Смерти прежних единомышленников и злоба

оставшихся в живых уравновешивались теплыми отношениями с компанией приятелей. Неожиданно появился на горизонте еще один доброжелатель — один из создателей Козьмы Пруткова поэт Алексей Михайлович Жемчужников. Человек либеральных взглядов, он жил за границей, но хотел участвовать в российской литературной жизни. Жемчужников написал Некрасову доброжелательное письмо, в котором проявил себя как один из немногих проницательных читателей, высоко оценивших появившиеся в печати фрагменты «Кому на Руси жить хорошо»:

«Две последние главы Вашей поэмы Кому на Руси жить хорошо и в особенности Помещик — превосходны. Поверьте, что я не желаю расточать перед Вами учтивости и комплименты. Вы желаете узнать мое мнение, и я сообщаю Вам его правдиво и серьезно. Эта поэма есть вещь капитальная и, по моему мнению, в числе Ваших произведений она занимает место в передовых рядах. Основная мысль очень счастливая; рама обширная, вроде рамы Мертвых душ. Вы можете поместить в ней очень много. Продолжайте; без всякого сомнения продолжайте! И не торопитесь окончить, и не суживайте размеров поэмы. Как из Вашего вопроса: продолжать ли поэму, так и из разных других современных литературных признаков, я заключаю, что Вы не находите вокруг себя несомненной, энергичной поддержки. Не обращайте на это внимания и делайте свое дело. Вина не Ваша, а того сумбура, который теперь господствует. Это время пройдет, и то, что действительно хорошо, будет таковым и признано, когда рассеется туман».

Некрасов отвечал искренне и грустно: «Скука у нас жестокая; если на Вас нападает иногда хандра в Висбадене, то утешайтесь мыслию, что здесь было бы то же — вероятно, в большей степени, с примесью, конечно, злости по поводу тех неотразимых общественных обид, под игом которых нам, то есть нашему поколению, вероятно, суждено и в могилу сойти. Более тридцати лет я всё ждал чего-то хорошего, а с некоторых пор уж ничего не жду, оттого и руки совсем опустились, и писать не хочется. А когда не пишешь, то не знаешь, зачем и живешь». Как видно из письма, Некрасову непросто было переносить упадок общественной жизни, отсутствие какого-либо движения и «наверху», в правительстве, и «внизу», в обществе. Наступившее время начинало напоминать (хотя и в несколько более слабом виде) «мрачное семилетие».

Некрасову снова приходилось править многие статьи, отказываться от материалов, способных вызвать цензурные претензии. Вновь возникла надобность в «человеке застоя» для выполнения той функции, которую когда-то выполняли в

«Современнике» Дружинин и Григорович. Таким человеком стал для «Отечественных записок» плодовитый литератор, автор толстых, иногда просто огромных романов, имевший репутацию легкого, но чрезвычайно въедливого бытописателя, зачинатель русского натурализма «Пьер Бобо» — Петр Дмитриевич Боборыкин.

К тому времени Боборыкин успел побывать редактором «Библиотеки для чтения», которую в 1865 году довел до окончательного разорения. Он считал себя прогрессивным, либеральным писателем, чье творчество вполне созвучно направлению «Отечественных записок», и выражал готовность в них публиковаться. Однако новая редакция долго не желала иметь с ним дело из-за его «эротического бестселлера» «Жертва вечерняя», напечатанного в 1868 году и изображавшего в первой части упадочнические нравы высшего общества, а во второй — жизнь публичных домов. Существование проституции связывалось в романе не только с социальными условиями, но и с определенными наклонностями самих «жертв» — те в романе продолжали подрабатывать постыдным ремеслом даже после того, как получали возможность зарабатывать на жизнь «честным трудом». Роман вызвал резкую критику Салтыкова-Щедрина — позднее тот продолжал поминать книгу и ее автора (например, в «Истории одного города» глуповцы, впавшие в разврат и язычество, во время поклонения Перуну читают «Жертву вечернюю» в качестве Священного Писания).

Тем не менее в апреле 1870 года Некрасов обратился к Боборыкину с предложением написать для журнала роман, уточнив: «На Ваш талант мы надеемся, а Вы, конечно, избегнете того, что нам не совсем по вкусу и на что указание найдете в рецензии на одно из Ваших произведений, помещенной в «От[ечественных] зап[исках]». Боборыкин, нуждаясь в деньгах, которые мог заработать только литературным трудом, тотчас согласился. Некрасов рассчитывал, что плодовитый писатель будет поставлять нечто вроде того, что сам он был вынужден давать «Современнику», сочиняя романы в соавторстве с Панаевой, — добротную реалистическую беллетристику, пусть и пустоватую, но привлекательную для читателей и в целом не идущую вразрез с направлением журнала, — и не ошибся. Боборыкин стал вполне преданным сотрудником. Более того, в следующем году он, по-прежнему живший во Франции, возглавил отдел заграничных известий. Сам Боборыкин полагал, что его пригласили благодаря широте взглядов Некрасова и вопреки мнению остальных сотрудников редакции, но, скорее всего, согласие было общим, хотя вся редакция продолжала относиться

к бойкому беллетристу с иронией. Он свел знакомство с Некрасовым в следующем году, когда временно вернулся в Россию, и оставил о нем ценные воспоминания. Ему показалось, что Некрасов нес на себе отпечаток насыщенной невзгодами и трудами жизни:

«…В десять лет (с начала 60-х годов, когда я стал его видать в публике) он не особенно постарел… Но в нем и тогда вы сейчас же распознавали человека, прошедшего через разные болезни. Голос у него был уже слабый, хриплый, прямо показывающий, что он сильно болел горлом. <…> Голова у Некрасова была чрезвычайно типичная для настоящего русака из приволжских местностей. Он смотрел и в зиму 1871 года всего больше охотником из дворян — псовым или ружейным, холостяком, членом клуба.

Профессионально-писательского было в нем очень немного, но очень много бытового в говоре, в выражении его умного, немного хмурого лица. И вместе с тем что-то очень петербургское 40-х годов, с его бородкой, манерой надевать pince-nez, походкой, туалетом. Если Тургенев смотрел всегда барином, то и его когда-то приятель Некрасов не смотрел бывшим разночинцем, а скорее дворянским «дитятей», который прошел через разные мытарства в начале своей писательской карьеры.

Эта житейская бывалость наложила печать на весь его душевный «habitus[35]». И нетрудно было распознать в нем очень скоро человека, знающего цену материальной независимости. <…> Я его застал раз утром (это было уже в 1872 году) за самоваром, в халате, читающим корректуры. Это были корректуры моего романа «Дельцы». Он тут только знакомился с этой вещью. Если это и было, на иную оценку, слишком «халатно», то это прежде всего показывало отсутствие того учительства, которое так тяготило вас в других журналах. И жил он совершенно так, как богатый холостяк из помещиков, любитель охоты и картежной игры в столице, с своими привычками, с собаками и егерем и камердинером».

В фотографически точных описаниях Боборыкина некрасовская квартира вовсе не похожа на место обитания литератора:

«Некрасова я нашел в той же квартире, где он и умер. Редакция помещалась в первой зале, которая служила потом и бильярдной. По приемным дням в углу у окна стоял стол секретаря… Вся обширная квартира в доме Краевского на Литейной совсем не смотрела редакцией или помещением кабинетного человека или писателя, ушедшего в книги, в коллекции, в собирание каких-нибудь предметов искусства. В

бильярдной одну зиму стоял и стол секретаря редакции. В кабинет Некрасова сотрудники проникали в одиночку; никаких общих собраний, бесед или редакционных вечеринок никогда не бывало.

Весь склад жизни этой холостой квартиры отзывался скорее дореформенной эпохой, хотя тут и помещалась редакция радикально-народнического органа. <…> Как хозяин Некрасов был гостеприимен, умно-ласков, хотя веселым он почти никогда не бывал. Некоторая хмурость редко сходила с его лица, а добродушному тону разговора мешала хрипота голоса. Но когда он бывал мало-мальски в духе, он делался очень интересным собеседником, и все его воспоминания, оценки людей, литературные замечания отличались меткостью, своеобразным юмором и большим знанием жизни и людей.

Вообще такого природно-умного человека в литературной сфере я уже больше не встречал, и все без исключения руководители журнализма, с какими я имел дело как сотрудник, — не могли бы с ним соперничать именно по силе ума, которым он дополнял все пробелы — и очень обширные — в своем образовании.

Он изображал собою целую эпоху русской интеллигенции — эпоху героическую, когда люди по характерам стояли на высоте своих талантов.

Замечательной чертой писательского «я» Некрасова было и то, что он решительно ни в чем не выказывал сознания того, что он поэт «мести и печали», что целое поколение преклонялось перед ним, что он и тогда еще стоял впереди всех своих сверстников-поэтов и не утратил обаяния и на молодежь. Если б не знать всего этого предварительно, то вы при знакомстве с ним, и в обществе, и с глазу на глаз, ни в чем бы не видали в нем никаких притязаний на особенный поэтический «ореол». Это также черта большого ума!»

Человек «героической эпохи», «не утративший обаяния на молодежь», в это время искал компромисс между своей всё более ощутимой принадлежностью к «прошлому» и неумирающим желанием быть актуальным. Его творчество приняло отчетливо «ретроспективный» характер, что отчетливо выразилось в задуманной в этом году сатирической поэме «Недавнее время», которой Некрасов откликнулся на праздновавшийся в тот год юбилей Санкт-Петербургского Английского клуба.

То же относится и к поэме «Дедушка» о возвращении декабриста из ссылки, написанной во многом под впечатлением от личности Сергея Григорьевича Волконского, одного из немногих участников событий 14 декабря 1825 года, переживших

каторгу и ссылку и вернувшихся к близким. Волконского окружал яркий ореол, он превратился в живую легенду и одновременно вызывал ощущение просветленности и праведности. Некрасов, насколько известно, лично его не знал, но был хорошо знаком с его сыном Михаилом, особо ничем не прославившим себя и не проявившим никаких признаков либерализма, но хранившим среди семейных реликвий некоторые документы, связанные с отцом и его соратниками. Возможно, общение с ним и стало первоначальным импульсом к работе над поэмой. Личность и судьба Сергея Волконского несколько ранее заинтересовали Льва Толстого и тоже вызвали желание писать о возвращении декабриста; после долгих и сложных трансформаций из этого замысла вырос роман «Война и мир». Толстой хотел использовать сюжет о возвращении декабриста для упрека современности, которая на фоне «героической эпохи» должна была выглядеть ничтожной и опошлившейся. У Некрасова возник иной поворот темы. В «Дедушке» герой прошлого наделен теми чертами, которые особенно ценятся современным молодым поколением: особенной любовью и сочувствием к народу. Рассказывая о затерянной в Сибири деревне Тарбагатай, где свободный труд превратил крестьян в довольных зажиточных людей, дедушка увлекается неожиданными для аристократа, пусть и прошедшего каторгу, подробностями:

Дома одни лишь ребята
Да здоровенные псы,
Гуси кричат, поросята
Тычут в корыто носы…
Всё принялось, раздобрело!
Сколько там, Саша, свиней,
Перед селением бело
На полверсты от гусей…

Так почти пародийно отзываются в поэме лермонтовские мотивы сочувствия барина народу, радости от благополучия крестьянской жизни («С отрадой, многим незнакомой, / Я вижу полное гумно…»). Некрасов, однако, хочет не просто показать, что герои прошлого имели те же идеалы, что и современная молодежь. Дедушка воспитывает мальчика, вкладывая в его душу любовь к народу. В поэме, таким образом, нет противопоставления прошлого и настоящего, первое имеет для второго воспитательное значение: дедушке есть что рассказать Саше и чему его научить. И научить он может именно тому, что востребовано сейчас. В поэме, таким образом, можно увидеть

вариацию сюжета «Железной дороги», только лирический герой, «обучающий» мальчика любви к народу во всех ее проявлениях, заменяется декабристом, человек настоящего — человеком прошлого. Возможно, «Дедушка» — не самое удачное произведение Некрасова, однако, судя по всему, поэт был им доволен или, во всяком случае, считал правильным обозначенное им новое направление своей поэзии. Он и дальше будет развивать тему героического прошлого, полезного настоящему и участвующему в создании будущего.

«Дедушка» был целиком написан в Карабихе, где Некрасов пробыл с середины июня до конца августа 1870 года, отказавшись от планов новой поездки за границу. Причины он объяснил в письме Краевскому: «Я здесь хорошо устроился — хожу на охоту, работаю и купаюсь. Купанье мне настолько приятно, что путешествие в Диепп (то есть Дьеп. — *М. М.)* для одной этой цели меня начинает устрашать». Отправляясь в Карабиху, Некрасов просил Федора Алексеевича к его приезду взять напрокат в Ярославле «порядочный» рояль. Музыкальный инструмент, видимо, был нужен для новой женщины, с которой Некрасов приехал в имение и которой посвятил поэму «Дедушка», написанную в ее присутствии. Это последняя в его жизни женщина, и в отношениях с ней он сам как будто занял позицию героя поэмы — пожилого человека, отжившего, но способного на то, чтобы делиться теплом с молодым существом, начинающим жизнь.

Звали ее Фекла Анисимовна Викторова. Некрасов называл ее и представлял друзьям Зинаидой Николаевной, Зиночкой. Первое упоминание о ней в письмах поэта и, видимо, само их знакомство относится к началу мая 1870 года. И ее происхождение, и обстоятельства встречи остаются загадкой. Судя по имени, она, подобно Мейшен, была «из простых». Она была очень молода — младше его почти на 30 лет. Довольно авторитетные источники утверждали, что Некрасов взял ее из «заведения». В частности, такую версию записал в своем дневнике Лазаревский, видимо, со слов самого поэта. И всё-таки она вызывает сомнения: Зиночка была простая девушка, однако никто не замечал никаких следов постыдной профессии (если она действительно ею занималась) ни в ее внешности, ни в ее поведении. В ней не было вульгарности или развязности, чрезмерной смелости — скорее наоборот. Некрасов стремился оберегать ее нравственное чувство. А. Ф. Кони вспоминал: «От нее веяло душевной добротою и глубокой привязанностью к Некрасову. За обедом, где из женщин присутствовала она одна, Некрасов, передававший какое-нибудь охотничье приключение или эпизод из деревенской жизни,

прерывал свой рассказ и говорил ей ласково: «Зина, выйди, пожалуйста, я должен скверное слово сказать», — и она, мягко улыбнувшись, уходила на несколько минут».

Конечно, она не была крестьянкой. Можно предположить, что Зина происходила из городского мещанства, скорее всего была сиротой (поскольку никаких упоминаний о ее родителях мы не встречаем), жила в услужении у входившего в круг знакомств Некрасова состоятельного человека, возможно, использовавшего ее в развратных целях, который «отдал» или «продал» ее поэту. Очевидно, ей не хватало не столько образования, сколько развития. Некрасов «воспитывал» ее, в частности, хотел, чтобы она обучалась французскому языку (ей это было очень трудно). У Некрасова не было сильной страсти к Зиночке; не исключено, что поначалу она представлялась ему такой же «сезонной» подругой, как когда-то Селина Лефрен или Прасковья Мейшен. Скорее всего, уже в Карабихе чувства Некрасова к ней вышли за границы отношений с «другом» или «ангелом». Об этом свидетельствует само посвящение «Дедушки», сделанное, конечно, уже не случайному человеку, но «закрепившемуся» в жизни автора.

Естественно, Некрасов относился к Зине несколько свысока, шутливо-иронически, но это было вызвано, видимо, разницей в возрасте, а не в происхождении. Зина подкупила и привлекла Некрасова пластичностью, способностью к развитию и желанием развиваться (чего не было в Мейшен), готовностью избавляться оттого, что было сформировано в ней прежней средой. Она смогла стать преданной спутницей великого поэта, готовой повсюду следовать за ним духовно и физически. Дополнял эти черты веселый и добрый нрав Зины, а также развившаяся в ней любовь к тем занятиям, которые любил Некрасов, — охоте и игре на бильярде. Она — вторая и последняя женщина (из тех, про которых мы знаем), вошедшая в стихи Некрасова — ласковые, дружеские, написанные перед смертью.

Возможно, уже тогда Некрасов столкнулся с неприятием Зиночки другими членами его семьи, которое его братья и сестра не выказывали ранее ни одной из его женщин. Возможно, однако, антипатия эта возникла позднее, когда сменились персонажи: в ноябре неожиданно скончалась жена Федора Алексеевича, и очень быстро ее место заняла другая женщина, которая была к Зине особенно непримиримой. Негативно отнеслась к Зиночке и Анна Алексеевна Буткевич. Впрочем, в первое совместное лето это, должно быть, никак не проявилось; скорее всего, враждебность к новой подруге брата у родственников возникла тогда, когда стало понятно, что она — не очередной «зимний друг», что она прочно заняла место в его сердце.

После возвращения Некрасова и Зиночки из Карабихи они поселились вместе в некрасовской квартире. Однако, как вспоминал Боборыкин, общение с новой подругой поэта было доступно в первые годы далеко не всем: «В его внутренних «покоях» помещалась его подруга, которую он не сразу показывал менее близким людям, так что я только на вторую зиму познакомился с нею, когда она выходила к обеду, оставалась и после обеда, играла на бильярде». О женитьбе речи не шло — Зина, судя по всему, не претендовала на статус супруги. Некрасов, по-видимому, давно не считал церковный брак обязательным условием совместной жизни. Ситуация при этом была несколько иной, чем в предыдущих случаях: Панаева формально была замужней женщиной, Селина — профессиональной содержанкой (не исключено, что с ней был даже заключен какой-то договор), Мейшен — вдова инженера со своим, пусть и небольшим, капиталом. Судя по всему, Зина не имела ни состояния, ни социального статуса и полностью зависела от Некрасова. И то, что она никак не стремилась оформить отношения с ним, говорит, видимо, о ее огромном доверии, вере в неспособность Некрасова поступить несправедливо. Может быть, и это — ее полная зависимость и доверчивость — привязывало к ней Некрасова.

Первая половина 1871 года снова приносила мрачные новости из-за границы. В феврале сокрушительным поражением наполеоновской Франции завершилась Франко-прусская война. За капитуляцией последовали кровавые события Парижской коммуны, длившиеся с середины марта до конца мая, несомненно, вызывавшие пристальный интерес редакции «Отечественных записок» и взволновавшие Некрасова. Позднее, в 1872 или 1874 году, он напишет стихотворение «Страшный год», посвященное трагедии, случившейся во Франции, всегда остававшейся для прогрессивных русских людей родиной лучезарных идей, а в 1850—1860-е годы бывшей предметом сочувствия, несмотря на общее презрение и ненависть к Наполеону III. Для Некрасова события 1870–1871 годов — прежде всего торжество варварства и жестокости:

Страшный год! Газетное витийство
И резня, проклятая резня!
Впечатленья крови и убийства,
Вы вконец измучили меня.

В России в первую половину года было «тихо». Но печальные новости приносила частная жизнь. 21 марта в возрасте двадцати

девяти лет умер от отека легких еще один представитель потерянного поколения, Решетников, так и не вышедший за пределы добротной беллетристики, не написавший больше ничего, равного «Подлиповцам». Эта смерть имела для Некрасова особое значение — начали уходить те, кто был значительно моложе его и кому он совсем недавно открыл дорогу в литературу.

В марте же произошел первый конфликт с Лазаревским. В этом году в «Отечественных записках» анонимно печатался П. Л. Лавров, бежавший из ссылки и превратившийся в политического эмигранта. После того как авторство Лаврова обнаружилось, Лазаревский, дотоле о нем не знавший, был сильно раздражен тем, что при его покровительстве были напечатаны тексты фактически государственного преступника. Эта история не имела серьезных последствий для «Отечественных записок», и отношения с Лазаревским вскоре вошли в обычное русло, но теплых писем от чиновного приятеля Некрасов больше не получал. Лазаревский был разочарован — оказалось, что его «использовали». Он как будто повторял судьбу Никитенко, также разочаровавшегося в возможности по-настоящему гармоничных отношений между литератором и цензором.

Прошлое продолжало преследовать Некрасова: в мае без его согласия была переиздана его книжка «Баба-Яга, Костяная нога» — уже с именем автора на обложке и титульном листе. Конечно, поэту могло льстить, что Печаткин переиздал эту халтуру, написанную исключительно ради денег, только из-за имени автора, а не из-за занимательного сюжета, импонировавшего вкусу невзыскательного читателя. Однако Некрасов был недоволен и даже (редкий для него случай) напечатал в «Санкт-Петербургских новостях» открытое письмо: «Лет тридцать тому назад я действительно предоставил бывшему тогда книгопродавцу В. П. Полякову право напечатать сказку с таким заглавием; но и тогда я был настолько неуверен в достоинствах этой сказки, что имени моего на ней выставить права не давал. Она явилась под каким-то псевдонимом и, оправдав мои опасения, т. е. не имев никакого успеха, с тех пор лежала под спудом тридцать лет. Ныне, увидав ее во втором издании с моим именем, я считаю нужным заявить, что перепечатка сделана без моего ведома, а мое имя на ней выставлено без всякого права, по личным соображениям г. Василья Печаткина, который ныне наименовал себя издателем этой брошюры и намерен взимать за нее (80 жиденьких страниц в 16-ю д[олю] 30 коп.». Раздражение поэта вызвало не только предание гласности того, что сам он хотел и имел право забыть. Парадокс заключался в том, что

Некрасов здесь как будто выступал конкурентом самому себе: молодой Некрасов, писавший низкопробные народные книжки, вступал в конкуренцию с Некрасовым зрелым, автором и издателем качественной литературы для народа: после перерыва, последовавшего за выпуском второй «красной книжки», в этом году отдельным изданием для народного читателя была выпущена поэма «Мороз, Красный нос».

Следующий удар последовал с еще более неожиданной стороны. В июле 1871 года вышла брошюра Лескова «Загадочный человек», посвященная казненному во время Польского восстания революционеру Артуру Бенни, в которой замечательный писатель в пылу бескомпромиссной (хотя отчасти односторонней) битвы с «нигилистами» и революционерами заставил своего безупречного героя размышлять о давно, казалось бы, забытом сборнике «Мечты и звуки», видя в нем не столько эпигонскую поэзию, сколько проявление некрасовского «двуличия», парадоксальную связь с «муравьевской одой»:

«Но что уже совсем срезало Бенни, так это некоторые стихотворения столь известного поэта Николая Алексеевича Некрасова. Я говорю о тщательно изъятой Некрасовым из продажи книжечке, носящей заглавие «Мечты и звуки». Я уберег у себя эту редкость нынешнего времени, и Бенни переварить не мог этой книги и негодовал за стихи, впрочем, еще не особенно несогласные с позднейшими мечтами и звуками г-на Некрасова. Таково, например, там стихотворение, в котором г-н Некрасов внушал, что:

От жажды знанья плод не сладок?
О, не кичись, средь гордых дум,
Толпой бессмысленных догадок,
Мудрец: без Бога прах твой ум!

<…> Поэтической просьбы же г-на Некрасова к графу Михаилу Николаевичу Муравьеву, когда поэт боялся, чтобы граф не был слаб, и умолял его «не щадить виновных», Артур Бенни не дождался, да и, по правде сказать, с него уже довольно было того, что Бог судил ему слышать и видеть. Бенни во всей этой нечистой игре с передержкой мыслей не мог понять ничего…»

Скорее всего, Некрасов ознакомился с этой брошюрой, задевавшей его больно и, в общем, метко — за творчеством Лескова в «Отечественных записках» следили довольно пристально и пристрастно. Лесков относился к врагам, чей голос после романа «Некуда» воспринимался как заведомо клеветнический, поэтому он не мог скомпрометировать

Некрасова (к тому же кто только не задевался в «Загадочном человеке»), но мог напомнить поэту, что его «негероическое» прошлое никогда не будет забыто. Независимо от того, был ли лесковский текст известен Некрасову, для него пришло время обратиться к своей жизни, к своему сложному прошлому уже не для того, чтобы заимствовать оттуда черты лирического героя, но для создания собственного образа, без поэтического переосмысления. Скоро Некрасов этим займется.

Напоминание о собственном негероическом прошлом как будто стимулирует Некрасова на воссоздание в своей поэзии прошлого героического. В 1871 году он вместе с Зиной уже в мае уезжает в Карабиху, предварительно справившись у брата Федора, будет ли ему приятно их посещение. Уделив, как обычно, много внимания охоте, он пишет поэму «Недавнее время», посвящая ее Еракову, а затем «Княгиню Трубецкую» — первую поэму из будущего небольшого цикла «Русские женщины».

Во многих отношениях поэма вторична, отчасти основывается на найденных еще в «Несчастных» и «Морозе, Красном носе» приемах (описание северной природы, сон в морозную ночь, в котором к героине приходит счастливое жаркое лето). И всё-таки она выглядит достаточно свежо, демонстрирует желание Некрасова снова расширить диапазон своего творчества. Прежде всего, сама тема дает возможность создать произведение «исторического» характера, включающее в себя исторические реалии.

Некрасов едва ли не впервые пробовал себя в работе с фактами, в том числе с документами, благо в его распоряжении был большой набор материалов — запрет с декабристской темы был довольно давно снят. Поэт мог пользоваться как официальными источниками (например, упоминавшейся книгой Модеста Корфа), так и материалами, печатавшимися в герценовских изданиях в Лондоне, был знаком с мемуарами некоторых декабристов, прежде всего Ивана Якушкина, двоюродного брата постоянного автора «Современника» и «Отечественных записок». Много сведений о самой княгине Трубецкой Некрасов получил от Михаила Сергеевича Волконского, хорошо знавшего семью Трубецких и взявшегося внести в поэму свои поправки (при условии, что Некрасов непременно их примет, которое тот не выполнил).

Еще одна сложность заключалась в том, что изображаемый характер не имел аналогов в его творчестве. Некрасова, конечно, прежде всего интересовал сам поступок княгини, отправившейся в Сибирь за своим мужем; собственно, сюжет поэмы и представляет собой описание ее поездки, перемежаемое снами и

наплывами сцен прошлого, создающими предысторию центрального события. Для поэта княгиня Трубецкая — прежде всего героический персонаж, но одновременно реальная фигура. До сих пор у него светские женщины представляли собой карикатурно или сатирически обрисованные типажи (как в стихотворении «Княгиня» или в сатире «Балет). Здесь же автор пытается показать эту светскость через отвращение к свету, через то, что отбрасывается ради любви к мужу. В свою очередь, эта любовь не слепа. Очевидно, что по образованию и кругозору Трубецкая стоит ниже своего мужа, но душевно и духовно не менее развита, чем он, и готова разделить не только его страдания, но и его убеждения. Одновременно с героизмом Некрасов хочет показать ее тонкую натуру, наделенную художественным воображением:

Княгиня видит то друзей,
То мрачную тюрьму,
И тут же думается ей —
Бог знает почему,
Что небо звездное — песком
Посыпанный листок,
А месяц — красным сургучом
Оттиснутый кружок…

Поэт изображает утонченную светскую даму, столкнувшуюся с миром насилия и страдания, но не дрогнувшую, принявшую их сознательно как свою судьбу. Княгиня Трубецкая в поэме всего лишь едет в «возке», она не испытала страданий, перенесенных ее мужем, но готова принять их.

Пока Некрасов был в Карабихе, произошло событие, косвенно, но вполне серьезно угрожавшее «Отечественным запискам». 1 июля начался судебный процесс над членами «Народной расправы», продолжавшийся почти три месяца; все его материалы регулярно печатались в «Правительственном вестнике». Не касаясь самого характера организации и ее руководителя Сергея Нечаева, нельзя не признать, что благодаря преданию огласке сочиненного им «Катехизиса революционера» и обнародованию деталей убийства студента Иванова правительству удалось нанести удар по репутации революционных групп. Убийство Иванова представляло собой не ликвидацию врага, но казнь «своего» только за то, что его взгляды изменились и он решил покинуть подпольное общество. Для обывателя революционная организация предстала в зловещем свете — не как союз свободных людей, объединенных

убеждениями, но как замкнутое (говоря современным языком, мафиозное) сообщество, из которого нельзя выйти, как нельзя выбраться из засасывающей трясины.

Удар по репутации революционного движения был чувствительный. Салтыков писал Некрасову в Карабиху, прося совета: не следует ли перепечатывать из «Правительственного вестника» материалы нечаевского дела? Некрасов был не впечатлен и, видимо, как и другие члены редакции, не считал «Народную расправу» настоящей революционной организацией, а потому решил, что следует только дать аналитический обзор силами лучших публицистов журнала. В целом революционное движение в это время оправилось от нечаевского дела, хотя его враги и объявили членов «Народной расправы» типичными революционерами (особенно талантливо это сделал Достоевский в «Бесах»).

Завершился 1871 год еще одним неприятным событием. Ушел в отставку начальник Главного управления по делам печати Михаил Романович Шидловский, знакомец Салтыкова по службе в провинции, послуживший прототипом его знаменитого «органчика» — градоначальника Брудастого, оказавшийся, впрочем, человеком незлопамятным. На его место был назначен старый приятель Некрасова по Английскому клубу и по «веселой компании» периода «мрачного семилетия» Михаил Николаевич Лонгинов. Библиограф, не лишенный таланта автор скабрезных стихов, «арбитр изящного» превратился в одного из самых беспощадных руководителей российской цензуры, прославившегося в том числе гонениями на переводы труда Дарвина «Происхождение видов». Некрасова он «встретил на *ты»,* однако дал понять, что никаких неформальных отношений между ними быть не может и «Отечественные записки» он рассматривает как явление вредное и требующее строгого надзора.

Новый, 1872 год опять начался со смертей — пусть не очень близких поэту, но знаковых людей. 8 января скончался еще один непутевый литератор и почти ровесник Некрасова Павел Иванович Якушкин — фольклорист, беллетрист, знаток народной жизни, ставший прототипом Павлуши Веретенникова в уже напечатанных к тому времени фрагментах поэмы «Кому на Руси жить хорошо». А 26-го числа после тяжелой болезни умер блестящий государственный деятель, один из авторов Крестьянской реформы Николай Алексеевич Милютин. Смерть его была воспринята всей либеральной частью общества как огромная утрата. На похоронах Милютина Тургенев произнес весьма прочувствованную речь. Некрасов, наверняка хорошо знавший его и ценивший как государственного деятеля, написал

на его смерть очень сильное стихотворение «Кузнец»:

Чуть колыхнулось болото стоячее,
Ты ни минуты не спал.
Лишь не остыло б железо горячее,
Ты без оглядки ковал.

В чем погрешу и чего не доделаю,
Думал, — исправят потом.
Грубо ковал ты, но руку умелую
Видно доныне во всём.

С кем ты делился душевною повестью,
Тот тебя знает один.
Спи безмятежно, с покойною совестью,
Честный кузнец-гражданин!..

Стихотворение не просто дает высочайшую оценку прекрасному человеку, гражданину, посвятившему себя стране, но и как будто оправдывает те компромиссы, на которые ему приходилось идти, чтобы достичь цели, сделать улучшение жизни в России возможным. В творчестве Некрасова «Кузнец» примыкает к циклу портретов умерших героев, но одновременно существенно отличается от них. Николай Милютин — не человек подвига, яркой звездой озаряющий горизонт, но работник, всю жизнь титаническими усилиями «ковавший» и выковавший-таки новую Россию. Правительственные либералы были симпатичны Некрасову как люди дела, а не «мечтатели». Так иногда ему был ближе Краевский, чем его собственная непрактичная «консистория». Милютин был среди тех, кто, как и сам Некрасов, «дождался» возможности делать настоящее дело и сразу начал работать для будущего.

Наряду с утратами были в этом году и счастливые знакомства. На квартире Еракова Некрасов встретил Анатолия Федоровича Кони, будущую знаменитость, а тогда еще молодого (ему было 28 лет) юриста, сына его давнего «покровителя» — водевилиста и редактора «Пантеона» Федора Алексеевича Кони. Анатолий Федорович, горячий поклонник творчества Некрасова, сразу заметил в нем не всем бросавшиеся в глаза черты: «Некрасов приезжал к Ераковым в карете или коляске в дорогой шубе, и подчас широко, как бы не считая, тратил деньги, но в его глазах, на его нездорового цвета лице, во всей его повадке виднелось не временное, преходящее утомление, а застарелая жизненная усталость». Образованный молодой человек,

благодаря своей службе приобретший большой опыт общения с народом, хранивший в памяти запас историй из своей практики, заинтересовал Некрасова и вызвал его симпатию.

В следующем году Кони рассказал ему курьезный случай: кучер, доведенный до крайности барином, отдавшим его сына в солдаты, завез разбитого параличом хозяина в овраг и повесился на его глазах. История, поразившая поэта, впоследствии вошла в поэму «Кому на Руси жить хорошо» как песня «Про холопа примерного — Якова верного». Кони присоединился к ближайшему окружению Некрасова, периодически (хотя реже других приятелей) участвовал в совместных обедах. Поскольку он был близок к семье Еракова, то очень симпатизировал Анне Алексеевне, но старался быть объективным и справедливым к Зиночке. После смерти Некрасова его сестра передала Кони все имевшиеся у нее рукописи поэта.

Весной 1872 года пресса обсуждала якобы планирующееся празднование юбилея творческой деятельности Некрасова. В этом году отмечал четвертьвековой творческий юбилей Островский, и в отчете об этом событии корреспондент еженедельника «Сияние» сообщил о желании некоторых литераторов почтить такой же творческий стаж Тургенева и 35-летний — Некрасова. Эти слухи подхватили другие издания, при этом все утверждали, что такое чествование вполне заслужено Некрасовым. Разговоры прекратились в апреле после сообщения, что празднование переносится на следующий год. Откуда взялись эти слухи, установить не удается; возможно, их причиной послужила чья-то реплика во время празднования юбилея Островского, на котором присутствовал Некрасов. Сам поэт не высказывался на эту тему и не проявлял никакого желания отмечать свой юбилей (видимо, за точку отсчета была взята публикация его первого стихотворения). Тургенев, в свою очередь, писал, что лучше даст отрезать себе нос, чем согласится отпраздновать юбилей. Сами упорные слухи и пожелания были тревожным сигналом о превращении Некрасова в сознании публики в литератора «заслуженного», «маститого» или, того хуже, «почтенного». Сам он не считал себя таковым и отчаянно сопротивлялся этой отчетливо надвигающейся угрозе — работал над новым произведением с энтузиазмом, подобным тому, с которым когда-то писал «Несчастных».

Напечатанная в апрельской книжке «Отечественных записок» за 1872 год поэма «Княгиня Трубецкая» вызвала на удивление благожелательные отклики критиков, называвших ее достойной встать в один ряд с лучшими произведениями Некрасова. И сам автор, видимо, был ею доволен. В конце апреля или начале мая ему пришла мысль написать поэму о другой жене декабриста,

Марии Николаевне Волконской, также отправившейся за мужем в Сибирь. Особенно привлекательной тему делало наличие собственноручных записок княгини у Михаила Сергеевича Волконского. Правда, тот, хранивший мемуары матери как величайшую реликвию, отказался дать их поэту в руки и устроил читку у себя дома. Этот знаменитый эпизод сохранился в воспоминаниях князя: «Некрасов по-французски не знал, по крайней мере настолько, чтобы понимать текст при чтении, и я должен был читать, переводя по-русски, причем он делал заметки карандашом в принесенной им тетради. В три вечера чтение было закончено. Вспоминаю, как при этом Николай Алексеевич по нескольку раз в вечер вскакивал и с словами «Довольно, не могу» бежал к камину и, схватясь руками за голову, плакал, как ребенок». Некрасовские заметки сохранились, они представляют собой своеобразный конспект мемуаров княгини.

Некрасов, однако, не был удовлетворен своими записями и, отправляясь в июне в Карабиху, где собирался работать над поэмой, обратился к Волконскому с просьбой: «Вы сами подали мне мысль, что я хотя местами мог бы воспользоваться тоном и манерою записок М. Н. В[олконской], которые должны послужить основой для моей поэмы. Да, это было бы хорошо; в записках есть столько безыскусственной прелести, что ничего подобного не придумаешь. Но именно этою стороною их я не могу воспользоваться, потому что я записывал для себя только факты, и теперь, перечитывая мои наброски, вижу, что колорит пропал; кое-что затем припоминаю, а многое забыл. Чтоб удержать тон и манеру, мне нужно бы просто изучить записки, и вот моя просьба. Есть русская пословица: кормили до усов, кормите до бороды; дайте мне, князь, эти записки на 2 месяца моего отъезда, и Вы не можете себе представить, какое великое одолжение Вы мне окажете. Я теперь весь поглощен мыслью о моей поэме, еду с намерением написать ее и чувствую, что мне недостает кое-чего; недостаток этот будет парализировать работу; поправить можете беду только Вы, Михаил Сергеевич. Я искренне Вас прошу, и не будет меры благодарности в моей душе. — Со мною едет в деревню моя сестра, она хорошо переводит (переводила много для «Современ[ника]» и «Отечественных] зап[исок]»). Она переведет мне записки; осенью, по приезде в Петербург, я вручу Вам и перевод, и оригинал, и даю честное слово, что не оставлю у себя списка и не дам никому. Словом, даю Вам право огласить меня бесчестным человеком, если у кого-нибудь появится от меня хоть страница этих записок; да и у себя не оставлю списка. Если умру ранее осени, записки возвратит Вам моя сестра. Словом, записки мне очень хочется иметь, и мне кажется, что они

необходимы для успешного выполнения моей работы».

Князь отказал: «Уважаемый Николай Алексеевич, к крайнему моему сожалению, не могу исполнить Вашего желания. Записки моей матери набросаны для меня одного и никогда не покидали меня: это самое дорогое мое наследство ее… Не сетуйте на меня: Вы первый и единственный человек, которому я решился прочесть их, между тем как они у меня уже более 12 лет. Что же касается влияния их на задуманную Вами поэму, то не полагаю, чтобы тон мог придать ей выгодный колорит, так как он целиком перейти в нее не может. Они так интимны, так семейны, что это не представляется возможным».

Очевидно, Михаил Сергеевич не понимал главного: для Некрасова были ценны именно личные записки, сохранявшие неповторимые интонации, которые он хотел воспроизвести. Сестра поэта вспоминала о процессе работы Некрасова над совершенно на первый взгляд непохожим произведением: «Орина, мать солдатская» сама ему рассказывала свою ужасную жизнь. Он говорил, что несколько раз делал крюк, чтобы поговорить с ней, а то боялся сфальшивить». Это-то желание «не сфальшивить», непонятное князю Волконскому, и заставляло Некрасова просить рукопись.

Но в этот раз пришлось обойтись без вслушивания в интонацию, воскрешать ее в памяти. 10 июня, в тот же день, когда Некрасов писал Волконскому, видимо, предпринимая последнюю отчаянную попытку убедить его, он вместе с Зиной и сестрой отправился в Карабиху и оставался там до начала августа. До 21 июля Некрасов напряженно работал над поэмой. О ее завершении вспоминает Наталья Павловна Некрасова: «Однажды после нескольких дней интенсивной работы Николай Алексеевич пришел к брату и сказал: «Пойдем в парк под кедр, я буду вам читать «Русские женщины»; я написал конец». Мы пошли, и поэт своим немного глухим голосом прочел нам всю поэму. Мы слушали с затаенным дыханием и не могли удержаться от слез. Когда он кончил и взглянул на своих слушателей, то по их взволнованным лицам и влажным глазам понял, какое сильное впечатление произвело на всех произведение, и был счастлив. Он велел подать шампанское. Мы чокались, поздравляя его с блестящим окончанием его многолетнего труда. Да, помню, это был день великого подъема, торжества и удовлетворения».

После завершения «Княгини Волконской», в октябре, Некрасов показал поэму сыну главной героини и внес практически все исправления, о которых тот просил, в частности, убрал сцену родов, которую Михаил Сергеевич счел слишком интимной.

Поэма «Княгиня Волконская» представляет собой попытку воссоздания того прошлого, которое актуально для настоящего, имеет признаки настоящего и как бы благословляет его: здесь есть любовь к народу, благородные цели, самоотверженный подвиг, но одновременно есть и исторические реалии, есть, как и в «Княгине Трубецкой», широкий исторический и культурный фон — благо сама фигура Марии Николаевны Волконской, дочери прославленного генерала, героя Отечественной войны 1812 года Николая Николаевича Раевского, хорошей знакомой Пушкина, невестки знаменитой хозяйки литературного салона Зинаиды Александровны Волконской, давала большой материал для того, чтобы сделать этот фон очень насыщенным. Несомненно стремление Некрасова показать развитую светскую женщину, тонкую художественную натуру, при этом не страшащуюся никаких испытаний. Поэма задумана как «пара» к «Княгине Трубецкой», во многом повторяет ее композицию. В обеих поэмах изображен момент решимости героинь ехать за своими мужьями; предыстория создает картину того роскошного и утонченного образа жизни, с которым им приходится расстаться; показано преодоление ими сопротивления — родных, императора, губернатора. И в той и в другой поэме отсутствует описание жизни героинь в местах каторги — с Трубецкой читатель расстается на заключительном этапе ее пути в Сибирь, с Волконской — когда она получает первое свидание с мужем. Жены декабристов стремятся в самое страшное и мрачное место в стране, которое, тем не менее, есть место света, поскольку в нем содержатся праведники. В этом опасный смысл обеих поэм — они говорят о том, что в России лучшие люди — те, что сидят в тюрьме.

Уже в Карабихе узнал Некрасов о первом предостережении, объявленном «Отечественным запискам» за статью Демерта в ведшейся им рубрике «Наша общественная жизнь» — начала сказываться смена цензурного начальства. Впрочем, редакция была склонна ругать скорее самого автора, чьи статьи давно не удовлетворяли редакторов, но найти ему замену пока не могли. Предостережение не поставило издание на грань остановки (в запасе оставалось еще два), но показало его потенциальную уязвимость, а потому требовалось проявлять еще больше бдительности.

Одной из последних новостей, которые принес 1872 год, была скоропалительная женитьба Федора Алексеевича на гувернантке своих детей Наталье Павловне Александровой. Некрасов высказался о ней в целом одобрительно, не представляя, что этот брак внесет серьезный разлад в семейные отношения.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ

«Княгиня Волконская» была напечатана в январской книжке «Отечественных записок» 1873 года. Она оправдала ожидания Некрасова. Значительная часть критики высказалась о поэме вполне восторженно, и оценки людей, чье мнение Некрасов воспринимал всерьез, были очень высокими. Так, И. А. Гончаров в письме от 28 января выразил не только свое впечатление, но и мнение «всех»: «У Вас, верно, есть отдельные оттиски Вашей новой, чудесной поэмы «Русские женщины», любезнейший Николай Алексеевич; подарите мне, пожалуйста, один, и если можно 1-ю часть также, а если этого нет, то хоть одну вторую. Я не имею Отеч[ественных] Запис[ок] и читал ее мимоходом — у других. А мне непременно хочется ее иметь — и, кроме того, я желаю прочесть ее в одном доме. На меня и на всех [поэма] производит сильное впечатление». Он же прибавлял в письме от 7 февраля: «Вы были бы очень довольны, Николай Алексеевич, если б видели сами эффект, произведенный чтением Вашей поэмы на слушателей и особенно на слушательниц. Изъявлено было желание иметь первую часть, и я обещал достать, в надежде на Ваше содействие, а у меня у самого нет».

В целом благосклонно была встречена напечатанная во второй книжке «Отечественных записок» вторая часть поэмы «Кому на Руси жить хорошо» — «Последыш». Некрасов как будто обрел второе дыхание, оставаясь поэтом живым, не теряющим связь с публикой и с современными жизненными запросами. Он производил впечатление заслуженно счастливого человека. Полонский с очевидной завистью писал в сентябре Тургеневу: «Изо всех двуногих существ, мною встреченных на земле, положительно я никого не знаю счастливее Некрасова. Всё ему далось — и слава, и деньги, и любовь, и труд, и свобода. Надоест Зинаида — бросит и возьмет другую, а жаль, если бросит». Вечно нуждавшийся Полонский был необъективен, но очевидно, что в это время Некрасов выглядел довольным жизнью.

Некрасов охарактеризовал свое положение в необычно подробном письме брату от 26 февраля:

«Я живу недурно; хотя не очень здоров и хандрю. Моя поэма «Кн[ягиня] Волконская», которую я написал летом в Карабихе, имеет такой успех, какого не имело ни одно из моих прежних писаний, — прочти ее. Вместе с этим письмом я велел послать тебе новую 5 часть моих стихов, где и поэма эта находится. Всё идет по-старому. Литературные шавки меня щиплют, а публика читает и раскупает.

Подписка на «Отечественные записки» нынче так повалила, что печатаем второе издание. Из всего этого можешь заключить, что дела идут недурно, и, кабы лет десяток с костей долой, так я, пожалуй, сказал бы, что доволен. Да ничего не поделаешь! Человек, живя, изнашивается, как платье; каждый день то по шву прореха, то пуговица потеряется.

И не много уже остается,
Что возможно еще потерять…

А там и ноги протягивай, и к этой мысли надлежит приучать себя заблаговременно. Эх! с ноября пошло мне на шестой десяток!»

Тем не менее в этом благополучии явственно ощущался изъян. В письме брату Некрасов едва ли не первый раз *сам* сообщает о своем успехе у публики, и это выглядит подозрительно. В год выхода бешено популярного первого издания «Стихотворений Н. Некрасова» поэт выражал сомнение в своем успехе («это похоже на пуф») и предоставлял его констатацию другим — Тургеневу, Лонгинову, Боткину, Чернышевскому. Само хвастовство перед братом, человеком по творческой части некомпетентным, чье мнение в этом вопросе Некрасова до сих пор интересовало мало, возможно, свидетельствует, что так же, как ранее по отношению к «Мечтам и звукам», у поэта не было ощущения прорыва, что успех не соответствовал его амбициям. И это как будто делало его зависимым от мнения критиков, экспертов, бесконечно выше которых он, казалось, встал после выхода «Стихотворений» 1856 года. В этом письме, едва ли не впервые за долгие годы, Некрасов высказывается — презрительно, иронически — о критике в целом («литературные шавки»). Василий Григорьевич Авсеенко в шестом номере «Русского вестника» писал в статье с хлестким и в общем точным названием «Поэзия журнальных мотивов» (преимущественно по поводу «Русских женщин») об упадке таланта Некрасова, о «стереотипных формулах петербургского либерализма», окончательно восторжествовавших в его стихах. Столь же строг был критик и к «Последышу»: в рецензии, вышедшей в 49-м номере «Русского мира», как раз накануне некрасовского письма брату, он утверждал: «Мотивы некрасовской поэзии уже исчерпаны и… новых в современной действительности г. Некрасов не находит. Он всё еще переживает сороковые и пятидесятые годы, годы его славы и значения, и как бы не замечает, что жизнь ушла вперед и что водевильное пропагандированье антикрепостнических идей, когда самих

крепостников не существует, сильно отзывается задним числом». Враждебный критик заведомо субъективен и несправедлив, но умен и знает, куда бить — не по эстетическим достоинствам, к упрекам в отсутствии которых Некрасов давно привык, а именно по его «устарелости», утрате значения, которое его поэзия имела в былые годы.

Рискованная, необычная для Некрасова привязанность к прошлому проявилась и в развитии замысла «Кому на Руси жить хорошо», заставляя мужиков свернуть с обозначенного маршрута и углубиться в совершенно неожиданные исторические дали. Начиная с «Помещика» (где наряду с идиллическими картинами безвозвратно канувшей помещичьей усадебной жизни большое место уделено современному состоянию поместий), в «Последыше» и в как раз в это время задумывавшейся «Крестьянке» доминирует портрет ушедшей эпохи. Поэму, предназначавшуюся для изображения и критики современности, вдруг стали захлестывать волны прошлого. Применительно к поэме автору удается представить это как жанрообразующую проблему: страна и народ как будто всё еще в плену у прошлого, никак не могут от него освободиться и двинуться вперед.

У самого Некрасова появляется проблема другого рода — утраты связи с настоящим, ощущения пульса времени, движения. Некрасову современность представлялась не как Михайловскому — полем жарких дискуссий с Ткачевым и Лавровым, и не как неутомимому Бакунину — преддверием бунтов и революций, но унылым пейзажем, погруженным в серую мглу. Об этом свидетельствует до сих пор представляющееся удивительным и странным стихотворение «Утро» (1872–1873). Можно сказать, что оно показывает регресс от актуальной повседневности «О погоде» или «Балета» к повседневному ужасу в цикле «На улице». Если в «О погоде» и «Деревенских новостях» повседневность была воплощением пробудившейся общественной жизни, была интересна как проявление истории, снова начавшей «течение свое», то в «Утре» повседневность не содержит никакой исторической перспективы: мгла, с которой начинается стихотворение, не сгущается во мрак, где можно обрести свет (как в поэмах о женах декабристов), но и не просветляется обличением, иронией, указывающей исторические и человеческие границы описываемого ужаса. Другим проявлением этой ретроспективности творчества и утраты интереса к действительности, загипнотизированности прошлым стало стихотворение «Детство», неожиданно примыкающее к некоторым эпизодам «Тишины» образом храма, переданным через детские воспоминания.

Вопреки мнению Полонского, не всё обстояло счастливо и в семейной жизни Некрасова. Новая супруга Федора Алексеевича не нашла с Зиночкой общего языка. Враждебность к подруге поэта передалась и брату, а затем и сестре Анне, постепенно возненавидевшей Зину до непереносимости упоминания о ней. Некрасов старался наладить отношения в семье кружным путем, сближаясь с братом, пытаясь сделать его своим союзником и единомышленником. Он писал Наталье Павловне письма, в которых упоминал о душевном расположении, которое испытывала к ней Зина; делал подарки: «Добрая Наталья Павловна, Зина собирается Вам писать и послать шляпу и пр., о чем Вы писали»; «Добрая и дорогая Наталья Павловна, шляпку Вам посылаем, Зина просит сказать Вам, что эта шляпка надевается не как круглая, а как обыкновенная. По нашему понятию, шляпка очень мила; только я заметил Зине — не слишком ли она скромна для такой молоденькой женщины, как Ваша милость. На что получил ответ: не выдумывай! <…> Зина Вам кланяется; извиняется, что не сама пишет, *тем, что я пишу скорее,* а ей пора одеваться». Шутливая интонация Некрасова как бы вовлекает адресата в общую семейную жизнь, пытается создать ощущение близости. Эти попытки не увенчались успехом. «Добрая Наталья Павловна» была упорно настроена против Зиночки. Это было печально для Некрасова, поскольку он собирался проводить в Карабихе много времени и для него были важны ощущение единой семьи, дружелюбная и спокойная обстановка. Помимо прочего, Некрасов не мог не обижаться на брата, который был многим ему обязан, в том числе жизненным благополучием.

В 1873 году Некрасов предпочел Карабихе заграницу. Причиной, впрочем, были не семейные неурядицы — Некрасов ехал лечиться в Киссинген. Рекомендовал ему этот курорт доктор Николай Андреевич Белоголовый, прекрасно образованный разносторонний человек, ученик декабристов, хорошо понимавший, с какой незаурядной личностью он имеет дело и потому сохранивший ценные воспоминания о поэте. Некрасов обратился к нему зимой этого года с просьбой «принять его под свою команду», «починить». Осмотр, проведенный новым лечащим врачом, показал, что Некрасов в свои 52 года имел очень хорошее здоровье. Как вспоминал Белоголовый, его «организм сохранился изрядно». Апатию, вялость, усталость, на которые жаловался Некрасов, он счел скорее последствиями нездорового образа жизни, чем симптомами какого-то серьезного заболевания, и рекомендовал поездку на воды, в Киссинген, и купание в Дьепе. Сам Некрасов сообщал в мае невестке Наталье

Павловне: «…за границу, собственно в Киссинген, гонит необходимость: я болен печенью». Поездка, в которой его сопровождали Зина и сестра, длилась два месяца; кроме Киссингена и Дьепа они побывали в Висбадене, Париже и Вене. О препровождении времени в Киссингене Некрасов писал А. Н. Еракову, с которым собирался встретиться в Дьепе:

«Воду пью уже 13-ый день, действовать начала как следует только дней пять; придется попить еще дней десяток… Я не чувствую себя ни лучше, ни хуже, как был. Аппетиту большого нет, и прекрасно! — ибо еда дрянь; пью тоже мало, ибо киссингенское шато-говно не очень-то лестно вливать в себя.

Погода у нас недурная, хотя дождливых дней больше; бывают часто сильные грозы. В тот же день, как Вы пострадали от бури, сестра и Зина на обратном пути с прогулки были застигнуты бурею; перед ними сломало и свалило огромное дерево, так что они с испугу забежали спасаться в чужой дом. <…> Я почти не работаю, — говорят, вредно, да и некогда».

Вернулся Некрасов из-за границы в середине августа, но в Карабиху не поехал, предпочтя Петербург и ставшую к этому времени традиционной осеннюю охоту в небольшом имении Чудовская Лука, которое он приобрел еще в 1868 году специально для этого.

В Чудовской Луке Некрасов пробыл с начала сентября до середины октября, а по возвращении в Петербург оказался вовлечен в новый общественный проект, возможно, впервые давший ему ощущение, что серой мгле есть пределы и не всё ею поглощено. В начале декабря 1873 года группа литераторов задумала издать иллюстрированный сборник-альманах в пользу голодающих Самары. Мысль эта захватила писателей самой разной идейной ориентации. Некрасов был избран в комитет по изданию альманаха, получившего название «Складчина», в который входили также Краевский, Гончаров, Никитенко, консерватор князь Мещерский, князь Вяземский и многие другие. Поэт не только обещал дать в сборник собственные произведения, но и взялся осуществлять редакторские функции — сбора, отбора и редактирования присылаемых материалов, — что делал с большой энергией.

Все эти труды продолжались до апреля следующего года. Помимо удовлетворения от выполненной общественно полезной работы, деятельность по «Складчине» принесла Некрасову нового преданного друга — им стал библиограф Петр Александрович Ефремов, выступавший в качестве секретаря комитета по изданию «Складчины» и отнесшийся к своей общественной миссии с большой ответственностью. Они были поверхностно знакомы по

Литературному фонду, Ефремов кое-что печатал еще в «Современнике» и в новых «Отечественных записках», но сблизили их совместные хлопоты по «Складчине». Уже в марте 1874 года Некрасов приглашал его в гости очень по-приятельски: «Зина Вам кланяется. Завтра дома не обедаю, а сегодня, в воскресенье и понедельник — дома. Хорошо бы Вы сделали, кабы в один из сих дней пришли. Я бы почитал Вам своих стихов, а Зина обыграла бы Вас в пикет». И уже 27 марта, завершая работу по «Складчине», Некрасов писал: «Спасибо Вам за добрую прибавку в Вашем письме. Это то самое, что я при случае хотел Вам сказать с своей стороны. Хотел бы Вас видеть перед отъездом в Москву. Да и вообще не допускаю мысли, чтоб с окончанием «Складчины» так всё и оборвалось. Скажу кстати: мне не нравится, что во всяком деле самое трудное валится на Вас, и Вам не худо помнить, что на свете ужасно много охотников пользоваться чужим рвением, чему пример видели Вы и в нашем Комитете. Впрочем, Бог с ним! Главное: дело сделано! и я благодарен «Складчине», что она нас познакомила. Может быть, мы с Зиной вечером забежим к Вам, а то зайдите хоть на минуту завтра, а если успеете, то обедайте у нас сегодня». Некрасов подарил Ефремову свое собрание сочинений, вписав туда целый ряд неопубликованных стихотворений и вариантов известных, и свой фотографический портрет с шутливой дарственной надписью:

Взглянув чрез много, много лет
На неудачный сей портрет,
Скажи: изрядный был поэт,
Не хуже Фета и Щербины,
И вспомни времена «Складчины».

До конца жизни Некрасова их отношения оставались дружескими (они и по возрасту не сильно различались — Ефремов был на девять лет младше). Очевидно, Некрасов нравился Ефремову не только как поэт, но и как человек. Нравилась ему и Зиночка, и он однозначно встал на ее сторону в конфликте с Анной Алексеевной. Впоследствии Ефремов категорически откажется принимать какое-либо участие в затеянном Буткевич издании посмертного собрания стихотворений Некрасова. Видимо, Некрасову были интересны беседы с Ефремовым, много знающим о книгах и литераторах, некоторые из рассказанных приятелем историй он использовал в предсмертных автобиографических набросках.

Единственный небольшой конфликт произошел между ними

в следующем году и был связан с разногласиями по работе в Литературном фонде. Некрасову было поручено посетить третьестепенного литератора Шкляревского, подавшего прошение о материальной помощи, с целью выяснения необходимости ее оказания. После визита Некрасов составил краткий отчет: «По поручению Комитета посетил я г. Шкляревского. Трезвость полная; бедность, начиная с одежды и кончая столом и двумя стульями, находящимися в квартире, несомненная, которую г. Шкляревский скорее старается скрыть, чем выказать; любовь к литературе и труду своему — доводящая слушателя до умиления и подкупающая в пользу г. Шкляревского. Этот автор много уже получил из Общества, и я думаю, что и вперед мы не минем ему помогать. Как только он захворает на месяц или напишет такую вещь, которой не посчастливится ни в одной из редакций, ему доступных, он опять, вероятно, обратится к Обществу, и не помочь ему трудно. Он весь живет в своей литературе. У него составлены: алфавитный указатель статей, написанных им; изданий, где они помещались; издателей, с которыми он имел сношение; отзывов (к сожалению, чаще неодобрительных) об его сочинениях и пр. и проч, и проч. Словом, видно, что он вечно будет писать, отказываясь даже от более выгодных занятий, и как таланта у него немного, то придется ему время от времени помогать. Во всяком случае, я в настоящем случае не нашел причины отказать г. Шкляревскому в пособии, которое Общество в количестве 50 р. уполномочило меня выдать ему». У Ефремова сложилось другое представление о просителе: «Я узнал, что пьяница горький и недели за две до разговора, бывшего 23 марта, т. е. около времени получения пособия, пришел совсем пьяный, всё декламировал стихи г. Некрасова и заснул в лавке… Шкляревский… характеристикой которого была выставлена «трезвость полная, бедность и охота к труду».

Разногласие, видимо, возникло не из-за Шкляревского, а из-за чрезмерно резкого тона Еферемова, в высказывании которого можно было углядеть упрек и сомнение в добросовестности Некрасова. Это разногласие, выпукло показывающее разницу в характерах приятелей, и еще одно, по поводу помощи Вейнбергу, привели к размолвке, которая была прекращена после письма Ефремова: «Чтоб кончить раз навсегда с недоразумением и избавиться от услужливых передач в обе стороны преувеличенных толкований, скажу Вам, Николай Алексеевич, что у меня есть, к сожалению, очень немного таких дорогих личностей, к которым я не могу относиться равнодушно, именно потому, что люблю их и уважаю. Высоко ставя их, я отношусь к ним с какой-то ревнивой раздражительностью и волнением человека, у которого

затрагиваются его лучшие привязанности. Много тяжелого раздумья предшествует моим безумным выходкам, но, поставив себя в положение «виноватого», я тем самым даю себе право стать в прежнее отношение, если будет понято чувство, меня руководившее. Поверьте, что я ни с какой речью не обращусь к человеку, которого не ценю высоко стоящим в нравственном отношении. Может я не передал того, что желал Вам сказать, но уверен, что Вы сами разберете, в чем дело». Некрасов ответил дружески, радуясь ликвидации недоразумения: «Милый Петр Александрович. Словно что дорогое, потерянное нашел я, поговорив с Вами и получив Ваше письмо. В жизни многие люди терпят от излишней болтливости, я же часто терпел от противоположного качества и очень рад и благодарен себе, что отступил на этот раз от своей привычки молчать, а еще более благодарен Вам за Ваше письмо, в котором вся Ваша чудная душа». Дружба была восстановлена.

1873 и 1874 годы стали годами встреч Некрасова с давними приятелями. Инициатива часто исходила от самого поэта, привлекавшего старых знакомых к сотрудничеству в благотворительном альманахе, охотно дарившего знакомым только что вышедшее собрание своих стихотворений. В конце марта 1874 года Некрасов послал «Складчину» проживавшему за границей и углубившемуся в историко-литературные исследования П. В. Анненкову, от которого получил из Висбадена теплый ответ, начинавшийся словами: «…благодарю, что не забыли старого товарища, который видел Ваше развитие, начиная с водевильных пеленок». На присланное собрание стихотворений Некрасова Анненков откликнулся еще более приветливо: «Она (книга. — *М. М.)* подняла во мне старую, но не замолкнувшую страсть размышлять о поэзии и искусстве и отыскивать в них просто питательные вещества. Таких питательных веществ в Вашей книжке много, но требуется добрый химический анализ, чтобы открыть их и оценить правильно, а такого анализа, кажется, в нашей литературе и не полагается. <…> Так и Ваша книга — вещь очень серьезная. <…> Если попадете за границу, не забудьте Баден-Бадена, где я проведу всё лето… Там Вы найдете старого человека и старого приятеля». Возобновились приятельские отношения Некрасова с А. Н. Пыпиным, в это время сотрудником «Вестника Европы», единственным из взбунтовавшейся «артели», кто не выступил против Некрасова публично и вообще не стремился к личному конфликту с редактором «Современника». Пыпин высоко оценил «Русских женщин». Он как раз начал работать над книгой «Белинский, его жизнь и переписка», которая выйдет еще при жизни Некрасова, в

1876 году, и ему было о чем расспросить поэта.

Неожиданно теплое письмо получил Некрасов от Кавелина, одного из самых строгих своих судей в «деле с Белинским», несостоявшегося идейного руководителя «Современника». Некрасов высоко оценил кавелинскую статью, предназначенную для чтений в пользу Литературного фонда, и ее автор, давно оставивший Санкт-Петербургский университет и служивший по Министерству финансов, неожиданно принял эту оценку близко к сердцу: «Только вчера воротился я из загородной поездки и потому не мог до сих пор поблагодарить Вас за отзыв о моей статье. Если б мне не думалось, что наше старое знакомство и сотоварищество по литературному фонду не осталось без влияния на Ваш приговор, то я бы гордился им и по свойственному всем авторам в мире тщеславию носился бы с ним всюду. Вы человек знающий досконально русскую публику, и Ваше мнение я считаю в этих делах безапелляционным. Отзыв одобрительный такого знатока придаст мне храбрости при публичном чтении, от которого я совсем отвык».

Работа по «Складчине» воскресила и совсем давно оборвавшиеся связи. Некрасов снова вступил в деловые отношения со своим бывшим соиздателем времен «Статеек в стихах без картинок» В. Р. Зотовым.

А. В. Никитенко, первый ответственный редактор некрасовского «Современника», давно оставивший университет и цензуру, принял участие в подготовке сборника и высоко оценил напечатанные в «Складчине» некрасовские «Три элегии», о чем счел нужным написать их автору: «По разным недосугам, я недавно только начал пересматривать нашу Складчину, в которой некоторые вещи мне были неизвестны, и первое, на что обратились мои взоры, это три прелестные Ваши стихотворения. Они доставили мне то высокое наслаждение, которое ощущаешь всегда, когда истинное, глубокое чувство в отзыве стройного и изящного слова коснется нашему сердцу. Это не новость, что Вы пишете прекрасные стихи и что в них протекает Ваша поэтическая струя. Но в тех стихах, которые теперь передо мною, истинное и глубокое чувство, прошедшее сквозь бури и тревоги жизни, возвысилось до идеальной прелести и чистоты. Это настоящая художественность. Спасибо Вам, много раз спасибо от старого, но слава богу не состарившегося еще служителя, если не искусного, то честного служителя истин, которыми поддерживается умственное, эстетическое и нравственное достоинство человеческое. Не взыщите, дорогой Николай Алексеевич, за немного дидактическую заметку — старая привычка; но она не всегда господствует надо мною, а только иногда прорывается

именно от того, что она привычка. Много бы еще поговорить можно по поводу Ваших стихотворений — да не теперь. Теперь же я не мог воздержаться, чтобы не разделить с Вами впечатлений, Вами же возбужденных».

Все эти письма и встречи пронизаны духом ностальгии, теплыми чувствами людей, которых в молодости, в лучшие годы связали дружба и вражда и которым уже нечего делить. Ностальгически окрашен и написанный Некрасовым специально для «Складчины» небольшой цикл «Три элегии», собранный в основном из фрагментов десятилетней давности, не вошедших в стихотворение «Слезы и нервы». «Три элегии» стали эпилогом «панаевского цикла», они написаны уже не просто о жизни «после любви», но о давно прошедшей любви, о тоске по «любви, не знающей конца». Давно прошедшая любовь вспоминается и обретает высокую цену не потому, что была прекрасна, а потому, что в жизни не было ничего лучше ее. Здесь нет любовного быта, нет характерной для «панаевского цикла» сиюминутности, потому что уже возникла большая дистанция, позволяющая создать обобщенный и идеализированный образ самого чувства, а не «предмета», на который оно было направлено. Поэт зовет бывшую возлюбленную, но знает, что если она вдруг услышит его призыв и вернется, ему нечего будет ей сказать, нечего предложить, потому что скучает он не по реальной женщине из плоти и крови, а по истинной любви.

И всё же не все встречи 1874 года были ностальгическими и происходили с литераторами, ощущавшими себя «отжившими» и обратившимися к истории и мемуарам. В самом начале года в жизнь Некрасова неожиданно снова вошел Лев Толстой. Отношения с ним давно прервались, и нет сведений, насколько пристально и заинтересованно Некрасов следил за творчеством писателя, которого когда-то пытался воспитывать и которого безоговорочно признал «необыкновенным талантом», гордостью и надеждой русской литературы. В «Отечественных записках» были опубликованы в целом положительные рецензии на «Войну и мир», однако степень знакомства Некрасова с этой книгой нам неизвестна. В любом случае Некрасов, несомненно, понимал, что Толстой стал едва ли не официально признанным публикой первым из современных ему русских писателей, превратился в огромную величину, сродни той, какой сам он был в поэзии.

Возможно, Некрасов в этот момент ощущал нехватку хорошей беллетристики в журнале или просто стремился, использовав момент, привлечь в журнал популярного (и, что немаловажно, представлявшегося безопасным с точки зрения цензуры) писателя. В январе 1874 года он обратился к Толстому с

предложением напечатать в «Отечественных записках» его новый роман «Анна Каренина», работа над которым еще продолжалась. Толстой после колебаний всё-таки опубликовал роман в «Русском вестнике», которому его давно обещал, а в журнал Некрасова дал педагогическую статью «О народном образовании». Толстой в это время был погружен в ожесточенные споры с педагогами и отстаивание своей оригинальной педагогической теории. Он не считал себя «бывшим» деятелем и, хотя и завершил одно из писем Некрасову на отчасти ностальгической ноте: «Несмотря на то, что я так давно разошелся с «Современником», мне очень приятно теперь посылать в него свою статью, потому что связано с ним и с Вами очень много хороших молодых воспоминаний», — быстро перешел к текущим делам, делясь обидами, нанесенными ему «тупоумными», нечистыми на руку «педагогами». Статья Толстого, напечатанная в «Отечественных записках», спровоцировала хрестоматийно известный отклик Михайловского «Десница и шуйца Льва Толстого» в пятом и седьмом номерах журнала за 1875 год, вынужденного как-то объяснять, как появилась в считающемся прогрессивным журнале столь эксцентричная и архаическая педагогическая концепция. Отношения с Толстым так и не потеплели и вскоре снова прервались.

Иначе сложились отношения с другим действующим и набиравшим популярность литератором — Достоевским. Они были вполне приязненными после возвращения писателя с каторги и в период «Времени» и «Эпохи», но прервались с отъездом Достоевского за границу и переходом его в число постоянных авторов «Русского вестника». Ближе к концу 1874 года Некрасов и ему предложил опубликовать в «Отечественных записках» уже почти готовый роман «Подросток». Многое препятствовало такому союзу — не только сам факт сотрудничества Достоевского в катковском издании (оно не мешало печататься в «Отечественных записках», к примеру, Полонскому), но и совсем недавняя публикация отчетливо антинигилистского романа «Бесы», где мелькнула даже небольшая пародия на самого «народного поэта». Возможно, некоторые члены редакции и возражали против сотрудничества с писателем, но Некрасов в этом случае оказался выше идеологических пристрастий. Идейно «умеренный» «Подросток» печатался в некрасовском журнале на протяжении 1875 года. Деловое сотрудничество постепенно привело к возвращению теплоты в личных отношениях, и в последние годы жизни поэта Достоевский, несомненно, «сочувствовал» ему, нечасто, но искренне и заинтересованно с ним общался.

Зато сотрудничество с еще одним бывшим знакомым не состоялось. Писемский, когда-то «примкнувший» к Дружинину и порвавший с «Современником», в ноябре 1874 года через Островского, отношения с которым у Некрасова были неизменно дружескими и деловыми, предложил в «Отечественные записки» свою новую комедию. Некрасова предложение совершенно не заинтересовало. «Не без причины я мешкал с ответом о Писемском, — писал он Островскому, — да и теперь не знаю, что сказать. Вот положение дела: на следующий год у нас есть роман Достоевского, роман г-жи Крестовской, еще имеем в виду Вашу работу и роман Л. Толстого, который поманил нас этой надеждою. Боюсь, что приглашение Писемского, который прежде тоже сильно дорожился, не обременило нашего бюджета. Еще кабы наверно вещь хорошая. Всё это *между нами.* Повремените пока предложением; комедию, которую прислал сюда Писемский, сильно не хвалят. Но, может, и врут. Может быть, мне удастся ее прочесть». Писемский и сам не испытывал особой ностальгии по прошлому и, видимо, не вызывал приятных воспоминаний у Некрасова, а литератором уже представлялся сомнительным, на уровне «г-жи Крестовской», и публикация в «Отечественных записках» не состоялась.

Не стал в этом году сотрудником некрасовского издания и журналист, писатель, а в ближайшем будущем издатель Алексей Сергеевич Суворин. Он уже тогда пользовался устойчиво дурной репутацией литературного дельца, нечистоплотного и всеядного журнального хищника (хотя, конечно, было еще далеко до его репутации редактора «Нового времени», сложившейся на рубеже веков). В течение 1873 и 1874 годов происходило сближение двух маститых журналистов, приведшее к появлению у Некрасова идеи пригласить Суворина в «Отечественные записки» в качестве постоянного сотрудника на место Демерта, автора фельетонов о современной общественной жизни. Это намерение натолкнулось на сопротивление остальных членов редакции, для которых Суворин был совершенно одиозной фигурой — Салтыков сделал его одной из излюбленных мишеней своей сатиры в качестве образцового продажного журналиста. Некрасов не стал спорить и от своего намерения отказался.

Несостоявшееся сотрудничество не привело к разрыву личных отношений. Суворин предполагал, что он совершенно неприемлем для Михайловского и Салтыкова, и, будучи человеком трезвомыслящим и деловым, не обиделся. Видимо, именно эта практическая жилка, присущая обоим, и сблизила его с Некрасовым. Они много беседовали, поэт рассказывал Суворину о своей жизни и, может быть, был с ним более откровенен, чем со

многими другими. Не просто практическая сметка Суворина, но какой-то простой и одновременно глубокий взгляд на жизнь, сходство судеб (оба были вынуждены долго выбиваться в литературные генералы) давали Некрасову основания думать, что какие-то стороны его натуры, его судьбы более понятны этому человеку и могут быть им приняты лучше, чем «идеалистами», ригористами, героями или простыми циниками. Это не значило, конечно, что Суворин во всём лучше понимал Некрасова, чем другие. Ему, скорее всего, была недоступна та «идеальная» сторона, которая всегда присутствовала в Некрасове. По складу личности Суворин просто не знал, что такое идеалы, ценности; поэтому его воспоминания о Некрасове, записи разговоров, в которых поэт предстает особенно прагматичным, хотя и правдивы, но неполны и односторонни.

В начале 1874 года, когда работа по изданию «Складчины» была в самом разгаре, вышел указ о введении в России всеобщей воинской обязанности, положивший начало самой успешной реформе эпохи Александра II. К тому времени процесс реформирования армии уже шел, многое было сделано, но теперь официально отменялась рекрутчина, воинская обязанность возлагалась равно на все сословия, срок армейской службы сокращался до шести лет и зависел от уровня образования. Эта реформа стала личной заслугой Дмитрия Алексеевича Милютина. Практически одинокий в чрезвычайно консервативном правительстве, но пользовавшийся симпатией царя и неожиданной поддержкой ставшего министром государственных имуществ Валуева, он смог подготовить и начал осуществлять одну из самых гуманных реформ в российской истории. И здесь были компромиссы, многое было сделано формально (он тоже ковал, пока железо было горячо), но в любом случае возникло ощущение, что воскресла, казалось, завершившаяся эпоха реформ.

В июле состоялся суд на двенадцатью членами кружка Александра Васильевича Долгушина, пропагандистами-народниками, издавшими три прокламации и пытавшимися распространять их среди крестьян и рабочих. Одна из прокламаций, обращенная к интеллигенции, призывала образованных людей «идти в народ». Судебный процесс проходил открыто, обвиняемых защищал целый ряд блестящих адвокатов, однако, несмотря на констатацию отсутствия какого-либо реального эффекта от прокламаций, участники кружка получили беспримерно жестокое наказание — от пяти до десяти лет каторги. Мужественное поведение подсудимых и их дерзость как будто воскресили эпоху «Земли и воли»; оказалось, что всё это время существовали кружки, подпольные организации молодежи,

о которых посторонняя публика уже и думать забыла (не считая, конечно, зловеще-карикатурной и имеющей привкус шарлатанства и авантюризма нечаевской «Народной расправы», как будто свидетельствовавшей о полной деградации революционного подпольного движения в России). И члены этих разнообразных кружков и организаций весной и летом этого года двинулись в народ. Убежденные идеологами народничества, вдохновленные любовью к народу и огромной верой в него, морально подготовившиеся к тяготам народной жизни, молодые люди отправились в деревни разъяснять крестьянам трудность их положения и способы его облегчения. Этот феномен «хождения в народ», свидетелем которого стал Некрасов, стал посрамлением разочаровавшихся, опустивших руки и разуверившихся. Осенью, когда правительство, спохватившись, начало принимать меры, было арестовано более тысячи молодых людей разного происхождения, из которых 108 человек будут впоследствии (уже после смерти Некрасова) осуждены на каторгу и ссылку. Даже то, что их любовь оказалась «безответной» и народ не убеждался пропагандой пришлых людей, а иногда сам сдавал их властям, только усиливало ощущение яркости этого свершения.

Непосредственная реакция Некрасова на эти события неизвестна, но они пробудили его интерес к настоящему, вызвали новый творческий подъем. В 1874 году Некрасов не ездил за границу; как утверждал доктор Белоголовый, здоровье его поправилось после прошлогодних вод. Не поехал он и в Карабиху — возможно, из-за ухудшения отношения его родных к Зиночке. Неприязнь сестры поэта к его подруге вылилась в какие-то жесты или демонстративные поступки, и он решил объясниться с Анной Алексеевной начистоту, но потерпел поражение в попытках наладить отношения двух дорогих ему женщин и потребовал от сестры хотя бы соблюдения приличий. Из адресованного ей письма Некрасова от 30 октября не ясно, что же конкретно произошло, однако оно хорошо передает состояние дел:

«Милая сестра, нельзя позволять, чтоб ничтожные мелочи, недоразумения брали верх над здравым смыслом, над чувством. Многие люди терпят в жизни от излишней болтливости; я часто терпел от противоположного качества и делаю попытку не потерпеть на этот раз.

Для этого должен войти в некоторые мелочи. Ты объяснила мне свои чувства к Зине; хотя я пожалел, что ты на нее смотришь неправильно, но это нисколько не восстановило меня против тебя; ты поступила честно. А затем произошло следующее: когда ты заехала ко мне проститься перед дачей, Зины не было в комнате — и я ее не вызвал. Это потому, что я ее даже намеком

не предупредил о том, как ты на нее смотришь, и мне было жаль и совестно внезапно поставить ее лицом к лицу с человеком, о настоящих чувствах которого к ней она не имеет понятия. Мне было неловко, и свидание вышло неловкое и натянутое.

Ты должна была подумать, что я сержусь на тебя за мысли твои о Зине, и с тех пор не заглядываешь ко мне, а я много раз собирался к тебе, да меня останавливала необходимость объяснения; всяких объяснений я боюсь и обыкновенно откладывал их до той поры, пока они не становились поздними и ненужными.

Кажется, за всю жизнь это я в первый раз переломил себя в этом отношении.

Итак, знай, что я вовсе не сержусь и не считаю себя вправе сердиться; я считаю только себя вправе требовать от тебя, из уважения ко мне, приличного поведения с Зиной при случайной встрече, что я давно исполняю в отношении к тебе, подавая руку Льву Ал[ександро]вичу (Еракову. — *М. М.)*.

Вот и всё с моей стороны. Ничего бы я этого не написал, если б не знал, что отношения, в которые мы стали, готовят для меня в будущем время от времени болезненные сжимания сердца и упреки самому себе. Моя усталая и больная голова привыкла на тебе, на тебе единственно во всём мире, останавливаться с мыслью о бескорыстном участии, и я желаю сохранить это за собой на остаток жизни.

Весь твой

Н. Некрасов.

P. S. Щадя твои, как и свои, нервы, я бы не советовал тебе ни думать, ни писать ко мне об этом много, а если ты согласна, что нет повода нам коситься друг на друга, то, значит, и кончено и ладно. Увидимся; если не заедешь ко мне, то я на днях заеду».

Что за «мысли» имела Анна Алексеевна по поводу Зиночки, неизвестно, и гадать мы не будем. В любом случае сестра вняла увещеваниям Некрасова — в дальнейшем «сцен» не происходило. Это, конечно, не сделало отношения более дружескими, но ввело их в рамки внешних приличий. Судя по всему, Федор Алексеевич к этому моменту разделял чувства сестры, что делало для Некрасова пребывание в Карабихе не очень приятным. 25 апреля он писал брату: «Мы с Зиной намерены май прожить около Чудова, а в 1-х числах июня приехать к вам, если только ты и Настасья Павловна (описка Некрасова; имеется в виду супруга брата Наталья Павловна. — *М. М.)* напишете нам хотя в двух словах, что не сердитесь и будете довольны нашим прибытием. Настасье Павловне кланяюсь, Зина также. Она бы давно и много ей писала, да не могу убедить ее писать, ибо она боится

орфографических ошибок, с которыми пишет. Вот тайна сего глубокого молчания!

Пусть усмехнется Настасья Павловна и извинит ей. Будьте здоровы, друзья мои. Кланяюсь вашим детям».

Возможно, отношения стали настолько сложными, что у Некрасова возникала даже идея (высказанная в разговорах с Ераковым) купить другое имение; как показывает письмо тому же Еракову из Чудовской Луки, от этой задумки он всё-таки отказался, придумав компромиссный вариант: «Насчет имения вот моя мысль: купить мне хотя бы и отличное имение, значит навязать себе обузу и источник разорения — неумно! Лучшее выстроиться в Карабихе: место красивое, людное, близко и к Москве, и к Ярославлю. И только дом, да сад, да огород. Ничего более; когда я там — со мной мои люди к моим услугам, а остальное время всё-таки сберегут. Это самое выгодное условие в моем положении, как я ни думал. И давно бы надо это сделать!»

В результате лето 1874 года Некрасов провел в Чудовской Луке, охотясь вместе с Зиной, наезжая в Петербург по разнообразным делам и работая. Он создал целый ряд лирических произведений, традиционно называемых исследователями и комментаторами «чудовским циклом». Поэт так описывал свою жизнь в Чудове в письме А. Н. Еракову, с которым в это время чувствовал большую степень близости: «Я отчасти хандрю, отчасти работаю, отчасти лечусь. Охота на втором плане. Впрочем, следующий отчет о поведении моем, начиная с 6 июня (день переезда в деревню), лучше всего меня оправдает.

Употреблено на питание мариенбадской воды 30 дней, и по сей причине не пил ни вина, ни водки 60 дней.

В первые 39 дней читал только корректуры, затем принялся писать и написал след[ующие] пьесы:

«Уныние» довольно большая пьеса.

«Горе старого Наума», поэма.

«Ночлеги», три пьесы: 1) «Новый барин», 2) «Гари», 3) «У Трофима» и затем еще несколько мелких лирических стихотворений.

В то же время прочтено корректуры более 80-ти листов и выпущены две книги «Отечественных записок», причем двукратно ездил в город и каждый раз возвращался с мерзостью на душе. В последний приезд была хорошая погода — и это причина, что не дал тебе телеграммы: жаль было лишить тебя двух хороших дней. <…> Я теперь посерьезнее принялся за охоту — работать устал, да и приобрел право пить и есть, без чего охота утомительна и не впрок здоровью».

Созданные в «чудовский» период стихотворения как будто стремятся быстро охватить всю изменившуюся ситуацию в России. Среди них мы находим сатиру «Путешественник», в которой отразились материалы дела долгушинцев и «охоты» за народниками-пропагандистами (Некрасов на процессе не присутствовал, но мог знать о характере обвинений от В. П. Гаевского, который выступал на суде в качестве одного из общественных защитников подсудимых). Стихотворение звучит настолько дерзко, что поэт опасался печатать его в своем журнале. Посылая «Путешественника» Скабичевскому, Некрасов писал: «При сем стихи, вдохновленные новейшими событиями. Хорошо бы их напечатать, а еще лучше не печатать. Прочтите их и передайте Плещееву. Не надо их списывать и распространять. Я их со временем вклею в свою книгу, а если они походят по рукам, как опасный товар, тогда пропадут». Стихотворение, действительно, при жизни Некрасова опубликовано не было. Позднее он передал его вместе с несколькими другими Суворину, но и тот не решился его опубликовать.

В «Горе старого Наума» поэт высказывает совершенно народнические убеждения, выражает полную солидарность с верой молодых пропагандистов в народ и, главное, снова пробудившуюся надежду:

Увы! я дожил до седин,
Но изменился мало.
Иных времен, иных картин
Провижу я начало

В случайной жизни берегов
Моей реки любимой:
Освобожденный от оков,
Народ неутомимый

Созреет, густо заселит
Прибрежные пустыни;
Наука воды углубит:
По гладкой их равнине

Суда-гиганты побегут
Несчетною толпою,
И будет вечен бодрый труд
Над вечною рекою…

Эта иррациональная вера была не то чтобы верой в

непосредственный успех народнического движения («Мечты!.. Я верую в народ, / Хоть знаю: эта вера / К добру покамест не ведет»), но шла от самого возрождения общественной жизни, от пробуждения общественных сил. К «Горю старого Наума» примыкает небольшой цикл «Ночлеги» — «деревенские новости», показывающие, что теперь снова есть что писать о российской деревне. Кроме того, в Чудове написан «Пророк», вызванный воспоминанием о Чернышевском, проснувшимся в это время, когда вдруг обнаружились сотни его последователей. И к галерее героев и рыцарей без страха и упрека, святых безумцев, жертвующих собой для общего блага, прибавился еще один суровый портрет пророка и мученика — единственный в ней, написанный с живого человека.

Неожиданно пробудившаяся общественная жизнь заставляет Некрасова в свете поступков новых героев посмотреть на себя, на то положение, в котором он оказался, на тот капитал, с которым он пришел в нынешнее время. Поэт делает это в двух длинных стихотворениях, написанных также в Чудовской Луке, — «Унынии» и «Элегии». Первым было написано «Уныние», работал над ним Некрасов долго (5—13 июля), что трудно предположить по его внешней простоте и безыскусности. Это элегия, с одной стороны, опирающаяся и на общие традиции жанра (само название «Уныние» — как будто квинтэссенция настроения, характерного для него), и на несколько конкретных образцов (пушкинскую «Осень», одноименное стихотворение Баратынского), с другой — включающаяся в череду стихотворений, подводящих промежуточные итоги, как лермонтовское «1831-го июня 11 дня» или знаменитое предсмертное стихотворение Байрона «On This Day I Complete My Thirty-Sixth Year[36]» («Должно бы сердце стать глухим…»). Таким образом, и тематика, и эмоциональная окраска как бы обусловлены традициями, в которых написано стихотворение. На этом фоне поражает ощущение абсолютно искреннего и прямого, «нелитературного» высказывания, возникающее за счет максимальной «прозаизации» языка и образного строя стихотворения. И сам быт поэта, и окружающий пейзаж описаны максимально упрощенно: «на лето укрываюсь», «с запасом сил и ворохом стихов», «сметает сор», «не чувствовать над мыслью молотка», «так шли дела», «лето не задалось», «от него отделаться», «не оберусь хлопот», «причина в атмосфере», «со стороны блюстителей порядка я, так сказать, был вечно под судом». Только с четвертой строфы начинает звучать традиционная высокая поэтическая лексика. Сам выбранный размер — пятистопный ямб — очень медленный, разговорный,

скрадывающий ритм. Начало стихотворения готовит читателя к тому, что и размышления, и исповедь будут просты и искренни, без всякой «рисовки», что подчеркивается приятельским упрощенным обращением автора:

Мне совестно признаться: я томлюсь,
Читатель мой, мучительным недугом.
Чтоб от него отделаться, делюсь
Я им с тобой: ты быть умеешь другом,
Довериться тебе я не боюсь.

Ошеломляюще правдоподобное впечатление непосредственного высказывания возникает потому, что отказ от «формы» совершается в том виде литературы, который именно форму выдвигает вперед. То же, написанное прозой, не производило бы столь сильного эффекта. Невозможно отделаться от ощущения, что поэт обращается прямо к читателю, что он решил поговорить, а не написать стихотворение на какую-то тему. Лирический герой говорит о себе как о человеке, пишущем стихи, а не о том идеальном поэте, каким он хотел бы быть, или о том идеале, к которому он стремится в своей поэзии. И он говорит о себе простые вещи. Во-первых, что он был оригинальным, не стремившимся быть приятным для всех: «Пути, утоптанные гладко, / Я пренебрег, я шел своим путем». Во-вторых, что он был оппозиционным поэтом и журналистом, всегда подозрительным власти: «Со стороны блюстителей порядка / Я, так сказать, был вечно под судом». В-третьих, что он постоянно подвергался другому «суду» — пристальному требовательному вниманию молодых идеалистов и максималистов, меряющих всё высшей меркой и не признающих компромиссов: «Я знал другой недружелюбный суд, / Где трусостью зовется осторожность, / Где подлостью умеренность зовут. / То юношества суд неумолимый». В-четвертых, что у него есть враги, которые в любом случае его осудят: «Враги мои решат его согласно, / Всех меряя на собственный аршин». В-пятых, что он верит в существование дружественного читателя-гражданина, того читателя, для которого, по словам Чернышевского, он был единственным поэтом, и именно ему, признаваясь: «…во мне нет сил героя, — / Тот не герой, кто лавром не увит / Иль на щите не вынесен из боя, — / Я рядовой (теперь уж инвалид)», — доверяет суд над собой.

После мрачного зрелища издыхающей лошади показаны элегические картины волжской природы (несмотря на то что стихотворение написано в Чудове, его фоном являются родные

грешневские места). Лирический герой перебирает свои обычные источники вдохновения — картины деревенской жизни, сочувствие народу и желание ему блага; но результат его не удовлетворяет:

Беру перо, привычке повинуясь,
Пишу стихи и — недовольный, жгу.
Мой стих уныл, как ропот на несчастье,
Как плеск волны в осеннее ненастье
На северном пустынном берегу…

И всё-таки финал говорит не о творческом бесплодии, а о том, что творчество не позволяет преодолеть «уныние», стих тоже «уныл». Смысл здесь именно в том, что человек, которому перевалило за шестой десяток, чувствует усталость и хандру, от которых не спасает его поэтическое призвание, оно же — привычка и профессия. Резюме жизни поэта: он был подсудимым всю жизнь и на этом суде не был героем, но не был и трусом, он был вынужден быть умеренным и осторожным, но делал это из любви к народу и желания ему счастья.

«Элегия» композиционно отчасти повторяет «Уныние» — здесь так же в центре образ поэта, бродящего по лугам и думающего о народе. При этом она как будто представляет собой переработанный финал «Уныния», в котором «сокращены» все «рефлексивные» строфы об унынии и хандре и остается только народ как источник вдохновения. В отличие от «Уныния», «Элегия» насквозь литератур-на — не только потому, что насыщена реминисценциями из пушкинской «Деревни» и других гражданственных произведений, но и по сгущенному языку, изобилующему поэтизмами, в котором совершенно не остается места «прозаизмам» — даже если они есть, они начинают звучать как высокая поэтическая лексика. Здесь есть и «бичи», и появляющаяся после долгого перерыва Муза, и много другого, вплоть до упоминания «сельских дев», «тайных дум», «прохладной полутьмы» и обращения к Богу: «…у небес могущества молю». Это стихотворение именно о литературе, именно о том, чего Некрасов избегал в «Унынии»: каким поэтом он хочет быть, в чем видит смысл поэзии. Отбрасывание всего «житейского» превращает лирического героя уже не в инвалида, но в бойца (независимо от результата его усилий на поле боя, который так волновал его в «Унынии»), напоминает о стихотворениях «Блажен незлобивый поэт…» и «Поэт и гражданин»:

Я лиру посвятил народу своему.

Быть может, я умру неведомый ему,
Но я ему служил — и сердцем я спокоен…

Пускай наносит вред врагу не каждый воин,
Но каждый в бой иди! А бой решит судьба…

Отделение творчества от личности, которую его судьи так настойчиво «прибавляют» к нему, позволяет Некрасову уйти от двойного суда, описанного в «Унынии». Он обретает уверенность в себе, и творчество становится облегчением. Теперь поэт «спокоен сердцем» и пишет стихи не потому, что его профессия — претворять любые ощущения в поэтические звуки. Теперь он настоящий творец, «поющий» под влиянием практически божественного вдохновения:

И песнь сама собой слагается в уме,
Недавних, тайных дум живое воплощенье:
На сельские труды зову благословенье,
Народному врагу проклятия сулю,
А другу у небес могущества молю,
И песнь моя громка!.. Ей вторят долы, нивы,
И эхо дальних гор ей шлет свои отзывы,
И лес откликнулся…

Видимо, поэтому менее интимная и «биографическая», более «риторическая», чем «Уныние», «Элегия» кажется Некрасову более «задушевной». Он пишет Еракову: «Посылаю тебе стихи, так как это самые мои задушевные и любимые из написанных мною в последние годы, то и посвящаю их тебе, самому дорогому моему другу. Одна просьба — не давай их никому списывать, а читать можешь, коли они тебе понравятся, кому угодно».

Жизнь продолжалась в тех проявлениях, о которых Некрасов мечтал и которые были питательной средой для его поэзии: молодые люди совершали подвиги во имя народа, либеральные министры проводили гуманные и справедливые реформы, поэт же снова начинал находить слова, резонирующие с современностью. Впрочем, и сам Некрасов совершил в этом году небольшой подвиг — предложил делить, формально закрепив в договоре, все доходы от журнала (конечно, его собственной доли — Краевский в этом акте не участвовал) между тремя сотрудниками — Салтыковым, Елисеевым и им самим. 15 марта такое соглашение было подписано, надежно материально обеспечив дольщиков. Видимо, отчасти Некрасов действовал по образцу условий с

Добролюбовым и Чернышевским, но тогда, по утверждению последнего, именно он практически заставил Некрасова такое условие принять. Теперь редактор сделал это добровольно. Возможно, он руководствовался не только соображениями справедливости, но сознанием необходимости как-то обеспечить будущее журнала на случай своего «ухода». Это было своего рода наследство: Некрасов хотел оставить «Отечественные записки» в руках единомышленников и «товарищей», а специфические отношения с Краевским, который в случае его смерти оставался полным хозяином журнала и мог распоряжаться им по своему разумению — например, уволить всю редакцию, — заставили его искать возможности для укрепления положения своих соратников. Возможно, замысел возник у Некрасова несколько раньше, в период, когда он ощущал себя больным и ездил лечиться от «печени», а теперь дошел до осуществления. Во всяком случае, большую часть 1875 года журнал издавался уже как совместное или, как выразились бы Жуковский с Антоновичем, «артельное» предприятие.

БОЛЕЗНЬ И СМЕРТЬ

В 1875 году продолжилось сотрудничество с Достоевским: на протяжении всего года в «Отечественных записках» печатался с перерывами «Подросток». Некрасову пришлось столкнуться с тем, с чем долго мирился Катков в «Русском вестнике»: неаккуратностью автора, задерживавшего новые главы романа. Некрасов как опытный редактор, ценивший Достоевского, относился к этому терпимо, хотя иногда и был вынужден дружелюбно понукать: «Многоуважаемый Федор Михайлович. Вместо рукописи получил вчера Ваше письмо. До 2-го можно, конечно, как-нибудь ждать, но не более. Мы не гонимся за особенною аккуратностью, но неаккуратность должна, так сказать, иметь свой предел. <…> Напишите мне, как Вы думаете с третьей частью, имейте в виду, что я в конце мая уеду, и, значит, свидеться или списаться нужно ранее. Присылайте, не сердитесь за ворчанье — старость подходит». В результате роман с очевидно скомканным финалом был полностью опубликован в «Отечественных записках» в 1875 году. Некрасов за это время несколько раз встречался с Достоевским и, одобряя роман в целом, высказывал замечания, которые, к удивлению автора (выраженному в его письме жене в начале февраля), оказались справедливыми и были почти безоговорочно им приняты. Всё-таки Некрасов был первым настоящим литератором, который «признал» Достоевского.

Отношения с Толстым едва не получили продолжение: в апреле Толстой предложил Некрасову новую педагогическую статью, прося при этом откликнуться рецензией на его недавно вышедшую «Азбуку», и Некрасов, несмотря на то, что «Анну Каренину» Толстой ему не отдал, тут же обещал сделать и то и другое в следующем, майском номере, только просил прислать материал не позже 25–27 апреля. Толстой статью не прислал ни тогда, ни позже. Это был последний эпизод, в котором пересеклись два великих писателя. Их отношения не возобновились.

Зато еще более близким стало общение с Сувориным. Некрасов всё-таки договорился со своими строптивыми соредакторами, что хотя бы разовое участие Суворина в журнале будет приемлемым, и сразу сообщил приятелю, что сотрудники «единогласно рады» такому компромиссу, и просил его «не изменять своего решения». Тем не менее статьи Суворина в «Отечественных записках» не появились — у него были другие планы, существенно более масштабные, делавшие его еще больше

похожим на самого Некрасова.

Главное, что тревожило в этом году Некрасова, — тяжелая болезнь Салтыкова. Сатирик заболел в апреле, находясь за границей, и некоторое время ощущал себя при смерти. Некрасов был очень встревожен и даже собирался ехать его спасать. Он писал Анненкову, который был очень дружен с Салтыковым:

«Нечего Вам говорить, как уничтожает меня мысль о возможности его смерти теперь, именно: у-ни-чтожает. С доброй лошадью и надорванная прибавляет бегу. Так было со мной в последние годы. Журнальное дело у нас всегда было трудно, а теперь оно жестоко; Салтыков нес его не только мужественно, но и доблестно, и мы тянулись за ним, как могли. Не говорю уже о том, что я хорошо его узнал и привязался к нему.

Надо Вам сказать, что последняя моя телеграмма (о семействе) вызвана была некоторыми особыми соображениями. Между нами, в семейном быту его происходит какая-то неурядица, так что он еще здесь колебался — не ехать ли ему одному. Я подумал, не назрел ли вопрос окончательно, и в таком случае немедля поехал бы, чтоб взять от него элемент, нарушающий столь необходимое для него спокойствие. Но ехать за семейством в случае несчастья мне самому не было бы резону, мы найдем, кого послать. Не на кого оставить журнал».

В том же письме Некрасов просил Анненкова, когда Салтыкову будет полегче, прочесть ему посвященные ему стихи:

О нашей родине унылой
В чужом краю не позабудь
И возвратись, собравшись с силой,
На оный путь — журнальный путь.

На путь, где шагу мы не ступим
Без сделок с совестью своей,
Но где мы снисхожденье купим
Трудом — у мыслящих людей.

Трудом — и бескорыстной целью.
Да, будем лучше рисковать,
Чем безопасному безделью
Остаток жизни отдавать.

К счастью, Салтыкову стало лучше, тревога за его здоровье спала, его письма, исполненные мрачного остроумия, веселили Некрасова и хотя бы отчасти помогали ему переносить и легшую на него тяжесть издания журнала, и начавший приобретать

угрожающий характер собственный недуг. Доктор Белоголовый сообщает, что зимой 1874/75 года заметил симптомы ухудшения состояния здоровья Некрасова, хотя каких-либо физиологических изменений в печени или кишечнике исследование не обнаружило. В первой половине 1875 года болезнь еще не мешала творчеству, снова, казалось, обретшему сильное дыхание и связь с современными вопросами. В это время Некрасов написал большую сатирическую поэму «Современники» (вышла в двух книжках «Отечественных записок»), по стилю примыкающую к сатирическим вещам второй половины 1860-х годов: «Балету», «Газетной», «Песням о свободном слове» и др. В поэме чувствуется влияние щедринских очерково-фельетонных циклов, например, печатавшегося в «Отечественных записках» практически в течение всего 1872 года «Дневника провинциала в Петербурге», к которому «Современники» близки тематически. Это еще один образец сатирического обозрения: в разных залах знаменитого ресторана Дюссо собраны наиболее яркие и несимпатичные «современники». Все эти «пирующие», «праздно болтающие» отмечают какие-нибудь юбилеи и «триумфы». Поэма вызвала на удивление заинтересованные отзывы у критики, дружественная часть которой констатировала (наверняка к большому удовольствию поэта), что он по-прежнему держит нить современности в руках, умеет попадать в нерв актуальных тенденций, а враждебная в старых традициях ругала за «низкий» и непоэтический материал (что тоже, скорее всего, понравилось Некрасову как напоминание о временах, когда он еще мог шокировать «арбитров изящного» и «жрецов чистого искусства»).

Между тем главный недостаток поэмы — то, что она, к сожалению, несмешная. Именно то, на чем держатся длинные очерки Салтыкова-Щедрина, — блестящее чувство юмора — у Некрасова практически отсутствовало (конечно, в «активном» смысле — он прекрасно чувствовал смешное и в том числе поэтому ценил и Козьму Пруткова, и того же Салтыкова). Некрасовские сатиры и раньше были несмешными («мерещится мне всюду драма»), но это было не так заметно, потому что не было необходимо: сатира вовсе не обязательно смешной жанр, главное в ней — обличение, которое вполне может быть угрюмым, мрачным и вызывающим слезы, а не смех. Но когда произведение большое и статичное, напоминающее комедию, наполненную длинными монологами и диалогами самих объектов сатиры, которые вдаются в разнообразные подробности своих махинаций и спекуляций, описывают множество отсутствующих лиц, в то время как авторские ремарки сведены к минимуму, смех становится фактически единственным средством

создания интереса (в конечном счете зачем так долго слушать тосты и речи разнообразных мошенников, в стихах рассказывающих о том, что и так известно по газетам или слухам?) и критической дистанции по отношению к изображаемому. Представим себе «Ревизора» как несмешную пьесу. Кто бы стал его смотреть? Такого несмешного «Ревизора» написал Некрасов.

Болезнь пока не мешала Некрасову вести привычный образ жизни. Весной он вместе с Зиной охотился в Чудовской Луке (эта охота была омрачена случайным убийством Зиной любимого пса Некрасова Кадо, которому поэт даже поставил небольшой памятник), а на лето отправился в Карабиху. В просторном доме — Некрасов занимал в нем восточный флигель — можно было избегать поводов для всплесков враждебности. Некрасов был недоволен своим пребыванием в Карабихе, жаловался на здоровье: «Я сижу в Карабихе, и время даром пропадает. Дело в том, что снадобье, которое мне дали доктора, нисколько не действует; желудок и печень в скверном состоянии. Не знаю, что и делать; чувствую только, что если летом не исправлю этих статей, то зимой — пропадай!»

В Карабихе Некрасов с Зиночкой провели всего месяц, а по возвращении в столицу, в сентябре, Некрасов снова обратился к доктору Белоголовому с жалобами на здоровье: «…дурно провел лето, тогда как обыкновенно это время года, будучи постоянно на охоте, в движении, на воздухе, привык чувствовать себя прекрасно». «Всё это настраивало его на ипохондрический лад, и он жаловался на какое-то угнетение, вялость», — вспоминал Белоголовый. Каких-либо физиологических изменений доктор по-прежнему не находил. Но, видимо, с осени 1875 года болезнь начала постоянно присутствовать в сознании и в физическом ощущении Некрасова, хотя еще не поглощала его полностью. Боли можно было перебарывать, и поэт много занимался журналом, в том числе «подменял» Салтыкова, который уже сам начинал тревожиться о здоровье соредактора. Некрасов вел переговоры с Островским о публикации его новых произведений, приглашал в «Отечественные записки» новых авторов, активно участвовал в работе Литературного фонда.

С Литературным фондом связаны последние счета Некрасова из прошлого.

Сначала Антонович, уже порядком подзабытый, в декабре 1875 года обратился с жалобой на Некрасова, якобы обещавшего после закрытия «Современника» выплатить ему тысячу рублей. Впавший в серьезную нужду бывший сотрудник, которому его совместная с Жуковским публичная выходка против Некрасова

стоила литературной карьеры (так же как и его соавтору по знаменитой брошюре), пытался использовать Литературный фонд в той функции, коя не значилась в уставе общества, — для решения конфликтов между издателями и литераторами. Поэтому член комитета общества сенатор Григорий Козьмич Репинский переслал жалобу самому Некрасову, который только 30 марта следующего года ответил длинным письмом:

«Г-н Антонович обращался к комитету Литературного] фонда с заявлением, что я обещал ему, по закрытии «Современника», 1000 р[ублей], и с просьбой ходатайствовать передо мною о выдаче ему этих денег. Собственно, ходатайство здесь никакое не нужно, но нужно разъяснение некоторого недоразумения. Не возьмете ли на себя труд способствовать этому разъяснению?

В 1866 году у меня вырвали из рук дело, которому я посвятил 20 лет жизни и которое могло кормить меня остальную жизнь. Я вовсе не был в таком положении, чтоб думать о каких-либо награждениях бывшим своим товарищам по журналу. Я задался мыслию не оставить на первое время без средств тех из моих товарищей, которые ничего не имели и которые, с закрытием журнала, оставались без работы. Так я и поступил относительно гг. Пыпина и Жуковского. Об г-не же Антоновиче я тогда думал, что он имеет свое состояние, и поэтому ничего ему не обещал и даже разговора по сему предмету никакого с ним не имел. Прибавлю к этому, что если б мне было сказано, что я ошибаюсь, считая г-на Антоновича человеком с состоянием, или если б г. Антонович мне тогда сказал, что желает получить то же, что я обещал гг. Пыпину и Жуковскому, то я исполнил бы его желание, так как г. Антонович находился в совершенно одинаковых условиях к журналу с гг. Пыпиным и Жуковским и в этом отношении имел с ними равные права.

Ныне, через 9 лет, г. Антонович в письме в Фонд прямо говорит, что он нуждается, и просит Фонд ходатайствовать о выдаче обещанной мною ему суммы. Очевидно, г. Антонович обещание, данное мною гг. Пыпину и Жуковскому, перенес и на себя, как на человека, стоявшего в одинаковых с ними условиях к журналу, и вследствие этого употребил выражение, что я, Некрасов, обещал ему, Антоновичу…

Итак, полагая, что выражение «обещал мне» попало в письмо г. Антоновича не с намерением обвинить меня в неисполнении в течение 9-ти лет моего обещания, а по недоразумению, повод к которому я объяснил выше, я думаю, что г. Антоновичу легко будет взять выражение «Некрасов обещал *мне»* назад, — и в таком случае я выдам деньги. Мне будет довольно, если г. Антонович против места, отмеченного в этом письме красным карандашом,

напишет *верно* или вообще напишет, что употребил выражение *обещал мне* по недоразумению. <…> P. S. В случае согласия г. Антоновича деньги могут быть вручены мною Вам завтра».

Антонович, которому в это время, видимо, было не до щепетильных тонкостей, важных Некрасову, согласился и получил деньги. Больше этот человек из прошлого Некрасова не беспокоил.

В марте 1876 года прошлое снова напомнило Некрасову о, казалось бы, давно закрытом счете. В тот же Литературный фонд за материальной помощью обратилась Авдотья Яковлевна Панаева, уже вышедшая замуж за бывшего секретаря редакции «Современника» (и одного из бунтарей, пытавшихся «забрать» журнал у Некрасова) Аполлона Филипповича Головачева. Это обращение также было передано Некрасову, вероятно, для консультации. Некрасов ответил Гаевскому, очевидно, письменно запросившему его мнение, достаточно резко: «Возвращаю Вам письмо, от участия в обсуждении его желал бы устраниться, — затем, конечно, был бы рад, если б желание… Авдотьи Яковлевны… нашлась возможность осуществить. Какой неизлечимой болезнью заболел г. Головачев, я не знаю — недавно был он здоров. Итак, весь вопрос в этом. Если муж А[вдотьи] Я[ковлевны] точно лишился возможности работать и добывать, то, конечно, Комитет не оставит вдову Панаева без помощи.

Почему я лично не желал бы участвовать в обсуждении этого дела, я, пожалуй, скажу Вам (это письмо пишется вообще для Вас, а не для пришивки к делам Комитета): не с большим 10 лет тому назад А[вдотья] Я[ковлевна] получила от меня 50 т[ысяч] р[ублей] сер[ебром], на что я имею документ, и в то время у нее еще было, кроме того, движимости тысяч на десять».

«Вдове Панаева» комитетом Литературного фонда была назначена ежегодная пенсия в 300 рублей.

Политическая жизнь не радовала. Самые плохие новости приходили из-за рубежа: в апреле 1875-го в Боснии и Герцеговине вспыхнуло восстание против турецкого владычества, а следующей весной произошло восстание в Болгарии. Оба выступления были жестоко подавлены турецкими властями, что вызвало сильный резонанс в России, традиционно покровительствовавшей славянским народам. Газеты много писали о зверствах турок, и для трезвомыслящих людей это был тревожный симптом — жалость к жертвам начинала перерастать в шовинистический угар, предвещавший новую войну и заставлявший вспомнить о позорной Крымской кампании.

В феврале 1876 года Некрасов продлил членство в Английском клубе, до конца марта Некрасов активно участвовал

в работе Литературного фонда (его последнее дело в пользу нуждающихся литераторов и ученых — выплата тысячи рублей Антоновичу), занимался оформлением наследства скончавшейся родственницы, до середины апреля боролся с цензурой за роман Скабичевского «Было-отжило», который хотел напечатать в «Отечественных записках». Вполне воодушевленно Некрасов приветствовал приобретение Сувориным газеты «Новое время», в открытом письме отрицая свое участие в ней, однако заявляя о сочувствии предприятию и уважении к его новой редакции. Суворину же он передал несколько стихотворений, которые будут печататься в его новом издании еще на протяжении двух лет без подписи под общим заголовком «Из записной книжки».

В середине апреля здоровье Некрасова резко ухудшилось, и к началу мая болезнь начала брать верх над всем остальным. Видимо, уже в начале мая Белоголовый перешел, по его воспоминаниям, «к лечению тупых болей в левой ягодице с помощью сначала экстракта белладонны, а затем и опиатов». В середине мая Некрасов начал жаловаться, что «невралгическая боль» «стала и чаще, и продолжительнее, и острее, особенно по ночам, так что иногда заставляла его вскакивать с постели». Тем не менее он снова уехал в Чудовскую Луку, жил там в мае — июле, откуда несколько раз по настоянию Белоголового, который по-прежнему не мог обнаружить никаких причин усиливающихся болей, приезжал в Гатчину для обследования у знаменитого хирурга и личного врача императорской семьи Сергея Петровича Боткина, брата покойного Василия Петровича. В июле Некрасов писал сестре:

«Я уже 3-й раз странствую в Гатчино к Боткину и живу там по три дня, но мне совестно тебя вызывать туда. Это верст сорок, и в Лигове надо час дожидаться; интересного со мною мало, а скверного много — я веду каторжную жизнь дней уже 80-т — меня не покидают боли, мешающие не только спать, но и спокойно лежать; нечего и говорить о работе и т. п.

Даже читать не всегда возможно, ибо как лягу, то и верчусь ежеминутно».

С этого времени болезнь и лечение становятся основным содержанием жизни Некрасова. В самом конце августа он вместе с Зиночкой отправился в Крым, в Ялту, куда переехал Боткин, сопровождавший царскую семью на отдыхе в Ливадии. Некрасов поселился в гостинице «Россия». Он страдал от сильных болей, лечился, скучал, жаловался в письмах родным и близким: «Любезный брат Константин. Прибыл я сюда хорошо, здоровье не до отчаянья плохо, но боли те же, сон плох, похудел я, как скелет, ноги едва двигаются. В одном успех — желудок стал лучше

работать. Если он наладится, то, говорят, и всё придет в порядок. Посмотрим. — А тяжко, тяжко так жить. — Здесь погода и природа хороши, а скука смертная. Пиши нам. Береги Фридку (собака Некрасова. — *М. М.)* — об этом просит Зина, не хватила бы паршей, в холод — в воду ее не берите, а затем охоться с ней на дупелей и вальдшнепов». Он просил Анну Алексеевну и Еракова провести с ним время: «Я бы желал, чтоб ты сюда приехала; конечно, если б и Ал[ександр] Ник[олаевич], то было бы отлично. Заняли бы комнаты в гост[инице] «Россия» подле нас. Экипаж у нас будет. Вообще, думаю, что ты б не скучала — и тебе было бы здорово. Октябрь здесь лучший месяц, да и теперь хорошо. У А[лександра] Н[иколаевича] есть мои деньги, возьми на дорогу. Вообще требую, чтоб поездка была на мой счет». Они всё никак не могли выбраться, и Некрасов снова писал сестре:

«Зову тебя потому, что всё же мне получше, а будь очень плохо, то, конечно, не стал бы звать. Нам было бы веселее, и, я думаю, тебе не было бы скучно. Даже я в моем трудном положении нахожу минуты, когда море и здешняя природа вообще покоряют меня и утоляют. Выезжаю теперь по утрам каждый день, всего чаще в Орианду — это лучшее, что здесь пока видел; проходит в езде и прогулке от полутора до 2-х часов весьма приятно. И сегодня через час туда же поедем — то хорошо, что и вход туда открыт всем, можно и ходить и ездить.

Ноги плохи, сон дурен, но всё же я покрепче; кабы не проклятые боли — пропасть бы написал, да и жилось бы сносно. Боткин ко мне очень внимателен, бывает почти каждый день».

Но даже в таком состоянии постоянной борьбы с болезнью Некрасов работал. Осенью в Ялте была написана новая часть «Кому на Руси жить хорошо» — «Пир на весь мир», где поэма, страдавшая от наплыва прошлого, наконец-то обращается к настоящему и намечает движение в будущее. В финале наконец-то появляется герой, способный сделать выводы из прошлого и устремленный в будущее. В этом смысле «Пир на весь мир» действительно завершает «Кому на Руси жить хорошо», разрешая ее внутренний конфликт: поэма, задуманная как произведение на злобу дня, заблудилась в дебрях прошлого и только в этой части как будто вырвалась на настоящую дорогу. Появление Гриши Добросклонова, конечно, вызвано тем же вновь обретенным в 1874 году пульсом настоящего. «Пир на весь мир» — своего рода антитеза «Современникам»: в нем показана другая грань настоящего, дан образ юноши, «погибающего за великое дело любви», верящего в народ, беззаветно преданного «вахлачкам», трогательно прощающего им все недостатки. Только такой человек может спеть песню о народном счастье. Гриша

Добросклонов — конечно, народник, хотя чем-то похож и на Добролюбова. Этот образ — очень задушевный для Некрасова, когда-то писавшего Толстому: «Человек создан быть опорой другому, потому что ему самому нужна опора. Рассматривайте себя как единицу — и Вы придете в отчаяние. Вот основание хандры в порядочном человеке — думайте, что и с другими происходит то же самое, и спешите им на помощь». Народники, молодые люди, бросившиеся помогать народу, тем самым спасали себя от бессмысленности существования:

Иди к униженным,
Иди к обиженным —
И будь им друг!

«Пир на весь мир» был вырезан из одиннадцатого номера «Отечественных записок» 1876 года, но за публикацию его Некрасов яростно боролся буквально до последних дней жизни, своей энергией удивляя и даже отчасти раздражая друзей. Он как будто хотел, чтобы это слово непременно прозвучало. Здесь едва ли не наиболее ярко проявилось еще одно его качество — он не любил и практически не мог писать «в стол». С самого начала он стремился публиковаться и только в напечатанном тексте видел начало настоящей жизни сочинения. Ненавидя цензуру, Некрасов тем не менее всё время имел с ней дело, уступал, шел на компромиссы, лишь бы напечатать, донести до публики произведения. Но «Пир на весь мир» ему увидеть опубликованным не удалось.

Тридцатого октября Некрасов вернулся в Петербург, как сообщал Салтыков Анненкову, «совсем мертвым человеком» — «не проходит десяти минут без мучительнейшей боли». В тот же день его обследовал Белоголовый и нашел его в лучшем настроении, чем ожидал, — «добродушно-веселым», но не мог не сделать вывод, что болезнь прогрессировала. В ноябре состояние продолжало ухудшаться и 1 декабря Белоголовый пригласил для консультации знаменитого хирурга профессора Николая Васильевича Склифосовского и личного врача императрицы Евграфа Александровича Головина. Исследование показало наличие опухоли «величиной с яблоко», очевидно раковой, в толстой или прямой кишке. Диагноз Склифосовского был однозначен: положение безвыходное, возможны только меры для облегчения страданий. Самому Некрасову Склифосовский сообщил о результатах уклончиво, однако, как считает Белоголовый, пациент понял, что болезнь его смертельна.

Тем не менее 1876 год оказался плодотворным по части

стихов. Некрасов написал не менее пятнадцати стихотворений (а в следующем году — 25), в основном лирические фрагменты, отрывки. Это преимущественно очень мрачные стихотворения, существенно более пессимистические, чем «Пир на весь мир». Поэт снова откликается на общественную ситуацию, сложившуюся после расправы с народниками, в элегическом «Как празднуют трусу» — в нем говорится уже не про уныние, а про «мысль убивающий страх», «тоску» из-за того, что «В жизни крестьянина, ныне свободного, / Бедность, невежество, мрак». Пишет чрезвычайно «тяжелый» «деревенский фельетон» — «Молебен». В знаменитом стихотворении «Сеятелям» Некрасов обращается к молодому поколению с призывом продолжить дело просвещения народа.

Появляется в его поэзии и новая тема — собственная смерть. Судя по стихам, уже весной 1876 года болезнь казалась поэту преддверием кончины — настоящей, а не «поэтической», как, бывало, раньше. Этот мотив очень разнообразен: смерть здесь — и неизбежный и близкий конец, естественное следствие болезни («Скоро стану добычею тленья…», «Музе»), и желанное прекращение физических страданий («Друзьям», «Вступление к песням 1876–1877 годов» — «Нет! Не поможет мне аптека»). Реже описывается желание выздороветь («Могучей силой вдохновенья / Страданья тела победи…»). Смерть становится рубежом, перед которым поэт снова начинает судить себя и свое творчество, каясь, оправдываясь и объясняясь перед Зиночкой, перед современными и будущими читателями. В этом отношении лирика 1876 года очень похожа на «рубежные» стихотворения середины 1850-х. Приближаясь к финальной черте, сделав свой конец темой пронзительной лирики, Некрасов ни разу не задумался о том, есть ли что-то за этой чертой. Нет никакого компромисса с религией или хотя бы какой-то персональной верой и даже суеверием. Посмертное существование описывается либо как тлен, либо как небытие. Некрасов остался верен раз и навсегда принятому от Белинского мировоззрению, в котором не было места религии или метафизике. Их не было в его зрелой поэзии и не могло возникнуть перед смертью.

Может быть, и поэтому Некрасов так долго боролся. Еще целый год прошел в мучениях и попытках найти спасение. Впервые за очень долгое время Некрасов просил брата Федора выслать ему деньги, которые тот был по-прежнему должен ему за Карабиху, — нужны были средства на дорогое лечение, доходов, получаемых от «Отечественных записок», явно не хватало, а возможности «зарабатывать» карточной игрой в клубе или на частных квартирах он был лишен. Прикованный к постели,

Некрасов решился на операцию и «выписал» знаменитого австрийского хирурга Теодора Бильрота. Операция (стоившая, по свидетельству П. М. Ковалевского, не менее 20 тысяч рублей) была сделана и даже описана в медицинском журнале — Бильрот считал ее одной из самых сложных и успешных в своей карьере. Конечно, она уже не могла помочь, как и остальные средства. Ближе к концу единственное, что могли делать врачи, — давать морфий, чтобы заглушить ставшие постоянными непереносимые боли. В начале февраля на подаренной чешскому переводчику книге Некрасов написал: «7 февраля 1877 года. Умираю медленно и мучительно». Брату Федору он сообщил 12 марта:

«Я крайне плох. Надежды жить нет. Могу протянуть несколько, а не то так и скоро…

Думаю, что я правее докторов, которые обнадеживают… При мне постоянно доктор Белоголовый и профессор Богдановский, хирург.

Боткин ездит тоже.

И много их.

Два вышеназванные (Белоголовый и Богдановский) превосходные люди.

Я нашел в них друзей».

Ему же поэт сообщал в апреле: «…Вижу только, что стал я более животное в грубейшем смысле этого слова, чем человек; голова, к сожалению, не всегда тупа. Чувствую, что эта грязная пародия на жизнь может долго длиться — и невесело мне, голубчик». Постепенно наркотик переставал приносить облегчение и только туманил голову. На приходивших к нему Некрасов производил впечатление «полутрупа», невероятно худого и бледного, говорящего «замогильным» голосом. Салтыков сообщал Анненкову: «Некрасов положительно умирает. Нельзя даже представить себе приблизительно, какие он муки испытывает. Вообразите, что уже пять месяцев почти единственное его положение — на карачках, т. е. по образу четвероногого. И при этом непрерывный стон, но такой, что со мной, нервным человеком, почти дурно делается». Его страдальческий облик запечатлел на знаменитом портрете художник Крамской, для которого Некрасов позировал, полулежа на кровати. Зина и Анна Алексеевна постоянно дежурили у кровати умирающего, сменяя друг друга и стараясь не общаться. «Они соперничали в самоистязаниях: каждая не давала себе спать, чтобы услышать первый его стон и первой подбежать к постели. Для этого Зиночка, которая была моложе и со сном справлялась труднее, садилась на пол и уставлялась на зажженную свечу… она из молодой, беленькой и краснощекой

женщины превратилась в старуху с желтым лицом и такою осталась», — вспоминал П. М. Ковалевский.

Борясь и надеясь выздороветь, Некрасов при этом делал то, что должен делать умирающий, — улаживал дела. В самом начале года он составил завещание:

«…1) Все принадлежащие ему авторские права на изданные и неизданные его сочинения и наличные экземпляры их, какие после него останутся, со всеми следующими ему по расчетам за особые издания или помещение его сочинений от кого-либо платежами, предоставляет в полную и исключительную собственность родной сестре его, жене полковника, Анне Алексеевне Буткевич, с тем условием, чтобы она уплатила должные им, завещателем, по векселю французской подданной Селине Лефрен-Потчер десять тысяч пятьсот рублей и выдавала бывшему камердинеру его Василью Матвееву в виде пожизненной пенсии, а в случае его смерти жене его по триста руб. в год; вследствие этого все оставшиеся после него собственные его рукописи, непроданные экземпляры его сочинений, счеты по их продаже и частные письма к нему разных лиц без всякого исключения должны быть переданы сестре его Анне Алексеевне Буткевич.

2) Весь капитал его, завещателя, состоящий в долгах за другими лицами по формальным обязательствам, все принадлежащие ему отдельные издания чужих сочинений со всеми относящимися к ним правами по расчетам и договорам с авторами и другими лицами, а также все наличные деньги, какие останутся за определенными из них по четвертому пункту сего завещания издержками и выдачами, предоставляет в полную собственность родным братьям его Федору и Константину Алексеевичам Некрасовым по ровной части, но с тем условием, чтобы они приняли на себя обязанность уплатить прочие его долги, какие останутся им неуплаченными, и выдавать вышеупомянутому камердинеру его Василью Матвееву, а в случае его смерти жене его пожизненно каждый по сту пятидесяти рублей.

3) Принадлежащее ему, завещателю, по договору, заключенному им с действительным статским советником Михаилом Евграфовичем Салтыковым и надворным советником Григорием Захаровичем Елисеевым 23 декабря 1876 года, право на получение от них определенных назначенному в его завещании лицу платежей, в случае издания журнала «Отечественные записки» при их постоянном сотрудничестве после его смерти, предоставляет в полную собственность жене коллежского регистратора Авдотье Яковлевне Головачевой,

бывшей по первому мужу Панаевой.

4) Капитала в денежных бумагах он, завещатель, вовсе не имеет, а из наличных денег, какие останутся при нем или на текущих счетах в каких-либо банках, назначаем: а) выдать служащему при нем крестьянину Никанору Афанасьеву две тысячи рублей, б) употребить на его погребение в С.-Петербурге, на кладбище Новодевичьего монастыря, не более двух тысяч пятисот рублей и в) издержать не более тысячи пятисот рублей на утверждение и приведение в исполнение сего завещания, не относя эти расходы на счет какого-либо из назначаемых им наследников, а всё, что останется за этими издержками, должно быть передано, как упомянуто во втором пункте сего завещания, братьям его, Федору и Константину Некрасовым, по ровной части.

5) Живущей у него домоуправительнице — дочери умершего рядового, девице Фекле Анисимовне Викторовой, которую знакомые завещателя привыкли звать Зинаидою Николаевною, так как сам он постоянно ее называл этим именем, — предоставляет в полную собственность всё находящееся в его квартире в С.-Петербурге движимое имущество, за исключением лишь ружей, а также благоприобретенное недвижимое имение его, купленное им у гг. Владимировых и состоящее Новгородской губернии и уезде, близ села Чудова, в усадьбе Лука, со всею землею, строением и движимостью, но это недвижимое имение его завещается ей с тем условием, чтобы она, Викторова, выделила из него, по собственному ее усмотрению, половину всей состоящей при нем незастроенной земли брату его, завещателя, Константину Алексеевичу Некрасову и немедленно по вводе ее во владение этим имением передала ему этот участок в собственность дарственною записью, а сверх того уступила бы тому же брату его, Константину Алексеевичу, по собственному ее выбору половину находящихся в этой усадьбе лошадей и экипажей с их принадлежностями.

6) Все ружья завещателя, находящиеся в С.-Петербурге, предоставляет в собственность брату его, Константину Алексеевичу Некрасову.

7) Душеприказчиками и исполнителями сего завещания он, Некрасов, назначает: действительного статского советника Александра Николаевича Еракова и присяжного поверенного округа С.-Петербургской судебной палаты Алексея Михайловича Унковского».

Завещание, как обычно, отражает не только экономическую картину, опись того, что принадлежало умирающему, но и диапазон его привязанностей и забот. Наличие в нем Панаевой говорит само за себя. Братья, сестра, Зиночка, любимая прислуга

и «Отечественные записки» — вот его наследники.

Уже после составления и утверждения завещания Некрасов решил оформить отношения с Зиночкой — она стала его женой, а в скором времени оставшись вдовой, не претендовала ни на одну крупицу славы покойного. Видимо, Некрасов опасался враждебных чувств, которые питала к ней Анна Алексеевна, и женитьбой укрепил права Зиночки на наследство. Обряд был совершен вскоре после операции, в квартире, приглашенным священником. (Законность этой процедуры вызвала уже после смерти Некрасова сомнения у властей, и свидетелям даже пришлось давать объяснения. В результате брак всё-таки был признан законным.)

Тем не менее 1877 год не полностью ушел у Некрасова на борьбу с болью и умирание. В начале года широкой публике стало известно состояние его здоровья, которое предал гласности добрый друг Суворин. В фельетоне «Из литературной жизни», опубликованном в новогоднем номере «Нового времени», желая отметить вполне искусственный юбилей — тридцатилетие «журнальной деятельности» Некрасова (автор счел отправной датой выход первой книжки нового «Современника»), Суворин называл Некрасова «нашим первым поэтом в настоящее время», «нашим третьим поэтом по своему влиянию после Пушкина и Лермонтова», «одним из отцов нашей журналистики, одним из лучших воспитателей», сказал много других добрых и точных слов о нем и сообщил, что поэт «прикован в настоящее время к постели тяжелою болезнью».

В середине января в первом номере «Отечественных записок» были опубликованы стихотворения, написанные Некрасовым в прошлом году, в том числе «Скоро стану добычею тленья…», поразившее публику. Ему начала писать молодежь, на квартиру являлись делегации от студентов петербургских учебных заведений. Читатели обращались в газеты, требуя новостей о состоянии здоровья Некрасова. В газетах печатались стихотворные отклики на мрачное стихотворение и пожелания выздоровления. Откликнулся Достоевский в «Дневнике писателя», называя Некрасова нашим любимым поэтом и выражая надежду, что Некрасов авось поправится. Всё это, конечно, поддерживало Некрасова, в последний раз давая ему ощущение, что он — тот единственный поэт, без которого его читатели не хотели даже представить свое существование. Салтыков писал Анненкову: «Замечательно то сочувствие, которое возбуждает этот человек. Отовсюду шлют к нему адреса, из самой глубины России. Verba volant, scripta manent[37] — вот воочию оправдание этого изречения. А он-то, в предвидении смерти, всё хлопочет, как бы

себя обелить в некоторых поступках. Я же говорю: вот шесть томов, которые будут перед потомством свидетельствовать лучше всяких обличений «Русской старины». Представьте себе: даже перед Стасюлевичем исповедуется. Тот какую-то биографию варакает для своей «Русской библиотеки» — вот Некрасов и объясняется с ним, не понимая, по-видимому, что популярность его спасет от всяких биографий».

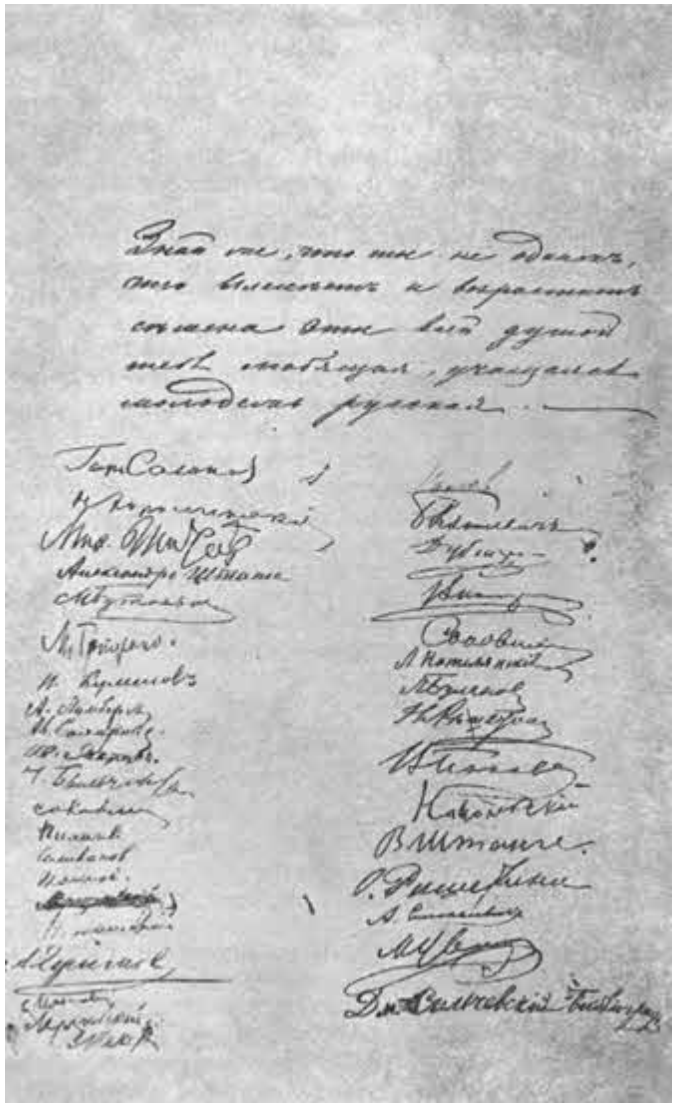
Конечно, Салтыков был прав. Действительно, в те моменты, когда невыносимая боль отступала, Некрасов много времени уделял написанию автобиографии. Это вторая его попытка — первая была сделана в 1872 году, когда Некрасов продиктовал неустановленному лицу конспективный «очерк» своей жизни от рождения до 1861 года. Теперь он хотел писать подробно, с комментариями. Некрасов диктует сестре, мысленно возвращаясь в детство, вспоминая отца, мать, гимназию и первые годы в Петербурге. Ничего по-настоящему связного не получалось — только до начала «Современника» это напоминало «историю», а дальше шли разрозненные эпизоды. Здесь всё те же сюжеты: Белинский, Жуковский, «муравьевская ода». Вспоминал Некрасов и Николая Фермора — его самоубийство вызвало одно из самых трогательных предсмертных стихотворений «Сон»:

Мне снилось: на утесе стоя,
Я в море броситься хотел,
Вдруг ангел света и покоя
Мне песню чудную запел:
«Дождись весны! Приду я рано,
Скажу: будь снова человек!
Сниму с главы покров тумана
И сон с отяжелелых век;
И Музе возвращу я голос,
И вновь блаженные часы
Ты обретешь, сбирая колос
С своей несжатой полосы».

Лирический герой «Сна» преодолевает тот соблазн, которому поддался Фермор, не вынесший страданий духа.

Конечно, в автобиографических опытах был элемент покаяния и попыток оправдаться, но одновременно Некрасовым руководило желание рассказать о себе правду, как она виделась сейчас, не столько приукрашивая или поэтизируя свою жизнь, сколько пытаясь внести в нее окончательный порядок. И, естественно, во многом Некрасов воспроизводил свои оправдания, говорил не о подлинных мотивах своих поступков, но

о тех, какие могли бы лежать в их основе, создавая тем самым тот образ, в каком хотел бы себя видеть. Но примечательно, что в этот образ он включал и свои ошибки.



Последняя страница адреса, поднесенного умирающему Некрасову петербургскими студентами. 1877 г.

Такие же автобиографические сведения он устно сообщал посещавшим его приятелям, близким и давним знакомым. У него бывали Суворин, Пыпин, молодой сотрудник «Отечественных

записок» народник Сергей Николаевич Кривенко, печатавшийся еще в «Современнике» известный публицист и общественный деятель народнического толка Павел Александрович Гайдебуров. Многие из них записали его рассказы, суждения о литературе и о самом себе. Пыпину, видимо, Некрасов передал что-то для Чернышевского. Заглянул Тургенев, наконец поверивший, что бывший его приятель умирает. Встреча не удалась — Тургенев, пораженный болезненным видом Некрасова, ретировался. Впоследствии он описал ее в одном из стихотворений в прозе: «Я едва узнал его. Боже! что с ним сделал недуг! Желтый, высохший, с лысиной во всю голову, с узкой седой бородой, он сидел в одной, нарочно изрезанной рубахе… Он не мог сносить давление самого легкого платья. Порывисто протянул он мне страшно худую, словно обглоданную руку, усиленно прошептал несколько невнятных слов — привет ли то был, упрек ли, кто знает? Изможденная грудь заколыхалась — и на съеженные зрачки загоревшихся глаз скатились две скупые, страдальческие слезинки. Сердце во мне упало… Я сел на стул возле него — и, опустив невольно взоры перед тем ужасом и безобразием, также протянул руку». Хотел ли Некрасов что-то сказать бывшему приятелю, неизвестно. Пыпину в начале года он признавался, что «всё еще любит» Тургенева.

И перед лицом смерти, посреди ужасных физических страданий, та энергия, которая не раз позволяла ему как будто возрождаться из пепла, не оставляла его почти до конца. Некрасов в последний год жизни успел подготовить к изданию и получить отпечатанные экземпляры книжки «Последние песни», куда вошли стихотворения, написанные в 1875–1876 годах, и поэма «Современники». Стихотворения на протяжении 1877 года печатались в «Отечественных записках» и «Новом времени» и по ним, как и по газетным сообщениям, читатели могли следить за течением его болезни. Некрасов пытался даже участвовать в делах «Отечественных записок». До конца борясь за разрешение публикации «Пира на весь мир», он через Боткина добился ее чтения у императрицы. Марии Александровне поэма понравилась, однако ее сочувствие никак не помогло — буквально перед самой смертью Некрасова раздраженный Салтыков был вынужден сообщить ему об очередном запрете его последнего произведения. На новую попытку добиться разрешения на публикацию уже не было времени.

Почти до последних дней Некрасов писал стихи. И оставался верен себе — откликался на злобу дня, на новые политические события: разгон студенческой демонстрации в Казани и страшные приговоры студентам (опять до десяти лет каторги), «процесс

пятидесяти» — суд над членами Всероссийской социально-революционной организации. Не прошла мимо его внимания и Русско-турецкая война, объявленная 12 апреля 1876 года; летом стали доходить известия о кровавых сражениях под Плевной и огромных потерях новой российской («милютинской») армии. Откликом на эти события стали стихи «Осень» и «Так запой, о поэт!..». Некрасов даже начал писать большую поэму «Мать». Образ матери, благословляющей сына на смерть, присутствует и в его лирических стихотворениях («Баюшки-баю»). Он работал, когда болезнь на время переставала терзать свою жертву.

ПОСЛѢДНІЯ ПѢСНИ

СТИХОТВОРЕНІЯ

Н. НЕКРАСОВА

САНКТПЕТЕРБУРГЪ

Въ типографіи А. А. Краевскаго (Басейная, № 2)

1877

Титульный лист сборника «Последние песни». 1877 г.

Последнее написанное Некрасовым стихотворение, по свидетельству сестры, которой он его продиктовал, — «О Муза! я у двери гроба…». Несмотря на нотку слабости, признание: «Пускай я много виноват», — оно звучит гордо и достойно великого поэта, покидающего своего читателя:

Не плачь! завиден жребий наш,
Не наругаются над нами:
Меж мной и честными сердцами
Порваться долго ты не дашь
Живому, кровному союзу!
Не русский — взглянет без любви
На эту бледную, в крови,
Кнутом иссеченную Музу…

Собственно, всё было сказано и все счеты сведены. Последнее письмо Некрасов написал Суворину, навестившему его незадолго до смерти, 6 декабря: «Спасибо Вам, Суворин. Уже одно, что Вы вспомнили больного и нашли время написать ему несколько сочувственных слов, мне дорого. Я не могу похвалиться здоровьем. Эта жизнь мне в тягость и сокрушение. Но лучше об этом не начинать». Суворин еще раз посетил его 14 декабря, и они простились. Практически сразу после этого болезнь вступила в заключительную фазу. 16-го числа Некрасова последний раз осмотрел Боткин: больной уже почти не говорил. Боткин вышел от него в слезах. Начинались бред, потеря памяти. 26 декабря Некрасов, по свидетельству Белоголового, «поочередно позвал к себе жену, сестру и сиделку и каждой сказал одно и то же слово, как бы «прощайте». Утром 27 декабря умирающий был неподвижен: «Выражение лица покойно, ни один мускул на нем не шевелился, глаза полуоткрыты и устремлены на одну точку; всё тело лежало совершенно неподвижно на спине, и, подошедши к кровати, можно было подумать, что жизнь покинула тело, если бы не движения грудной клетки, да левая рука находилась в непрерывном движении; он то подносил ее к голове, то клал на грудь». В восемь часов вечера началась агония, которую описал доктор Белоголовый: «…дыхание сделалось шумнее и реже, пульс стал исчезать, конечности несколько холоднее, а около 8 1/2 ч. начались последние минуты: дыхание становилось всё реже и реже, рот то открывался, то закрывался, явилось 2 раза

судорожное сокращение челюстей, затем небольшой короткий хрип, и всё было кончено».

Похоронили Некрасова 30 декабря согласно его воле — на Новодевичьем кладбище Санкт-Петербурга — новом и дорогом, можно сказать, «модном». Туда от самой квартиры на Литейном незнакомые молодые люди на руках несли гроб с его телом, а Салтыков ворчал, что и похоронить себя Некрасов велел как барин — мало ему «литераторского» Волкова кладбища. Обнародованное после смерти Некрасова завещание многих удивило скромностью оставшихся после него средств — публика ожидала увидеть огромные суммы и долго еще судачила о том, куда они делись.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА Н. А. НЕКРАСОВА

1821, 28 ноября — в селе Синьки (Сеньки) Балтского повета Подольской губернии в семье отставного майора Алексея Сергеевича Некрасова и его супруги Елены Андреевны родился третий ребенок, названный Николаем.

1824, 7 октября — крещен вместе с младшим братом Константином в церкви Сеньков.

1826, лето — осень — переезд семьи на постоянное жительство в сельцо Грешнево Ярославского уезда Ярославской губернии.

1832–1838 — учился в гимназии в Ярославле, писал романтические эпигонские стихотворения.

1838, 20 июля — уехал в Петербург.

Начало октября — впервые опубликовал в журнале «Сын Отечества» свое произведение — стихотворение «Мысль».

1839, июль — пытался поступить на факультет восточных языков Санкт-Петербургского университета.

4 сентября — подал заявление о приеме вольнослушателем философского факультета.

1840, январь — выпустил сборник стихов «Мечты и звуки». Начал работу в качестве корректора, а затем рецензента и автора в журнале «Пантеон русского и всех европейских театров», издававшемся Федором Алексеевичем Кони.

Лето — пытался поступить на юридический факультет университета.

1841, 24 июля — «уволен» из числа вольнослушателей университета.

29 июля — смерть матери.

1843, февраль — начало дружеских отношений с Виссарионом Григорьевичем Белинским.

1844 — написал первую часть стихотворения «Родина».

1845, март, июнь — издал две части сборника произведений русских литераторов «натуральной школы» «Физиология Петербурга».

1846, январь — выпустил «Петербургский сборник», составленный из произведений Герцена, Белинского, Тургенева, Достоевского, его собственных и других писателей «натуральной школы».

Лето — вместе с Иваном Ивановичем Панаевым принял решение об аренде у Петра Александровича Плетнева журнала «Современник»; начал любовную связь с Авдотьей Яковлевной Панаевой.

1847, январь — выход в свет первого номера журнала «Современник» под редакцией Панаева, Некрасова и Александра Васильевича Никитенко.

Февраль — конфликт с Белинским из-за определения доли дивидендов от журнала.

1848, 26 мая — смерть Белинского.

Начало «мрачного семилетия» цензурного давления на «Современник».

1853, ноябрь — познакомился с Николаем Гавриловичем Чернышевским, вскоре ставшим постоянным сотрудником «Современника».

1856, август — уехал за границу. В «Современнике» напечатаны первые статьи Николая Александровича Добролюбова.

19 октября — выход в свет сборника «Стихотворения Н. Некрасова».

1857, июнь — возвратился в Россию.

1860, февраль — завершение раскола в «Современнике» разрывом отношений с Тургеневым.

1861, лето — во время пребывания в родовом имении Грешнево создал ряд произведений, в том числе поэму «Коробейники» и стихотворение «Крестьянские дети».

Осень — приобрел имение Карабиха.

17 ноября — смерть Добролюбова.

1862, 19 февраля — смерть Панаева.

Июнь — приостановка по цензурным причинам издания «Современника».

7 июля — арест Чернышевского.

30 ноября — присутствовал при смерти отца.

1863, январь — возобновление издания «Современника».

Зима — весна — познакомился с французской актрисой Селиной Лефрен.

1864, ноябрь — окончательно расстался с Панаевой.

1866, февраль — опубликовал первый фрагмент (пролог) поэмы «Кому на Руси жить хорошо».

16 апреля — в Санкт-Петербургском Английском клубе прочел оду председателю следственной комиссии по делу о покушении на Александра II графу Михаилу Николаевичу Муравьеву.

28 мая — закрытие «Современника» по высочайшему

повелению за «вредное направление».

1867, июнь — во время поездки за границу расстался с Селиной Лефрен.

Декабрь — заключил договор с Андреем Александровичем Краевским об аренде его журнала «Отечественные записки».

1868, январь — совместно с Краевским, Михаилом Евграфовичем Салтыковым-Щедриным и Григорием Захаровичем Елисеевым начал издавать «Отечественные записки».

Август — начал любовные отношения с Прасковьей Николаевной Мейшен.

1869, весна — порвал с Мейшен.

1870, май — познакомился с Феклой Анисимовной (Зинаидой Николаевной) Викторовой.

1874, осень — в имении Чудовская Лука пережил творческий подъем, создал ряд стихотворений, среди которых «Элегия» и «Уныние».

Декабрь — начало смертельной болезни.

1876, конец года — прикован болезнью к постели.

1877, начало года — составил завещание.

2 апреля — выход в свет сборника стихотворений «Последние песни».

4 апреля — венчался с Зинаидой Николаевной у себя на квартире.

27 декабря — скончался в своей квартире.

30 декабря — похоронен на Новодевичьем кладбище Санкт-Петербурга при большом скоплении народа.

ИЛЛЮСТРАЦИИ

Алексей Сергеевич Некрасов, отец поэта. Фото 1850-х гг.

Самое раннее из сохранившихся изображений Некрасова.

Акварель И. Захарова. 1843 г.

Село Грешнево. Фото 1920-х гг.

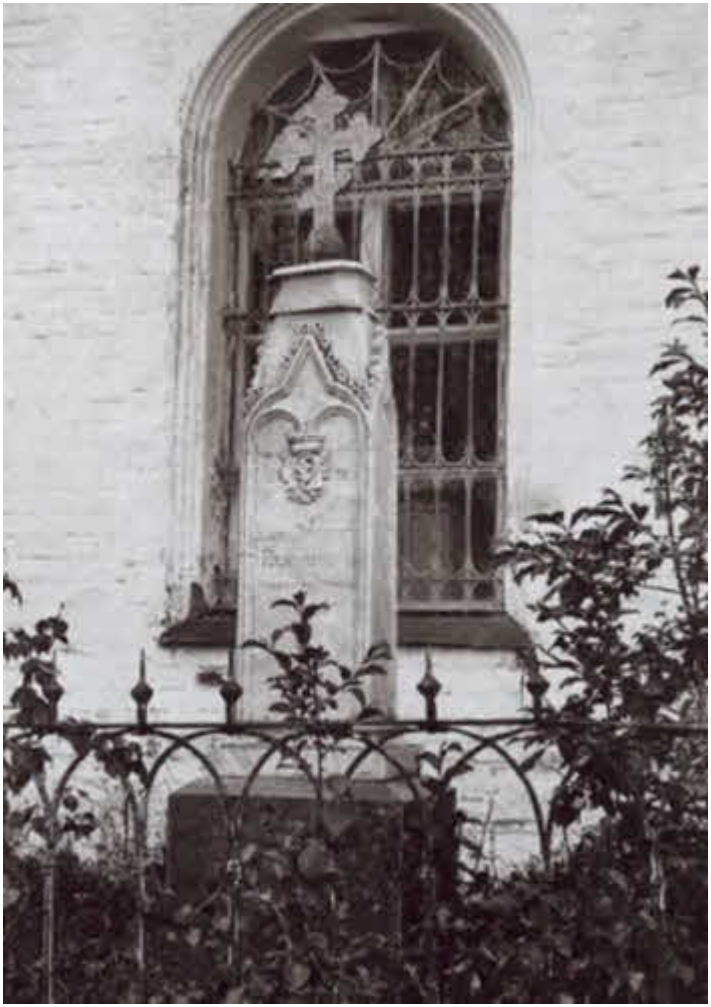
Музей-заповедник Н. А. Некрасова «Карабиха». МН-28

Околица Грешнева. Фото М. Величко. 1949 г.

Музей-заповедник «Карабиха». МН-1234

«Музыкантская» — единственное здание, сохранившееся от усадьбы Некрасовых в Грешневе. Фото 1902 г.

Благовещенская церковь в селе Абакумцсве. Справа — семейный склеп Некрасовых



Могила матери Некрасова у стены Благовещенской церкви

Школа в Абакумцеве, построенная на средства Некрасова. Фото 1927 г.

Николо-Бабаевский монастырь на Волге. Фото 1930— 1940-х гг.

Музей-заповедник «Карабиха». МН-239

Ярославль. Рождественская улица.

Дореволюционная фотооткрытка

Здание ярославской мужской гимназии, где учился Некрасов, после перестройки 1886 года.

Музей-заповедник «Карабиха». МН-692

В Санкт-Петербургском университете Некрасов посещал лекции вольнослушателем.

Акварель первой половины XIX в.

Литейный проспект в Санкт-Петербурге.

Дореволюционная фотооткрытка

Издатель журнала «Современник» Петр Александрович Плетнев. Гравюра Ф. Гордона. 1870 г. Фрагмент

Издатель журнала «Отечественные записки» Андрей Александрович Краевский. Фото А. Деньера. 1871 г.

В доме Краевского на Литейном проспекте с 1857 года проживал Некрасов и находилась редакция «Современника» и «Отечественных записок». Фото начала XX в.

Николай Алексеевич Некрасов — редактор «Современника». Акварель П. Бореля. 1858 г.

Иван Иванович Панаев — соредактор «Современника». Фото С. Левицкого. 1856 г.

Авдотья Яковлевна Панаева на лошади орловско-ростопчинской породы.
Н. Сверчков. 1854 г.

Несостоявшийся ответственный редактор «Современника» Евгений Федорович Корш

Сотрудник «Современника» Василий Петрович Боткин. Фото С. Левицкого. 1850-е гг.

Кабинет Некрасова в квартире на Литейном

Наталья Алексеевна Тучкова-Огарева, Александр Иванович Герцен, Николай Платонович Огарев

Сотрудник «Современника» Николай Гаврилович Чернышевский. Фото В. Лауфферта. 1859 г.

Ведущий критик «Современника» Николай Александрович Добролюбов. Фото 1857 г.

Писательский круг «Современника». Сидят: И. А. Гончаров, И. С. Тургенев, А. В. Дружинин, А. Н. Островский; стоят: Л. Н. Толстой, Д. В. Григорович. Фото С. Левицкого. 1856 г.

Публицист, ведущий сотрудник «Современника» в 1860-е годы Юлий Галактионович Жуковский. Фото 1870 г.

Ответственный редактор «Современника» в 1860-е годы Александр Николаевич Пыпин

Иллюстрация к поэме «Кому на Руси жить хорошо». М. Клодт. 1881 г.

Старшина Санкт-Петербургского Английского клуба граф Григорий Александрович Строганов. Фото 1860-х гг.

Карточный партнер Некрасова граф Александр Владимирович Адлерберг

Приятель Некрасова князь Михаил Сергеевич Волконский

Здание Санкт-Петербургского Английского клуба на Невском проспекте. Фото начала 1900-х гг.

Некрасов и Панаев.

Карикатура Н. Степанова для запрещенного цензурой «Иллюстрированного альманаха». 1848 г.

Н. А. Некрасов. Фото С. Левицкого. Начало 1870-х гг.

Карабиха. Барский дом

Аллея верхнего парка

Вид на восточный флигель с северо-запада. Лето 1902 г. Музей-заповедник «Карабиха». МН-2139

Пруд в нижнем парке

Рабочий кабинет Некрасова в восточном флигеле

Камин в зале восточного флигеля

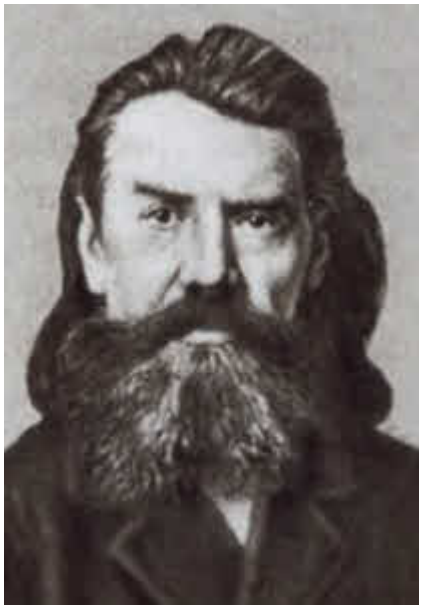
Французская актриса Селина Лефрен. 1863 г.

Охотничьи принадлежности Некрасова. ***Музей-заповедник «Карабиха». Фото Е. Рогозиной***

Охотничьи трофеи Некрасова. ***Музей-заповедник «Карабиха»***

Некрасов с пойнтером Оскаром. ***Фото М. Тулинова. 1860-е гг.***

Некрасов на охоте. ***Гравюра А. Долотова. Вторая половина XIX в.***



Соредактор Некрасова в «Отечественных записках» Григорий Захарович Елисеев. Фото Е. Берестова. 1860-е гг.

Соредактор Некрасова в «Отечественных записках» Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Фото М. Тули нова. Начало 1870-х гг.

«Новый год в журналистике». На обложке журнала «Отечественные записки» — прежний и новый редакторы А. А. Краевский и Н. А. Некрасов; с поднятым пером и щитом — редактор газеты «Московские ведомости» М. Н. Катков. Гравюра по рисунку А. Волкова из журнала «Искра». 1868 г.

Журналист, издатель и редактор газеты «Новое время» Алексей Сергеевич Суворин. Фото А. Деньера. 1865 г.

Приятель Некрасова библиограф Петр Александрович Ефремов. Фото середины 1860-х гг.

Комитет Литературного фонда. Сидят: А. В. Никитенко, А. А. Краевский, Е. П. Ковалевский, И. С. Тургенев, К. Д. Кавелин, А. Д. Галахов; стоят: С. С. Дудышкин, Е. И. Ламанский, А. П. Заблоцкий-Десятовский, П. В. Анненков, Н. Г. Чернышевский, А. В. Дружинин. Фото 27 марта 1860 г.

Дом Некрасова в имении Чудовская Лука

Окрестности Чудовской Луки

Кабинет Некрасова в Чудовской Луке

Комната в барском доме в Чудовской Луке

Адресат некрасовской оды граф Михаил Николаевич Муравьев-Виленский. Литография П. Смирнова. 1865 г.

Один из разработчиков Крестьянской реформы Николай Алексеевич Милютин. Фотооткрытка

Министр внутренних дел Петр Александрович Валуев. Фото А. Деньера. Между 1864 и 1866 гг.

Н. А. Некрасов. ***Н. Ге. 1872 г.***

Константин Алексеевич Некрасов. ***Фото 1850-х гг.***

Фекла Анисимовна (Зинаида Николаевна) Викторова, будущая жена Некрасова. Фото К. Бергамаско. Май 1872 г.

Анна Алексеевна Буткевич, урожденная Некрасова. *Фото С. Левицкого. 1872(?) г.*

Федор Алексеевич Некрасов. *Фото Г. Петражицкого*

Некрасов в период «Последних песен»

И. Крамской. 1877–1878 гг.

Похороны Некрасова.

Гравюра А. Крыжановского по рисунку А. Балдингера. 1878 г.

Могила Некрасова на Новодевичьем кладбище в Санкт-Петербурге.

Скульптор М. Чижов

Памятник Некрасову в Чудовской Луке.

Скульптор П. Криворуцкий

БИБЛИОГРАФИЯ

Некрасов Н. А. Полное собрание сочинений: В 15 т. Л.; СПб., 1981–2000.

Некрасов Н. А. Последние песни / Подг. текста, прим. сост. Г. В. Краснова. М., 1974.

Некрасов Н. А. Стихотворения. 1856 г. / Подг. текста И. И. Подольской. М., 1987.

«Современник» против «Москвитянина»: Литературно-критическая полемика первой половины 1850-х годов. СПб., 2015.

Аксаков К. С., Аксаков И. С. Литературная критика. М., 1982.

Анненков П. В. Литературные воспоминания. М., 1983.

Архив села Карабихи: Письма Н. А. Некрасова и к Некрасову/ Сост. Н. Ашукин. М., 1916.

Архипов В. Поэзия труда и борьбы. М., 1973.

Ашукин Н. С. Летопись жизни и творчества Н. А. Некрасова. М.;Л., 1935.

Березкин А. М. Семантика компоновки: Авторские построения поэтических сборников Некрасова // Некрасовский сборник. Вып. 14. СПб., 2008.

Бессонов Б. Л. Некрасов и Г. Ф. Бенецкий (предание и факты) // Некрасовский сборник. Вып. 10. Л., 1988.

Бессонов Б. Л. Об авторской принадлежности романа «Три страны света» // Некрасовский сборник. Вып. 6. Л., 1978.

Боборыкин П. Д. Воспоминания: В 2 т. М., 1965.

Богданович М. И. История войны 1813 года за независимость Германии: В 2 т. СПб., 1863.

Богданович М. И. История войны 1814 года во Франции и низложения Наполеона I, по достоверным источникам: В 2 т. СПб., 1865.

Богданович М. И. История Отечественной войны 1812 года: В3т. СПб., 1860.

Боград В. Э. Белинский, Некрасов и Панаев в борьбе с Краевским (неизвестный документ периода организации «Современника») // Некрасовский сборник. Вып. 2. Л., 1956.

Боград В. Э. Журнал «Отечественные записки», 1839–1848: Указатель содержания. М., 1985.

Боград В. Э. Журнал «Современник», 1847–1866: Указатель содержания. М.; Л., 1959.

Боткин В. П. Литературная критика. Публицистика. Письма. М., 1984.

В. Г. Белинский в воспоминаниях современников. М., 1977.

В. П. Боткин и И. С. Тургенев. М.; Л., 1930.

Валуев П. А. Дневник П. А. Валуева, министра внутренних дел: В 2 т. М., 1961.

Вацуро В. Э, Некрасов и К. А. Данненберг // Русская литература. 1976. № 1.

Вацуро В. Э. Некрасов и петербургские словесники // *Вацуро В. Э.* Записки комментатора. СПб., 1994.

Вдовин А. В. Концепт «глава литературы» в русской критике 1830—1860-х годов. Tartu, 2011.

Вершинина Н. Л., Мостовская Н. Н. «Из подземных литературных сфер…»: Очерки о прозе Некрасова. Вопросы стиля. Псков, 1992.

Галахов А. Д. Записки человека. М., 1999.

Гаркави А. М. Некрасов и цензура // Некрасовский сборник. Вып. 2.

Гаркави А. М. Н. А. Некрасов в борьбе с царской цензурой. Калининград, 1966.

Герман К. Статистическое описание Ярославской губернии, сочиненное Карлом Германом, Императорской Академии наук адъюнктом по части статистики и политической экономии и ординарным профессором статистики в Санкт-петербургском педагогическом институте. СПб., 1808.

Герцен в воспоминаниях современников. М., 1956.

Гиппиус В. В. Некрасов в истории русской поэзии XIX века // *Гиппиус В. В.* От Пушкина до Блока. М.; Л., 1966.

Головнин А. В. Записки для немногих. СПб., 2004.

Грешневская тетрадь Н. А. Некрасова. Ярославль, 2015.

Григорович Д. В. Литературные воспоминания. М., 1987.

Дельвиг А. И. Воспоминания. 1820–1870. М.; Л., 1930.

Демченко А. А. Некрасов, Чернышевский и «Обязательное соглашение» в «Современнике» середины 1850-х годов // Некрасовский сборник. Вып. 13. СПб., 2001.

Документы «огарёвского дела» / Публ. Б. Л. Бессонова // Некрасовский сборник. Вып. 8. Л., 1983.

Дружинин А. В. Повести. Дневник. М., 1986.

Евгеньев-Максимов В. Е. «Современник» в 40—50-х гг. от Белинского до Чернышевского. Л., 1934.

Евгеньев-Максимов В. Е. «Современник» при Чернышевском и Добролюбове. Л., 1936.

Евгеньев-Максимов В. Е. Жизнь и деятельность Н. А. Некрасова: В 3т. Л., 1947–1952.

Евгеньев-Максимов В. Е. Некрасов в кругу современников. Л., 1938.

Евгеньев-Максимов В. Е. Последние годы «Современника». 1863–1866. Л., 1939.

Емельянов Н. П. «Отечественные записки» Н. А. Некрасова (1868–1877). Л., 1977.

Жуковская Е. И. Записки. М., 2001.

Завьялова Л. В. Петербургский Английский клуб. 1770–1918: Очерки. СПб., 2008.

Златовратский Н. Н. Воспоминания. М., 1956.

И. С. Тургенев в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1983.

Иванова (Фохт-Рюмлинг) Е. А. Воспоминания сестры поэта / Публ. О. А. Замареновой // Карабиха: Историко-литературный сборник. Вып. 3. Ярославль, 1997.

К. Д. Кавелин о смерти Николая I. Письма к Т. Н. Грановскому / Вступ. ст. и коммент. Ш. М. Левина; публ. Л. Р. Ланского//Литературное наследство. Т. 67. М., 1959.

Ключкин К. Литературные предприятия Некрасова 1840-х годов и формирование дискурса российской публичной сферы // Карабиха. Вып. 9. Ярославль, 2016.

Ковалевский П. М. Николай Алексеевич Некрасов // *Некрасов Н. А.* Стихотворения. 1856 г.

Козьмин Б. П. Из истории революционной мысли в России: Избранные труды. М., 1961.

Колбасин Е. Я. Тени старого «Современника» // Современник. 1911. № 8.

Конец крепостничества в России: Документы, письма, мемуары, статьи / Сост., общ. ред., вступ. ст. и коммент. В. А. Федорова. М., 1994.

Конторские книги «Современника»// Некрасовский сборник. Вып. 15 (рукопись).

Красильников Г. В. Прасковья Николаевна Мейшен — ярославская подруга Н. А. Некрасова: Материалы к биографии // Карабиха. Вып. 9.

Красильников Г. В. Ярославское литературное окружение Н. А. Некрасова: Дис. канд. филол. наук. Иваново, 2006.

Краснов Г. В. Н. А. Некрасов в кругу современников. Коломна, 2002.

Кузнецов Ф. Ф. Публицисты 1860-х годов. Круг «Русского слова». М., 1969.

Кюстин А. де. Россия в 1839 году. СПб., 2008.

Лемке М. К Очерки по истории русской цензуры и журналистики XIX столетия. М., 2011.

Летопись жизни и творчества Н. А. Некрасова: В 3т. СПб., 2006.

Ломан О. В. Зинаида Николаевна Некрасова — жена и друг поэта // Некрасовский сборник. Вып. 6.

Ломан О. В. Некрасов в Петербурге. Л., 1985.

Макашин С. Ликвидация «Обязательного соглашения»: Из истории «Современника» конца 1850-х годов //Литературное наследство. Т. 53/54. М., 1949.

Макеев М. С. «Литературное насекомое» или «честный бедняк сочинитель»? О причинах выхода А. А. Фета из Литературного фонда // Русская литература. 2009. № 4.

Макеев М. С. Е. Ф. Корш — несостоявшийся редактор «Современника» (Неизвестный эпизод из истории журнала) // Карабиха. Вып. 9.

Макеев М. С. Литература для народа: протекция против спекуляции (к истории некрасовских «красных книжек») // Новое литературное обозрение. 2013. № 124.

Макеев М. С. Николай Некрасов: Поэт и Предприниматель (очерки о взаимодействии литературы и экономики). М., 2009.

Макеев М. С. Об источниках образов стихотворения Н. А. Некрасова «Сон» (1877): Некрасов и Николай Федорович Фермор // Вестник Московского университета. Серия 9: Филология. 2014. № 6.

Материалы для характеристики современной русской литературы. 1. Литературное объяснение с Н. А. Некрасовым. М. А. Антоновича. 2. Post-scriptum. Содержание и программа «Отечественных записок» за прошлый год. К). Г. Жуковского. СПб., 1869.

Мельгунов Б. В. Всему начало здесь…: Некрасов и Ярославль. Ярославль, 1997.

Мельгунов Б. В. К истории некрасовского «Современника» (1865–1867) *И* Русская литература. 1984. № 3.

Мельгунов Б. В. Некрасов и Белинский в «Литературной газете»: Хроника, гипотезы, находки. СПб., 1995.

Мельгунов Б. В. Некрасов-журналист: Малоизученные аспекты проблемы. Л., 1989.

Мещерский В. П. Воспоминания. М., 2003.

Михайловский Н. К. Литературная критика и воспоминания. М., 1995.

Н. А. Добролюбов в воспоминаниях современников. М., 1986.

Н. А. Некрасов в воспоминаниях современников. М., 1971.

Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях современников. М., 1982.

Н. П. Огарев в воспоминаниях современников. М., 1989.

Некрасов Н. К. По их следам, по их дорогам: Н. А. Некрасов и его герои. Ярославль, 1975.

Никитенко А. В. Дневник: В 3 т. М., 1955–1956.

«Объяснение по нелитературному делу» А. А. Краевского

(1846) / Публ. Б. В. Мельгунова // Некрасовский сборник. Вып. 10.

Оторочкина А. Е. Народное образование в губерниях Верхней Волги в первой половине XIX века. Ярославль, 2014.

Пайков Н. Н Феномен Некрасова: Избранные статьи о личности и творчестве поэта. Ярославль, 2000.

Панаева А. Я. Воспоминания. М., 1986.

Пантелеев Л. Ф. Воспоминания. М., 1958.

Переписка И. С. Тургенева: В 2 т. М., 1986.

Переписка Н. А. Некрасова: В 2 т. М., 1987.

Пинаев М. Т. Поэзия Некрасова в следственных делах революционных народников 70-х годов XIX в. // Некрасовский сборник. Вып. 5. Л., 1973.

Письма Селины Поттше-Лефрен к Николаю Некрасову/ Публ. и коммент. М. Ю. Степиной // Карабиха. Вып. 5. Ярославль, 2006.

Пищулин Ю. П. Поэзия Некрасова и «Народная воля» // Некрасовский сборник. Вып. 5.

Подольская И. И. Первая книга // *Некрасов Н. А.* Стихотворения. 1856. М., 1988.

Послужной список Генриха Станиславовича Буткевича/ Публ. М. С. Макеева // Карабиха. Вып. 8. Ярославль, 2013.

Революционный радикализм в России: Век двадцатый / Под ред. Е. Л. Рудницкой. М., 1997.

Рейсер С. А. Некрасов в Петербургском университете // Литературное наследство. Т. 49/50. М., 1949.

Решетников Ф. М. Дневник//Литературное наследство. Т. 3. М., 1932.

Рождественский И. А. Литературное падение гг. Антоновича и Жуковского (Дополнение к Материалам для характеристики современной русской литературы). СПб., 1869.

Русские писатели. 1800–1917: Биографический словарь. Т. 1–5. М., 1989–2007.

Скабичевский А. М. Литературные воспоминания. М., 2001.

Скабичевский А. М. Очерки истории русской цензуры 1700–1863. М., 2011.

Смирнов В. А. В. М. Лазаревский — современник Некрасова // Некрасовский сборник. Вып. 7. Л., 1980.

Смирнов В. А. В. П. Гаевский — современник Некрасова // Некрасовский сборник. Вып. 8.

Смирнов С. В. Автобиографии Некрасова. 2-е изд. Ярославль, 1998.

Соколов Н. И. Некрасов и революционно-народническое движение 1870-х годов // Некрасовский сборник. Вып. 5.

Степина М. Ю. Н. А. Некрасов в русской критике 1838–

1848 гг.: Дис. канд. филол. наук. СПб., 2013.

Степина М. Ю. Некрасов и Селина Лефрен-Потчер: Комментарии к реконструкции эпизода биографии // Некрасовский сборник. Вып. 14.

Сумароков П. И. Прогулка по 12-ти губерниям с историческими и статистическими замечаниями в 1838 году. СПб., 1839.

Т. Н. Грановский и его переписка: В 2 т. М., 1987. Т. 2.

Талашов Г. П. «Литературная газета» 1840–1845 годов. СПб., 2003.

Тарасов А. Ф. Некрасов в Карабихе. Ярославль, 1989.

Татищев С. С. Император Александр II. Его жизнь и царствование. М., 2006.

Теплинский М. В. «Отечественные записки» (1868–1884): История журнала. Литературная критика. Южно-Сахалинск, 1966.

Теплинский М. В. Я. П. Некрасов и В. М. Лазаревский // Некрасовский сборник. Вып. 9. Л., 1988.

Тургенев и круг «Современника»: Неизданные материалы. 1847–1861. М.; Л., 1930.

Тучкова-Огарева Н. А. Воспоминания. М., 1959.

Тынянов Ю. И. Стиховые формы Некрасова // *Тынянов Ю. Н.* Литературный факт. М., 1993.

Успенский Н. В. Из прошлого: Воспоминания о Н. А. Некрасове, А. И. Левитове, И. С. Тургеневе, гр. Л. Н. Толстом, Г. И. Успенском, Д. В. Григоровиче, Н. Г. Помяловском и В. А. Слепцове. С присовокуплением воспоминаний о Ф. М. Достоевском (на каторге), М. Е. Щедрине (Салтыкове) и М. Ю. Лермонтове (граф. Растопчиной и П. Висковатова). М., 1889.

Федотов А. С. Русский театральный журнал в культурном контексте 1840-х годов. Tartu, 2016.

Черняк Я. З. Спор об огаревских деньгах. М., 2004.

Чичерин Б. Н. Воспоминания. М., 1991.

Чуковский К. И. Люди и книги. М., 1958.

Чуковский К. И. Мастерство Некрасова. М., 1959.

Шелгунов Н. В., Шелгунова Л. П., Михайлов М. Л. Воспоминания: В 2 т. М., 1967.

Шереметев С. Д. Мемуары. М., 2004.

Шестидесятые годы: Материалы по истории литературы и общественному движению / Под ред. Н. К. Пиксанова, О. В. Цеховницера. М.; Л., 1940.

Штилевая Г. А. Динамика развития прозы Н. А. Некрасова. Воронеж, 2005.

Штакеншнейдер Е. А. Дневник и записки (1854–1886). М.; Л.,

1934.

Эйхенбаум Б. М. Некрасов// *Эйхенбаум Б. М.* О поэзии. Л., 1969.

Яковлев В. И. Гнездо отцов: Поместья и судебные процессы дворян Некрасовых во второй половине 1730-х — начале 1860-х годов. Ярославль, 1996.

Яковлев В. И. Описи дворянских имений Ярославской губернии первой четверти XIX века (к проблеме поиска источников по музеефикации Грешнева) // Карабиха. Вып. 4. Ярославль, 2002.

Макеев М. С.

М 15 Николай Некрасов / Михаил Макеев. — М.: Молодая гвардия, 2017. — 463[1] с.: ил. — (Жизнь замечательных людей: сер. биогр.; вып. 1649).

ISBN 978-5-235-04000-7

УДК 821.161.1.0(092)
ББК83.3(2Рос=Рус)-8

знак информационной продукции 16+

Макеев Михаил Сергеевич
НИКОЛАЙ НЕКРАСОВ

Редактор *Е. А. Никулина*
Художественный редактор *К. В. Забусик*
Технический редактор *М. П. Качурина*
Корректор *Т. И. Маляренко*

Сдано в набор 27.03.2017. Подписано в печать 04.05.2017. Формат 84x108/32. Бумага офсетная № 1. Печать офсетная. Гарнитура «Newton». Усл. печ. л. 24,36 + 1,68 вкл. Тираж 3000 экз. Заказ № 1709720.

Издательство АО «Молодая гвардия». Адрес издательства: 127055, Москва, Сущевская ул., 21. Internet: http://gvardiya.ru. E-mail: dsel@gvardiya.ru

ARVATO BERTELSMANN

Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленного электронного оригинал-макета в ООО «Ярославский полиграфический комбинат» 150049,

Ярославль, ул. Свободы, 97

notes

Примечания

1

Все произведения Некрасова, его письма, документы, автобиографические записи цитируются по изданию: *Некрасов Н. А.* Полное собрание сочинений: В 15 т. Л.; СПб., 1981–2000.

2

Душами считались крепостные мужского пола вне зависимости от возраста, указанные в последней ревизской сказке — документе переписи.

З

Дворянская опека — сословный орган в уездных городах, занимавшийся опекунским надзором над имениями, принадлежащими дворянским вдовам, сиротам, умалишенным или реквизированными по взысканию, а также назначением опекунов, определением детей в учебные заведения, организацией выплаты долгов и т. п.

4

Право ношения мундира по выходе в отставку получали офицеры, не имевшие взысканий по службе.

5

Супруги Певницкие, совершенно разорившись и не будучи в состоянии выплатить долги даже после продажи всего имущества, выехали в Петербург, где сильно бедствовали. Певницкий пытался служить землемером в частных конторах (поскольку в государственном ведомстве не мог состоять из-за того, что был под судом), но не преуспел и скончался 9 августа 1844 года. Елена Сергеевна, оставшись вдовой, жила в Петербурге, в 1847 году ей по крайней бедности была прощена часть долгов. О дате ее смерти сведений нет. Известно, что в подаваемых прошениях она продолжала во всех своих лишениях винить брата Алексея. Связь с ней у семьи была потеряна. Николай Алексеевич, прибыв в Петербург, не был осведомлен о том, где в этом городе проживает его тетя.

6

В качестве приданого за дочерью Анной (в замужестве Буткевич) он отдал симбирское имение; с таким трудом отвоеванные владимирские имения были в сентябре 1861 года подарены им сыну Федору.

7

Елизавета Алексеевна в 1841 году вышла замуж за подполковника Семена Григорьевича Звягина. В июне 1842 года она скончалась от чахотки и была похоронена на Леонтьевском кладбище в Ярославле. У нее осталась дочь Елена. Судя по всему, ранняя смерть сестры стала тяжелым ударом для Некрасова.

8

Остальные дети умерли в младенчестве. После смерти Андрея и Елизаветы Николай оказался старшим ребенком в семье.

9

Виды речных судов.

10

Здесь: увеселительные сады, в которых происходили гулянья, танцы, фейерверки и т. д.

11

Дни празднования торжественных событий жизни царствующей семьи: восшествия на престол и коронования императора, рождения и тезоименитств императора, императрицы, наследника престола и т. п.

12

О пользе воспитания *(нем.)*.

13

Дворянский полк — военно-учебное заведение, созданное в 1807 году (Волонтерный корпус) при 2-м кадетском корпусе; туда принимались дворянские сыновья, окончившие губернские кадетские корпуса или (до 1851 года) сдавшие вступительные экзамены. С 1832 года стал самостоятельным учебным заведением второго класса с приготовительным и общим курсами (в учебных заведениях первого класса добавлялся специальный курс).

14

С того времени, когда жил Некрасов, практически ничего не сохранилось — почти всю первоначальную застройку вытеснили доходные дома, построенные в основном в 1870—1900-х годах.

15

Даншил Петрович Полозов (1794–1850) — флигель-адъютант (1826), начальник 1-го (петербургского) округа корпуса жандармов (1833), генерал-лейтенант (1837). Прямого отношения к военноучебным заведениям не имел, но обладал широким влиянием.

Это отражается в дневнике Полевого: сначала тот дважды (3 и 17 октября 1838 года) называет его «юноша Некрасов», а 30 октября — уже «поэт Некрасов».

17

Возможно, Некрасов, не ограничиваясь публикациями в журналах, почти сразу по приезде в Петербург предпринял попытку найти издателя для сборника своих стихов — заветной тетрадки. Косвенно об этом говорит тот же «Тихон Тростников»: «Одевшись, я взял тетрадь с своими стихотворениями и пошел на Невский проспект. Я переходил из одной книжной лавки в другую, предлагая свои стихотворения, но везде получал один и тот же ответ: «Не надо-с». Ни один книгоиздатель не горел желанием давать деньги поэту без имени и какой-либо поддержки. Впоследствии Некрасов будет вынужден издать первую книгу стихов за свой счет.

18

Сведения, позднее сообщавшиеся поэтом об этом человеке, не соответствуют действительности: вряд ли они могли познакомиться в увеселительном заведении; Успенский (во всяком случае, в это время) не мог быть запойным пьяницей и картежником — в противном случае Полевой вряд ли доверил бы ему обучение своих детей древним языкам.

Менее заметна такая эволюция в сценических произведениях Некрасова. В эти годы он в основном ограничивается поверхностными переделками и переводами. Свой лучший водевиль «Петербургский ростовщик» он сочинил уже в следующий период жизни, в 1844 году.

Там же зачеркнута фраза, содержащая интересную живую подробность, но, видимо, показавшаяся Некрасову неуместной: «Он ловил меня часто на словах — и это одно слово давало ему повод высказать мне многое, что было для меня и ново и полезно».

21

Жан Луи Родольф Агассис (1807–1873) — знаменитый швейцарский естествоиспытатель, автор капитального труда о рыбах.

22

Фраза «Принялся немного за стихи» звучит так, как будто до этого Некрасов стихов совсем не писал; здесь бессознательно акцентируется ощущение начала с чистого листа, которое связано с его встречей с Белинским.

23

В лавках на Апраксином рынке Санкт-Петербурга продавались преимущественно дешевые низкокачественные товары; там же к середине XIX века была сосредоточена практически вся букинистическая торговля.

Смягчающие обстоятельства *(фр.)*.

25

Тургенев имеет в виду слова Христа: «…кто же скажет брату своему: «рака́», подлежит синедриону…» (Мф. 5:22). Рака́ (рейка) — бездельник, пустой, ветреный человек *(ивр.)*.

26

Имеется в виду одна из достопримечательностей Рима — холм Пинчио (Monte Pincio), известный своими садами, памятниками Античности и Возрождения (в частности, там находится знаменитая вилла Боргезе).

27

Чуткий критик Константин Сергеевич Аксаков увидел новый тип искренности в поэме «Саша» и последующих стихотворениях и по-своему охарактеризовал — противопоставил ранний «едкий цинизм картин и чувств, принимаемых иными за простодушие», силе чувства, «очищенной и движимой иными, лучшими стремлениями».

«Весьма опасно!!!» *(англ.)*.

29

Лосось *(фр.)*.

Opinion — мнение *(фр.)*.

31

Любить *(фр.)*.

32

Одно вместо другого *(букв, лат.),* путаница.

33

Государственный переворот *(фр.)*.

34

Стыдливость, показная добродетель, ханжество *(фр.)*.

35

Внешность, наружность *(лат.)*.

36

В день, когда мне исполнилось тридцать шесть лет *(англ.)*.

Слова улетают, написанное остается *(лат.)*.